

НОВЫЙ
МИР

4

МОСКВА 1939

НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

АПРЕЛЬ

МОСКВА
1939

Уполн. Главлита А—4947.
Сдано в набор 11/III—39 г. Подписано к печати 13/IV—39 г.
18 печ. листов. Тираж 80.000. Зак. 1266.
Технический редактор А. И. Гессен.
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская площадь, 5.

СОДЕРЖАНИЕ

*Портреты членов и кандидатов в члены Политбюро ЦК ВКП(б)—
(вкладка)*

	Стр.
ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА XVIII СЪЕЗДЕ ПАРТИИ О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)	5
ВЕЛИКИЙ СЪЕЗД ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА	36
В. И. ЛЕНИН — Памяти председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета тов. Я. М. Свердлова	46
И. В. СТАЛИН — О Я. М. Свердлове	47
Ив. НОВИКОВ — Краледворская рукопись	49
Н. ЧЕРТОВА — Разрыв-трава, роман, продолжение	75
М. ЛИПОВИЧ — Дуб, стихотворение	115
Вл. ЛИДИН — Два рассказа	117
Ник. УШАКОВ — Два стихотворения	124
Е. ТАРАХОВСКАЯ — Германия, стихотворение	125
Вас. КУДАШЕВ — Суровый характер, рассказ	126
Лев ОЗЕРОВ — Кавказ, стихотворение	132
Б. ВАДЕЦКИЙ — Возвращение, повесть	133
К. СИМОНОВ — Дорожные стихи	159

ЛЮДИ И ФАКТЫ

Полк. Е. БОЛТИН — Пролетарский полководец Михаил Васильевич Фрунзе	161
В. МОЛОКОВ, Герой Советского Союза — Через всю Арктику	170

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. ЕГОЛИН — Н. В. Гоголь, к 130-летию со дня рождения	200
В. КАТАНЯН — Маяковский за границей, окончание	213
К. МАЛАХОВ — Художник революции	233
В. ЗУСКИН, народный артист РСФСР — Мой Шолом-Алейхем, заметки актера	263
С. ЛЮМ — На родине Шолом-Алейхема	271

БИБЛИОГРАФИЯ

А. ВОЛОЖЕНИН — «Пархоменко», новый роман Всеволода Иванова	279
--	-----

И. СТАЛИН

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

НА XVIII СЪЕЗДЕ ПАРТИИ

О РАБОТЕ ЦК ВКП(б)

I. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Товарищи! Со времени XVII съезда партии прошло пять лет. Период, как видите, не малый. За это время мир успел пережить значительные изменения. Государства и страны, их отношения между собой стали во многом совершенно иными.

Какие именно изменения произошли за этот период в международной обстановке? Что именно изменилось во внешнем и внутреннем положении нашей страны?

Для капиталистических стран этот период был периодом серьезнейших потрясений как в области экономики, так и в области политики. В области экономической эти годы были годами депрессии, а потом, начиная со второй половины 1937 года, — годами нового экономического кризиса, годами нового упадка промышленности в США, Англии, Франции, — следовательно, годами новых экономических осложнений. В области политической эти годы были годами серьезных политических конфликтов и потрясений. Уже второй год идет новая империалистическая война, разыгравшаяся на громадной территории от Шанхая до Гибралтара и захватившая более 500 миллионов населения. Насильственно перекраивается карта Европы, Африки, Азии. Потрясена в корне вся система послевоенного так называемого мирного режима.

Для Советского Союза, наоборот, эти годы были годами его роста и процветания, годами дальнейшего его экономического и культурного подъема, годами дальнейшего роста его политической и военной мощи, годами его борьбы за сохранение мира во всем мире.

Такова общая картина. Рассмотрим конкретные данные об изменениях в международной обстановке.

1. НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ. ОБОСТРЕНИЕ БОРЬБЫ ЗА РЫНКИ СБЫТА, ЗА ИСТОЧНИКИ СЫРЬЯ, ЗА НОВЫЙ ПЕРЕДЕЛ МИРА

Экономический кризис, начавшийся в капиталистических странах во второй половине 1929 года, продолжался до конца 1933 года. После этого кризис перешел в депрессию, а потом началось некоторое оживление промышленности, некоторый ее подъем. Но это оживление промышленности не перешло в процветание, как это бывает обычно в период оживления. Наоборот, начиная со второй половины 1937 года начался новый экономический кризис, захвативший прежде всего США, а вслед за ними — Англию, Францию и ряд других стран.

Таким образом, не успев еще оправиться от ударов недавнего экономического кризиса, капиталистические страны очутились перед лицом нового экономического кризиса.

Это обстоятельство естественно привело к усилению безработицы. Упавшее было число безработных в капиталистических странах с 30 миллионов человек в 1933 году до 14 миллионов в 1937 году, теперь вновь поднялось в результате нового кризиса до 18 миллионов человек.

Характерная особенность нового кризиса состоит в том, что он во многом

отличается от предыдущего кризиса, при чем отличается не в лучшую сторону, а в худшую.

Во-первых, новый кризис начался не после процветания промышленности, как это имело место в 1929 году, а после депрессии и некоторого оживления, которое, однако, не перешло в процветание. Это означает, что нынешний кризис будет более тяжелым и с ним будет труднее бороться, чем с предыдущим кризисом.

Далее, нынешний кризис разыгрался не в мирное время, а в период уже начавшейся второй империалистической войны, когда Япония, воюя уже второй год с Китаем, дезорганизует необъятный китайский рынок и делает его почти недоступным для товаров других стран, когда Италия и Германия уже перевели свое народное хозяйство на рельсы военной экономики, ухлопав на это дело свои запасы сырья и валюты, когда все остальные крупные капиталистические державы начинают перестраиваться на военный лад. Это означает, что у капитализма ресурсов для нормального выхода из нынешнего кризиса будет гораздо меньше, чем в период предыдущего кризиса.

Наконец, в отличие от предыдущего кризиса, нынешний кризис является не всеобщим, а захватывает, пока-что, главным образом экономически мощные страны, не перешедшие еще на рельсы военной экономики. Что касается стран агрессивных, вроде Японии, Германии и Италии, уже перестроивших свою экономику на военный лад, то они, усиленно развивая свою военную промышленность, не переживают еще состояния кризиса перепроизводства, хотя и приближаются к нему. Это означает, что в то время как экономически мощные, не агрессивные страны начнут вылезать из полосы кризиса, агрессивные страны, истощив свои золотые и сырьевые запасы в ходе военной горячки, должны будут вступить в полосу жесточайшего кризиса.

Это наглядно иллюстрируется хотя бы данными о наличии видимых золотых запасов в капиталистических странах.

Видимые золотые запасы в капиталистических странах

(в млн. старых золотых долларов)

	Конец 1936 г.	Сентябрь 1938 г.
Всего	12.980	14.301
США	6.649	8.126
Англия	2.029	2.396
Франция	1.769	1.435
Голландия	289	595
Бельгия	373	318
Швейцария	387	407
Германия	16	17
Италия	123	124
Япония	273	97

Из этой таблицы видно, что золотые запасы Германии, Италии и Японии, вместе взятых, представляют меньшую сумму, чем запасы одной лишь Швейцарии.

Вот некоторые цифровые данные, иллюстрирующие кризисное положение промышленности капиталистических стран за последние пять лет и движение промышленного под'ема в СССР.

Об'ем промышленной продукции в процентах к 1929 году

(1929 = 100)

	1934	1935	1936	1937	1938
США	66,4	75,6	88,1	92,2	72,0
Англия	98,8	105,8	115,9	123,7	112,0
Франция	71,0	67,4	79,3	82,8	70,0
Италия	80,0	93,8	87,5	99,6	96,0
Германия	79,8	94,0	106,3	117,2	123,0
Япония	128,7	141,8	151,1	170,8	165,0
СССР	238,3	293,4	382,3	424,0	477,0

Из этой таблицы видно, что Советский Союз является единственной страной в мире, которая не знает кризисов и промышленность которой все время идет вверх.

Из этой таблицы видно далее, что в США, Англии и Франции уже начался и развивается серьезный экономический кризис.

Из этой таблицы видно, дальше, что в Италии и Японии, которые раньше Германии перевели свое народное хозяйство на рельсы военной экономики, уже начался в 1938 году период движения промышленности вниз.

Из этой таблицы видно, наконец, что в Германии, которая позже Италии и

Японии перестроила свою экономику на военный лад, промышленность пока еще переживает состояние некоторого, правда, небольшого, но все же движения вверх, — соответственно с тем, как это имело место до последнего времени в Японии и Италии.

Не может быть сомнения, что, если не случится чего-либо непредвиденного, промышленность Германии должна будет встать на тот же путь движения вниз, на который уже встали Япония и Италия. Ибо что значит перевести хозяйство страны на рельсы военной экономики? Это значит дать промышленности однобокое, военное направление, всемерно расширить производство необходимых для войны предметов, не связанное с потреблением населения, всемерно сузить производство и особенно выпуск на рынок предметов потребления населения, — следовательно, сократить потребление населения и поставить страну перед экономическим кризисом.

Такова конкретная картина движения нового экономического кризиса в капиталистических странах.

Понятно, что такой неблагоприятный оборот хозяйственных дел не мог не привести к обострению отношений между державами. Уже предыдущий кризис перепутал все карты и привел к обострению борьбы из-за рынков сбыта, из-за источников сырья. Захват Японией Манчжурии и Северного Китая, захват Италией Абиссинии, — все это отразило остроту борьбы между державами. Новый экономический кризис должен привести и действительно приводит к дальнейшему обострению империалистической борьбы. Речь идет уже не о конкуренции на рынках, не о торговой войне, не о демпинге. Эти средства борьбы давно уже признаны недостаточными. Речь идет теперь о новом переделе мира, сфер влияний, колоний путем военных действий.

Япония стала оправдывать свои агрессивные действия тем, что при заключении договора 9-ти держав ее обделили и не дали расширить свою территорию за счет Китая, тогда как Англия и Франция владеют громадными колониями. Италия вспомнила, что ее обдели-

ли при дележе добычи после первой империалистической войны и что она должна возместить себя за счет сфер влияния Англии и Франции. Германия, серьезно пострадавшая в результате первой империалистической войны и версальского мира, присоединилась к Японии и Италии и потребовала расширения своей территории в Европе, возвращения колоний, отнятых у нее победителями в первой империалистической войне.

Так стал складываться блок трех агрессивных государств.

На очереди встал вопрос о новом переделе мира посредством войны.

2. ОБОСТРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ, КРУШЕНИЕ ПОСЛЕВОЕННОЙ СИСТЕМЫ МИРНЫХ ДОГОВОРОВ, НАЧАЛО НОВОЙ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ

Вот перечень важнейших событий за отчетный период, положивших начало новой империалистической войне. В 1935 году Италия напала на Абиссинию и захватила ее. Летом 1936 года Германия и Италия организовали военную интервенцию в Испании, при чем Германия утвердилась на севере Испании и в испанском Марокко, а Италия — на юге Испании и на Балеарских островах. В 1937 году Япония, после захвата Манчжурии, вторглась в Северный и Центральный Китай, заняла Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и стала вытеснять из зоны оккупации своих иностранных конкурентов. В начале 1938 года Германия захватила Австрию, а осенью 1938 года — Судетскую область Чехословакии. В конце 1938 года Япония захватила Кантон, а в начале 1939 г. — остров Хайнань.

Таким образом, война, так незаметно подкрадываясь к народам, втянула в свою орбиту свыше пятисот миллионов населения, распространив сферу своего действия на громадную территорию, от Тяньцзиня, Шанхая и Кантона через Абиссинию до Гибралтара.

После первой империалистической войны государства-победители, главным образом Англия, Франция и США, создали новый режим отношений меж-

ду странами, послевоенный режим мира. Главными основами этого режима были на Дальнем Востоке — договор девяти держав, а в Европе — версальский и целый ряд других договоров. Лига наций призвана была регулировать отношения между странами в рамках этого режима на основе единого фронта государств, на основе коллективной защиты безопасности государств. Однако три агрессивных государства и начатая ими новая империалистическая война опрокинули вверх дном всю эту систему послевоенного мирного режима. Япония разорвала договор девяти держав, Германия и Италия — версальский договор. Чтобы освободить себе руки, все эти три государства вышли из Лиги наций.

Новая империалистическая война стала фактом.

В наше время не так-то легко сорваться сразу с цепи и ринуться прямо в войну, не считаясь с разного рода договорами, не считаясь с общественным мнением. Буржуазным политикам известно это достаточно хорошо. Известно это также фашистским заправилам. Поэтому фашистские заправилы, раньше чем ринуться в войну, решили известным образом обработать общественное мнение, т. е. ввести его в заблуждение, обмануть его.

Военный блок Германии и Италии против интересов Англии и Франции в Европе? Помилуйте, какой же это блок! «У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-навсего безобидная «ось Берлин — Рим», т. е. некоторая геометрическая формула насчет оси. (Смех).

Военный блок Германии, Италии и Японии против интересов США, Англии и Франции на Дальнем Востоке? Ничего подобного! «У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-навсего безобидный «треугольник Берлин — Рим — Токио», т. е. маленькое увлечение геометрией. (Общий смех).

Война против интересов Англии, Франции, США? Пустяки! «Мы» ведем войну против Коминтерна, а не против этих государств. Если не верите, читайте «антикоминтерновский пакт»,

заключенный между Италией, Германией и Японией.

Так думали обработать общественное мнение господа агрессоры, хотя не трудно было понять, что вся эта неуклюжая игра в маскировку шита белыми нитками, ибо смешно искать «очаги» Коминтерна в пустынях Монголии, в горах Абиссинии, в джбрах испанского Марокко. (Смех).

Но война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами. Ибо никакими «осями», «треугольниками» и «антикоминтерновскими пактами» невозможно скрыть тот факт, что Япония захватила за это время громадную территорию Китая, Италия — Абиссинию, Германия — Австрию и Судетскую область, Германия и Италия вместе — Испанию, — все это вопреки интересам неагрессивных государств. Война так и осталась войной, военный блок агрессоров — военным блоком, а агрессоры — агрессорами.

Характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала еще всеобщей, мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой.

Таким образом, на наших глазах происходит открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств без каких-либо попыток отпора и даже при некотором попустительстве со стороны последних.

Невероятно, но факт.

Чем объяснить такой однобокий и странный характер новой империалистической войны?

Как могло случиться, что неагрессивные страны, располагающие громадными возможностями, так легко и без отпора отказались от своих позиций и своих обязательств в угоду агрессорам?

Не объясняется ли это слабостью неагрессивных государств? Конечно, нет! Неагрессивные, демократические государства, взятые вместе, беспорно сильнее фашистских государств и в экономическом и в военном отношении.

Чем же об'яснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам?

Это можно было бы об'яснить, например, чувством боязни перед революцией, которая может разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну, и война примет мировой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что первая мировая империалистическая война дала победу революции в одной из самых больших стран. Они боятся, что вторая мировая империалистическая война может повести также к победе революции в одной или в нескольких странах.

Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию «нейтралитета».

Формально политике невмешательства можно было бы охарактеризовать таким образом: «пусть каждая страна защищается от агрессоров, как хочет и как может, наше дело сторона, мы будем торговать и с агрессорами и с их жертвами». На деле, однако, политика невмешательства означает попустительство агрессии, развязывание войны, — следовательно, превращение ее в мировую войну. В политике невмешательства сквозит стремление, желание — не мешать агрессорам творить свое черное дело, не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом, не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, — выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, «в интересах мира», и продиктовать ослабевшим участникам войны свои условия.

И дешево и мило!

Взять, например, Японию. Характер-

но, что перед началом вторжения Японии в Северный Китай все влиятельные французские и английские газеты, громогласно кричали о слабости Китая, об его неспособности сопротивляться, о том, что Япония с ее армией могла бы в два—три месяца покорить Китай. Потом европейско-американские политики стали выжидать и наблюдать. А потом, когда Япония развернула военные действия, уступили ей Шанхай, сердце иностранного капитала в Китае, уступили Кантон, очаг монопольного английского влияния в Южном Китае, уступили Хайнань, дали окружить Гонконг. Не правда ли, все это очень похоже на поощрение агрессора: дескать, влезай дальше в войну, а там посмотрим.

Или, например, взять Германию. Уступили ей Австрию, несмотря на наличие обязательства защищать ее самостоятельность, уступили Судетскую область, бросили на произвол судьбы Чехословакию, нарушив все и всякие обязательства, а потом стали крикливо лгать в печати о «слабости русской армии», о «разложении русской авиации», о «беспорядках» в Советском Союзе, толкая немцев дальше на восток, обещая им легкую добычу и приговаривая: вы только начните войну с большевиками, а дальше все пойдет хорошо. Нужно признать, что это тоже очень похоже на подталкивание, на поощрение агрессора.

Характерен шум, который подняла англо-французская и северо-американская пресса по поводу Советской Украины. Деятели этой прессы до хрипоты кричали, что немцы идут на Советскую Украину, что они имеют теперь в руках так называемую Карпатскую Украину, насчитывающую около 700 тысяч населения, что немцы не далее, как весной этого года присоединят Советскую Украину, имеющую более 30 миллионов населения, к так называемой Карпатской Украине. Похоже на то, что этот подозрительный шум имел своей целью поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований.

Конечно, вполне возможно, что в

Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить слона, т. е. Советскую Украину, к козьявке, т. е. к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей стране найдется необходимое количество смиренных рубах для таких сумасшедших. (*Взрыв аплодисментов*). Но если отбросить прочь сумасшедших и обратиться к нормальным людям, то разве не ясно, что смешно и глупо говорить серьезно о присоединении Советской Украины к так называемой Карпатской Украине? Подумайте только. Пришла козьявка к слону и говорит ему, подбоченясь: «Эх ты, братец ты мой, до чего мне тебя жалко... Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без национального гнета, без фашистских заправил, — какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу не заметить, — нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мне... (*Общий смех*). Ну что ж, так и быть, разрешаю тебе присоединить свою небольшую территорию к моей необъятной территории...». (*Общий смех и аплодисменты*).

Еще более характерно, что некоторые политики и деятели прессы Европы и США, потеряв терпение в ожидании «похода на Советскую Украину», сами начинают разоблачать действительную подоплеку политики невмешательства. Они прямо говорят и пишут черным по белому, что немцы жестоко их «разочаровали», так как, вместо того, чтобы двинуться дальше на восток, против Советского Союза, они, видите ли, повернули на запад и требуют себе колоний. Можно подумать, что немцам отдали районы Чехословакии, как цену за обязательство начать войну с Советским Союзом, а немцы отказываются теперь платить по векселю, посылая их куда-то подальше.

Я далек от того, чтобы морализировать по поводу политики невмешательства, говорить об измене, о предательстве и т. п. Наивно читать мораль людям, не признающим человеческой морали. Политика есть политика, как говорят старые, прожженные буржуазные дипломаты. Необходимо, однако, заметить, что

большая и опасная политическая игра, начатая сторонниками политики невмешательства, может окончиться для них серьезным провалом.

Таково действительное лицо господствующей ныне политики невмешательства.

Такова политическая обстановка в капиталистических странах.

3. СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ

Война создала новую обстановку в отношениях между странами. Она внесла в эти отношения атмосферу тревоги и неуверенности. Подорвав основы послевоенного мирного режима и опрокинув элементарные понятия международного права, война поставила под вопрос ценность международных договоров и обязательств. Пацифизм и проекты разоружения оказались похороненными в гроб. Их место заняла лихорадка вооружения. Стали вооружаться все, от малых до больших государств, в том числе и прежде всего государства, проводящие политику невмешательства. Никто уже не верит в елейные речи о том, что мюнхенские уступки агрессорам и мюнхенское соглашение положили, будто бы, начало новой эре «умиротворения». Не верят в них также сами участники мюнхенского соглашения, Англия и Франция, которые не менее других стали усиливать свое вооружение.

Понятно, что СССР не мог пройти мимо этих грозных событий. Несомненно, что всякая даже небольшая война, начатая агрессорами где-либо в отдаленном уголке мира, представляет опасность для миролюбивых стран. Тем более серьезную опасность представляет новая империалистическая война, успевшая уже втянуть в свою орбиту более пятисот миллионов населения Азии, Африки, Европы. Ввиду этого наша страна, неуклонно проводя политику сохранения мира, развернула вместе с тем серьезнейшую работу по усилению боевой готовности нашей Красной армии, нашего Красного Военно-Морского флота.

Вместе с тем в интересах укрепления своих международных позиций Советский Союз решил предпринять и неко-

торые другие шаги. В конце 1934 г. наша страна вступила в Лигу наций, исходя из того, что, несмотря на ее слабость, она все же может пригодиться, как место разоблачения агрессоров и как некоторый, хотя и слабый, инструмент мира, могущий тормозить развязывание войны. Советский Союз считает, что в такое тревожное время не следует пренебрегать даже такой слабой международной организацией, как Лига наций. В мае 1935 г. был заключен договор между Францией и Советским Союзом о взаимной помощи против возможного нападения агрессоров. Одновременно с этим был заключен аналогичный договор с Чехословакией. В марте 1936 г. Советский Союз заключил договор с Монгольской Народной Республикой о взаимной помощи. В августе 1937 г. был заключен договор о взаимном ненападении между Советским Союзом и Китайской Республикой.

В этих трудных международных условиях проводил Советский Союз свою внешнюю политику, отстаивая дело сохранения мира.

Внешняя политика Советского Союза ясна и понятна:

1. Мы стоим за мир и укрепление деловых связей со всеми странами, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить интересы нашей страны.

2. Мы стоим за мирные, близкие и добрососедские отношения со всеми соседними странами, имеющими с СССР общую границу, стоим и будем стоять на этой позиции, поскольку эти страны будут держаться таких же отношений с Советским Союзом, поскольку они не попытаются нарушить, прямо или косвенно, интересы целостности и неприкосновенности границ Советского государства.

II. ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Перейдем к внутреннему положению нашей страны.

С точки зрения внутреннего положения Советского Союза отчетный период

3. Мы стоим за поддержку народов, ставших жертвами агрессии и борющихся за независимость своей родины.

4. Мы не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность Советских границ.

Такова внешняя политика Советского Союза. *(Бурные продолжительные аплодисменты).*

В своей внешней политике Советский Союз опирается:

1. На свою растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь;

2. На морально-политическое единство нашего советского общества;

3. На дружбу народов нашей страны;

4. На свою Красную армию и Военно-Морской Красный флот;

5. На свою мирную политику;

6. На моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохранении мира;

7. На благоразумие тех стран, которые не заинтересованы по тем или иным причинам в нарушении мира.

★ ★ ★

Задачи партии в области внешней политики:

1. Проводить и впредь политику мира и укрепления деловых связей со всеми странами;

2. Соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу страну провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками;

3. Всемерно укреплять боевую мощь нашей Красной армии и Военно-Морского Красного флота;

4. Крепить международные связи дружбы с трудящимися всех стран, заинтересованными в мире и дружбе между народами.

представляет картину дальнейшего подема всего народного хозяйства, роста культуры, укрепления политической мощи страны.

Наиболее важным результатом в области развития народного хозяйства за отчетный период нужно признать завершение реконструкции промышленности и земледелия на основе новой, современной техники. У нас нет уже больше, или почти нет больше старых заводов с их отсталой техникой и старых крестьянских хозяйств с их допотопным оборудованием. Основу нашей промышленности и земледелия составляет теперь новая, современная техника. Можно сказать без преувеличения, что с точки зрения техники производства, с точки зрения насыщенности промышленности и земледелия новой техникой, наша страна является наиболее передовой в сравнении с любой другой страной, где старое оборудование висит на ногах у производства и тормозит дело внедрения новой техники.

В области общественно-политического развития страны наиболее важным завоеванием за отчетный период нужно признать окончательную ликвидацию остатков эксплуататорских, классов, сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции в один общий трудовой фронт, укрепление морально-политического единства советского общества, укрепление дружбы народов нашей страны и, как

результат всего этого,— полную демократизацию политической жизни страны, создание новой Конституции. Никто не смеет оспаривать, что наша Конституция является наиболее демократической в мире, а результаты выборов в Верховный Совет СССР, равно как и в Верховные Советы союзных республик — наиболее показательными.

В итоге всего этого мы имеем полную устойчивость внутреннего положения и такую прочность власти в стране, которой могло бы позавидовать любое правительство в мире.

Рассмотрим конкретные данные об экономическом и политическом положении нашей страны.

1. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

а) *Промышленность.* Движение нашей промышленности за отчетный период представляет картину неуклонного подъема. Подъем этот отражает не только рост продукции вообще, но, прежде всего, — процветание социалистической промышленности, с одной стороны, гибель частной промышленности, с другой стороны.

Вот соответствующая таблица:

Рост промышленности СССР за 1934—1938 г.г.

	1933 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	в % к предыдущему году					1938 г. в % к 1933 г.
							1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	
в млн. руб. в ценах 1926/27 г.												
Вся продукция	42030	50477	62137	80929	90166	100375	120,1	123,1	130,2	111,4	111,3	238,8
в том числе:												
1. Социалистическая промышленность	42002	50443	62114	80898	90138	100349	120,1	123,1	130,2	111,4	111,3	238,9
2. Частная промышленность	28	34	23	31	28	26	121,4	67,6	134,8	90,3	92,9	92,9
в процентах												
Вся продукция	100	100	100	100	100	100						
в том числе:												
1. Социалистическая промышленность	99,93	99,93	99,96	99,96	99,97	99,97						
2. Частная промышленность	0,07	0,07	0,04	0,04	0,03	0,03						

Из этой таблицы видно, что наша промышленность выросла за отчетный период более, чем в два раза, при чем весь рост продукции шел за счет социалистической продукции.

Из этой таблицы видно, далее, что социалистическая система является единственной системой промышленности СССР.

Из этой таблицы видно, наконец, что окончательная гибель частной промышленности является фактом, которого не могут отрицать теперь даже слепые.

Гибель частной промышленности нельзя считать случайностью. Она погибла, прежде всего, потому, что социалистическая система хозяйства является высшей системой в сравнении с системой капиталистической. Она погибла,

во-вторых, потому, что социалистическая система хозяйства дала нам возможность в несколько лет переоборудовать всю нашу социалистическую промышленность на новой, современной технической базе. Такой возможности не дает и не может дать капиталистическая система хозяйства. Это факт, что с точки зрения техники производства, с точки зрения объема насыщенности промышленного производства новой техникой, наша промышленность стоит на первом месте в мире.

Если взять темпы роста нашей промышленности в процентах к довоенному уровню и сравнить их с темпами роста промышленности главных капиталистических стран, то получится следующая картина:

Рост промышленности СССР и главных капиталистических стран за 1913—1938 г.г.

	1913 г.	1933 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.
СССР	100,0	380,5	457,0	562,6	732,7	816,4	908,8
США	100,0	108,7	112,9	128,6	149,8	156,9	120,0
Англия	100,0	87,0	97,1	104,0	114,2	121,9	113,3
Германия	100,0	75,4	90,4	105,9	118,1	129,3	131,6
Франция	100,0	107,0	99,0	94,0	98,0	101,0	93,2

Из этой таблицы видно, что наша промышленность выросла в сравнении с довоенным уровнем более, чем в девять раз, тогда как промышленность главных капиталистических стран продолжает топтаться вокруг довоенного уровня, превышая его всего лишь на 20—30 процентов.

Это значит, что по темпам роста наша социалистическая промышленность стоит на первом месте в мире.

Выходит, таким образом, что по технике производства и темпам роста нашей промышленности мы уже догнали и перегнали главные капиталистические страны.

В чем же мы отстаем? Мы все еще отстаем в экономическом отношении, т. е. в отношении размеров нашего промышленного производства на душу населения. Мы произвели в 1938 г. около

15 миллионов тонн чугуна, а Англия—7 миллионов тонн. Казалось бы, дело обстоит у нас лучше, чем в Англии. Но если разложить эти тонны чугуна на количество населения, то получается, что в Англии на каждую душу населения в 1938 году приходилось 145 килограммов чугуна, а в СССР— всего 87 килограммов. Или еще: Англия произвела в 1938 г. 10 миллионов и 800 тысяч тонн стали и около 29 миллиардов киловатт-часов (производство электроэнергии), а СССР произвел 18 миллионов тонн стали и более 39 миллиардов киловатт-часов. Казалось бы, дело у нас обстоит лучше, чем в Англии. Но если разложить все эти тонны и киловатт-часы на количество населения, то получается, что в Англии приходилось на каждую душу населения в 1938 году 226 килограммов стали и 620 киловатт-часов,

тогда как в СССР приходилось всего 107 килограммов стали и 233 киловатт-часа на душу населения.

В чем же дело? А в том, что населения у нас в несколько раз больше, чем в Англии, стало быть и потребностей больше, чем в Англии: в Советском Союзе 170 миллионов населения, а в Англии не более 46 миллионов. Экономическая мощность промышленности выражается не в объеме промышленной продукции вообще, безотносительно к населению страны, а в объеме промышленной продукции, взятом в его прямой связи с размерами потребления этой продукции на душу населения. Чем больше приходится промышленной продукции на душу населения, тем выше экономическая мощность страны, и наоборот, чем меньше приходится продукции на душу населения, тем ниже экономическая мощность страны и ее промышленности. Следовательно, чем больше населения в стране, тем больше в стране потребностей в предметах потребления, стало быть, тем больше должен быть объем промышленного производства такой страны.

Взять, например, производство чугуна. Чтобы перегнать Англию экономически в области производства чугуна, производство которого составляло там в 1938 году 7 млн. тонн, нам нужно довести ежегодную выплавку чугуна до 25 миллионов тонн. Чтобы перегнать экономически Германию, которая произвела в 1938 году всего 18 миллионов тонн чугуна, нам нужно довести ежегодную выплавку чугуна до 40—45 миллионов тонн. А чтобы перегнать США экономически, имея в виду не уровень 1938 кризисного года, когда США произвели всего 18,8 миллиона тонн чугуна, а уровень 1929 года, когда в США был подъем промышленности и когда там производилось около 43 миллионов тонн чугуна, мы должны довести ежегодную выплавку чугуна до 50 — 60 миллионов тонн.

То же самое нужно сказать о производстве стали, проката, о машиностроении и т. д., так как все эти отрасли промышленности, как и остальные от-

расли, зависят в последнем счете от производства чугуна.

Мы перегнали главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо. Но этого мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе.

Что требуется для того, чтобы перегнать экономически главные капиталистические страны? Для этого требуется, прежде всего, серьезное и неукротимое желание идти вперед и готовность пойти на жертвы, пойти на серьезные капитальные вложения для всемерного расширения нашей социалистической промышленности. Есть ли у нас эти данные? Безусловно есть! Для этого требуется, далее, наличие высокой техники производства и высоких темпов развития промышленности. Есть ли у нас эти данные? Безусловно есть! Для этого требуется, наконец, время. Да, товарищи, время. Нужно строить новые заводы. Нужно ковать новые кадры для промышленности. Но для этого необходимо время, и не малое. Невозможно в 2—3 года перегнать экономически главные капиталистические страны. Для этого требуется несколько больше времени. Взять, например, тот же чугун и его производство. В продолжение какого периода времени можно перегнать экономически главные капиталистические страны в области производства чугуна? Некоторые работники Госплана старого состава предлагали при составлении второго пятилетнего плана запланировать производство чугуна к концу второй пятилетки в размере 60 миллионов тонн. Это значит, что они исходили из возможности среднегодового прироста выплавки чугуна в размере 10 миллионов тонн. Это была, конечно, фантастика, ес-

ли не хуже. Впрочем, эти товарищи удалялись в фантастику не только в области производства чугуна. Они считали, например, что в течение второй пятилетки ежегодный прирост населения в СССР должен составить три—четыре миллиона человек, или даже больше этого. Это тоже была фантастика, если не хуже. Но если отбросить прочь фантазеров и стать на реальную почву, то можно принять, как вполне возможный, среднегодовой прирост выплавки чугуна в размере двух—двух с половиной миллионов тонн, имея в виду нынешнее состояние техники выплавки чугуна. История промышленности главных капиталистических стран, так же как и нашей страны, показывает, что эта норма ежегодного прироста является напряженной, но вполне достижимой.

Стало быть, требуется время, и не малое, для того, чтобы перегнать экономически главные капиталистические страны. И чем выше будет у нас производительность труда, чем более совершенствоваться будет у нас техника производства, тем скорее можно будет выполнить эту важнейшую экономическую задачу, тем больше можно будет сократить сроки выполнения этой задачи.

б) *Сельское хозяйство.* Развитие сельского хозяйства шло за отчетный период, так же как и развитие промыш-

ленности, по линии под'ема. Под'ем этот выражается не только в росте сельскохозяйственной продукции, но, прежде всего, в росте и укреплении социалистического сельского хозяйства, с одной стороны, гибели единоличного хозяйства, с другой стороны. В то время как посевная площадь зерновых у колхозов выросла с 75 миллионов в 1933 г. до 92 миллионов гектаров в 1938 г., посевная площадь зерновых у единоличных сократилась за этот период с 15,7 миллиона гектаров до 600 тысяч гектаров, т. е. до 0,6 процента всей посевной площади зерновых. Я уже не говорю о посевных площадях по техническим культурам, где роль единоличного хозяйства сведена к нулю. Известно, кроме того, что в колхозах объединено теперь 18 млн. 800 тысяч крестьянских дворов, т. е. 93,5 процента всех крестьянских дворов, не считая рыболовецких и промысловых колхозов.

Это значит, что колхозы окончательно закреплены и упрочены, а социалистическая система хозяйства является теперь единственной формой нашего земледелия.

Если сравнить движение посевных площадей по всем культурам за отчетный период с размерами посевных площадей дореволюционного периода, то получится следующая картина:

Посевные площади всех культур по СССР

	В миллионах гектаров						1938 г. в %/о к 1913 г.
	1913 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	
Вся посевная площадь	105,0	131,5	132,8	133,8	135,3	136,9	130,4
В том числе:							
а) Зерновые	94,4	104,7	103,4	102,4	104,4	102,4	108,5
б) Технические	4,5	10,7	10,6	10,8	11,2	11,0	244,4
в) Огородно-бахчевые	3,8	8,8	9,9	9,8	9,0	9,4	247,4
г) Кормовые	2,1	7,1	8,6	10,6	10,6	14,1	671,4

Из этой таблицы видно, что посевные площади выросли у нас по всем культурам и прежде всего — по линии кормовых, технических и огородно-бахчевых культур.

Это значит, что наше земледелие становится более квалифицированным и продуктивным, а внедрение правильного севооборота получает под собою реальную почву.

Как росла вооруженность наших кол-

хозов и совхозов тракторами, комбайнами и другими машинами за отчетный

период, — ответ на это дают следующие таблицы:

1) Тракторный парк в сельском хозяйстве СССР

	1933 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	1938 г. в %/о к 1933 г.
а) Количество тракторов (в тыс. шт.)							
Всего тракторов	210,9	276,4	360,3	422,7	454,5	483,5	229,3
В том числе:							
а) Тракторов в МТС	123,2	177,3	254,7	328,5	365,8	394,0	319,8
б) Тракторов в совхозах и подсобных с/х. предприятиях	83,2	95,5	102,1	88,5	84,5	85,0	102,2
б) Мощность в тыс. лош. сил							
Всех тракторов	3.209,2	4.462,8	6.184,0	7.672,4	8.385,0	9.256,2	288,4
В том числе:							
а) Тракторов в МТС	1.758,1	2.753,9	4.281,6	5.856,0	6.679,2	7.437,0	423,0
б) Тракторов в совхозах и подсобных с/х. предприятиях	1.401,7	1.669,5	1.861,4	1.730,7	1.647,5	1.751,8	125,0

2) Парк комбайнов и других машин в сельском хозяйстве СССР

(в тыс. штук; на конец года)

	1933 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	1938 г. в %/о к 1933 г.
Комбайны	25,4	32,3	50,3	87,8	128,8	153,5	604,3
Двигатели внутреннего сгорания и локомобили . . .	48,0	60,9	69,1	72,4	77,9	83,8	174,6
Сложные и полусложные зерновые молотилки	120,3	121,9	120,1	123,7	126,1	130,8	108,7
Грузовые автомобили . . .	26,6	40,3	63,7	96,2	144,5	195,8	736,1
Легковые автомобили (в шт.)	3.991	5.533	7.555	7.630	8.156	9.594	240,4

Если к этим цифрам добавить тот факт, что количество машино-тракторных станций за отчетный период выросло у нас с 2900 единиц в 1934 г. до 6350 единиц в 1938 г., то можно на основании всех этих данных с уверенностью сказать, что реконструкция нашего земледелия на основе новой, современной техники — уже завершена в основном.

Наше земледелие является, следова-

тельно, не только наиболее крупным и механизированным, а значит и наиболее товарным земледелием, но и наиболее оснащенным современной техникой, чем земледелие любой другой страны.

Если взять движение роста продукции зерновых и технических культур за отчетный период в сравнении с дореволюционным периодом, то данные дают следующую картину:

Валовая продукция зерновых и технических культур по СССР

	В миллионах центнеров						1938 г. в % ⁰ / ₀ к 1913 г.
	1913 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	
Зерновые	801,0	894,0	901,0	827,3	1202,9	949,9	118,6
Хлопок (сырец)	7,4	11,8	17,2	23,9	25,8	26,9	363,5
Лен (волокло)	3,3	5,3	5,5	5,8	5,7	5,46	165,5
Сахарная свекла	109,0	113,6	162,1	168,3	218,6	166,8	153,0
Масличные	21,5	36,9	42,7	42,3	51,1	46,6	216,7

Из этой таблицы видно, что, несмотря на засуху в восточных и юго-восточных районах в 1936 г. и в 1938 г. и несмотря на небывало высокий урожай в 1913 году, рост валовой продукции зерна и технических культур шел у нас за отчетный период неуклонно вверх в сравнении с уровнем 1913 года.

Особенно интересен вопрос о товарности колхозно-совхозного зернового производства. Известный статистик г. Немчинов высчитал, что из пяти миллиардов пудов валовой продукции зерна в довоенное время на рынок отпускалось товарного зерна всего около 1 миллиарда 300 миллионов пудов, что составляет 26 процентов товарности тогдашнего зернового производства. Тов. Немчинов считает, что товарность колхозного и совхозного производства, как производства крупного, например, в 1926—1927 годах составляла около 47 процентов валовой продукции, а товарность единоличного крестьянского хозяйства—около 12 процентов. Если подойти к делу более осторожно и принять товарность колхозно-совхозного производства в 1938 году в 40 процентов валового производства, то получится, что наше социалистическое зерновое хозяйство могло отпустить и действительно отпустило в этом году на сторону около двух миллиардов и трехсот миллионов пудов товарного зерна, т. е. на 1 миллиард пудов больше товарного зерна, чем довоенное зерновое производство.

Следовательно, высокая товарность совхозно-колхозного производства является его важнейшей особенностью, имеющей серьезнейшее значение для снабжения страны.

В этой именно особенности колхозов

и совхозов заключается секрет того, что нашей стране удалось так легко и быстро разрешить зерновую проблему, проблеме достаточного снабжения громадной страны товарным зерном.

Следует отметить, что за последние три года ежегодные заготовки зерна не спускались у нас ниже миллиарда шестисот миллионов пудов зерна, подымаясь иногда, например, в 1937 году до миллиарда 800 миллионов пудов. Если добавить к этому около 200 миллионов ежегодной закупки зерна да несколько сот миллионов по линии колхозной торговли зерном, то мы получим в общем ту сумму отпуска на сторону товарного хлеба колхозами и совхозами, о которой упоминалось выше.

Интересно, далее, отметить, что за последние три года база товарного зерна переместилась из Украины, которая считалась раньше житницей нашей страны, на север и восток, т. е. в РСФСР. Известно, что за последние два—три года Украина заготавливает зерна всего около 400 миллионов пудов ежегодно, тогда как РСФСР заготавливает за эти годы ежегодно миллиард сто — миллиард двести миллионов пудов товарного зерна.

Так обстоит дело с зерновым производством.

Что касается животноводства, то и в этой, наиболее отсталой, отрасли сельского хозяйства намечались за последние годы серьезные сдвиги. Правда, по конскому поголовью и овцеводству мы еще отстаем от дореволюционного уровня, но по крупному рогатому скоту и свиноводству мы уже перевалили дореволюционный уровень.

Вот данные на этот счет:

Погодовые скота по СССР (в млн. голов)

	На июль месяц							1938 г. в %/о	
	1916 г. по дан- ным пе- реписи	1933	1934	1935	1936	1937	1938	К 1916 году по пе- реписи	К 1933 г.
Лошади	35,8	16,6	15,7	15,9	16,6	16,7	17,5	48,9	105,4
Крупный рогатый скот	60,6	38,4	42,4	49,2	56,7	57,0	63,2	104,3	164,6
Овцы и козы	121,2	50,2	51,9	61,1	73,7	81,3	102,5	84,6	204,2
Свиньи	20,9	12,1	17,4	22,5	30,5	22,8	30,6	146,4	252,9

Не может быть сомнения, что отсталость в области коневодства и овцеводства будет ликвидирована в кратчайший срок.

в) *Товарооборот, транспорт.* Вместе с подъемом промышленности и сельского хозяйства рос и товарооборот в стране. Розничная сеть государственной и коо-

перативной торговли выросла за отчетный период на 25 процентов. Розничный оборот государственной и кооперативной торговли вырос на 178 процентов. Оборот колхозно-базарной торговли вырос на 112 процентов.

Вот соответствующая таблица:

Товарооборот

	1933 г.	1934 г.	1935 г.	1936 г.	1937 г.	1938 г.	1938 г. в %/о к 1933 г.
1. Розничная сеть государственной и кооперативной торговли (магазины и палатки) — на конец года	285.355	286.236	268.713	289.473	327.361	356.930	125,1
2. Розничный оборот государственной и кооперативной торговли (включая общественное питание) — в млн. руб.	49.789,2	61.814,7	81.712,1	106.760,9	125.943,2	138.574,3	278,3
3. Оборот колхозной базарной торговли в млн. руб.	11.500,0	14.000,0	14.500,0	15.607,2	17.799,7	24.399,2	212,2
4. Областные торговые базы сбытов Наркомпищепрома, НКЛеспрома, Наркомтяжпрома, НКЛеса, НКМестпромов союзных республик — на конец года	718	836	1.141	1.798	1.912	1.994	277,7

Понятно, что товарооборот в стране не мог бы так развернуться без известного роста транспортных перевозок. И действительно, перевозки выросли за отчетный период по всем видам транспорта, особенно по железнодорожному и воздушному транспорту. Перевозки

выросли также по водному транспорту, но с большими колебаниями, а в 1938 году перевозки по водному транспорту дали, к сожалению, некоторое снижение в сравнении с предыдущим годом.

Вот соответствующая таблица:

Грузооборот

	1933	1934	1935	1936	1937	1938	1938 г. в % к 1933 г.
Железные дороги (в миллиардах тонно-километров)	169,5	205,7	258,1	323,4	354,8	369,1	217,7
Речной и морской транспорт (в миллиардах тонно-километров)	50,2	56,5	68,3	72,3	70,1	66,0	131,5
Гражданский воздушный флот (в миллионах тонно-километров).	3,1	6,4	9,8	21,9	24,9	31,7	1022,6

Не может быть сомнения, что некоторая отсталость водного транспорта в 1938 году будет ликвидирована в 1939 году.

2. ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НАРОДА

Продолжающийся подъем промышленности и сельского хозяйства не мог не привести и действительно привел к новому росту материального и культурного положения народа.

Уничтожение эксплуатации и укрепление социалистической системы в народном хозяйстве, отсутствие безработицы и связанной с ней нищеты в городе и деревне, громадное расширение промышленности и непрерывный рост численности рабочих, рост производительности труда рабочих и колхозников, закрепление земли навечно за колхозами и снабжение колхозов громадным количеством первоклассных тракторов и сельскохозяйственных машин, — все это создало реальные условия для дальнейшего роста материального положения рабочих и крестьян. Улучшение же материального положения рабочих и крестьян естественно привело к улучшению материального положения интеллигенции, представляющей значительную силу нашей страны и обслуживающей интересы рабочих и крестьян.

Теперь уже речь идет не о том, чтобы пристроить как-нибудь в промышленности и взять из милости на работу безработных и бездомных крестьян, отбившихся от деревни и живущих под страхом голода. Таких крестьян давно уже нет в нашей стране. И это, конечно, хорошо, ибо оно свидетельствует о за-

житочности нашей деревни. Теперь речь может идти лишь о том, чтобы предложить колхозам уважить нашу просьбу и отпускать нам для растущей промышленности ежегодно хотя бы около полтора миллиона молодых колхозников. Колхозы, ставшие уже зажиточными, должны иметь в виду, что без такой помощи с их стороны очень трудно будет расширять дальше нашу промышленность, а без расширения промышленности — не сможем удовлетворять растущий спрос крестьян на товары массового потребления. Колхозы имеют полную возможность удовлетворить эту нашу просьбу, так как обилие техники в колхозах освобождает часть работников в деревне, а эти работники, переведенные в промышленность, могли бы принести громадную пользу всему нашему народному хозяйству.

В итоге мы имеем следующие показатели улучшения материального положения рабочих и крестьян за отчетный период:

1. Народный доход возрос с 48,5 миллиарда рублей в 1933 г. до 105,0 миллиардов рублей в 1938 г.;

2. Численность рабочих и служащих поднялась с 22 миллионов с лишним человек в 1933 г. до 28 миллионов человек в 1938 г.;

3. Годовой фонд заработной платы рабочих и служащих вырос с 34.953 миллионов рублей до 96.425 миллионов рублей;

4. Среднегодовая заработная плата рабочих промышленности, составлявшая в 1933 г. 1.513 рублей, поднялась до 3.447 рублей в 1938 г.;

5. Денежные доходы колхозов поднялись с 5.661,9 миллиона рублей в

1933 г. до 14.180,1 миллиона рублей в 1937 г.;

6. Средняя выдача зерна в зерновых районах на один колхозный двор поднялась с 61 пуда в 1933 году до 144 пудов в 1937 году, не считая семян, семенных страховых фондов, кормового фонда для общественного скота, зернопоставок, натуроплаты работ МТС;

7. Государственные ассигнования по бюджету на социально-культурные мероприятия возросли с 5.839,9 миллиона рублей в 1933 г. до 35.202,5 миллиона рублей в 1938 году.

Что касается культурного положения

народа, то его под'ем шел вслед за под'емом материального положения народа.

С точки зрения культурного развития народа отчетный период был поистине периодом культурной революции. Внедрение в жизнь всеобщего-обязательного первоначального образования на языках национальностей СССР, рост числа школ и учащихся всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими школами специалистов, создание и укрепление новой, советской интеллигенции, — такова общая картина культурного под'ема народа.

Вот данные на этот счет:

1) Повышение культурного уровня народа

Показатели	Единица измерения	1933/34 г	1938/39 г.	1938/39 г. в % к 1933/34 г.
Число учащихся в школах всех ступеней	тыс. чел.	23.814	33.965,4	142,6
В том числе:				
по начальному образованию	„	17.873,5	21.288,4	119,1
по среднему образованию (общему и специальному)	„	5.482,2	12.076,0	220,3
по высшему образованию	„	458,3	601,0	131,1
Число обучающихся в СССР (включая все виды обучения)	„	—	47.442,1	—
Число массовых библиотек	тысяч	40,3	70,0	173,7
Число книг в них	млн.	86,0	126,6	147,2
Число клубных учреждений	тысяч	61,1	95,6	156,5
Число театров	единиц	587	790	134,6
Число киноустановок (без узкоплечных)	„	27.467	30.461	110,9
В том числе звуковых	„	498	15.202	в 31 раз
Число киноустановок (без узкоплечных) на селе	„	17.470	18.991	108,7
В том числе звуковых	„	24	6.670	в 278 раз
Годовой тираж газет	млн.	4.984,6	7.092,4	142,3

2) Построено школ за 1933—1938 г.г. по СССР

Г о д ы	Число школ		
	В городах и поселениях городского типа	В сельских местностях	В с е г о
1933	326	3.261	3.587
1934	577	3.488	4.065
1935	533	2.829	3.362
1936	1.505	4.206	5.711
1937	730	1.323	2.053
1938	583	1.246	1.829
Всего за 1933—38 г.г.	4.254	16.353	20.607

3) Выпущено молодых специалистов из высших учебных заведений за 1933—1938 г.г.
(в тыс.)

	1933	1934	1935	1936	1937	1938
Всего по СССР (не считая военных специалистов)	34,6	49,2	83,7	97,6	104,8	106,7
1. Инженеры промышленности и строительства	6,1	14,9	29,6	29,2	27,6	25,2
2. Инженеры транспорта и связи	1,8	4,0	7,6	6,6	7,0	6,1
3. Инженеры по механизации сельского хозяйства, агрономы, ветеринарные врачи и зоотехники	4,8	6,3	8,8	10,4	11,3	10,6
4. Экономисты и юристы	2,5	2,5	5,0	6,4	5,0	5,7
5. Преподаватели средней школы, рабфаков, техникумов и другие работники просвещения, в том числе работники искусства	10,5	7,9	12,5	21,6	31,7	35,7
6. Врачи, провизоры и работники физической культуры	4,6	2,5	7,5	9,2	12,3	13,6
7. Другие специальности	4,3	11,1	12,7	14,2	9,9	9,8

В результате всей этой громадной культурной работы народилась и сложилась у нас многочисленная новая, советская интеллигенция, вышедшая из рядов рабочего класса, крестьянства, советских служащих, плоть от плоти и кровь от крови нашего народа, — интеллигенция, не знающая ярма эксплуатации, ненавидящая эксплуататоров и готовая служить народам СССР верой и правдой.

Я думаю, что нарощение этой новой, народной, социалистической интеллигенции является одним из самых важных результатов культурной революции в нашей стране.

3. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УПРОЧЕНИЕ СОВЕТСКОГО СТРОЯ

Один из важнейших результатов отчетного периода состоит в том, что он привел к дальнейшему упрочению внутреннего положения страны, к дальнейшему упрочению советского строя.

Иначе и не могло быть. Утверждение социалистической системы во всех отраслях народного хозяйства, подъем промышленности и сельского хозяйства, подъем материального положения трудящихся, повышение культуры народных масс, повышение их политической активности, — все это, осуществленное под руководством Советской власти, не могло не привести к дальнейшему упрочению советского строя.

Особенность советского общества нынешнего времени, в отличие от любого

капиталистического общества, состоит в том, что в нем нет больше антагонистических, враждебных классов, эксплуататорские классы ликвидированы, а рабочие, крестьяне и интеллигенция, составляющие советское общество, живут и работают на началах дружественного сотрудничества. В то время как капиталистическое общество раздирается непримиримыми противоречиями между рабочими и капиталистами, между крестьянами и помещиками, что ведет к неустойчивости его внутреннего положения, советское общество, освобожденное от ига эксплуатации, не знает таких противоречий, свободно от классовых столкновений и представляет картину дружественного сотрудничества рабочих, крестьян, интеллигенции. На основе этой общности и развернулись такие движущие силы, как морально-политическое единство советского общества, дружба народов СССР, советский патриотизм. На этой же основе возникли Конституция СССР, принятая в ноябре 1936 г., и полная демократизация выборов в верховные органы страны.

Что касается самих выборов в верховные органы страны, то они послужили блестящей демонстрацией того самого единства советского общества и той самой дружбы народов СССР, которые составляют характерную особенность внутреннего положения нашей страны. Как известно, на выборах в Верховный Совет СССР в декабре 1937 г. за блок коммунистов и беспартийных голосовало

почти 90 миллионов избирателей, т. е. 98,6 процента всех принимавших участие в голосовании, а на выборах в Верховные Советы союзных республик в июне 1938 г. за блок коммунистов и беспартийных голосовало 92 миллиона избирателей, т. е. 99,4 процента всех принимавших участие в голосовании.

Вот где основа прочности советского строя и источник неиссякаемой силы Советской власти.

Это значит, между прочим, что в случае войны тыл и фронт нашей армии ввиду их однородности и внутреннего единства — будут крепче, чем в любой другой стране, о чем следовало бы помнить зарубежным любителям военных столкновений.

Некоторые деятели зарубежной прессы болтают, что очищение советских организаций от шпионов, убийц и вредителей, вроде Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Тухачевского, Розенгольца, Бухарина и других извергов «поколебало» будто бы советский строй, внесло «разложение». Эта пошлая болтовня стоит того, чтобы поиздеваться над ней. Как может поколебать и разложить советский строй очищение советских организаций от вредных и враждебных элементов? Троцкистско-бухаринская кучка шпионов, убийц и вредителей, пресмыкавшаяся перед границей, проникнутая рабским чувством низкопоклонства перед каждым иностранным чинушей и готовая пойти к нему в шпионское услужение, — кучка людей, не понявшая того, что последний советский гражданин, свободный от цепей капитала, стоит головой выше любого зарубежного высокопоставленного чинуши, влачащего на плечах ярмо капиталистического рабства, — кому нужна эта жалкая банда продажных рабов, какую ценность она может представлять для народа и кого она может «разложить»? В 1937 году были приговорены к расстрелу Тухачевский, Якир, Уборевич и другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Выборы дали Советской власти 98,6 процента всех участников голосования. В начале 1938 г. были приговорены к расстрелу Розенголец, Рыков, Бухарин и

другие изверги. После этого состоялись выборы в Верховные Советы союзных республик. Выборы дали Советской власти 99,4 процента всех участников голосования. Спрашивается, где же тут признаки «разложения» и почему это «разложение» не сказалось на результатах выборов?

Слушая этих иностранных болтунов, можно притти к выводу, что если бы оставили на воле шпионов, убийц и вредителей и не мешали им вредить, убивать и шпионить, то советские организации были бы куда более прочными и устойчивыми. (Смех). Не слишком ли рано выдают себя с головой эти господа, так нагло защищающие шпионов, убийц, вредителей?

Не вернее ли будет сказать, что очищение советских организаций от шпионов, убийц, вредителей должно было привести и действительно привело к дальнейшему укреплению этих организаций?

О чем говорят, например, события у озера Хасан, как не о том, что очищение советских организаций от шпионов и вредителей является вернейшим средством их укрепления?

★ ★ ★

Задачи партии в области внутренней политики:

1. Развернуть дальше под'ем нашей промышленности, рост производительности труда, усовершенствование техники производства с тем, чтобы, после того, как уже перегнали главные капиталистические страны в области техники производства и темпов роста промышленности, — перегнать их также экономически в течение ближайших 10—15 лет.

2. Развернуть дальше под'ем нашего земледелия и животноводства с тем, чтобы в течение ближайших 3—4 лет добиться ежегодного производства зерна 8 миллиардов пудов со средней урожайностью на гектар в 12—13 центнеров, увеличить производство по техническим культурам на 30—35 процентов в среднем, увеличить поголовье овец и свиней вдвое, поголовье крупного рогатого

скота — процентов на 40, поголовье лошадей — процентов на 35.

3. Продолжать дальше улучшение материального и культурного положения рабочих, крестьян, интеллигенции.

4. Неуклонно проводить в жизнь нашу социалистическую Конституцию, осуществлять до конца демократизацию политической жизни страны, укреплять морально-политическое единство советского общества и дружественное

сотрудничество рабочих, крестьян, интеллигенции, укреплять всемерно дружбу народов СССР, развивать и культивировать советский патриотизм.

5. Не забывать о капиталистическом окружении, помнить, что иностранная разведка будет засылать в нашу страну шпионов, убийц, вредителей, помнить об этом и укреплять нашу социалистическую разведку, систематически помогая ей громить и корчевать врагов народа.

III. ДАЛЬНЕЙШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ ВКП(б)

С точки зрения политической линии и повседневной практической работы отчетный период был периодом полной победы генеральной линии нашей партии. *(Бурные продолжительные аплодисменты).*

Утверждение социалистической системы во всем народном хозяйстве, завершение реконструкции промышленности и земледелия на основе новой техники, досрочное выполнение второго пятилетнего плана по промышленности, подьем ежегодного производства зерна до уровня 7 миллиардов пудов, уничтожение нищеты и безработицы и подьем материального и культурного положения народа, — таковы основные достижения, демонстрирующие правильность политики нашей партии, правильность ее руководства.

Перед лицом этих грандиозных достижений противники генеральной линии нашей партии, разные там «левые» и «правые» течения, всякие там троцкистско-пятаковские и бухаринско-рыковские перерожденцы оказались вынужденными смяться в комок, спрятать свои затасканные «платформы» и уйти в подполье. Не имея мужества покориться воле народа, они предпочли слиться с меньшевиками, эсерами, фашистами, пойти в услужение к иностранной разведке, наняться в шпионы и обзавестись помогать врагам Советского Союза расчленив нашу страну и восстановить в ней капиталистическое рабство.

Таков бесславный конец противников линии нашей партии, ставших потом врагами народа.

Разгромив врагов народа и очистив от перерожденцев партийные и советские организации, партия стала еще более единой в своей политической и организационной работе, она стала еще более сплоченной вокруг своего Центрального Комитета. *(Бурные аплодисменты. Все делегаты встают и стоя приветствуют докладчика. Возгласы: «Товарищу Сталину ура! Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствует ЦК нашей партии! Ура!»).*

Рассмотрим конкретные данные о развитии внутренней жизни партии, об ее организационной и пропагандистской работе за отчетный период.

1. МЕРЫ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВА ПАРТИИ. РАЗУКРУПНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ. ПРИБЛИЖЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ ОРГАНОВ К НИЗОВОЙ РАБОТЕ

Укрепление партии и ее руководящих органов осуществлялось за отчетный период в первую очередь по двум линиям: по линии регулирования состава партии, вытеснения ненадежных и отбора лучших, и по линии разукрупнения организаций, уменьшения их размеров и приближения руководящих органов к низовой, оперативной, конкретной работе.

На XVII съезде партии было представлено 1.874.488 членов партии. Если сравнить эти данные с данными о коли-

честве членов партии, представленных на предыдущем, XVI съезде партии, то получится, что за период от XVI съезда партии до XVII съезда в партию прибыло 600 тысяч новых членов партии. Партия не могла не почувствовать, что такой массовый наплыв в партию в условиях 1930—1933 годов является нездоровым и нежелательным расширением ее состава. Партия знала, что в ее ряды идут не только честные и преданные, но и случайные люди, но и карьеристы, стремящиеся использовать знамя партии в своих личных целях. Партия не могла не знать, что она сильна не только количеством своих членов, но, прежде всего, их качеством. В связи с этим встал вопрос о регулировании состава партии. Было решено продолжить чистку членов партии и кандидатов, начатую еще в 1933 году, и она действительно была продолжена до мая 1935 года. Было решено, далее, прекратить прием в партию новых членов, и он действительно был прекращен вплоть до сентября 1936 года, при чем прием в партию новых членов был возобновлен лишь 1 ноября 1936 года. Далее, в связи с злодейским убийством тов. Кирова, свидетельствующим о том, что в партии имеется не мало подозрительных элементов, было решено провести проверку и обмен партийных документов, при чем то и другое было закончено лишь к сентябрю 1936 года. Только после этого был открыт прием в партию новых членов и кандидатов. В результате всех этих мероприятий партия добилась того, что она очистила свои ряды от случайных, пассивных, карьеристских и прямо враждебных элементов, отобрав наиболее стойких и преданных людей. Нельзя сказать, что чистка была проведена без серьезных ошибок. К сожалению, ошибок оказалось больше, чем можно было предположить. Несомненно, что нам не придется больше пользоваться методом массовой чистки. Но чистка 1933—1936 г.г. была все же неизбежна и она в основном дала положительные результаты. На настоящем XVIII съезде представлено около 1.600 тысяч членов партии, т. е. на 270 тысяч членов партии

меньше, чем на XVII съезде. Но в этом нет ничего плохого. Наоборот, это — к лучшему, ибо партия укрепляется тем, что очищает себя от скверны. Партия у нас теперь несколько меньше по количеству ее членов, но зато она лучше по качеству.

Это большое достижение.

Что касается улучшения повседневного партийного руководства в смысле его приближения к низовой работе, в смысле его дальнейшей конкретизации, то партия пришла к тому выводу, что разукрупнение организаций, уменьшение их размеров является наилучшим средством для того, чтобы облегчить партийным органам руководство этими организациями, а само руководство сделать конкретным, живым, оперативным. Разукрупнение шло как по линии наркоматов, так и по линии административно-территориальных организаций, т. е. по линии союзных республик, краев, областей, районов и т. п. В результате принятых мероприятий мы имеем теперь вместо 7 союзных республик 11 союзных республик, вместо 14 наркоматов СССР 34 наркомата, вместо 70 краев и областей 110 краев и областей, вместо 2.559 городских и сельских районов 3.815. Соответственно с этим в системе руководящих органов партии имеется теперь 11 центральных комитетов во главе с ЦК ВКП(б), 6 краевых комитетов, 104 областных комитета, 30 окружных комитетов, 212 общегородских комитетов, 336 городских районных комитетов, 3.479 сельских районных комитетов и 113.060 первичных партийных организаций.

Нельзя сказать, что дело разукрупнения организаций уже закончено. Вероятнее всего, что разукрупнение пойдет дальше. Но, как бы то ни было, оно уже дает свои благие результаты как в отношении улучшения повседневного руководства работой, так и в отношении приближения самого руководства к низовой конкретной работе. Я уже не говорю о том, что разукрупнение организаций дало возможность выдвинуть на руководящую работу сотни и тысячи новых людей.

Это тоже большое достижение.

2. ПОДБОР КАДРОВ, ИХ ВЫДВИЖЕНИЕ, ИХ РАССТАНОВКА

Регулирование состава партии и приближение руководящих органов к конкретной низовой работе не были и не могли быть единственным средством дальнейшего укрепления партии и ее руководства. Другим средством укрепления партии за отчетный период было коренное улучшение работы с кадрами, улучшение дела подбора кадров, их выдвижения, их расстановки, их проверки в процессе работы.

Кадры партии — это командный состав партии, а так как наша партия стоит у власти, — они являются также командным составом руководящих государственных органов. После того как выработана правильная политическая линия, проверенная на практике, кадры партии становятся решающей силой партийного и государственного руководства. Иметь правильную политическую линию, — это, конечно, первое и самое важное дело. Но этого все же недостаточно. Правильная политическая линия нужна не для декларации, а для проведения в жизнь. Но чтобы претворить в жизнь правильную политическую линию, нужны кадры, нужны люди, понимающие политическую линию партии, воспринимающие ее, как свою собственную линию, готовые провести ее в жизнь, умеющие осуществлять ее на практике и способные отвечать за нее, защищать ее, бороться за нее. Без этого правильная политическая линия рискует остаться на бумаге.

Здесь именно и встает вопрос о правильном подборе кадров, о выращивании кадров, о выдвижении новых людей, о правильной расстановке кадров, об их проверке по проделанной работе.

Что значит правильно подбирать кадры?

Правильно подбирать кадры, это еще не значит набрать себе замов и помов, составить канцелярию и выпускать оттуда разные указания. (Смех). Это также не значит злоупотреблять своей властью, перебрасывать без толку десятки и сотни людей из одного места в дру-

гое и обратно и устраивать нескончаемые «реорганизации». (Смех).

Правильно подбирать кадры это значит:

Во-первых, ценить кадры, как золотой фонд партии и государства, дорожить ими, иметь к ним уважение.

Во-вторых, знать кадры, тщательно изучать достоинства и недостатки каждого кадрового работника, знать на каком посту могут легче всего развернуться способности работника.

В-третьих, заботливо выращивать кадры, помогать каждому растущему работнику подняться вверх, не жалеть времени для того, чтобы терпеливо «повозиться» с такими работниками и ускорить их рост.

В-четвертых, во-время и смело выдвигать новые, молодые кадры, не давая им перестояться на старом месте, не давая им закиснуть.

В-пятых, расставить работников по постам таким образом, чтобы каждый работник чувствовал себя на месте, чтобы каждый работник мог дать нашему общему делу максимум того, что вообще способен он дать по своим личным качествам, чтобы общее направление работы по расстановке кадров вполне соответствовало требованиям той политической линии, во имя проведения которой производится эта расстановка.

Особенное значение имеет здесь вопрос о смелом и своевременном выдвижении новых, молодых кадров. Я думаю, что у наших людей нет еще полной ясности в этом вопросе. Одни считают, что при подборе людей надо ориентироваться, главным образом, на старые кадры. Другие, наоборот, думают ориентироваться, главным образом, на молодые кадры. Мне кажется, что ошибаются и те и другие. Старые кадры представляют, конечно, большое богатство для партии и государства. У них есть то, чего нет у молодых кадров — громадный опыт по руководству, марксистско-ленинская принципиальная закалка, знание дела, сила ориентировки. Но, во-первых, старых кадров бывает всегда мало, меньше, чем нужно, и они уже частично начинают выходить из строя в силу естественных законов природы.

Во-вторых, у одной части старых кадров бывает иногда склонность упорно смотреть в прошлое, застрять на прошлом, застрять на старом и не замечать нового в жизни. Это называется потерей чувства нового. Это очень серьезный и опасный недостаток. Что касается молодых кадров, то у них, конечно, нет того опыта, закалки, знания дела и силы ориентировки, которыми обладают старые кадры. Но, во-первых, молодые кадры составляют громадное большинство, во-вторых, они молоды, и им не угрожает, пока-что, выход из строя, в-третьих, у них имеется в избытке чувство нового, — драгоценное качество каждого большевистского работника, и в-четвертых, они растут и просвещаются до того быстро, они прут вверх до того стремительно, что недалеко то время, когда они догонят стариков, станут бок-о-бок с ними и составят им достойную смену. Следовательно, задача состоит не в том, чтобы ориентироваться либо на старые, либо на новые кадры, а в том, чтобы держать курс на сочетание, на соединение старых и молодых кадров в одном общем оркестре руководящей работы партии и государства. (*Продолжительные аплодисменты*).

Вот почему необходимо своевременно и смело выдвигать молодые кадры на руководящие посты.

Одно из серьезных достижений партии за отчетный период в деле укрепления партийного руководства состоит в том, что она с успехом проводила снизу доверху этот именно курс на сочетание старых и молодых работников в области подбора кадров.

В Центральном Комитете партии имеются данные, из которых видно, что за отчетный период партия сумела выдвинуть на руководящие посты по государственной и партийной линии более 500 тысяч молодых большевиков, партийных и примыкающих к партии, из них более 20 процентов женщин.

В чем состоит теперь задача?

Задача состоит в том, чтобы взять полностью в одни руки дело подбора кадров снизу доверху и поднять его на должную, научную, большевистскую высоту.

Для этого необходимо покончить с расщеплением дела изучения, выдвижения и подбора кадров по разным отделам и секторам, сосредоточив его в одном месте.

Таким местом должно быть Управление кадров в составе ЦК ВКП(б) и соответствующий отдел кадров в составе каждой республиканской, краевой и областной парторганизации.

3. ПАРТИЙНАЯ ПРОПАГАНДА. МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТИИ И ПАРТИЙНЫХ КАДРОВ

Есть еще одна область партийной работы, очень важная и очень ответственная, по линии которой осуществлялось за отчетный период укрепление партии и ее руководящих органов, — это партийная пропаганда и агитация, устная и печатная, работа по воспитанию членов партии и кадров партии в духе марксизма-ленинизма, работа по повышению политического и теоретического уровня партии и ее работников.

Едва ли есть необходимость распространяться о серьезнейшем значении дела партийной пропаганды, дела марксистско-ленинского воспитания наших работников. Я имею в виду не только работников партийного аппарата. Я имею в виду также работников комсомольских, профсоюзных, торгово-кооперативных, хозяйственных, советских, просвещенских, военных и других организаций. Можно удовлетворительно поставить дело регулирования состава партии и приближения руководящих органов к низовой работе; можно удовлетворительно поставить дело выдвижения кадров, их подбора, их расстановки; но если при всем этом начинает почему-либо хромать наша партийная пропаганда, если начинает хиреть дело марксистско-ленинского воспитания наших кадров, если ослабевает наша работа по повышению политического и теоретического уровня этих кадров, а сами кадры перестают в связи с этим интересоваться перспективой нашего движения вперед, перестают понимать правоту нашего дела и превращаются в бесперспективных деяг, слепо и

механически выполняющих указания сверху, — то должна обязательно захватить вся наша государственная и партийная работа. Нужно признать, как аксиому, что чем выше политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников любой отрасли государственной и партийной работы, тем выше и плодотворнее сама работа, тем эффективнее результаты работы, и наоборот, — чем ниже политический уровень и марксистско-ленинская сознательность работников, тем вероятнее срывы и провалы в работе, тем вероятнее измельчание и вырождение самих работников в деляг-крохоборов, тем вероятнее их перерождение. Можно с уверенностью сказать, что, если бы мы сумели подготовить идеологически наши кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой мере, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и международной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми марксистами-ленинцами, способными решать без серьезных ошибок вопросы руководства страной, — то мы имели бы все основания считать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными. А решить эту задачу мы безусловно можем, ибо у нас есть все средства и возможности, необходимые для того, чтобы разрешить ее.

Выращивание и формирование молодых кадров протекает у нас обычно по отдельным отраслям науки и техники, по специальностям. Это необходимо и целесообразно. Нет необходимости, чтобы специалист-медик был вместе с тем специалистом по физике или ботанике и наоборот. Но есть одна отрасль науки, знание которой должно быть обязательным для большевиков всех отраслей науки, — это марксистско-ленинская наука об обществе, о законах развития общества, о законах развития пролетарской революции, о законах развития социалистического строительства, о победе коммунизма. Ибо нельзя считать действительным ленинцем человека, именующего себя ленинцем, но замкнувшегося в свою специальность, замкнувшегося, скажем, в математику, ботанику или химию и не видящего ничего даль-

ше своей специальности. Ленинец не может быть только специалистом облюбованной им отрасли науки, — он должен быть вместе с тем политиком-общественником, живо интересующимся судьбой своей страны, знакомым с законами общественного развития, умеющим пользоваться этими законами и стремящимся быть активным участником политического руководства страной. Это будет, конечно, дополнительной нагрузкой для большевиков-специалистов. Но это будет такая нагрузка, результаты которой окупятся с лихвой.

Задача партийной пропаганды, задача марксистско-ленинского воспитания кадров состоит в том, чтобы помочь нашим кадрам всех отраслей работы овладеть марксистско-ленинской наукой о законах развития общества.

Вопрос о мерах улучшения дела пропаганды и марксистско-ленинского воспитания кадров был предметом неоднократного обсуждения ЦК ВКП(б) с участием пропагандистов различных областных парторганизаций. Был учтен при этом выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» в сентябре 1938 года. Было установлено, что выход в свет «Краткого курса истории ВКП(б)» кладет начало новому размаху марксистско-ленинской пропаганды в нашей стране. Результаты работ ЦК ВКП(б) опубликованы в известном его постановлении «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском краткого курса истории ВКП(б)».

Исходя из этого постановления и учитывая известные решения мартовского пленума ЦК ВКП(б) в 1937 г. «О недостатках партийной работы», ЦК ВКП(б) намечил следующие главные мероприятия по устранению недостатков в области партийной пропаганды и улучшению дела марксистско-ленинского воспитания членов партии и партийных кадров:

1. Сосредоточить в одном месте дело партийной пропаганды и агитации и объединить отделы пропаганды и агитации и отделы печати в едином Управлении пропаганды и агитации в составе ЦК ВКП(б), с организацией соответствующего отдела пропаганды и агитации в

составе каждой республиканской, краевой и областной парторганизации;

2. Признавая неправильным увлечение кружковой системой пропаганды и считая более целесообразным метод индивидуального изучения членами партии основ марксизма-ленинизма, сосредоточить внимание партии на пропаганде в печати и организации лекционной системы пропаганды;

3. Организовать в каждом областном центре годовичные Курсы переподготовки для низового звена наших кадров;

4. Организовать в ряде центров нашей страны двухгодичную Ленинскую школу для среднего звена наших кадров;

5. Организовать Высшую школу марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б) с трехгодичным курсом для подготовки квалифицированных теоретических кадров партии;

6. Создать в ряде центров нашей страны годовичные Курсы переподготовки пропагандистов и газетных работников;

7. Создать при Высшей школе марксизма-ленинизма шестимесячные Курсы для переподготовки преподавателей марксизма-ленинизма в вузах.

Нет сомнения, что осуществление этих мероприятий, которые уже проводятся, но еще не проведены в достаточной мере, не замедлит дать свои благие результаты.

4. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

К числу недостатков нашей пропагандистской и идеологической работы нужно отнести также отсутствие полной ясности среди наших товарищей в некоторых вопросах теории, имеющих серьезное практическое значение, наличие некоторой неразберихи в этих вопросах. Я имею в виду вопрос о государстве вообще, особенно о нашем социалистическом государстве и вопрос о нашей советской интеллигенции.

Иногда спрашивают: «эксплуататорские классы у нас уничтожены, враждебных классов нет больше в стране, подавлять некого, значит, нет больше нужды в государстве, оно должно отмереть, — почему же мы не содействуем

отмиранию нашего социалистического государства, почему мы не стараемся покончить с ним, не пора ли выкинуть вон весь этот хлам государственности?»

Или еще: «эксплуататорские классы уже уничтожены у нас, социализм в основном построен, мы идем к коммунизму, а марксистское учение о государстве говорит, что при коммунизме не должно быть никакого государства, — почему мы не содействуем отмиранию нашего социалистического государства, не пора ли сдать государство в музей древностей?»

Эти вопросы свидетельствуют о том, что их авторы добросовестно заучили отдельные положения учения Маркса и Энгельса о государстве. Но они говорят также о том, что эти товарищи не поняли существа этого учения, не разобрались, в каких исторических условиях выработывались отдельные положения этого учения и, особенно, не поняли современной международной обстановки, проглядели факт капиталистического окружения и вытекающих из него опасностей для страны социализма. В этих вопросах сквозит не только недооценка факта капиталистического окружения. В них сквозит также недооценка роли и значения буржуазных государств и их органов, засылающих в нашу страну шпионов, убийц и вредителей и старающихся улучшить минуту для военного нападения на нее, равно как сквозит недооценка роли и значения нашего социалистического государства и его военных, карательных и разведывательных органов, необходимых для защиты страны социализма от нападения извне. Нужно признать, что в этой недооценке грешны не только вышеупомянутые товарищи. В ней грешны также в известной мере все мы, большевики, все без исключения. Разве не удивительно, что о шпионской и заговорщической деятельности верхушки троцкистов и бухаринцев узнали мы лишь в последнее время, в 1937—1938 годах, хотя, как видно из материалов, эти господа состояли в шпионах иностранной разведки и вели заговорщическую деятельность уже в первые дни Октябрьской революции? Как мы могли проглядеть это серьезное

дело? Чем об'яснить этот промах? Обычно отвечают на этот вопрос таким образом: мы не могли предположить, что эти люди могут пасть так низко. Но это не об'яснение и тем более не оправдание, ибо факт промаха остается фактом. Чем об'яснить такой промах? Об'ясняется этот промах недооценкой силы и значения механизма окружающих нас буржуазных государств и их разведывательных органов, старающихся использовать слабости людей, их тщеславие, их бесхарактерность для того, чтобы запутать их в свои шпионские сети и окружить ими органы Советского государства. Об'ясняется он недооценкой роли и значения механизма нашего социалистического государства и его разведки, недооценкой этой разведки, болтовней о том, что разведка при Советском государстве — мелочь и пустяки, что советскую разведку, как и само Советское государство, скоро придется сдать в музей древностей.

На какой почве могла возникнуть у нас эта недооценка?

Она возникла на почве недоработанности и недостаточности некоторых общих положений учения марксизма о государстве. Она получила распространение вследствие нашего nepозволительно беспечного отношения к вопросам теории государства, несмотря на то, что мы имеем практический опыт двадцатилетней государственной деятельности, дающий богатый материал для теоретических обобщений, несмотря на то, что у нас есть возможность при желании с успехом восполнить этот теоретический пробел. Мы забыли важнейшее указание Ленина о теоретических обязанностях русских марксистов, призванных разработать дальше теорию марксизма. Вот что говорит Ленин на этот счет:

«Мы вовсе не смотрим на теорию Маркса как на нечто законченное и неприкосновенное; мы убеждены, напротив, что она положила только краеугольные камни той науки, которую социалисты *должны* двигать дальше во всех направлениях, если они не хотят отстать от жизни. Мы думаем, что для русских социалистов особенно необходима *самостоятельная* раз-

работка теории Маркса, ибо эта теория дает лишь *общие руководящие* положения, которые применяются в *частности* к Англии иначе, чем к Франции, к Франции иначе, чем к Германии, к Германии иначе, чем к России» (Ленин, т. II, стр. 492).

Взять, например, классическую формулу теории развития социалистического государства, данную Энгельсом:

«Когда не будет общественных классов, которые нужно держать в подчинении, когда не будет господства одного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в современной анархии производства, когда будут устранены вытекающие отсюда столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать, тогда исчезнет надобность в государственной власти, исполняющей ныне эту функцию. Первый акт, в котором государство выступит действительным представителем всего общества — обращение средств производства в общественную собственность, — будет его последним самостоятельным действием в качестве государства. Вмешательство государственной власти в общественные отношения станет мало-помалу излишним и прекратится само собою. На место управления лицами становится управление вещами и руководство производственными процессами. Государство не «отменяется», оно *отмирает*» (Ф. Энгельс, «Анти-дюринг», 1933 г., издание Партиздат, стр. 202).

Правильно ли это положение Энгельса?

Да, правильно, но при одном из двух условий: а) *если* вести изучение социалистического государства с точки зрения только лишь внутреннего развития страны, заранее отвлекаясь от международного фактора, изолируя страну и государство для удобства исследования от международной обстановки, или б) *если* предположить, что социализм уже победил во всех странах или в большинстве стран, вместо капиталистического окружения имеется *налицо* окружение социалистическое, нет больше угрозы

нападения извне, нет больше нужды в усилении армии и государства.

Ну, а если социализм победил только в одной, отдельно взятой стране, и отвлекаться, ввиду этого, от международных условий никак невозможно, — как быть в таком случае? На этот вопрос формула Энгельса не дает ответа. Энгельс собственно и не ставит себе такого вопроса, следовательно, у него не могло быть ответа на этот вопрос. Энгельс исходит из того предположения, что социализм уже победил более или менее одновременно во всех странах или в большинстве стран. Следовательно, Энгельс исследует здесь не то или иное конкретное социалистическое государство той или иной отдельной страны, а развитие социалистического государства вообще при допущении факта победы социализма в большинстве стран — по формуле: «допустим, что социализм победил в большинстве стран, спрашивается — какие изменения должно претерпеть в этом случае пролетарское, социалистическое государство». Только этим общим и абстрактным характером проблемы можно объяснить тот факт, что при исследовании вопроса о социалистическом государстве Энгельс совершенно отвлекается от такого фактора, как международные условия, международная обстановка.

Но из этого следует, что нельзя распространять общую формулу Энгельса о судьбе социалистического государства вообще на частный и конкретный случай победы социализма в одной, отдельно взятой стране, которая имеет вокруг себя капиталистическое окружение, которая подвержена угрозе военного нападения извне, которая не может ввиду этого отвлекаться от международной обстановки и которая должна иметь в своем распоряжении и хорошо обученную армию, и хорошо организованные карательные органы, и крепкую разведку, следовательно, должна иметь свое достаточно сильное государство, — для того, чтобы иметь возможность защищать завоевания социализма от нападения извне.

Нельзя требовать от классиков марксизма, отделенных от нашего времени

периодом в 45—55 лет, чтобы они предвидели все и всякие случаи зигзагов истории в каждой отдельной стране в далеком будущем. Было бы смешно требовать, чтобы классики марксизма выработали для нас готовые решения на все и всякие теоретические вопросы, которые могут возникнуть в каждой отдельной стране спустя 50—100 лет, с тем, чтобы мы, потомки классиков марксизма имели возможность спокойно лежать на печке и жевать готовые решения. (*Общий смех*). Но мы можем и должны требовать от марксистов-ленинцев нашего времени, чтобы они не ограничивались заучиванием отдельных общих положений марксизма, чтобы они вникали в существо марксизма, чтобы они научились учитывать опыт двадцатилетнего существования социалистического государства в нашей стране, чтобы они научились, наконец, опираясь на этот опыт и исходя из существа марксизма, конкретизировать отдельные общие положения марксизма, уточнять и улучшать их. Ленин написал свою знаменитую книгу «Государство и революция» в августе 1917 года, т. е. за несколько месяцев до Октябрьской революции и создания Советского государства. Главную задачу этой книги Ленин видел в защите учения Маркса и Энгельса о государстве от искажения и оплошления со стороны оппортунистов. Ленин собирался написать вторую часть «Государства и революции», где он рассчитывал подвести главные итоги опыта русских революций 1905-го и 1917-го года. Не может быть сомнения, что Ленин имел в виду во второй части своей книги разработать и развить дальше теорию государства, опираясь на опыт существования Советской власти в нашей стране. Но смерть помешала ему выполнить эту задачу. Но чего не успел сделать Ленин, должны сделать его ученики. (*Бурные аплодисменты*).

Государство возникло на основе раскола общества на враждебные классы, возникло для того, чтобы держать в узде эксплуатируемое большинство в интересах эксплуатируемого меньшинства. Орудия власти государства сосредоточивались, главным образом, в армии, в

карательных органах, в разведке, в тюрьмах. Две основные функции характеризуют деятельность государства: внутренняя (главная) — держать эксплуатируемое большинство в узде и внешняя (не главная) — расширять территорию своего, господствующего класса за счет территории других государств, или защищать территорию своего государства от нападений со стороны других государств. Так было дело при рабовладельческом строе и феодализме. Так обстоит дело при капитализме.

Чтобы свергнуть капитализм, необходимо было не только снять с власти буржуазию, но только экспроприировать капиталистов, но и разбить вовсе государственную машину буржуазии, ее старую армию, ее бюрократическое чиновничество, ее полицию, и поставить на ее место новую пролетарскую государственность, новое социалистическое государство. Большевики, как известно, так именно и поступили. Но из этого вовсе не следует, что у нового пролетарского государства не могут сохраниться некоторые функции старого государства, измененные применительно к потребностям пролетарского государства. Из этого тем более не следует, что формы нашего социалистического государства должны остаться неизменными, что все первоначальные функции нашего государства должны полностью сохраниться и в дальнейшем. На самом деле формы нашего государства меняются и будут меняться в зависимости от развития нашей страны и изменения внешней обстановки.

Ленин совершенно прав, когда он говорит:

«Формы буржуазных государств чрезвычайно разнообразны, но суть их одна: все эти государства являются так или иначе, но в последнем счете обязательно *диктатурой буржуазии*. Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность будет при этом неизбежно одна: *диктатура пролетариата*» (Ленин, т. XXI, стр. 393).

Со времени Октябрьской революции наше социалистическое государство прошло в своем развитии две главные фазы.

Первая фаза — это период от Октябрьской революции до ликвидации эксплуататорских классов. Основная задача этого периода состояла в подавлении сопротивления свергнутых классов, в организации обороны страны от нападения интервентов, в восстановлении промышленности и сельского хозяйства, в подготовке условий для ликвидации капиталистических элементов. Сообразно с этим наше государство осуществляло в этот период две основные функции. Первая функция — подавление свергнутых классов внутри страны. Этим наше государство во внешнем образе напоминало предыдущие государства, функция которых состояла в подавлении непокорных, с той однако принципиальной разницей, что наше государство подавляло эксплуататорское меньшинство во имя интересов трудящегося большинства, тогда как предыдущие государства подавляли эксплуатируемое большинство во имя интересов эксплуататорского меньшинства. Вторая функция — оборона страны от нападения извне. Этим оно также напоминало внешним образом предыдущие государства, которые также занимались вооруженной защитой своих стран, с той однако принципиальной разницей, что наше государство защищало от внешнего нападения завоевания трудящегося большинства, тогда как предыдущие государства защищали в таких случаях богатство и привилегии эксплуататорского меньшинства. Была здесь еще третья функция — это хозяйственно-организаторская и культурно-воспитательная работа органов нашего государства, имевшая своей целью развитие ростков нового, социалистического хозяйства и перевоспитание людей в духе социализма. Но эта новая функция не получила в этот период серьезного развития.

Вторая фаза — это период от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции. Основная

задача этого периода — организация социалистического хозяйства по всей стране и ликвидация последних остатков капиталистических элементов, организация культурной революции, организация вполне современной армии для обороны страны. Сообразно с этим изменились и функции нашего социалистического государства. Отпала — отмерла функция военного подавления внутри страны, ибо эксплуатация уничтожена, эксплуататоров нет больше и подавлять некого. Вместо функции подавления появилась у государства функция охраны социалистической собственности от воров и расхитителей народного добра. Сохранилась полностью функция военной защиты страны от нападений извне, стало быть, сохранились также Красная армия, Военно-Морской флот, равно как карательные органы и разведка, необходимые для вылавливания и наказания шпионов, убийц, вредителей, засылаемых в нашу страну иностранной разведкой. Сохранилась и получила полное развитие функция хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работы государственных органов. Теперь основная задача нашего государства внутри страны состоит в мирной хозяйственно-организаторской и культурно-воспитательной работе. Что касается нашей армии, карательных органов и разведки, то они своим острием обращены уже не во внутрь страны, а во вне ее, против внешних врагов.

Как видите, мы имеем теперь совершенно новое, социалистическое государство, не виданное еще в истории и значительно отличающееся по своей форме и функциям от социалистического государства первой фазы.

Но развитие не может остановиться на этом. Мы идем дальше, вперед, к коммунизму. Сохранится ли у нас государство также и в период коммунизма?

Да, сохранится, если не будет ликвидировано капиталистическое окружение, если не будет уничтожена опасность военных нападений извне. При этом понятно, что формы нашего государства вновь будут изменены, сообразно с изменением внутренней и внешней обстановки.

Нет, не сохранится и отомрет, если капиталистическое окружение будет ликвидировано, если оно будет заменено окружением социалистическим.

Так обстоит дело с вопросом о социалистическом государстве.

Второй вопрос — это вопрос о советской интеллигенции.

В этом вопросе, так же как и в вопросе о государстве, существует в нашей партии некоторая неясность, неразбериха.

Несмотря на полную ясность позиции партии в вопросе о советской интеллигенции, в нашей партии все еще имеют распространение взгляды, враждебные к советской интеллигенции и несовместимые с позицией партии. Носители этих неправильных взглядов практикуют, как известно, пренебрежительное, презрительное отношение к советской интеллигенции, рассматривая ее как силу чуждую и даже враждебную рабочему классу и крестьянству. Правда, интеллигенция за период советского развития успешно изменилась в корне, как по своему составу, так и по своему положению, сближаясь с народом и честно сотрудничая с ним, чем она принципиально отличается от старой буржуазной интеллигенции. Но этим товарищам, повидимому, нет дела до этого. Они продолжают дудить в старую дудку, неправильно перенося на советскую интеллигенцию те взгляды и отношения, которые имели свое основание в старое время, когда интеллигенция находилась на службе у помещиков и капиталистов.

В старое, дореволюционное время, в условиях капитализма интеллигенция состояла прежде всего из людей имущих классов, — дворян, промышленников, купцов, кулаков и т. п. Были в рядах интеллигенции также выходцы из мещан, мелких чиновников и даже из крестьян и рабочих, но они не играли и не могли играть там решающей роли. Интеллигенция в целом кормилась у имущих классов и обслуживала их. Понятно поэтому то недоверие, переходившее нередко в ненависть, которое питали к ней революционные элементы нашей страны и прежде всего рабочие. Правда, старая интеллигенция дала отдельные единицы

и десятки смелых и революционных людей, ставших на точку зрения рабочего класса и связавших до конца свою судьбу с судьбой рабочего класса. Но таких людей среди интеллигенции было слишком мало, и они не могли изменить физиономию интеллигенции в целом.

Дело с интеллигенцией изменилось, однако, в корне после Октябрьской революции, после разгрома иностранной военной интервенции, особенно после победы индустриализации и коллективизации, когда уничтожение эксплуатации и утверждение социалистической системы хозяйства создали реальную возможность дать стране и провести в жизнь новую Конституцию. Наиболее влиятельная и квалифицированная часть старой интеллигенции уже в первые дни Октябрьской революции откололась от остальной массы интеллигенции, объявила борьбу Советской власти и пошла в саботажники. Она понесла за это заслуженную кару, была разбита и рассеяна органами Советской власти. Впоследствии большинство уцелевших из них завербовалось врагам нашей страны во вредители, в шпионы, вычеркнув себя тем самым из рядов интеллигенции. Другая часть старой интеллигенции, менее квалифицированная, но более многочисленная, долго еще продолжала топтаться на месте, выжидая «лучших времен», но потом, видимо, махнула рукой и решила пойти в службисты, решила ужиться с Советской властью. Большая часть этой группы старой интеллигенции успела уже состариться и начинает выходить из строя. Третья часть старой интеллигенции, главным образом рядовая ее часть, имевшая еще меньше квалификации, чем предыдущая часть, присоединилась к народу и пошла за Советской властью. Ей необходимо было доучиваться, и она действительно стала доучиваться в наших вузах. Но наряду с этим мучительным процессом дифференциации и разлома старой интеллигенции шел бурный процесс формирования, мобилизации и собирания сил новой интеллигенции. Сотни тысяч молодых людей, выходящих из рядов рабочего класса, крестьянства, трудовой интеллигенции пошли в вузы и техникумы и, вернув-

шись из школ, заполнили поредевшие ряды интеллигенции. Они влили в интеллигенцию новую кровь и оживили ее по-новому, по-советски. Они в корне изменили весь облик интеллигенции, по образу своему и подобию. Остатки старой интеллигенции оказались растворенными в недрах новой, советской, народной интеллигенции. Создалась, таким образом, новая, советская интеллигенция, тесно связанная с народом и готовая в своей массе служить ему верой и правдой.

В итоге мы имеем теперь многочисленную, новую, народную, социалистическую интеллигенцию, в корне отличающуюся от старой, буржуазной интеллигенции как по своему составу, так и по своему социально-политическому облику.

К старой дореволюционной интеллигенции, служившей помещикам и капиталистам, вполне подходила старая теория об интеллигенции, указывавшая на необходимость недоверия к ней и борьбы с ней. Теперь эта теория отжила свой век и она уже не подходит к нашей новой, советской интеллигенции. Для новой интеллигенции нужна новая теория, указывающая на необходимость дружеского отношения к ней, заботы о ней, уважения к ней и сотрудничества с ней во имя интересов рабочего класса и крестьянства.

Кажется, понятно.

Тем более удивительно и странно, что после всех этих коренных изменений в положении интеллигенции у нас в партии еще имеются, оказывается, люди, пытающиеся старую теорию, направленную против буржуазной интеллигенции, применить к нашей новой, советской интеллигенции, являющейся в своей основе социалистической интеллигенцией. Эти люди, оказывается, утверждают, что рабочие и крестьяне, недавно еще работавшие по-стахановски на заводах и в колхозах, а потом направленные в вузы для получения образования, перестают быть тем самым настоящими людьми, становятся людьми второго сорта. Выходит, что образование — вредная и опасная штука. (Смех). Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со

временем. Но по взгляду этих странных товарищей получается, что подобная затея таит в себе большую опасность, ибо после того как рабочие и крестьяне станут культурными и образованными, они могут оказаться перед опасностью быть зачисленными в разряд людей второго сорта. (*Общий смех*). Не исключено, что со временем эти странные товарищи могут докатиться до воспевания отсталости, невежества, темноты, мракобесия. Оно и понятно. Теоретические вывихи никогда не вели и не могут вести к добру.

Так обстоит дело с вопросом о нашей новой, социалистической интеллигенции.

★ ★ ★

Наши задачи в области дальнейшего укрепления партии:

1. Систематически улучшать состав партии, подымая уровень сознательности членов партии и принимая в ряды партии в порядке индивидуального отбора только лишь проверенных и преданных делу коммунизма товарищей;

2. Приблизить руководящие органы к низовой работе с тем, чтобы сделать их руководящую работу все более оперативной и конкретной, все менее заседательской и канцелярской.

3. Централизовать дело подбора кадров, заботливо выращивать кадры, тщательно изучать достоинства и недостатки работников, смелее выдвигать молодых работников, приспособлять дело подбора и расстановки кадров к требованиям политической линии партии;

4. Централизовать дело партийной пропаганды и агитации, расширить пропаганду идей марксизма-ленинизма, поднять теоретический уровень и политическую закалку наших кадров.

★ ★ ★

Товарищи! Я кончаю свой отчетный доклад.

Я обрисовал в общих чертах путь, пройденный нашей партией за отчетный период. Результаты работы партии и ее ЦК за этот период известны. Были у нас недочеты и ошибки. Партия и ее ЦК не скрывали их и старались их испра-

вить. Есть и серьезные успехи и большие достижения, которые не должны вскружить нам голову.

Главный итог состоит в том, что рабочий класс нашей страны, уничтожив эксплуатацию человека человеком и утвердив социалистический строй, доказал всему миру правоту своего дела. В этом главный итог, так как он укрепляет веру в силы рабочего класса и в неизбежность его окончательной победы.

Буржуазия всех стран твердит, что народ не может обойтись без капиталистов и помещиков, без купцов и кулаков. Рабочий класс нашей страны доказал на деле, что народ может с успехом обойтись без эксплуататоров.

Буржуазия всех стран твердит, что рабочий класс, разрушив старые буржуазные порядки, не способен построить что-либо новое, взамен старого. Рабочий класс нашей страны доказал на деле, что он вполне способен не только разрушить старый строй, но и построить новый, лучший, социалистический строй и при том такой строй, который не знает ни кризисов, ни безработицы.

Буржуазия всех стран твердит, что крестьянство не способно стать на путь социализма. Колхозное крестьянство нашей страны доказало на деле, что оно может с успехом стать на путь социализма.

Главное, чего особенно добиваются буржуазия всех стран и ее реформистские прихвостни, — это то, чтобы искоренить в рабочем классе веру в свои силы, веру в возможность и неизбежность его победы и тем самым увековечить капиталистическое рабство. Ибо буржуазия знает, что если капитализм еще не свергнут и он продолжает все еще существовать, то этим он обязан не своим хорошим качествам, а тому, что у пролетариата нет еще достаточной веры в возможность своей победы. Нельзя сказать, чтобы старания буржуазии в этом направлении оставались вполне безуспешными. Нужно признать, что буржуазии и ее агентам в рабочем классе удалось в известной мере отравить душу рабочего класса ядом сомнений и неверия. Если успехи рабочего класса нашей страны, если его борьба и побе-

да послужат к тому, чтобы поднять дух рабочего класса капиталистических стран и укрепить в нем веру в свои силы, веру в свою победу, то наша партия может сказать, что она работает не даром. Можно не сомневаться, что так оно и будет. *(Бурные продолжительные аплодисменты).*

Да здравствует наш победоносный рабочий класс! *(Аплодисменты).*

Да здравствует наше победоносное колхозное крестьянство! *(Аплодисменты).*

Да здравствует наша социалистическая интеллигенция! *(Аплодисменты).*

Да здравствует великая дружба народов нашей страны! *(Аплодисменты).*

Да здравствует Всесоюзная коммунистическая партия большевиков! *(Аплодисменты).*

(Все делегаты встают, стоя приветствуют товарища Сталина и устраивают ему продолжительную овацию. Возгласы: «Ура! Да здравствует товарищ Сталин! Великому Сталину — ура! Нашему любимому Сталину — ура!»).

ВЕЛИКИЙ СЪЕЗД ПОБЕДИВШЕГО СОЦИАЛИЗМА

XVIII съезд явился *первым* съездом победившего социализма, *поворотным* съездом от социализма к коммунизму, съездом дальнейшего укрепления большевистской партии и социалистического государства рабочих и крестьян.

Большевистская партия на своем XVIII съезде подвела итоги достигнутым грандиозным победам социализма, одержанным в непримиримой борьбе против всех внешних и внутренних врагов, против презреннейших фашистско-троцкистско-зиновьевских, бухаринско-рыковских, буржуазно-националистических и прочих двурушников, шпионов, вредителей, диверсантов и лазутчиков разведывательных органов капиталистических государств. Партия и советский народ беспощадно выкорчевали, разгромили и уничтожили, как свору бешеных собак, всю разбойничью шайку троцкистско-пятаковских и бухаринско-рыковских извергов, подлейших изменников и предателей нашей родины, продавшихся разведкам кровавого фашизма с целью восстановления капитализма в нашей стране.

Большевистская партия пришла на свой знаменательный XVIII партийный съезд едиными, монолитными и стальными рядами, сплоченными тесно, как никогда, вокруг Сталинского Центрального Комитета, вокруг самого родного, самого мудрого и самого любимого друга, учителя и вождя — товарища *Сталина*, всегда ведущего партию и страну к неувядаемым, славным победам, к полному расцвету счастливой, культурной и радостной жизни. Вот почему пламенные мысли и взоры всех большевиков, партийных и непартийных, всего советского народа и миллионов друзей социализма во всем мире обращены к гениальному вождю, любимому маршалу все-

мирной армии труда, родному товарищу *Сталину*, чье великое имя — символ всепобеждающей силы и несокрушимой воли к полному триумфу коммунизма в нашей стране и во всем мире.

★

Первым взшел на высокую трибуну Большого Кремлевского дворца величайший полководец революции в одежде рядового солдата, вождь мирового Коммунизма, с лицом простого пролетаря, гений всего трудового человечества с головою ученого — дорогой отец, друг и учитель миллионов — Иосиф Виссарионович *Сталин*. Хозяева советской земли — хозяева новой жизни — рабочие и профессора, писатели и шахтеры, агрономы и красноармейцы, поэты и колхозники, музыканты и летчики, комбайнеры и академики, восторженной бурей оваций, безудержным порывом радостных криков, ураганом громких возгласов беспредельной любви, безбрежной преданности встретили великого *Сталина*.

Отчетный доклад товарища *Сталина* о работе ЦК ВКП(б) — замечательный документ всемирно-исторического значения и величайшей важности, пронизанный гениальной сталинской мудростью и глубиной, новый драгоценный вклад в революционную науку марксизма-ленинизма.

Доклад товарища *Сталина*, как сильнейший прожектор, осветил всю многокрасочную, многообразную и победоносную борьбу шестидесятимиллионной социалистической державы, достигшей торжества первой фазы коммунизма — социализма.

Доклад товарища *Сталина* зажег в сердцах всех трудящихся неугасимый священный огонь гордости за гигантские успехи и достижения нашей близкой и

родной Ленинско-Сталинской партии, нашей любимой социалистической родины и единственного отечества пролетариев и борющихся за свое освобождение угнетенных народов всего мира. Доклад товарища Сталина с гениальным научным предвидением начертал величественную программу и план развернутого строительства и полной победы коммунизма на шестой части мира в условиях капиталистического окружения.

Вдохновляя всю большевистскую партию и советский народ, мобилизуя их на дальнейшую борьбу и героические подвиги, на дальнейшие победы, доклад товарища Сталина открыл новые научные законы теории коммунизма, дал на основе теоретического обобщения практического опыта блестящее учение о социалистическом государстве и советской интеллигенции. Оснащая каждого большевика, каждого беспартийного гражданина Советской страны ценнейшим, остро отточенным оружием для новых битв, доклад товарища Сталина является новой директивой партии, исчерпывающей директивой на многие и многие годы вперед.

Вся страна с колоссальным воодушевлением, с тщательным вниманием и любовью изучает мудрый сталинский доклад, впитывает в себя каждую сталинскую мысль, каждое слово, крепко вооружается каждым новым сталинским лозунгом, зовущим вперед. Так сталинские идеи, овладевая многомиллионными массами, становятся всемогущей материальной силой, непобедимым оружием и боевой программой действий для наступившего нового периода, новой полосы постепенного перехода от социализма к коммунизму.

★

Мудрый и ясный сталинский анализ вскрыл сложную международную обстановку отчетного периода. «Для капиталистических стран, — говорит товарищ Сталин, — этот период был периодом серьезнейших потрясений как в области экономики, так и в области политики».

Новый экономический кризис потрясает основы наиболее мощных капиталистических стран, между которыми обо-

стрилась борьба за рынки сбыта, за источники сырья, за новый передел мира. Товарищ Сталин показал на конкретных данных, в чем состоят характерные особенности и отличие нового экономического кризиса, свирепствующего в капиталистических странах, в которых 18 миллионов безработных не могут получить труд и хлеб. Важнейшими особенностями нынешнего нового экономического кризиса в капиталистических государствах являются неравномерность его развития, уменьшение ресурсов и возможностей для нормального выхода из кризиса, приобретающего тяжелый характер и несущего тяжелые последствия для стран капитализма.

Даже фашистские государства-агрессоры, перестроившие свою экономику на однобокий военный лад путем осуществления бешеных темпов вооружения за счет сокращения производства предметов потребления для населения, уже начинают ощущать движение промышленности вниз. Такое ухудшающееся положение переживают Италия и Япония, истощающие свои сырьевые и золотые запасы и попадающие под жестокие удары надвигающегося экономического кризиса. Этой же участи не избегнет и фашистская Германия.

Обнажив конкретную картину движения нового экономического кризиса и крайне неблагоприятного оборота хозяйственных дел в странах капитализма, товарищ Сталин показал, как вследствие этого обостряются отношения между державами, обостряется международное политическое положение, терпит крушение послевоенная система мирных договоров. Началась новая, вторая империалистическая война. Но характерная особенность, — учит товарищ Сталин, — второй империалистической войны состоит в том, что она еще не стала всеобщей, мировой войной. Ее ведут государства-агрессоры, всячески ущемляющие интересы прежде всего Англии и Франции, которые пятятся назад, отступают, капитулируют, делая агрессорам всякие уступки, допуская даже некоторое попустительство.

Главная причина этого, — говорил товарищ Сталин, — «состоит в отказе

большинства неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию невмешательства, на позицию «нейтралитета». Резко разоблачая сущность буржуазной политики «невмешательства» и «нейтралитета», товарищ Сталин в своем докладе подчеркивал весь вред этих обманчивых словечек, служивших прикрытием для крупных капиталистических акул империализма их политики разжигания распрей между другими государствами.

Полностью раскрывая всю «хитроумность» подобной буржуазной политики, товарищ Сталин привел яркие многочисленные факты, свидетельствующие о наличии подтакивания и поощрения агрессоров влезать в войну. Такая же негодная буржуазная попытка проявилась и в подозрительной шумихе вокруг искусственно надуманного вопроса о присоединении к так называемой Карпатской Украине, насчитывающей всего-навсего около 700 тысяч населения, нашей Советской Украины, имеющей более 30 миллионов населения. Эта подозрительная буржуазная стряпня была пущена в ход именно для того, чтобы спровоцировать военный конфликт и поднять ярость Советского Союза против Германии.

Вскрыв подобный неуклюжий прием буржуазных провокаторов войны, товарищ Сталин едко высмеял его неудачных, жалких авторов, обрушив на них разящую силу своего здорового, крепкого юмора:

«Конечно, вполне возможно, что в Германии имеются сумасшедшие, мечтающие присоединить слона, т. е. Советскую Украину, к козьяке, т. е. к так называемой Карпатской Украине. И если действительно имеются там такие сумасброды, можно не сомневаться, что в нашей стране найдется необходимое количество смиренных рубах для таких сумасшедших. (Взрыв аплодисментов.) Но если отбросить прочь сумасшедших и обратиться к нормальным людям, то разве не ясно, что смешно и глупо говорить серьезно о присоединении Советской Украины к так называемой

Карпатской Украине? Подумайте только. Пришла козьяка к слону и говорит ему, подбоченясь: «Эх ты, братец ты мой, до чего мне тебя жалко... Живешь ты без помещиков, без капиталистов, без национального гнета, без фашистских заправил, — какая ж это жизнь... Гляжу я на тебя и не могу не заметить, — нет тебе спасения, кроме как присоединиться ко мне... (Общий смех.) Ну что ж, так и быть, разрешаю тебе присоединить свою небольшую территорию к моей необъятной территории...» (Общий смех и аплодисменты.)».

Только Советский Союз, для которого истекшие годы были годами бурного роста и процветания, годами дальнейшего экономического и культурного подъема, роста его политической и военной мощи, твердо продолжал энергичную борьбу за сохранение мира во всем мире.

Внешняя политика Советского Союза опирается на растущую хозяйственную, политическую и культурную мощь, на морально-политическое единство советского народа, на нерушимую сталинскую дружбу народов, на Красную армию и Военно-Морской флот, на моральную поддержку трудящихся всех стран, кровно заинтересованных в сохранении мира. Определяя дальнейшие задачи в области нашей внешней политики, товарищ Сталин подчеркнул необходимость и впредь проводить политику мира и укрпления деловых связей со всеми странами, соблюдать осторожность и не давать втянуть в конфликты нашу советскую родину провокаторам войны, привыкшим загребать жар чужими руками. «Мы, — говорил товарищ Сталин, — не боимся угроз со стороны агрессоров и готовы ответить двойным ударом на удар поджигателей войны, пытающихся нарушить неприкосновенность Советских границ».

★

Гениальной ясностью, простотой и четкостью пронизан весь доклад товарища Сталина, давшего с исчерпывающей полнотой яркую картину итогов пройденного нашей партией и всей страной героического пути за истекшее пятиле-

тие после XVII парт'езда и определившего боевую программу дальнейшего продвижения вперед к коммунизму. Самым важным завоеванным итогом является *завершение социалистической реконструкции* промышленности и сельского хозяйства на основе новой, современной техники, по насыщенности которой в нашем производстве Советский Союз занимает наиболее *передовое* место в мире. Окончательно ликвидированы остатки эксплуататорских классов, достигнуто сплочение рабочих, крестьян и интеллигенции в один общий трудовой фронт, укрепилась дружба народов нашей страны и осуществлена полная демократизация всей ее политической жизни, что нашло свое блестящее выражение в новой, величественной *Сталинской Конституции*.

Цифры показывают, что по *технике производства* и по *темпам роста* промышленности мы уже *догнали* и *перегнали* главные капиталистические страны. Но мы все еще отстаем в *экономическом* отношении. Поэтому товарищ Сталин выдвинул перед всей нашей партией и страной новые боевые задачи, которые подробно обоснованы и ясно сформулированы в его докладе.

«Мы перегнали, — учит товарищ Сталин, — главные капиталистические страны в смысле техники производства и темпов развития промышленности. Это очень хорошо. Но этого мало. Нужно перегнать их также в экономическом отношении. Мы это можем сделать, и мы это должны сделать. Только в том случае, если перегоним экономически главные капиталистические страны, мы можем рассчитывать, что наша страна будет полностью насыщена предметами потребления, у нас будет изобилие продуктов, и мы получим возможность сделать переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе».

Сталинская третья пятилетка — величественный план строительства коммунизма.

Третий пятилетний план, подробно изложенный в блестящем докладе верно-го сталинского соратника товарища В. М. Молотова, с предельной полнотой показывает грандиозные перспективы

дальнейшего под'ема всего народного хозяйства нашей великой социалистической родины.

Всемирно-исторические победоносные результаты выполнения двух первых сталинских пятилеток создали все необходимые условия для нового успешного движения вперед. Партия и страна имеют теперь все необходимое для осуществления великого сталинского лозунга — догнать и перегнать главные капиталистические страны также и в экономическом отношении в ближайшие 10 — 15 лет. Поэтому в докладе товарища Молотова и в решениях XVIII с'езда подчеркивается следующее:

«Пришло время практически взяться за решение основной экономической задачи СССР: *догнать и перегнать также и в экономическом отношении наиболее развитые капиталистические страны Европы и Соединенные Штаты Америки*, решить эту задачу окончательно в течение ближайшего периода времени. Решив эту задачу, мы сделаем СССР самой передовой страной в мире во всех отношениях. Не только в политическом отношении, чего мы достигли уже давно, не только по уровню техники производства, чего мы также уже достигли. Мы поставим этим СССР на первое место в мире и в экономическом отношении. Тогда, и только тогда, по-настоящему раскроется значение новой эпохи в развитии СССР, эпохи перехода от общества социалистического к обществу коммунистическому».

Подробно изложены в решениях XVIII с'езда и в докладе товарища Молотова конкретные мероприятия и план дальнейшего под'ема всех отраслей народного хозяйства, вселяющие в сердца всех трудящихся нашей страны чувство законной гордости и прилив новых сил, бодрости и радости.

Решения XVIII с'езда и доклад товарища Молотова подробно излагают план дальнейшего под'ема всех отраслей народного хозяйства, транспорта и связи, максимального использования резервов, внутренних ресурсов и богатейших возможностей.

Осуществление сталинского третьего пятилетнего плана, плана строительства

коммунизма, превратит нашу родину в прекрасный и богатый, культурный, цветущий сад.

Поэтому надо еще крепче, еще энергичнее взяться, засучив рукава, за работу для того, чтобы выполнить новые обязанности и преодолеть новые трудности, добиться новых побед. Об этом хорошо сказал товарищ *Молотов*:

«Новая полоса — новые обязанности, новые трудности. Известно, что нет такого дела, хотя бы самого маленького, где бы не было своих трудностей. Есть свои трудности и в великом росте сил нашей страны. В нашем положении приходится говорить не только о вопросах чисто внутреннего порядка, но и о таких вопросах, которые вытекают из наличия враждебного империалистического окружения. Но посмотрите в лица трудящихся нашей страны, и вы увидите, что они никогда не были так счастливы, как теперь, когда берутся за сложные и трудные задачи постепенного перехода от социализма к коммунизму. (А плоды с мента). Это можно объяснить только одним: они знают, что победят, они непоколебимо верят в свою победу!».

Вооруженный великим сталинским планом, под знаменем непобедимой ленинско-сталинской партии, советский народ уверенно, бодро и твердо шагает вперед к новым успехам и достижениям, вперед к новым сверкающим высотам коммунизма. Оснащенный всепобеждающей силой нерушимого морально-политического единства, водительствоваемый гениальным кормчим и вождем товарищем *Сталиным*, советский народ в радостной и упорной борьбе завоеует осуществление благороднейшей мечты человечества всех времен — построит коммунизм.

★

Исторический доклад товарища *Сталина* с непревзойденной силой и яркостью показал, что грандиозный подъем социалистической промышленности и земледелия привел к новому гигантскому росту *материального и культурного* положения советского народа. Товарищ *Сталин* доказал, что уничто-

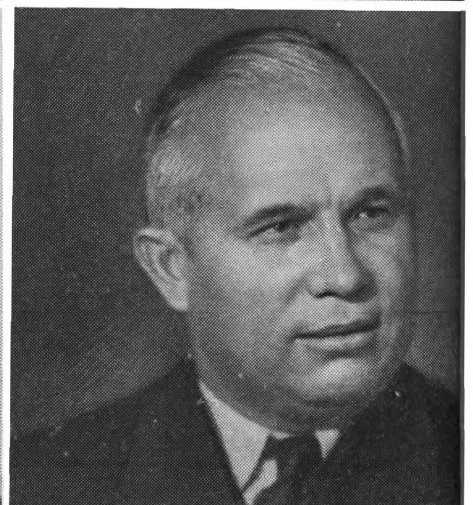
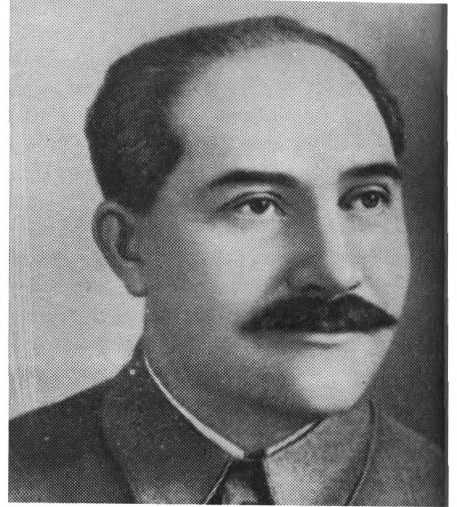
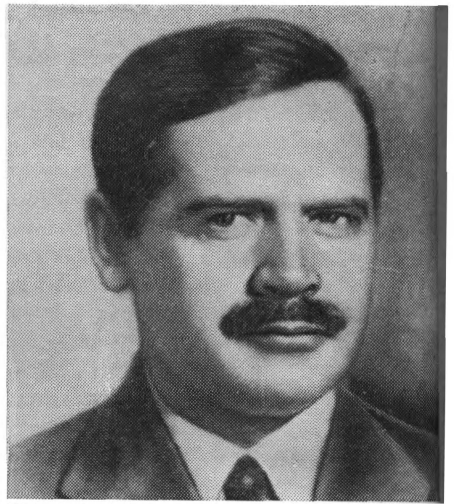
жение эксплуатации и укрепление социалистической системы в народном хозяйстве, отсутствие безработицы и связанной с ней нищеты в городе и деревне, громаднейшее расширение промышленности и непрерывный рост численности рабочих, рост производительности труда рабочих и колхозников, закрепление земли навечно за колхозами и снабжение их огромным количеством первоклассных тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин — все это создало самые благоприятные и реальные условия для дальнейшего неуклонного роста материального положения рабочих и крестьян. А улучшение материального положения рабочих и крестьян привело к улучшению материального положения советской интеллигенции, которая представляет значительную силу нашей страны и обслуживает интересы рабочих и крестьян.

Изумительные цифры, оглашенные товарищем *Сталиным*, рисуют картину гигантского подъема материального положения советского народа.

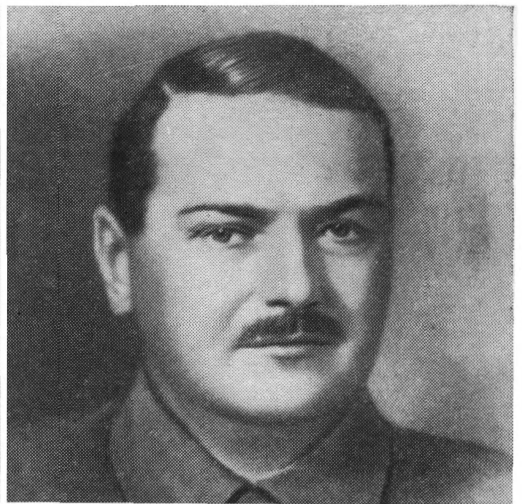
Приведя конкретные показатели значительного улучшения материального положения и благосостояния советского народа, товарищ *Сталин* указал, что вслед за подъемом материального положения шел неуклонный подъем культурного положения народа. Подчеркнув замечательные результаты громадной культурной работы, проделанной за истекшее пятилетие,* товарищ *Сталин* сказал:

«С точки зрения культурного развития народа отчетный период был поистине периодом культурной революции. Внедрение в жизнь всеобщего обязательного первоначального образования на языках национальностей СССР, рост числа школ и учащихся всех ступеней, рост числа выпускаемых высшими школами специалистов, создание и укрепление новой, советской интеллигенции, такова общая картина культурного подъема народа».

Незабываемые цифры неуклонного роста и систематического улучшения материального и культурного положения советского народа вселяют безбрежные чувства радости и гордости за парти-



ПОЛИТБЮРО ЦК ВКП(б): т.т. Андреев А. А., Ворошилов К. Е., Жданов А. А., Каганович Л. М., Калинин М. И., Микоян А. И., Молотов В. М., Сталин И. В., Хрущев Н. Кандидаты: т.т. Берия Л. П., Шверник Н. М.



Ленина—Сталина, за социалистическую родину-мать, за свои героические труды, давшие обильную жатву — чудесные плоды социализма всем трудящимся.

Сталинский третий пятилетний план устанавливает новое увеличение численности рабочих и служащих, повышение заработной платы рабочих и служащих на основе дальнейшего роста производительности труда, увеличение доходности колхозников на основе повышения урожайности. Сталинская третья пятилетка намечает новый грандиозный размах культурного строительства, громадные ассигнования на просвещение и здравоохранение, гигантское расширение производства предметов потребления и нового жилищного строительства, увеличение вдвое общественного питания. Все то, что намечено в сталинской третьей пятилетке, *повысит народное потребление почти в два раза*, о чем не могут даже мечтать ни в одной капиталистической стране.

Только в нашей советской стране будет настоящее изобилие продуктов, будет полная насыщенность предметами потребления в результате выполнения исторической задачи, выдвинутой товарищем Сталиным, — перегнать главные капиталистические страны также и в экономическом отношении. Только в нашей стране на основе ее грандиозного экономического роста движется вперед культурное строительство.

Сталинская третья пятилетка, принятая XVIII партсъездом, устанавливает большую программу культурного строительства. Значительно вырастет контингент учащихся в высших учебных заведениях. Вырастет подготовка квалифицированных кадров рабочих основных профессий, а также количество специалистов с высшим и средним образованием.

Вместе с тем в сталинской третьей пятилетке вырастет сеть театров и кино, клубов, библиотек, читален, домов отдыха. Громадный размах приобретает радиофикация и кинофикация страны, рост сети научных учреждений. Открываются громадные возможности для людей передовой советской науки и техники, советской культуры и искусства. Но-

вая полоса постепенного перехода от социализма к коммунизму сопровождается небывалым расцветом нашей социалистической культуры.

Уже в истекшем периоде выросла новая, народная, социалистическая интеллигенция, рожденная и взращенная культурной революцией в нашей стране победившего социализма и неустанными заботами великого вождя народов товарища Сталина. Эта новая, народная, социалистическая интеллигенция, подобной которой нет нигде в капиталистическом мире, находится в теснейшем дружественном сотрудничестве с рабочими и крестьянами, интересам которых она служит верой и правдой.

Товарищ Сталин с гениальной силой и глубиной дал классическое теоретическое обоснование и раскрытие всей принципиальной сущности вопроса об интеллигенции. Товарищ Сталин показал в своем богатейшем анализе весь путь, пройденный старой, буржуазной интеллигенцией, состоявшей из выходцев имущих классов и служившей им же, а также пути рождения, роста и побед нашей новой, народной, социалистической интеллигенции.

Наша новая, народная, социалистическая интеллигенция, насчитывающая в своих рядах около 10 миллионов людей, призванная сыграть колоссальную роль в дальнейших успехах культурной революции и коммунистического воспитания масс, пользуется заслуженным уважением, доверием и дружбой народа, отдает ему все свои силы, знания и способности для великого дела строительства коммунизма. Вот почему товарищ Сталин беспощадно разоблачил и вскрыл грубейшие ошибки и вывихи со стороны тех, кто не понимает принципиальной разницы между старой, буржуазной интеллигенцией и новой, народной, социалистической интеллигенцией, в отношении которой недопустимы проявления махаевщины, недоверия, неправильного подхода, чванства. Подобные вывихи могут, как указал товарищ Сталин в своем докладе, довести до воспевания отсталости, невежества, темноты, мракобесия.

Наш народ и наша ленинско-сталин-

ская партия гордятся своей новой, социалистической интеллигенцией, являющейся плотью от плоти, костью от кости рабочего класса и колхозного крестьянства. Больше того, вся страна с великим воодушевлением услышала гордые и сильные слова своего родного, любимого вождя товарища Сталина:

«Мы хотим сделать всех рабочих и всех крестьян культурными и образованными, и мы сделаем это со временем».

Это сталинское указание будет выполняться в третьей пятилетке, план которой «...имеет одну основную задачу — осуществить крупный шаг вперед в историческом деле поднятия культурно-технического уровня рабочего класса до уровня работников инженерно-технического труда».

Полное разрешение гигантской задачи уничтожения противоположности между трудом физическим и умственным трудом потребует нескольких десятилетий, но план третьей пятилетки успешно поднимает нас еще на одну ступеньку выше в деле выполнения этого великого дела. Сталинская третья пятилетка вселяет твердую уверенность в неизбежной победе коммунизма, который полностью сотрет грани между физическим и умственным трудом и весь народ сольет в единую высокоразвитую интеллигенцию коммунистического общества.

Вдохновляющее величие и победоносная сила сталинской третьей пятилетки в том, что она определяет план дальнейшего быстрого под'ема народного хозяйства, роста материально-культурного уровня трудящихся, удовлетворения растущих разнообразных потребностей народа в соответствии с новой эпохой постепенного перехода от социализма к коммунизму. В этом верный залог того, что сталинская третья пятилетка будет блестяще выполнена и перевыполнена дружными усилиями и творческим под'емом всего советского народа, радостно и твердо шагающего навстречу подымаемому лучезарному солнцу коммунизма.

★

Бурей долго не смолкающей, восторженной овации встретил XVIII парт'езд слова товарища Сталина о том, что

«С точки зрения политической линии и повседневной практической работы отчетный период был периодом полной победы генеральной линии нашей партии». Вся страна аплодировала этому заявлению, подтверждая, что дело партии Ленина—Сталина стало родным делом всего советского народа, что победы генеральной линии партии являются победами всех трудящихся, тесно сплотившихся вокруг своего испытанного передового отряда — Всесоюзной Коммунистической партии большевиков. Весь народ подтверждает, что грандиозные достижения и победы социализма демонстрируют правильность политики большевистской ленинско-сталинской партии, правильность ее сталинского руководства.

Полное торжество генеральной линии партии Ленина—Сталина — это счастье всего народа, освобожденного от кабалы капиталистического рабства и зажившего радостно, культурно, зажиточно и весело в своей родной социалистической стране. Полное торжество генеральной линии партии Ленина — Сталина ясно и понятно, осязательно и ощутимо каждым трудящимся, чувствующим на каждом шагу могучее, богатейшее дыхание страны победившего социализма, в которой навсегда уничтожены эксплуатация, безработица и нищета, неуклонно растет материальное и культурное положение всего народа.

Эти всемирно-исторические победы социализма не пришли сами по себе. Они завоеваны партией в результате огромной работы и упорной, героической борьбы, проведенной под водительством гения революции товарища Сталина в сложной обстановке преодоления гигантских трудностей. Партия вела весь народ по верному пути к победе, к всемирно-историческому триумфу социализма на шестой части мира.

«Перед лицом, — говорил товарищ Сталин, — этих грандиозных достижений противники генеральной линии нашей партии, разные там «левые» и «правые» течения, всякие там троцкистско-пятаковские и бухаринско-рыковские перерожденцы оказались вынужденными смяться в комок, спрятать

свои затасканные «платформы» и уйти в подполье. Не имея мужества покориться воле народа, они предпочли слиться с меньшевиками, эсерами, фашистами, пойти в услужение к иностранной разведке, наняться в шпионы и обязаться помогать врагам Советского Союза расчленив нашу страну и восстановить в ней капиталистическое рабство».

Большевистская партия и советский народ беспощадно выкорчевали и уничтожили троцкистско-бухаринских шпионов фашизма. Волчья свора предателей и изменников, банда шпионов и врагов народа понесла заслуженную кару. Таков позорный, бесславный конец всех противников генеральной линии нашей партии, ставших потом врагами народа, врагами социализма.

«Разгромив врагов народа и очистив от перерожденцев партийные и советские организации, партия стала еще более единой в своей политической и организационной работе, она стала еще более сплоченной вокруг своего Центрального Комитета». В этих сталинских словах ярко выражены замечательные итоги партийной работы и борьбы.

Товарищ Сталин в своем докладе уделил серьезнейшее внимание боевым задачам дальнейшего укрепления ВКП(б). Товарищ Сталин, как родной отец и любящий учитель, всегда с особой заботой, всегда бережно и неустанно пестует нашу большевистскую партию. Сталинский Центральный Комитет провел за отчетный период все необходимые мероприятия для очистки партии от враждебных, чуждых, случайных и ненадежных людей, для всемерного укрепления и сплочения партийных рядов.

Подведя итоги всех мероприятий, проделанных партией в области организационной и идеологической работы, товарищ Сталин указал задачи дальнейшего оттачивания и укрепления всепобеждающего организационного оружия большевизма. Это закаленное оружие большевизма всегда было в самых твердых, самых сильных и испытанных руках гениальных основоположников и творцов нашей партии Ленина и Сталина, выковавших и создавших могучую мар-

ксистскую партию нового типа, сумевшую обеспечить своим руководством победоносную Великую Октябрьскую революцию и построение социализма в нашей стране и до основания потрясшую устои мирового империализма. Неумимо руководя великим делом строительства социализма, товарищ Сталин гениально продолжил и развил дальше марксистско-ленинское учение о партии, что обеспечило победу генеральной линии и триумф социализма в нашей стране.

Теперь товарищ Сталин выдвинул задачи дальнейшего укрепления партии, дальнейшего улучшения всех отраслей партийной работы, и в особенности организационной, пропагандистской, воспитания и научной организации подбора кадров в соответствии с требованиями новой эпохи постепенного перехода от социализма к коммунизму.

Блестящий доклад товарища А. А. Жданова и решения XVIII съезда партии об изменениях в уставе ВКП(б) глубоко проникнуты, целиком пропитаны величайшей сталинской заботой о дальнейшем усилении организационной крепости и всепобеждающего могущества нашей родной большевистской партии.

Величественная сила всемирно-исторических побед социализма, сверкающего неиссякаемой солнечной радостью, гигантски выросшая роль героической партии Ленина — Сталина — славной и единственной руководительницы неумимой борьбы за полное торжество коммунизма — ярко отражены в решениях XVIII съезда партии и в докладе товарища А. А. Жданова. Эти решения со всей силой показывают, каких грандиозных успехов в строительстве социализма на шестой части мира добилась неукротимая, богатая воля коммунистической партии и советского народа, тесно сплотившихся под боевым знаменем Ленина — Сталина в несокрушимом морально-политическом единстве.

Успешное построение великолепного, прекрасного здания социализма, безраздельное господство социалистической экономики в нашей стране создало новую обстановку, внесло коренные изме-

нения в классовую структуру советского общества. В решениях XVIII съезда партии и в докладе товарища А. А. Жданова говорится, что за прошедшие годы социалистического строительства были окончательно ликвидированы все эксплуататорские элементы — капиталисты, купцы, спекулянты, кулаки. Полностью уничтожены эксплуатация человека человеком и порождающие ее причины. За эти же годы коренным образом, глубоко изменились сами трудящиеся Советского Союза — рабочие, крестьяне, интеллигенция. Рабочий класс, превратившийся в совершенно *новый* класс, какого нет нигде в мире, освободился от тяжелых пут эксплуатации, уничтожил капиталистическую систему хозяйства и установил священность и неприкосновенность социалистической собственности. В корне изменилось наше крестьянство, превратившееся в совершенно новое, колхозное крестьянство, какого нет ни в одной стране мира. Наша интеллигенция — вчерашние рабочие, крестьяне и их сыновья превратились в советскую, новую интеллигенцию, крепко связанную с народом и являющуюся равноправным членом социалистического общества.

Совершенно стираются классовые грани и различия между трудящимися нашей страны, падают и ликвидируются экономические и политические противоречия между рабочими, крестьянами и интеллигенцией. Создалась крепчайшая, незыблемая основа морально-политического *единства* советского народа, что особенно ярко проявилось в создании и блестящей победе сталинского блока коммунистов и беспартийных на выборах в Верховный Совет Союза ССР и в Верховные Советы союзных и автономных республик.

Навсегда крепко слились воедино две исполинские силы — *народ* и *коммунизм*. Одно из ярчайших, блестящих проявлений морально-политического единства состоит и в том, что вокруг нашей ленинско-сталинской партии выросли многочисленные кадры непартийных большевиков — передовых пролетариев, крестьян и интеллигентов, являющихся активными, сознательными и

стойкими борцами за дело партии, проводниками ее линии в массах.

Все эти новые важнейшие факторы в корне изменили условия и создали новую обстановку, при которой назрела необходимость изменения некоторых форм организационной работы партии.

Решения XVIII партсъезда и указания доклада товарища Жданова дают классическое ленинско-сталинское обоснование изменений, внесенных в устав партии. До сих пор прием в партию проводился по-разному, в зависимости от социальной категории принимаемого в партийные ряды. Сейчас отпала нужда в установлении разных категорий при приеме в партию и разного кандидатского стажа, а установлены единые условия приема и одинаковый кандидатский стаж, независимо от принадлежности принимаемых в партию к рабочему классу, крестьянству или к интеллигенции. При этом необходимо твердо соблюдать ленинско-сталинский принцип *индивидуального* порядка и отбора в партию лучших людей нашей страны, стойких и проверенных в борьбе за коммунизм против всех врагов партии и народа.

Весь доклад товарища Жданова и решения XVIII съезда пронизаны сталинской заботой о членах партии. В устав партии внесено дополнение о правах членов партии, повышающее ответственность коммунистов за дело партии и обеспечивающее дальнейшее развертывание самокритики, дальнейшее укрепление связи между руководящими парторганами и массами, а также ограждающее членов партии от бюрократического произвола. Съезд встретил полным одобрением заявление товарища Жданова о необходимости освободить партию от негодного мусора, разного сорта Собакевичей — клеветников, которые стремились при помощи всяких репрессий перебить честных коммунистов и посеять излишнюю, ненужную подозрительность в партийных рядах.

Поэтому согласно решения XVIII съезда в устав партии и вносятся дополнения, ограждающие права коммунистов от всяких проявлений произвола.

Вместе с тем приняты решения о ликвидации *массовых чисток* партии, о дальнейшем разворачивании *внутрипартийной демократии*, о перестройке партийного аппарата, о *централизации* подбора, выдвижения и распределения кадров.

Все решения XVIII съезда, принявшего предложения, выдвинутые в докладе товарища *Жданова*, направленные к дальнейшему, еще большему укреплению всепобеждающей силы партии, еще большему расцвету ее многогранной, полнокровной жизни, ее внутрипартийной демократии, ее сплоченности вокруг великого знамени *Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина*. Любвиная сталинская забота о людях, о кадрах, об их воспитании и смело выдвигании звучит в каждой строке решений XVIII съезда, в каждом слове доклада товарища *Жданова*, напомнившего исторические слова отчетного доклада товарища *Сталина* о необходимости неустанно беречь и уважать наши кадры — «золотой фонд партии и государства», о необходимости сочетания *старых и молодых* работников при подборе кадров.

Весь партийный съезд был необычайно ярким свидетельством невиданного роста наших кадров, заботливого выращивания и воспитания людей, их сталинского выдвижения и всестороннего вооружения для повседневной успешной деятельности во всех областях социалистического строительства, социалистической культуры и искусства. Весь партсъезд был исполнен любви к нашим людям, веры в их творческие и моральные силы, глубочайшей заботы о человеке в нашей стране, которого выращивают, как садовник облюбванное им плодородное дерево.

XVIII партсъезд показал, как неисчерпаемы источники замечательных талантов во всех областях жизни и государственной деятельности, как неисчерпаемы источники даровитых и способных людей в нашей партии и в нашем народе. Это прошло непрерывной красной нитью через всю работу съезда, показавшего, какими прекрасными, чудесными людьми, выдающимися борцами,

славными героями и героинями богата наша социалистическая родина.

Именно это с небывалой силой выявилось на съезде во всех докладах и в речах, во всех выступлениях делегатов и в принятых решениях. Все этому прекрасной иллюстрацией на съезде явились также итоговые материалы, цифры и факты, оглашенные товарищем *Г. М. Маленковым* в докладе мандатной комиссии. Весь состав делегатов съезда отражает результаты огромнейшего выдвижения молодых кадров и правильного использования опыта старых кадров. Это вполне естественно, ибо за истекший период Центральный Комитет партии неуклонно проводил сталинскую линию на сочетание, соединение старых и молодых кадров во всей работе.

Партийные организации выбирали и послали на съезд самых лучших людей страны, самых твердых, стойких и талантливых руководителей, кто наиболее активно боролся за генеральную линию партии *Ленина — Сталина*. Поэтому XVIII съезд явился ярчайшим воплощением несокрушимого единства партийных рядов, воплощением стальной сплоченности всей нашей партии вокруг Центрального Комитета и любимого, великого *Сталина* — вождя международного революционного пролетариата и всего передового, прогрессивного человечества.

Все решения XVIII съезда партии, как и выборы в центральные руководящие органы, приняты и прошли с исключительным *единодушием*. Это небывалое монолитное единство всех участников съезда — верховного органа партии — вернейший залог дальнейших побед в борьбе за осуществление всех принятых решений, обеспечивающих полную реализацию великой программы строительства коммунизма в нашей стране. Еще крепче, еще теснее сплотившись вокруг нового Сталинского Центрального Комитета и своего гениального вождя, любимого товарища *Сталина*, наша партия и весь советский народ еще успешнее, еще быстрее и радостнее шагают к близким, чудесно засверкавшим вершинам коммунистического общества, которое неизбежно восторжествует в нашей стране и во всем мире.

В. И. ЛЕНИН

Памяти председателя Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета
тов. Я. М. Свердлова

Речь, записанная на граммофонной пластинке
Конец марта 1919 г.

★

Кто работал изо дня в день с тов. Свердловым, тем особенно ясно, что его исключительный организаторский талант обеспечивал нам то, чем мы гордились с полным правом. Он обеспечивал нам возможность дружной, целесообразной организованной работы, которая была бы достойна организованных пролетарских масс, той работы, без которой не могло бы быть успеха и которая всецело отвечала потребностям пролетарской революции. Память о тов. Якове Михайловиче Свердлове будет служить не только символом преданности революционера своему делу, не только образцом сочетания практической трезвости и практической умелости, полной связи с массами, с умением их направлять, но будет служить и залогом того, что все более и более широкие массы пролетариата пойдут все вперед и вперед к полной победе коммунистической революции.

Ленин, т. XXIV, стр. 193.

★



И. В. Сталин о Я. М. Свердлове

★

Есть люди, вожди пролетариата, о которых не шумят в прессе, может быть, потому, что сами они не любят шуметь о себе, но которые являются, тем не менее, жизненными соками и подлинными руководителями революционного движения. К числу таких вождей принадлежит Я. М. Свердлов.

Организатор до мозга костей, организатор по натуре, по навыкам, по революционному воспитанию, по чутью, орга-

низатор всей своей кипучей деятельностью, — такова фигура Я. М. Свердлова.

Что значит быть вождем-организатором в наших условиях, когда у власти стоит пролетариат? Это не значит подобрать помощников, составить канцелярию и давать через нее распоряжения. Быть вождем-организатором в наших условиях это значит, во-первых, знать работников, уметь схватывать их достоин-

ства и недостатки, уметь подойти к работникам, во-вторых, уметь расставить работников так:

1) чтобы каждый работник чувствовал себя на месте;

2) чтобы каждый работник мог дать революции максимум того, что вообще способен он дать по своим личным качествам;

3) чтобы такого рода расстановка работников дала в своем результате не перебои, а согласованность, единство, общий подъем работы в целом;

4) чтобы общее направление организованной таким образом работы служило выражением и осуществлением той политической идеи, во имя которой производится расстановка работников по постам.

Я. М. Свердлов был именно такого рода вождем-организатором нашей партии и нашего государства.

Период 1917—1918 гг. был периодом переломным для партии и государства. Партия в этот период впервые стала правящей силой. Впервые в истории человечества возникла новая власть, власть советов, власть рабочих и крестьян. Перевести партию, дотоле нелегальную, на новые рельсы, создать организационные основы нового пролетарского государства, найти организационные формы взаимоотношений между партией и советами, обеспечив партии руководство, а советам их нормальное развитие, — такова сложнейшая организа-

ционная задача, стоявшая тогда перед партией. В партии не найдется людей, которые решились бы отрицать, что Я. М. Свердлов был одним из первых, если не первым, который умело и безболезненно разрешил эту организационную задачу по строительству новой России.

Идеологи и агенты буржуазии любят повторять истасканные фразы о том, что большевики не умеют строить, что они способны будто бы лишь разрушать. Я. М. Свердлов, вся его работа являются живым опровержением этих рассказов. Я. М. Свердлов и его работа в нашей партии не есть случайность. Партия, породившая такого великого строителя, как Я. М. Свердлов, может смело сказать, что она умеет так же хорошо строить новое, как и разрушать старое.

Я далек от того, чтобы претендовать на полное знакомство со всеми организаторами и строителями нашей партии, но должен сказать, что из всех знакомых мне незаурядных организаторов я знаю — после Ленина — лишь двух, которыми наша партия может и должна гордиться: И. Ф. Дубровинского, который погиб в туруханской ссылке, и Я. М. Свердлова, который сгорел на работе по строительству партии и государства.

Статья товарища Сталина «О Я. М. Свердлов» была впервые напечатана в 1924 г. в журнале «Пролетарская революция», № 11 (34), стр. 107—108.

Краледворская рукопись

Вступительная статья, стихотворный перевод, пояснения и примечания

ИВАНА НОВИКОВА

★

I

Так называемая «Краледворская рукопись» сыграла огромную роль в истории чешского возрождения, содействуя росту национального самосознания чешского народа. Написанная на древнечешском языке, она содержала несколько небольших старинных поэм и народных песен, исполненных большой поэтической силы и правды. Давняя старина дышала в них из глубины веков. Перед читателем вставали яркие картины чешской истории, борьбы за независимость гордого народа, древний быт и живые народные чувства и страсти. Огромная литература, посвященная изучению рукописи, и споры ученых о ее подлинности заполнили собою целое столетие. Опубликованием этих замечательных произведений чехи обязаны Вацлаву Ганке—поэту, ученому, одному из самых крупных деятелей чешского возрождения.

Ганка родился в 1791 г. в зажиточной крестьянской семье. Будущий поэт и ученый исследователь в детстве пас овец, но зимою учился в гимназии, с увлечением занимаясь историей родной страны, народными славянскими песнями, проявляя большой интерес к древним чешским книгам. Детские и юношеские годы, проведенные в деревне, в непосредственной близости к природе, к трудовому народу, определили особенности его поэтического дарования, и народная стихия стала звучать в его песнях, слагаемых с искренним чувством. Некоторые из них получили широкое распространение в народе.

Ганка изучал не только чешскую старину. Его живо интересовала народная литература всего славянства. Так, в двадцатых годах прошлого века он издал в переводе собрание сербских песен, польских народных песен, дал перевод «Слова о полку Игореве». Переводом «Слова», сделанным Ганкою, пользовался Пушкин, когда он сам изучал нашу древнюю поэму.

16 сентября 1817 г. молодой Ганка, в бытность свою в городке Кралевом Дворе, от кого-то услышал, что под нижними сводами церковной башни имеется собрание стрел, относящихся ко временам Яна Жижки. Ганка полюбостовал их поглядеть и там, среди книжного хлама, обнаружил двенадцать пергаментных листочков и два узких лоскута, повидимому, вырванных из обемистого несохранившегося сборника. Из надписей в найденной рукописи мы видим, что сохранились только 25-я (конец), 26-я, 27-я и 28-я (неполная) главы третьей книги сборника.

В предисловии к Краледворской рукописи, в издании 1829 г., сам Ганка о находке своей рассказывал так: «При первом взгляде мне показалось, что это были латинские молитвы, но какая радость наполнила мое сердце, когда я увидел, что это написано по-чешски, и как возрастала эта радость, когда я, чем далее читал, тем более находил там красоты и привлекательности». Ганка тотчас же поделился этим открытием со своими спутниками, которые его сопровождали на прогулке, и вызвал всеобщий восторг. Городские власти подари-

ли Ганке его находку, которую он передал в королевский музей.

За год до этого помощник Ганки, Иосиф Линда, нашел «Песнь под Вышеградом», в пергаментном переплете, а год спустя в ответ на приглашение обербургграфа чешского королевства Коловрата Либштейнского — собирать и доставлять древние памятники чешской литературы — неизвестное лицо прислало в пражский магистрат Зеленогорскую рукопись с «Судом Любуши». Позже стало известно, что эта рукопись была найдена в 1817 г. Иосифом Коварем, управляющим князя Коллоредо-Мансфельда в Зеленогорском замке близ Непомука.

В дальнейшем были и другие, менее значительные находки; об одной из них нам придется еще упомянуть.

II

Краледворская рукопись издавалась и переиздавалась в Чехии многократно. Первое издание было выпущено в свет в 1819 г. в Праге. Текст был напечатан точно по рукописи, но уже разделен на стихи. В книге даны были также переводы на новочешский и немецкий языки. Впечатление, произведенное опубликованием Краледворской рукописи, было громадным. Большое поэтическое достоинство древних поэм свидетельствовало о высокой культуре чешского народа уже в очень давние времена. Это поднимало национальный дух и веру в возможное возрождение нации.

Но дальнейшая история опубликованной Ганкою рукописи полна самых страстных споров между учеными. Подлинность находки была поставлена под сомнение. Возражения шли с разных сторон. Одно из главных возражений сомневавшихся опиралось на слишком большую близость древнего чешского языка рукописи к языку древних русских летописей и «Слова о полку Игореве». Но другим исследователям именно это обстоятельство казалось, напротив того, весьма естественным, ибо в старину живее чувствовалось родство славянских племен между собою. Однако и скептики признавали высокую эпи-

ческую поэзию этих поэм, их «величавую грубость», «сильные душевные переживания», «простоту художественных образов». Произведения самого Ганки значительно уступали по своим художественным достоинствам опубликованной им рукописи. На это обстоятельство обращали особое внимание защитники подлинности рукописи: странно было думать, что поэт сознательно отрекается от лучших своих вещей. Но, с другой стороны, можно было, конечно, предположить, что, публикуя их, как древнюю рукопись, он тем самым стремился придать им большую весомость.

В споре этом, сопровождаемом учеными изысканиями, принимали горячее участие чешские, русские и немецкие ученые. Большая политическая острота документа, высоко патриотически поднимающая борьбу чешского народа против поработителей-немцев, вызвала такую же остроту ученых споров. Таким образом, обнаружилась относительная «беспристрастность» людей науки. Даже анализ чернил и киновари, которыми написана Краледворская рукопись, давал неодинаковые результаты в разных руках. Так, отрицательный для подлинности рукописи приговор вынесен был и в этом отношении одним из знатоков латинской палеографии Г. Фридрихом, в то время как специальный химический анализ не дал определенного ответа на вопрос, не относятся ли эти чернила ко времени находки рукописи, хотя, если бы все обстояло действительно так, определить это было бы вовсе не трудно.

В последнее время, однако, большинство ученых склоняется к мнению, что рукопись подделана Ганкой. Мы не будем следить за всеми перипетиями спора. Укажем лишь, что одним из решительных моментов, и даже будто бы решающим, считается то обстоятельство, что Л. Долянский среди орнаментов упоминавшейся нами Зеленогорской рукописи («Суд Любуши»), которая вместе с другими старинными стихотворениями также была напечатана Ганкой, прочел фразу: «Напка fecit», т.-е. «Сделано Ганкой». Но следует ли из этого факта тот окончательный вывод, что

надпись эта «может служить чисто-сердечным сознанием фальсификатора, предназначенным для грядущих веков»? Прежде всего никакой подобной надписи нет на листках самой Краледворской рукописи, а, казалось бы, «для грядущих веков» особенно важно было похвастаться именно этими поэмами. Любопытно также отметить, что звук «г» в Краледворской и Зеленогорской рукописях изображается различными чешскими буквами: знак того, что рукописи писаны не одним и тем же лицом. Ганка действительно напечатал и Зеленогорскую рукопись, присланную в яражский магистрат другим лицом, это верно, но сделана ли надпись среди орнаментов им самим, и какова ее цель, и знал ли он сам о ней? Все это не так уже ясно.

Если иногда подделывают старые рукописи, то отчего не допустить, что можно и на старой рукописи сделать новую надпись? А между тем если эта надпись действительно новая по сравнению с основным текстом, то различную флюоресценцию старого и нового текста можно было бы легко обнаружить, подвергнув документ действию ультрафиолетовых лучей. Насколько мы знаем, подобное исследование рукописи произведено не было. Необходимо также отметить то немаловажное обстоятельство, что одна из небольших пьес Краледворской рукописи—«Олень»—была не зависимо от находки Ганки найдена другим лицом (Циммерманом) на отдельном пергаментном листке и текст обеих рукописей оказался совершенно одинаковым.

Мы хотим также напомнить историю с макферсоновым Оссианом. После того, как совершенно утвердилось мнение, что Макферсон был чистым «фальсификатором»,—мнение, которое и сейчас широко распространено и прочно утвердилось в читательском сознании,—был же, однако, несколько десятилетий спустя после смерти самого Макферсона, найден так называемый «Лесморский сборник» 1555 г., в котором отыскалась песня, пописанная Оссиану и в высшей степени схожая в тоне и сюжете с поэмами, изданными Макферсо-

ном. Оказалось, что туманный и меланхолический тон оссиановых поэм не был выдумкою Макферсона, а целиком присущ шотландской легенде. По отношению к Макферсону наиболее справедливым теперь оказывается мнение, что он действительно собрал много подлинных народных преданий, записав их, а некоторые подвергнув самостоятельной обработке.

Мы не собираемся принять участие в ученом споре о Краледворской рукописи и выносить какое-либо собственное решение в этом запутанном литературном деле, но нам хотелось бы выдвинуть по отношению к Ганке и такую, возможную, точку зрения, что в случае, если рукопись действительно не оказалась бы древней, признать не только возможность, но и большую вероятность того, что в поэмах Краледворской рукописи мы все же имеем дело с подлинным народным творчеством, записанным и, может быть, лишь частично литературно оформленным Ганкой, что и не дало ему возможности выдать эти вещи за свои. Но если бы даже и действительно поэмы эти были написаны целиком самим Ганкой, то и тогда он заслуживает не обвинений в «фальсификаторстве», а славы большого поэта.

В итоге мы думаем, что значение Краледворской рукописи, по существу, не может быть поколеблено, независимо от споров о ее происхождении. Не зря она и не случайно за столетие с лишним так прочно вошла и в живую новую историю чешского народа, и в народное сознание. Краледворская рукопись любима чешским народом, она является кровным его достоянием.

Непосредственное знакомство с поэмами дает и нам живое ощущение чешской старины и длительной героической борьбы с насильниками чешского народа, судьбы которого так много говорят нашему сердцу.

Более того, поэмы эти звучат сейчас с особою, пронзительною силой.

III

В расположении поэм мы не следуем порядку рукописи. Мы выделили от-

дельно поэмы исторические, расположив их по времени событий, составляющих их содержание; вторым отделом идут поэмы-песни; третьим — коротенькие народные песни, и, наконец, в четвертом отделе мы даем «Суд Любуши», который хотя и не входит в состав Краледворской рукописи, но весьма ей родственен и обычно печатается вместе с нею.

Краткие исторические справки о событиях, даваемых в поэмах, мы отнесли в примечания.

Содержанием огромного большинства поэм является борьба чешского народа, под водительством любимых вождей, против исконного врага — немца и других народов, воевавших Чехию.

В поэмах «Забой и Славой» и «Честмир и Власлав» даются широкие и исполненные страсти картины этого отпора языческой еще Чехии тем завоевателям, которые насильственно, вместе с ужасами войны, приносили с собой и новую веру. Казалось бы, какая далекая старина! Но прислушаемся к ней:

И пришли чужие,
На родину вторглись,
И словами чуждыми
Нам повелевают.
И как что творится
В тех чужих пределах
От утра до ночи, —
Так же должно делать
Нашим детям, женам.

Как должны сейчас звучать эти строки в Чехо-Словакии и как они звучат для нас? Точно бы сама современность кровью вписывает их в жизнь:

И чужим богам — земли, нам чуждой,
Поклоняться надо...

Но не одна горечь в этих поэмах. Подросла молодежь —

И как выросли, окрепли мышцы, —
И умы против врагов окрепли;
И другие выросли братья,
На врагов ударили согласо;
И был гнев их, как гроза на небе,
И когда в отчизну воротились,
Воротилось и бывшее счастье.
(Все три отрывка из «Забоя и Славоя»).

Вот еще две контрастные цитаты:

Долгим строем идут немцы —
Это немцы-саксы —
От Згорельских гор древних

В нашу сторонку...

А потом выжигают
Дворы и хаты...

(«Бенеш Германьч»).

И из другой поэмы — радость победы:

Разносилась радость по всей Праге,
Разносилась радость вокруг Праги,
Разлеталась радость на всю землю,
На всю землю от счастливой Праги!
(«Ольдрик и Ярмир»).

Главный враг — всюду немцы, и даже в «Суде Любуши», где ни о какой войне нет речи, один из выступающих говорит: «Стыдно нам искать у немцев правды!».

Мысль о постоянной угрозе со стороны немцев не покидала чехов никогда. В поэме-песне «Людиша и Любор» воины с'ехали для турнира, в стране царит мир, но князь поясняет, что турнир должен определить, кто более всех мужественен и отважен:

«Надо битвы ждать и в мире:
Ведь у нас соседи — немцы!».

В поэмах даются точные и характерные описания битв, штурма, военных хитростей, отваги, гордый крик в лицо враждебному воеводе:

«Ты скажи от нас тирану:
Повеленья его — дым!».

(«Забой и Славой»).

Поэмы показывают и изменников; таков Крувой в поэме «Честмир и Власлав».

... Там он Неклана поносит,
А ведь верность обещал,
Руку верную давал!
Но рукою и словами
Наводил беду на люд.

Найдем мы и образы малодушных. В поэме «Ярослав», посвященной битвам с татарами, в войске пошли разговоры:

«Дальше мы терпеть не в силах жадбы,
Невозможно без воды сражаться!
Кто жалеет жизнь свою, здоровье,
От татар лишь жди себе пощады» —
Так одни сказали, так другие.

Затем последовали прямой призыв перейти к татарам и отповедь одного из вождей:

«...шею

Самому грешно тянуть под иго».

Как это напоминает обращение нашего Игоря к своим воинам:

«Лучше убиту быти,
Нежели полонену быти!».

Вообще, «Слово о полку Игореве» приходит на ум при чтении чешских поэм не однажды. Там мы встретим и «ярого тура», и поминание о древнем певце, и картину исхода души из тела. Певец «Слова о полку Игореве» так рисует нам смерть Изяслава Васильковича:

Один —
Из храброго тела
Через ожерелье златое
Жемчужную душу он изронил.

В поэме-песне «Олень» враг вышиб из юноши душу:

Тонкой шеей она вылетала,
А из шеи красивыми устами,
Сам лежит, а кровь его теплая
Истекает за душой отшедшей.
Пьет ее земля сырая,
И у каждой у девицы
На сердце печально.

Так элегически-нежно дана эта смерть юноши; сурово, хотя и сохраняя тот же образ, дана смерть врага:

Сильный Власлав закипает кровью,
Кровь травой зеленой
В сыру-землю каплет.
И душа из уст ревущих
С дерева на дерево летала,
Пока труп не предан был сожжению.
(«Честмиг и Власлав»).

Образ древнего певца Люмира в «Забое и Славое» дан не только как образ поэта, но и как огромная действительная сила. Так же оценивается в поэме песнь самого Забоя. Призывом своим он вдохновлял воинов на борьбу с врагом. Так же следует оценивать и самые поэмы Краледворской рукописи.

В целом поэмы Краледворской рукописи занимают среди других эпических произведений славянских народов свое обособленное место и имеют определенную поэтическую индивидуальность. Уступая поэтической насыщенности сербского эпоса и широкому напевному разливу наших русских былин, они проявляют высокое поэтическое напряжение в другом. В них все дается в движении, в

столкновении сил — силы народа, отстаивающего в непрерывной борьбе свое самостоятельное и самобытное существование, и враждебных, точнее — вражеских сил, непрестанно ему угрожающих. Как долины и горы составляют единый пейзаж, так и герои поэмы, вознесенные на величавую высоту родных гор, неотделимы от всего народа, отстаивающего плодородные свои равнины — отчую землю — против злого врага.

В этом волнующем под'еме народного чувства и в суровой и благородной простоте его выражения — одновременно и главное содержание, и главное очарование народных чешских поэм.

IV

Краледворская рукопись переводилась на многие языки: на русский, украинский, сербский, иллирийский, польский, верхнелужицкий, новочешский, немецкий, итальянский, английский.

Первый русский перевод был сделан известным А. С. Шишковым в 1820 г. Шишков указывал на близость языка Краледворской рукописи к русскому языку. «Затруднение понимать оный наводит токмо слитность латинских букв, различно произносимых и никакими строчными знаками неразделенных; но со всем тем Слово о полку Игореве темнее для нас, нежели сия Богемская рукопись». Впрочем, он же тонко отмечал, что под словами, общими обоим языкам, «часто в одном наречии разумеется хотя и смежное нечто, однако же различное от другого». Эта кажущаяся легкость перевода заставляла между прочим самого Шишкова часто прибегать, для уразумения отдельных мест, к немецкому переводу В. А. Свободы.

В 1846 г. вышел стихотворный перевод Н. Берга. Работа эта — старательная и добросовестная, но порою, увлекаясь, поэт-переводчик позволяет себе отходить довольно далеко от подлинника. Дело обстоит значительно хуже, когда Берг покидает размер подлинника и дает такую псевдо-русскую «московщину»:

Гой ты, солнце наше красно!
 Что с лазоревых высот
 Нынче так печально светишь
 Ты на бедный наш народ?

Манера эта напоминает манеру перевода «Слова» Н. Гербеля, и недаром этот последний перепечатывал переводы Берга. Но перевод Берга издан был Ганкою и за границей — в Праге — в 1851 г. и напечатан в «Полиглоте» 1852 г. Эта работа Берга была весьма положительно встречена как у нас, так и в самой Чехии, что не помешало, впрочем, появиться такому отзыву одного из исследователей (Небеского): «...важнее всего для него (переводчика) язык отечественный, русский; при переводе он заботился прежде всего о нем; этой обязанности должен уступить место всякий другой взгляд на дело, даже и требование верности перевода».

Мы не упоминаем о переводах отдельных вещей, но необходимо назвать полный и очень хороший по точности прозаический перевод А. Соколова, составляющий часть работы этого автора, помещенной в «Ученых записках Казанского университета» за 1845 и 1846 гг. Нередко отдельные строки передают и размер подлинника, давая образцы окончательного перевода. Но, конечно, и эта работа не может и не должна избавить нового переводчика от ознакомления с другими учеными исследованиями (из многих русских трудов особенно ценна книга Н. Некрасова «Краледворская рукопись», Спб., 1872 г.) и в особенности от самостоятельной работы над подлинным чешским текстом. Только это последнее и дает возможность как уточ-

нять для себя самый смысл отдельных мест, так и пытаться приблизиться к своеобразному ритму подлинника, к особой конструкции фраз.

Нам хочется в заключение выразить уверенность в том, что поэмы Краледворской рукописи и ее песни, кстати сказать, весьма родственные нашим, должны вызвать у нашего читателя, и в частности у учащихя, понятный и действительный интерес. Мы должны знать внутреннюю жизнь близких нам по языку славянских народов, а эту жизнь дает нам ощутить их народная литература, которую обычно знаем мы меньше, чем литературу «великих народов». Всякий народ, и великий и малый, есть прежде всего народ, и человечество проявляется в великом разнообразии формы национальных культур. В Праге как-раз был центр культурной жизни родственных нам, русским, славянских народов. Теперь этого центра нет, и поэтическое народное достояние — Краледворская рукопись — это, конечно, теперь запретная книга для чехов.

Последние потрясающие события в Чехо-Словакии, когда эта мирная и высококультурная страна подверглась неслыханному, ничем не оправданному насилию и временно потеряла свою государственную самостоятельность, заставляют нас особенно остро переживать трагедию, выпавшую на долю чехов. Однако же горькая судьба доблестного, гордого народа, знавшего издавна немало тяжелых испытаний, конечно, не может сломить его окончательно и оставляет веру в лучшее будущее. Поэмы Краледворской рукописи крепят эту веру.

★ ★ ★

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ

ЗАБОЙ И СЛОВОЙ¹

Выситя скала из чернолесья,
 На скалу выходит сильный Забой,
 Все края кругом он озирает,
 От краев тех дух в нем замутился,
 Он заплакал плачем голубиным.
 Так сидел и горевал он долго.
 Вдруг взметнулся, как олень, и бегом —

Лесом вниз, пустынным, долгим лесом!
 Быстро поспешал от мужа к мужу,
 К сильному от сильного в округе,
 Коротко и тайно говорил всем,
 Клял богам поклоны
 И спешил к другому.

И минул день первый,
 И минул второй день.

Как луна в ночи взошла за третьим,
Собралися мужи в чернолесьи,
К ним пришел и Забой,
Отвел их в долину,
В низкую долину,
В глубину лесную.
И ступил тут Забой,
Стал на дно оврага,
Взял варито² звучное.

«Мужи, братья сердцем,
Искренние взором!
Вам пою я снизу
Глубинную песню,
Песнь идет из сердца,
Залитого горем,
С глубины сердечной.

К праотцам отшедши,
На земле оставил
Отец своих деток
И своих любимых.
Никому не молвил:
«Брат, ты говори им
Отчими словами!».

И пришли чужие,
На родину вторглись
И словами чуждыми
Нам повелевают.
И как что творится
В тех чужих пределах
От утра до ночи,—
Так же должно делать
Нашим детям, женам.
И одну подругу
Нам иметь дозволено
С юности до смерти³.

Коршунов всех враг из рощ повыгнал,
И чужим богам — земли, нам чуждой,

Поклоняться надо,
Приносить им жертвы,
Пред богами нашими
Не склонять чела,
В сумерки не смей давать им яства,
Как отец давал им эти яства;
И куда ходил к богам молиться,
Там враги посекали все деревья,
Наших всех богов посокрушили⁴».

— «Ах ты, Забой, Забой!
Ведь от сердца к сердцу
Песнь поешь ты горькую!
Как когда-то Люмир⁵
Песней и словами

Вышеград потряс с его округой,
Так меня ты тронул и всю братью:
Доброго певца и боги любят!
Пой! От них та песня
В сердце на врагов!».

Взглянул Забой, пригляделся Забой,
Как у Славоя горели очи, —
Пеньем далее сердца тревожил:

«В лес ходили два сына,
Голоса их окрепли,
Как у мужей.
Там они молотом,
Копьем и мечом
Руки крепили.
Там укрывались
И возвращались сторожо.

И как выросли, окрепли мышцы, —
И умы против врагов окрепли;
И другие вырастали братья,
На врагов ударили согласно;

¹ Перед текстом поэмы в рукописи имеется строка, носящая характер заголовка: «Начинается о великом побоище». Эта поэма, так же, как и «Честмир и Власлав», рисует нам древнюю эпоху язычества. Относительно времени описываемых в ней событий мнения различных исследователей расходятся. Сообщение о нашествии чужеземцев, насильственно и жестоко внедрявших христианство, делает вероятным, что события происходят в очень давние времена. Но, может быть, не следует искать точных дат, относя, например, все происходящее к VII или VIII веку. Пожалуй, вернее считать это произведение обобщенным народным преданием о воеменах борьбы язычества с христианством. В этой вещи особенно живо чувствуются ее древние народные истоки.

² Варито — многострунный инструмент, похожий на лиру. Вторым музыкальным инструментом у чехов были гусли.

³ В этой страшной картине насильственного навязывания чужих верований особо следует отметить запрещение многоженства. По свидетельству хрониста Фредегара, древний чешский герой VII века Само имел 12 жен, 22 сына и 15 дочерей.

Словами «юность» и «смерть» мы перевели, в соответствии с их значением, имена богинь — Весны и Мораны (зима, смерть).

⁴ Эти строчки дают очерк древних жертвоприношений домашним богам, от которых следует отличать так называемых «богов-спасов», упоминаемых и в этой поэме, и в «Честмире и Влаславе», где подробно описывается жертва, им приносимая.

И был гнев их, как гроза на небе,
И, когда в отчизну воротились,
Воротилось и бывшее счастье»⁶.

К Забою все вниз тогда скакали,
Обнимали сильными руками;
И с груди на грудь другую
Очередью клали руки,
И слова к словам разумно клали.
Ночь уж к утру близко подступала,
Выступили из долины розно,
Между деревьями —
Пробирались всюду между лесом.

★

И минул день первый,
И минул второй день,
И еще минул день,
И спустилась ночка, —
Забой идет лесом,
С Забоем дружина,
Славой идет лесом,
С Славоем дружина:
У всех верность к воеводе,
У всех зло на короля,
И оружие на короля.

«Эй ты, Славой, брат мой!
Туда, к горе синей,
Что над краем встала —
Наш поход на гору!
От горы навстречу солнцу —
Там темнее темный лес,
Там дадим друг другу руки,
Лисьим скоком пробирайся,
Буду за тобою вслед!».

— «Эй ты, Забой, брат мой!
Отчего напасть нам
С горы — не отсюда?
Двинем силу против
Королевской силы!».

— «Эй ты, Славой, брат мой!
Если хочешь змея
Раздавить, — на голову
Стань. Там голова его!».

Разошлись мужи лесом,
Кто направо, кто налево —
Забой так сказал: туда вы!
Быстрый Славой так сказал: сюда вы! —
К горе синей глубиною леса.

★

Пятый раз восходит солнце,
Подают друг другу руки,
Лисьим оком озирают
Королевские войска.

«Людек против нас войска наводит,
Под один удар войска подводит...
Людек, гей! Ты раб,
Рабов королевских раб!
Ты скажи от нас тирану:
Повеленья его — дым!».

Раз'ярился Людек,
Скорым голосом войска сзывает.
Поднебесье было полно блеску,
Солнца блеск был ярк на оружьи —
На оружьи королевских войск.
Все готовы: ноги в шаг под'яты,
Людек знак подаст — рука к оружию!

«Эй ты, Славой, брат мой!
Лисьим скоком пробирайся,
Я ж ударю им в чело!».

Нападает Забой
Прямо в лоб, как град.
Нападает Славой
В бок им, словно град.

«Брат! Они, вот эти,
Богов наших сокрушили,
И деревья порубили,
Наших коршунов прогнали, —
Боги нам дают победу!».

А и ярость Людека схватила,
Из толпы на Забоя он вышел,
Выступил на Людека и Забой,
Из очей врагу метая пламя.

⁵ Люмир — неизвестный древний поэт, что-то вроде нашего Бояна из «Слова о полку Игореве». Подобно Бояну, он представляется вещим, словом своим движет он города. Песни самого Забоя вдохновляют на бой с врагами.

⁶ В этом рассказе Забоя о самом себе и о

Славое, а также о других юношах, взрослых и прогнавших врагов из отчизны, усматривали кровное родство героев поэмы между собою. Нам кажется вернее считать их не родными братьями, а скорее братьями по дружбе, как детей одной матери — родины.

Будто дуб стремится против дуба,
Выступив из лесу⁷,
Так и Забой к Людеку помчался
Перед войском.

И мечом ударил Людек,
Пересек в щите три кожи;
Забой молотом ударил,
Людек ловкий отскочил.
В дерево ударил молот,
И на войско пало дерево:
Тридцать душ пошло к отцам.

Раз'ярился Людек:
«Эй ты, кровожадный,
Ты исчадьё гадов,
Ну, сразись мечом!».

Забой тут махнул мечом,
Отрубил кусок щита он,
Людек также бьет мечом,
Да скользнул булат по коже.
Загорелись оба биться,
На себе все изрубили,
Обагрили кровью круг.
Все кругом залито кровью:
Бьется вся дружина —
В лютой сече бьется.

Солнце перешло на полдень,
А от полдня уже к вечеру,
И всё бьются, бьются,
Здесь и там, не уступая:
Бились здесь, где Забой,
Бились там, где Славой.

«Эй ты, бесом одержимый!
Кровь зачем ты нашу пьешь?».

Схватил Забой молот,
Людек вновь отпрянул;
Поднял Забой молот,

Бросил во врага;
Летит сверху молот —
И распался щит,
За щитом распалась
Людекова грудь.
Испугалась душа молота,
Молот вышиб душу,
На пять сажен в войско выбросил.

Страхом полон крик из вражьих глоток,
И из уст в уста гремела радость
По рядам у Забоя дружины
И во взорах радостных искрилась.

«Эй, брат, боги нас победой
Подарили!
Эй, отряд один — направо,
Эй, отряд один — налево!
Из долин коней сведите,
От коней шумит весь лес!».

— «Эй ты, Забой, брат мой!
Лев ты мой удалый,
Бурей на врагов шуми!».

И отбросил Забой щит,
Он мечом и молотом
Оберучь пролагает
Пути меж врагов.
И вопить враги стали,
Уступать враги стали⁸,
Тряс-испуг⁹ их с побоища гонит,
Крики страх из груди исторгает.

От коней шумит вес лес.
Гей, на коней!
На конях за врагами
Всюду, повсюду!
Быстрые кони, несите
По пятам за ними —
Ярость несите нашу!

⁷ Войска — как лес, вожди — как выступившие вперед крепкие дубы. В поэме «Ольд-рих и Ярмир» в самом имени одного из вождей запечатлена та же картина выступающего из леса дуба — Выгонь-Дуб. Замечательно, что типичная пейзажная деталь, встречающаяся нередко, — дуб, как бы выбежавший за опушку леса, — воспринимается в народном творчестве эпохи войн за национальное существование как чисто военный образ. Интересно сопоставить, как такой пейзаж также олицетворяется Т. Г. Шевченко:

И дуб зеленый, как казак,
Что вышел из лесу и пляшет
По-над рекой...

(Перевод Е. А. Благининой).

⁸ Обращает внимание, что эти две строки: «И вопить враги стали, уступать враги стали» почти точно повторяются в поэме «Бенеш Германьч»: «И вопить стали немцы, и бежать стали немцы».

⁹ Тряс — олицетворение ужаса, бог ужаса (см. в поэме «Честмир и Власлав»).

★

И вскочили на коней отряды,
И скок-на-скок гнались за врагами,
И удар за ударом — им гибель!
Миновали равнины,
Леса миновали и горы,
Справа и слева — бежит все назад.

Вот река свирепо
Катит вал за валом,
И шумело войско скок-на-скок,
Через реку бурную — за врагом!

Волны топили много чужих
И выносили на берег своих —
С берега на берег.

Над полями здесь и там
Дикий коршун распускает
Свои длинные крыла —
Он за пташками летает.
Так и Забоя дружина
Разогналась широко,
По всем областям далёко
Лютю гналась за врагами,
Поражала их везде
И топтала их конями.
Гнались люто при луне,
Гнались люто и при солнце,
А потом и темной ночью,
После ночи — поутру.

А река свирепо
Катит вал за валом,
И шумело войско скок-на-скок,
Через реку бурную — за врагом!

Волны топили много чужих
И выносили на берег своих —
С берега на берег.

«К седым горам — туда!
Там добушует мщенье!».

— «Эй ты, Забой, брат мой!
Уже близки горы,
И врагов лишь чучка —
О пощаде просят!».

— «Мчись туда, обратно!
Я ж сюда направляюсь —
Гибель королевским!».

Ветер по стране бушует,
По стране бушует войско,
По стране — направо и налево —
Всюду войск большие толпы,
Всюду радостен их крик:

«Вот и серая гора!
Боги нас победой
Там подарили!
Много душ летает
Там по деревьям¹⁰.
Их боятся птицы,
Их боятся звери,
Смелы только совы!
Погребли там трупы,
Божествам же — яства,
Богам-спасам — жертвы,
Обильные жертвы,
Воспоем молитвы,
Посвятим им вражее оружие!».

★ ★ ★

ЧЕСТМИР и ВЛАСЛАВ¹¹

Велит Нёклан встать к войне,
Призывает княжым словом —

Против Власлава.
Встали воины к войне,

¹⁰ Души умерших летали до погребения. Это верование язычников-чехов отмечено и в поэме «Честмир и Власлав».

¹¹ О вражде между Влаславом, князем лучанским, и Некланом, который был седьмым по счету князем пражским, и «о победе над Влаславом», как значится в Краледворской рукописи, сохранились подробные сказания в чешских хрониках, записанные по устному народным преданиям. Иные из этих подробностей, казалось бы, так и просятся в поэму, если бы ее писал поэт, отделенный от событий целым тысячелетием и располагающий старою хроникой. Так, злой и коварный Вла-

слав, задумавший покорить всю чешскую землю, будто бы послал по землям своим меч с повелением, чтобы всякий, кто ростом выше этого меча, шел в его войска: он грозил приставить шенкоз к грудям неприятельских жен и т. п. Однако этих характерных деталей мы не находим в поэме, хотя поэт и отмечает наличие множества собак в лагере Власлава. Но, с другой стороны, и в хрониках нет, например, весьма существенного эпизода об измене Крувоя, все же сохранившегося, видимо, в народной памяти.

Событие, легшее в основу поэмы, относится к IX веку.

Покоряясь княжью слову, —
Против Власлава.
Величался Власлав-князь
Победой над Некланом —
Славным князем.

Он пустил меч и огонь
В неклановы земли,
Он над хищными мечами
Своих воинов кричал —
Поношенье Неклану.

«Чмир¹². веди дружину в бой,
Дерзко вызывает нас
Чванный Власлав!».

★

Взрадовался Чмир и встал,
Радостно снял щит свой черный —
Щит двузубый, за щитом —
Молот, шлем несокрушимый,
И под каждым из дерёв
Жертвы возложил богам он.

И войска сзывает Чмир,
Воинов сзывает буйно.

Вскоре войско ряд за рядом
Тянется еще до солнца;
Тянется и весь день,
И как солнце скрылось —
Все туда, к пригорку.

А и дым поднялся —
Над селами дымно,
В селах плач, стенанье,
Горестные стоны.

«Кто пожег все села?
Кто заставил плакать?
Кто же? Это Власлав?
Будь последним то злодейство!
Пагубу и мщенье
Воины мои несут!».

Отвечали воеводе Чмиру:
«Крувой Крувой скаред —
Угонял стада он,

Селам творил горе
Огнем и мечом.
Все, что было доброго,
Истребила злоба,
То крутая злоба:
Взял он воеводу!».

Тут на Крувой Чмир загневился:
Из груди широкой
Злоба разлилася
По всем его членам.

«Воины,— сказал он,— завтра
Распалим всю нашу ярость,
А сейчас вы отдыхайте!».

★

Горы стоят справа,
Горы стоят слева,
И на их вершине,
Высокой вершине
Ясно солнце смотрит.
По горам отсюда,
По горам оттуда
Всё идут войска для битвы.

«К замку! Эй, туда —
К замку на скале!
Крувой держит там
Воймира в плену!
С ним и дочь его,
Что тот взял в лесу
Под седой скалой, —
Там он Неклана поносит.
А ведь верность обещал,
Руку верную давал!
Но рукою и словами
Наводил беду на люд.
Эй, туда — на выси, к замку,
К замку, воины, идите!».

И сомкнулись воины,
Градоносной тучей
Устремились к замку
По чмирову слову.

Щит на щит передние покрылись,
Опирались задние на копыя,
В поперечины между деревьев.
И высоко над вершиной леса
Загремели их мечи у замка,
Супротив мечей они рубились —
Тех мечей, что в замке¹³.

¹² Чмир — сокращенное имя Честмир.

¹³⁻¹⁴ Великолепное описание битвы, отважно и искусно осуществляемого воинами Чмира.

И метался в замке Крувой,
И, как бык, ревел там Крувой,
Подбодряя люд свой криком.
Падал меч его на пражан,
Будто дерево по горам,
Что дубы в скалах сбивает:
Так же много близко к замку
Ратных Неклана людей.

Чмир велит ударить в замок сзади,
Спереди перескочить ограду.
И бойцы вьсокие деревья,
Пред оградой рощие, склонили —
Вплоть к ограде кроны преклонили,
Чтобы бревна сверху по деревьям
Скатывались по-над головами.
И под ними спереди те стали,
Что особой отличались силой,
И один к другому стали тесно
Крепкими, широкими плечами.
Положили на плечи деревья,
Привязали крепкою веревкой,
Около себя поставив копыя.
И на тот помост другие скачут
И кладут себе на плечи копыя,
И крепят их новою веревкой.
Третий ряд вскочил на этот новый,
А четвертый поднялся на третий,
Пятый вырос к самым тем бойницам,
Где мечи сверкали,
Где шипели стрелы,
И откуда бревна низвергались.

Льются бурно пражане потоком
Через стены, захватили замок¹⁴.

«Выйди, Воймир, с дочкой своей милой,
Выдь из башни благодатным утром!
На скалу ступай, и там увидишь:
Пал в крови там Крувой
Под секирой мести».

Вышел Воймир благодатным утром,
С дочерью прекрасною он вышел,
Крувой-врага в крови увидел.
Чмир добычу возвратил народу,
А с добром и девица вернулась.

Воймир тут хотел принести и жертву —
В тот же час на этом самом месте.

«Воймир, Воймир! — призывает
Честмир. —

Шаг направить мы должны к победе!
Отложи на время эту жертву,
Боги Власлава хотят повергнуть.
Солнце как достигнет до полудня,
Надлежит и нам прибыть в то место,
Где войска провозгласят победу.
Вот врага оружие: возьми-ка!».

И обрадовался Воймир сильно,
Со скалы вскричал — в лесу отдалось,
Сотряслись деревья в шири леса!
Из гортани так вскричал могучей:
«Не гневитесь, боги, на слугу вы,
Что сегодняя не возжег вам жертвы!».

Честмир молвил: «Жертва пусть эа
нами,

На врагов поспеть скорей нам надо!
На коня садись теперь и быстро
Пролетай леса оленьим скоком!
Ты лети в дубраву, есть скала там,
Милая богам, и на вершине
Принесешь ты жертву бѳгам-спасам¹⁵ —
За победу прошлую,
За победу новую.
Прежде, чем на тверди,
На небесной тверди
Солнце рано встанет,
Ты придешь на место.
И раньше, чем солнце
Вторым шагом ступит,
Третьим шагом станет
Над лесной вершиной, —
Уж войска придут
Туда, где повеет
Твоя жертва дымом:
Там склонится войско,
Что туда придет».

★

На коня садился Воймир, быстро
Пролетал леса оленьим скоком —
В ту дубраву, где скала стояла,
Там возжег он жертву на вершине
Своим бѳгам-спасам —
За победу прошлую,
За победу новую.

В жертву жирную принес он телку,
Рыжей шерстью лоснилась та телка,

¹⁵ Скала, милая богам, вероятно, названа так потому, что на ней обычно приносились жертвы «бѳгам-спасам».

Яловку у пастуха купил он —
Там, в долине, где высоки травы,
Отдал за нее коня с уздою.

И пылала жертва,
Приближалось войско
К долу, а из дола
Поверху к дубраве.
И поодиночке
Среди шума, гула
Все несут оружие.
Каждый возле жертвы
Славу возглашает,
И звучать не медлят,
Проходя, мечами.
И когда последние
Поднялись к дубраве, —
На коня садился Воймир; отдал
Бедрa тучные и плечи телки
Шестерым из замыкавших войско ¹⁶.

Каждый в войске шел с теченьем солнца,
Шли они и при полднем солнце,
Там в равнине ожидал их Власлав —
Страшный воин Власлав.

★

От леса до леса
Стоит его сила —
Сила стояла
В пять раз больше пражан.
Как из тучи, шум там поднимался,
Лай собак премногих раздавался.
«С тем врагом сражаться будет трудно,
С палицей не совладаешь палкой!» —
Молвил Воймир; Чмир ему ответил:

«Говорить об этом лучше втайне,
Лучше надо быть на все готовым.
И к чему же биться лбом о скалы?
Ведь лиса обманет яра-тура.
Наших Влаславу с высот здесь видно,
Так пойдемте все вокруг горы мы —
Цепью непрерывной вслед друг другу,
И опять начнем обход по низу».

Так и сделал Воймир; Чмир так сделал.
Устремился по кругу войско,

Деять раз так обошли всю гору,
Пред врагом всё умножая силу,
Умножая у врагов их ужас.
Расступились по кустам в низине,
Чтоб оружие врагам блеснуло.
И была гора залита блеском.

Но вот Чмир сам выступил с дружиной,
И четыре было в ней отряда.
Тряс за ним ступал из тени леса,
Овладел он вражьими войсками:
Позади шел страх со всего лесу,
Воинов ряды поразбежались ¹⁷.

Воймир бил их храброю рукою,
Заступил долину на востоке,
Против Власлава пошел он сбоку.
Криком лес был полон из долины:
Как бы горы билися с горами,
Поломали все свои деревья.

Власлав выскочил противу Чмира,
Против Власлава Чмир выступает.
Сеча лютая, гремят удары,
И сраженный Власлав пал на землю.

Страшно Власлав по земле катался —
Сбоку на бок — и не мог подняться, —
В черну ночь его смерть увлекала ¹⁸.

Сильный Власлав закипает кровью,
Кровь травой зеленой
В сыру землю каплет.
И душа из уст ревущих вышла,
С дерева на дерево летала,
Пока труп не предан был сожженью.

Те, что с Влаславом сражались
вместе,

Побежали по горе оттуда,
Укрываясь от взоров Чмира,
Что низвергнул Власлава победой.

★

К Неклану, гремя, идет победа —
К некланову радостному уху!
И открылась Неклану добыча —
Некланову радостному оку.

¹⁶ Обряд принесения жертвы «богам-спасам», уже упоминавшимся в поэме «Забой и Славай», дан здесь подробно.

¹⁷ Здесь, по сравнению с упоминанием бога ужаса Тряса в поэме «Забой и Славай»,

дается более развернутая картина панического ужаса среди войск Власлава.

¹⁸ В подлиннике «смерть» названа Мореной — она же Морана в поэме «Забой и Славай».

ОЛЬДРИХ И ЯРМИР¹⁹

... в чернолесье —
Там, куда владыки собирались,
Семь владык с удалой дружиной.
Выгонь-Дуб туда же поспешает
Темной ночью с челядью своею.
Эта челядь — воины, сто счетом,
И мечи остры в ножнах у сотни,
Сильны руки для мечей у сотни,
Верность Выгонию лежит на сердце.
Доступили до лесной поляны.
Дали правые друг другу руки,
Тихими словами говорили.

За полночь уж ночь перевалила,
Близко к утру — серому, седому.
А и молвил Выгонь князю Ольдрже:
«Ой послушай, князь ты велеславый!
Бог тебе дал силу во все члены,
Бог дал в буйну голову и разум.
Так веди ж нас на полян свирепых!
Мы пойдём, как скажешь: вправо,

влево,

Взад, вперед; хоть битвы будут люты,
В буйном сердце разожги нам
смелость!».

Принял знамя князь рукою сильной:
«На полян вы храбро все за мною,
На полян — врагов земли родимой!».
Все владыки тут за ним кидались,
Триста и полста бойцов за ними
Самых храбрых — все туда, где спали,
Развалившись, в множестве поляне.
Стали на горе, опушкой леса.
В раннем сне молчит поутру Прага,

А Влетава²⁰ курится в тумане,
А за Прагою синеют горы,
И восток яснее за горами.

Сверху вниз! Все тихо и безмолвно:
В тихой Праге хитро затаились,
Под одежей спрятали оружие.

Но идет пастух при сером утре
И кричит: ворота отприте!
И пастуший голос страж услышал,
Отпер он ворота чрез Влетаву.

На мост встал пастух и громко трубит,
Князь за ним, за ним и все владыки.
Каждый скачет со своей дружиной.
Раздались удары громких бубнов,
Звонким звуком затрубили трубы,
На мост ставят воины знамена,
Мост дрожит под натиском дружины.

Обуяны страхом все поляне,
И оружие они хватают,
От владык же сыплются удары,
И туда-сюда поляне скачут,
И толпой бегут чрез рвы к воротам —
Дальше, дальше от удалой сечи...

Богом нам дарована победа:
Одно солнце встало на всем небе,
Ярмир снова надо всей землею!
Разносилась радость по всей Праге,
Разносилась радость вокруг Праги,
Разлеталась радость на всю землю,
На всю землю от счастливой Праги!

★ ★ ★

БЕНЕШ ГЕРМАНЫЧ²¹

Ах ты, солнце-солнышко!
Иль затем ты печально,

Что на нас ты светишь —
На бедных людей?

¹⁹ Поэмою «Ольдрих и Ярмир» открывается Краледворская рукопись, однако начало поэмы не сохранилось. Предшествовавший сохранившемуся тексту обрывок листка позволяет отгадать ее заголовок — «О поражении полян и изгнании их из Праги». Пятилетие от 999 г. до 1004 г. было временем смуты для чешского народа, подпадавшего под власть более сильных соседей — немцев и полян (поляков). История того времени очень подробно сохранилась в чешских хрониках. Поэма — живая, насыщенная горячим чувст-

вом страничка из чешской истории, эпизод о том, как братья Ярмир и Ольдрих изгнали из Праги чужеземные войска (1004 г.).

²⁰ Влетава — теперешняя Молдава, река, по обоим берегам которой расположена Прага.

²¹ Поэма «Бенеш Германыч» имеет в рукописи заголовок «О поражении саксов». Из различных предположений о событии, которое составляет содержание поэмы, наиболее вероятным представляется предположение исследователя Палацкокого, относящее время действия к 1203 г. Во время отсутствия

Где же князь; где люд наш бранный?
 К Отту зашел далеко!
 Кто нам врагов исторгнет,
 Сирая страна?

Долгим строем идут немцы —
 Это немцы-саксы —
 От Эгорельских гор древних
 В нашу сторону:

«Эй, давайте, голь, давайте
 Злато-серебро, скарб весь!» —
 А потом выжигают
 Дворы и хаты.

Всё у нас повыжигали,
 Злато-серебро взяли
 И стада все угнали:
 Дальше к Троскам шли.

Не тужите вы, селяне!
 Поднимается травка,
 Топтанная так долго
 Чужим копытом.

Свежие венки готовьте —
 Избавителю свейте!
 Ваш посев зеленеет,
 Все изменилось.

Все так скоро изменилось!
 Вот он Бенеш Германьч —
 Ладит народ в громаду:
 Всех против саксов!

И из сел собрались люди
 В лес под Большой Скалою,
 Всяк с цепом: то оружие
 На врага-немца!²²

Бенеш, Бенеш едет первый,
 Дальше народ во гнев:
 «Мщенье всем! — кричит. — Мщенье
 Саксам всем хищным!».

Гнев великий обуял тут
 Обе стороны злобой,
 Всколыхнул всю утробу:
 В гнев все мужи!

И глаза их заблестали
 Страшно друг против друга,
 Древко стало над древком,
 Копье над копьем.

Обе стороны сразились,
 Будто лес сшибся с лесом,
 Как блеск грома на небе, —
 Так мечи блещут.

Крик такой раздался грозный —
 Всех зверей лесных поднял,
 Всех птиц поднял небесных —
 До горы до третьей.

Раздаются по долинам
 От скалистых гор древних
 Стук и мечей, и палок —
 Как пало дерево.

Обе стороны упрямо
 Стали так неуклонно —
 Как бы на врытых пятках,
 На крепких икрах.

Повернулся Бенеш в гору,
 Машет мечом направо —
 И туда же вся сила;
 Машет налево —

чешского короля (в поэме «князя») Отакара I (1197—1230 гг.), отбившего с большим войском к Оттону IV, герцогу Брауншвейгскому, упоминаемому в поэме, саксы под предводительством маркграфа Дитриха вторглись через Лужицкие горы в Богемию, опустошили страну и дшли до замка Троски близ Большой Скалы — владения Бенеша, сына Германа, внука Маркварта. Бенеш организовал сопротивление, разбил немцев и выгнал их из пределов Богемии.

Верность исторических и географических подробностей, сердечная скорбь о бедствиях родного края и радость победы над врагом, большое лирическое чувство автора, как бы

непосредственно и лично заинтересованного в происходящем, — все это заставляло исследователей предполагать, что эта коротенькая историческая поэма сложилась очень скоро после событий, которыми она была вызвана.

²² Далее в поэме упоминаются копыта и мечи, но, видимо, первыми на призыв против врага поднялись крестьяне с цепями, как о том свидетельствуют интересующие нас строчки. Впрочем, известно, что цепь был у чехов и настоящим оружием: по некоторым свидетельствам, они так хорошо умели пускать его в дело, что могли давать до 20—30 ударов в минуту.

Влево кинулась вся сила,
И оттуда на ломку,
И камня все с ломки²³
На немцев руют.

Бой с горы идет в равнину,
И вопить стали немцы,
И бежать стали немцы:
Так их побили!

★ ★ ★

ЯРОСЛАВ²⁴

Расскажу вам чудную я повесть
О великих битвах, лютых схватках,
Соберите ум, насторожитесь,
Ближе! Дивные дела внимайте!

В той земле, где Оломуц—град первый,
Малая гора там выступает,
Малая, и имя ей Гостайнов;
Чудеса творит там божья мать.

Долго земли наши в мире были,
Изобилие цвело в народе,
Но поднялась буря от востока
Из-за дочки хановой, татарки,
Что из-за уборов христиане —
Ради злата, жемчуга убили.

Хороша Кублаевна, как месяц!
Вот, на западе проведая земли,
Услышав, что много там народу,
Собралась узнать чужие нравы.
Тотчас десять юношей вскочили
И две девушки в сопровожденье.
Припасли всего, что было надо,
Припасли все борзых, быстрых коней
И направились вослед за солнцем.

Как заря сияет ранним утром,
Лишь взойдет над темными лесами,
Так и дочь кублаева, дочь хана,
Красотой сияла и нарядом.
Золотой парчею вся одета,
Грудь и шея только обнажены,
Жемчугом, камнями венчанна.

И дивились немцы красоте той,
И манилось им ее богатство,
Стерегли ее на путь-дороге
И напали на нее среди леса,
И убили, все добро ограбив.

Как Кублай услышал, хан татарский,
Что случилось с дочкой дорогою,
Он собрал с земель обширных войско,
Потянулся с войском вслед за солнцем.

Короли на Западе, проведая,
Что спешит он к многолюдным землям,
Сговорились все между собою
И огромное собрали войско,
И пошли в поход противу хана.
На большой равнине они стали,
Стали там и хана ожидали.

²³ Имеется в виду каменоломня. В долине у Турнова есть место, которое и теперь носит название «Лом» — предполагаемое место битвы.

²⁴ Поэма «Ярослав» имеет заголовок «О великих боях христиан и татар». В ней воспевается победа Ярослава, одного из лучших вождей в войске чешского короля Венцеслава I, над татарами. Король послал Ярослава в Оломуц, укрепленный город в Моравии, и поручил ему начальство над всею Моравией. В Оломуце под его начальством собралось около 12 тыс. воинов. Там он твердо выдерживал осаду и нападения татар.

Однако произведение это в некоторых своих чертах отходит от истории. Так, хан Кублай, внук Чингисхана, властвовал позже — от 1256 до 1298 г., а потому можно думать, что самый сказ создавался позже по памяти. Очень характерен для народного творчества и эпизод с татарской княжной. В наших лето-

писях есть рассказ о том, как ограбили бежавшего через Польшу в Силезию русского князя Михаила Всеволодовича и убили его внучку. Широко были также распространены слухи об убийстве татарской княжны, что послужило ближайшим поводом к движению татар на запад; оба происшествия слились таким образом в одно. Характерно также, что именно немцы оказались виновниками этой кровопролитной войны. Эпизод же о жестокой схватке Ярослава с Кублаевичем, сыном хана, подтверждается историческими свидетельствами.

Что касается географических данных, то гора Гостайнов, упоминаемая в поэме и на которой действительно есть источник и была часовня, находится от Оломуца на расстоянии пяти часов пути, и гора эта очень высока. Между тем как в поэме все время упоминается холм; такие холмы действительно имеются в окрестностях Оломуца.

Тут Кублай велит всем чародеям,
 Всем гадателям и звездочетам,
 Чтобы возвестили, угадали,
 Чем могла б закончиться та битва.
 Собрались тотчас же чародеи,
 Все гадатели и звездочеты,
 На две стороны тут расступились,
 Черну трость на землю положили,
 Расщепив на две на половинки —
 И «Кублай» для первой дали имя,
 «Королями» назвали вторую
 И словами старыми запели.
 Трости в бой вступили меж собою,
 Трость Кублая в битве победила.
 И возрадовались все татары,
 Рысью к коням все они стремятся,
 И войска построились рядами.

Христиане же не ворожили,
 Без ума погнали на поганых,
 Сила их надменности равнялась.
 Первый бой начался. Сшиблись в грудь,
 Стрелы прыскали, как дождь из тучи,
 Копий треск, как будто грохот грома,
 Блеск мечей, как молния средь бури,
 Обе стороны своим напором
 Не дают друг другу продвигаться.

Уже гнали многие поганых
 И совсем их было одолели,
 Если б не явились чародеи,
 Принеся расщепленную тростку.
 Тут татары страшно разъярились,
 На противников напали люто,
 Так их круто гнали пред собою,
 Как зверей пугливых на охоте.
 Там шелом лежит, тут меч уронен,
 Там вождя конь в стремених волочит,
 Тот с татарами в смятеньи бьется,
 Тот пощады ради бога просит.

★

С той поры усилились татары,
 Христиан всех обложили данью
 И себе два королевства взяли:
 Старый Киев. Новгород Великий.
 Скоро горе по земле разлилось,
 Во всех странах силу собирали,
 И четыре крепких войска стали

На борьбу с поганой татарвою.
 Тут татары уклонились вправо.
 Будто черна туча градовая:
 Вот засыплет на полях посевы!
 Так слышны издалека их толпы.

Тотчас угры собрались в отряды
 И с оружием двинулись навстречу.
 Но напрасны удалество и храбрость,
 И отпор тот смелый был напрасен.
 Так, ударив силой всей на угров,
 Разогнали их войска татары
 И побрали в землях их, что было.

Христиан оставила надежда,
 Было горе, было — больше горя.
 Жалостно взмолились богу люди,
 Чтобы спас их от татар от лютых:

«Господи! В своем восстань во гневе,
 От врагов-гонителей избавь нас!²⁵
 Подавить хотя и душу нашу:
 Как овец, нас окружили волки».

Бой проигран и второй проигран,
 В Польше их войска расположились,
 Ближе, ближе покоряют земли,
 К Оломуцу люто прорвалися,
 Встала тяжкая беда по землям,
 И ничто не скрылось от поганых.

Бились день, еще другой день бились,
 Никуда не клонится победа,
 А татар все боле прибывает:
 Так густеет тьма в осенний вечер.
 Под приливом этой лютой силы
 Христиан заколебалось войско,
 Все сильнее к тому холму тесняясь,
 Чудотворная где божья мать.

«Ну-ка, братья!» — возглашает Внеслав.
 В щит серебряный мечом ударил,
 Машет знаменем над головою,
 Ободрились, на татар рванулись,
 Сбились все одной огромной грудой;
 А к холму толпой бегут татары:
 Как огонь, из-под земли прорвались.

Христиане отступили кверху:
 Понизу раскинулись широко,
 Позади сужаясь вострой гранью.
 Справа, слева скрыты за щитами,

²⁵ В молитвах христиан много из псалтири; данное место — точная цитата из псалма 7, ст. 7: «Восстань, господи, во гневе твоём, подвижись против неистовства врагов моих!».

Копья быстрые кладут на плечи:
 Тем рядам, что впереди, — кто сзади.
 Тучи стрел врагам с горы послали.
 Темна ночь тогда покрыла землю,
 От земли разлилася до облак
 И сокрыла пламенные взоры
 Устремленных друг на друга станов.
 Христиане в тьме вал насыпают —
 Вал, окопанный вокруг вершины.

★

На востоке занялось лишь утро,
 Вражий табор двинулся на приступ.
 Вкруг холма был страшен этот табор —
 Даже до необозримой дали.

На конях мелькали, гомозились,
 Головы на копьях проносили
 Христианские к палатке ханской.

Тут вся тьма татар единой силой
 В одну сторону вся устремилась,
 Быстро в холм ударила к вершине,
 Возопила самым страшным криком,
 Так, что горы, доли огласила.

Христиане на валах все стали,
 Божья матерь придала им храбрость,
 Напрягли они тугие луки,
 Сильно машут вострыми мечами,
 И татарам — надо отступить им!

Разъярился весь народ татарский,
 Возмутился хан их страшным гневом,
 Табор весь на три потока льется:
 Все потоки у холма — прибоем!
 И тогда собрали христиане
 Двадцать бревен — сколько их там
 было —

И на край их вала привалили.

Уж татары к валу устремились,
 Крик их страшный поднялся до облак,
 И уж вал раскидывать хотели.
 Но скатили христиане бревна,
 Как червей, татар они помяли
 И давили далеко в равнине...
 Так сражались долго и жестоко,
 Пока ночь и тьма не наступили.

Боже наш! О горе! Славный Внеслав —
 Славный Внеслав поражен стрелою!
 И тем горем разрывалось сердце,

И томилась жаждою утроба:
 Языком сухим лизали росу.
 Тихий вечер ночью стал холодной,
 Ночь на серое сменилась утро, —
 В таборе татарском было тихо.

Разыгрался день уже к полудню,
 Христиане падали от жажды,
 Открывали сохнувшие губы,
 Хрипло призывали: мати божья! —
 Млеющие взоры к ней кидая;
 Жалостно свои ломали руки
 И тоскливо в облака глядели.

«Дальше мы терпеть не в силах жажды,
 Невозможно без воды сражаться!
 Кто жалеет жизнь свою, здоровье,
 От татар лишь жди себе пощады» —
 Так одни сказали, так другие.
 «Меч ужасен, — без воды ужасней!
 Будет нам в плену воды довольно...
 Верно? Так за мною! — молвит
 Вестонь, —
 Все за мною, кто томится жаждой!».

Вратислав вскочил тут ярым туром,
 Вестоня схватил за сильны руки.

«Христиан предатель! — он
 воскликнул. —
 Хочешь ты погибели для наших?
 Божьей милости нам ждать похвально,
 Да не в рабстве у татар свирепых,
 Не спешите, братья, на погибель!
 Самый сильный зной мы претерпели,
 Подкрепил нас бог в палаяхй полдень.
 Он пошлет нам помощь, подождите!
 Устыдитесь, мужи, говорить так,
 Коль хотите храбрецами зваться!
 Коль погибнем на холме от жажды, —
 Смерть та будет послана от бога;
 Вражьему мечу коль предадимся, —
 Себе сами приготовим беды.
 Рабство господу противно: шею
 Самому грешно тянуть под иго.
 Кто так, мужи, думает, — за мною,
 Все к престолу матери господней!».

И народ за ним — к святой часовне.
 «Господи! Восстань в великом гнев
 И возвьсь нас дома над врагами,
 Ты услышь, как мы к тебе зываем!
 Окруженных лютьими врагами,
 Изыми нас из сетей татарских,
 Ниспошли утробам нашим влагу!

Твердые дадим тебе обеты,
Истреби врагов на землях наших,
Чтоб во век веков нам не видать их».

И вот — тучка на небе, на знойном,
Дуют ветры, гром гремит великий,
Зачернелась туча на все небо...
Молния—раз-раз!—на стан татарский,
Ливень оживил источник горный.

★

Буря минула. Войска в отряды
Собраны повсюду и отвсюду,
Их знамена веют к Оломуцу.
На боку у каждого меч тяжкий,
На плечах гремят у них колчаны,
Буйны головы под светлым шлемом,
И под воинами кони скачут.

И рога лесные зазвучали,
Раздалися звуки громких бубнов.
Обе стороны тотчас сразились,
Сразу мгла от пыли поднялася,
И была ужасна эта битва.
Стук и звон мечей возникнул вострых,
Стрел каленых свист ужасный слышен,
Лесм древков, потрескиванье копий;
И была кольба, была и сеча,
И стенанье было, была радость.
Кровь лилась, как дождевые струи.
Груп на трупе — как в лесу деревья.
Череп надвое тому разрублен,
Обе руки этому отъяты,
Тот с коня валится чрез другого,

Этот яростно крушит поганых,
Как в скалах крушит деревья буря,
Тому в грудь мечом по рукоятку,
Этому татарин ухо режет.

Ух, был крик и горестные стоны!
Христиане стали подаваться,
А татары гнать их лютым боем.

Ярослав тут, как орел, влетает!
Грудь могучая под твердой сталью,
И под сталью удалство и храбрость,
Под шоломом ясный, быстрый разум,
В огненных глазах пылает ярость,
Страшно скачет, будто лев во гневе,
Что учуял теплой крови запах,
Или мчится, раненный, за ловчим!
На татар так Ярослав нагринул,
А за ним вослед, как град, и чехи.

На Кублаева напал он сына.
Битва страшная тут начиналась.
Вот скрестили сразу оба копья, —
С громким треском копья изломались.
Ярослав и конь залиты кровью.
Сына ханова мечом он рубит,
Чресла вкось от плеч ему проткнул он,
Бездыханным тот упал меж трупов,
А колчан и лук над ним взгремел.

И народ татарский устрашился,
Длинные все побросали копья,
Побежали все, кто только может —
На восток, откуда всходит солнце,
Гана²⁶ от врагов-татар свободна!

★ ★ ★

II. ПОЭМЫ-ПЕСНИ

ЛЮДИША И ЛЮБОР²⁷

Слушайте, и стар и молод,
О турнирах и о битвах.
Некогда был князь Залабский,
Славный князь, богатый, добрый.

Дочь единственная князя
И ему, и всем мила.
Чудная красою дева:
Станом стройным висока,
Свежим личиком бела,
Но на нем цвел и румянец,

²⁶ Гана — самая плодородная часть Моравии, названная так по имени небольшой р. Ганы.

²⁷ Хотя под именем Залабья, где некогда был князь Залабский, действительно была известна та часть Богемии, что лежит к северу от Праги, по правому берегу реки Лабы, но в поэме не названо даже имя князя, и к этому турниру, заимствованному по форме с Запада,

или «конному поединку», известному в Чехии с самых древних времен, вряд ли следует приурочивать какое-либо точное историческое происшествие. Поэма эта все же несомненно носит исторический характер, хотя и является чисто поэтическим произведением. В рукописи она имеет заголовок «О славном турнире».

Очи ясны, будто небо,
И, катясь по шее белой,
Златом волосы блистали,
В кольца волосы вились.

Князь послу велит однажды,
Чтобы все паны собрались
На великий праздник в город.
И когда настал тот день,
Собрались сюда все паны
Из земель и областей
На тот княжий праздник в город.

Звуки бубнов, труб раздались,
Паны шествовали к князю,
Князю низко поклонились
И княгине и княжне,
За столы большие сели,
Каждый род свой сохраняя.
Дивны кушанья носили
И медовые напитки,
Громко было пиrowанье,
Славно было пиrowанье,
Развернулась сила в членах,
Развернулась бодрость в мыслях.

Часом тем князь молвит панам:
«Мужи, да не будет тайным,
Почему вы здесь сошлись.
Мужи славные, изведать
Надо, кто из вас полезней,
Надо битвы ждать и в мире:
Ведь у нас соседи — немцы!».

Князь сказал. Прервав молчанье,
Все из-за столов вставали,
Поклонились паны князю
И княгине и княжне.

Трубы, бубны слышны снова,
Все готовятся к турниру,
Перед городом собрались:
На лугу, на возвышеньи
Князь воссел со старшинами,
Со дворянками княгиня
И с девицами Людиша.

Обратился князь к дворянам:
«Первым выступить в турнире
Сам я, князь, скажу, кому!».
Стребора князь называет,
Стребор вызвал Людислава.
На коней они садятся,

Копья острые схватили,
Прытко друг на друга гнали,
Долго меж собою бились,
Оба изломали копьа,
Утомившись и уставши,
С круга встречи отошли.

Звуки бубнов, труб раздались,
Обратился князь к дворянам:
«Кто вторыми на турнире,
Скажет то княгиня вам!».
Серпошу велит княгиня,
Серпош вызвал Спитибора.
На коней они садятся,
Копья острые схватили,
Серпош скачет, Спитибора
Вышибает из седла.
Сам с коня вмиг соскочил он,
Оба тут мечами бьются —
Прямо в черные щиты.
Искры из щитов сверкают,
Серпоша бьет Спитибор,
Серпош на земле холодной...
Но устали, утомились,
С круга встречи отошли.

Звуки бубнов, труб раздались,
Обратился князь к дворянам:
«Третьими кто на турнире,
Нам Людиша назовет!».
Любору княжна велела,
Любор вызвал Болемира.
На коней они садятся,
Копья острые схватили,
За ограду быстро скачут.
Друг на друга наезжали,
Сшиблись копьями сналету.
Болемир с коня валится,
Щит далеко отлетает,
Отроки его выносят.

Звуки бубнов, труб раздались,
Любор Рубоша зовет.
Рубош на коня садится,
К Любору коня погнал он,
Любор ссек мечом копье.
В шлем удар ему наносит —
Рубош навзничь пал на землю,
Отроки его выносят.

Звуки бубнов, труб раздались,
Любор всем кричит дворянам:
«Кто со мною хочет биться,
Выезжайте-ка в ограду!».
Говор поднялся меж панов,

Любор поджидал в ограде, —
 С турьей крепкой головою
 Здеслав выставил копье.
 Молвил гордыми словами
 С яробуйного коня:
 «Прадед мой сбил яра тура,
 Немцев мой отец прогнал,
 Испытай мою ты храбрость!».
 И помчались друг на друга,
 Лсб со лбом — так крепко сшиблись,
 Что попадали с коней.
 За мечи тотчас схватились,
 Стали пешими рубиться
 И мечами так рубились,
 Что кругом был слышен стук.
 Любор нападает сбоку,

В шлем мечом он ударяет, —
 Шлем распался пополам;
 По мечу мечом ударил, —
 За ограду меч взлетел,
 Здеслав наземь пал повержен.

Звуки бубнов, труб раздались,
 Любора все окружают
 И ведут его пред князя,
 Пред княгиню, пред Людишу,
 И Людиша надевает
 На него венок из дуба.

★

Звуки труб и звуки бубнов.

★ ★ ★

ЗБИГОНЬ²⁹

Пролетает голубь
 С дерева на дерево,
 Жалостно воркует
 Горе всему лесу:
 «Ах ты, лес широкий!
 По тебе летал я
 С дорогой голубкой,
 С милою-премилой...
 Ах, а злобный Збигонь,
 Он схватил голубку
 И отнес в свой замок,
 Ах, в тот замок крепкий!».

Ходит-ходит юноша
 Возле крепка замка,
 Жалостно вздыхает
 По дорогой, милой.
 И к скале — от замка,
 На скале садится,
 Сидит, пригорюнясь,
 Молчит с немим лесом.

Прилетает голубь,
 Жалостно воркует,
 Поднял взоры юноша,
 Поднял и промолвил:
 «Голубь ты печальный,

Одному, зная, грустно?
 Коршун ли похитил
 У тебя подругу?
 Ты, злодей мой Збигонь,
 В этом крепком замке —
 Ты мою похитил
 Милую подругу
 И отнес в свой замок,
 Ах, в тот замок крепкий!
 Голубь, голубь! Ты бы
 С коршуном схватился,
 Коли б твое сердце —
 Сердце было смелым;
 Ты бы дорогию
 У коршуна вырвал,
 Коли были б когти
 Лютые да вострые;
 Ты убил бы злого —
 Коршуна убил бы,
 Коли б клюв был твердый
 Коли был бы хищный!».

— «Эй, печальный юноша,
 На Збигоня ринься!
 У тебя отважное
 Против врага сердце;
 У тебя оружие
 Крепкое и вострое;

²⁹ «Збигонь» еще менее имеет в виду какой-либо исторический факт, это скорее миф-сказка. Владыка Збигонь, отождествляемый с коршуном, ибо это он и похитил голубку, — нечто вроде нашего Кашея или Змея Горыныча. Так высказывается об этом произведении русский

исследователь Краледворской рукописи Н. Некрасов. «Дева, — пишет он. — светлая богиня лета; юноша — молодой бог весны, бог-громовик; молот — молния; удары его в двери замка — первые удары весеннего грома; замок — змийные облака и пр.».

Кинь в голову молот
Тяжелый, железный!».

Быстро прынул юноша
Вниз — и темным лесом!
Взял свое оружие,
На плечо свой молот,
Поспешает лесом
К каменному замку.

Подошел он к замку
Ночью, темень всюду.
Кулаком стучит он.

«Кто там?» — спросили.
«Заблудился ловчий!».
Отворились двери.
И опять стучит он,
Отперлись другие.

«Где владыка Збигонь?»
— «За великой горницей!».

Збигонь там распутный,
Там девица плачет.

«Эй, ловцу откройте!».

Не послушал Збигонь.
Молотом ударил
Юноша по двери,
Збигоню он молотом
В голову ударил.

Бегал олень по высям,
На воле поскакивал,
По горам, по долинам
Красовался рогами.
И рогами красивыми
Продирался сквозь чащу,
И по лесу скакал он
Быстро и ловко.

По горам и юноша хаживал,
По долинам и в битвы ходил,
Он оружие гордо нашивал

И везде побегал,
И все в замке побил.
У девицы красной
Лежал до рассвета.

Пало солнце раннее
Через листву на замок,
Пала радость новая
Юноше на сердце,
Что девица красная
Здесь, в его объятьях.

«Чья это голубка?».

— «Збигонем похищена:
Как меня держал здесь,
Так и ту голубку».

«В лес лети из замка!».

В лес она порхнула,
Тут она летала,
Там она летала —
С дерева на дерево
С голубем любимым;
С голубем спала она
На одной на ветке.
И девица в радости
С молодым любимым
Тут и там ходила,
Везде, где хотела;
С милым почивала
На одной постели.

★ ★ ★

ОЛЕНЬ²⁹

И разил толпы врагов своих
Сильным тем оружием.

Нет уж юноши в горах,
Враг настиг его коварный! —
Лютый враг настиг,
И сверкнул очами,
Пламенея злобой.
Молот в грудь ударил,
Застонали смутно,
Жалостно деревья,
Из юноши вышиб
Душеньку, ах, душу!

²⁹ «Олень» считается самым древним из всех произведений, составляющих Краледворскую рукопись; в нем особенно ярко чувствуется непосредственная связь между человеком и природой. Произведение это — единственное, най-

денное помимо Краледворской рукописи еще в одном списке на пергаментном листочке.

Текст обеих рукописей совершенно одинаков. Этот листок хранится в Чешском музее.

Тонкой шеей она вылетала,
 А из шеи красивыми устами,
 Сам лежит, а кровь его теплая
 Истекает за душой отшедшей.
 Пьет ее земля сырая,
 И у каждой у девицы
 На сердце печально.

Лежит юноша в земле холодной,
 На юноше растет дубик-дуб,
 Разметался суками вширь и вширь.

И олень приходит,
 И рога красивые,
 Быстрыми ногами скачет,
 Шею тонкую вверх подымает.
 И слетаются стаи
 Воронов быстрых
 С целого леса на дуб тот,
 Каркают все на дубу:
 Пал тот юноша от злобы вражьей,
 Все девицы по юноше плачут.

★ ★ ★

III. ПЕСНИ ³⁰

ГОРСТЬ ЦВЕТОВ

Ветер повеял
 С княжеской роши,
 Милая быстро
 Бежит к потоку.

Черпает воду
 В кованы ведра,
 Волны к девице
 Несут горсть цветов.

Цветы душисты —
 Розы, фиалки...
 Стала девица
 Цветы ловить:
 Ах! — и упала
 В воду-прохладу.

Кабы я знала,
 Цветики красные,
 Выходил кто вас,
 Кто возрастил, —
 Я отдала бы
 Злат-перстень тому.

Кабы я знала,
 Цветики красные,
 Кто вас и лыком
 Мягким связал, —
 Я отдала бы
 И шпильку тому.

Кабы я знала,
 Цветики красные,
 Кто вас студеной
 Водой пустил, —
 Я отдала бы
 Венок свой тому.

³⁰ Многими исследователями обращалось особое внимание на сходство песен из Краледворской рукописи с русскими народными песнями. Это сходство действительно очень велико. Стоит сравнить начало чешской песни «Ягоды» с таким началом русской песни:

Ходила я, младешенька,
 По борочку,
 Брала-брала ягодку
 Земляничку,
 Наколола ноженьку
 На тресочку;
 Болит-болит ноженька,
 Да не больно...

Для сравнения с песней «Роза» приведем из начала одной русской песни такие строки:

К чему рано ты, сад, расцветашь,
 Расцветавши, сад, засыхашь,
 Землю листьям, сад, устилаешь?

А конец «Розы» сходен с другою русской песней:

Как вечер-то мне, молодешеньке,
 Мне мало спалось, много виделось,
 Нехорош-то мне сон привиделся:
 Уж кабы у меня, у младешеньки,
 На правой руке на мизинчике
 Распаялся мой золот перстень,
 Выкатился дорогой камень.

Один из исследователей Краледворской рукописи, В. А. Свобода, предположил даже, что, может быть, эту песню занес к чехам не кто иной, как Святополк, доходивший, по сказанию летописей, до чешских пределов.

Песня «Горсть цветов» была переведена Гете с пометкой: «старобогемское».

Из частности, относящихся к «Горсти цветов», оговорим две подробности: вынуть шпильку — значит распустить косу; также и венок был признаком девичества, по выходе замуж молодые женщины венков уже не носили.

ЯГОДЫ

Шла милая по ягоды
 В зеленую рошу,
 Проколола вострым терном
 Беленькую ножку,
 Моя милая не может
 Приступить на ножку.

Ах, терновник-терн мой вострый!
 К чему сделал больно?
 За то будешь, терн мой вострый,
 Вырублен из роши.

Пожди, милая, в прохладе,
 В рошице зеленой,
 Побегу я на лужайку
 За конем за белым.

На лужайке конь пасется
 На густой на травке,
 Моя милая в прохладе
 Поджидает друга.

Стала милая печалиться
 В бору потихоньку:
 «Ах, что скажет моя матушка
 Бедной своей дочке?»

Мать всегда мне говорила:
 «Берегись парней!».
 А зачем мне их беречься,
 Когда они добры?».

Тут приехал на коне я —
 Конь мой снежнобелый, —
 Соскочил, серебряною
 Привязал уздою.

К сердцу девицу прижал я,
 Целовал в уста я,
 Красна-девица забыла,
 Что от терна больно.

Мы ласкались, миловались,
 Солнце уж к закату.
 «Мы домой поедем, милый!
 Скоро солнце сядет».

На коня тотчас вскочил я —
 Конь мой снежнобелый, —
 Взял я милую в объятья
 И домой поехал.

РОЗА

Ах ты, роза, роза красная!
 Что ты рано зацвела?
 А расцветши, и померзла?
 А померзнувши, увяла?
 А увянувши, опала?

Вечор долго я сидела,
 Знать, до пенья петушиного,
 Ничего я не дождалась,
 Все лучинки изожгла.

А уснула, — мне приснилось:
 У меня, у горемычной,
 С правой рученьки скатился
 Золот перстенок с перста;
 Дорогой, знать, выпал камень.
 Камешка я не нашла,
 Не дождалась я дружка!

КУКУШКА

В чистом поле рос дубочек,
 На дубке — кукушка,
 И кукует, и тоскует,
 Что весна не вечно.

Как бы зрело жито в поле,
 Если б весна длилась?
 Как бы яблоки созрели,
 Если б всегда лето?

Как прозябли бы колосья,
 Если б всегда осень?
 Как бы тяжело быть девице
 Всегда одинокой!

СИРОТА

Ах вы, рощи, темны рощи,
 Рощи милетинские!
 Вы зачем равно зелены
 И зимой и летом?

Как бы рада я не плакать,
 Не мутить и сердца,
 Да скажите, добры люди,
 Кто б тут не заплакал?

Где отец, отец мой милый? —
 Погребен в могиле.
 Где ты, мати, добра мати? —
 Растет на ней травка.
 Ни сестры нет, и ни брата,
 И милого взяли.

ЖАВОРОНОК

Полет дева конопельку
У панского сада,
Жаворонок все пытается:
Отчего печальна?

Как могу я быть веселой,
Жаворонок малый?
Отвели моего милóго
В каменный тот замок.

Коли б перышко мне в руки,
Грамотку б писала,
Жаворонок, мой малютка,
Ты слетал бы с нею.

Ни пера нет, ни бумаги
Грамотку писать мне.
Ты скажи милóму песней,
Как я здесь горюю.

★ ★ ★

IV. СУД ЛЮБУШИ³¹

Ах, Влетава, что мутишь ты воду,
Сребропенную зачем мутишь ты?
Или лютаа тебя волнует буря,
Дождик ссыпав с широты небесной,
Головы вершин облив зеленых,
Выплакав со дна златую глину?

Как же бы я воду не мутила,
Когда ссорятся родные братья,
В споре братья об отцовских землях?
Круто меж собой они враждуют —
Лютый Хрудош на кривой Отаве,
На кривой Отаве златоносной,
Стаглав храбрый с Ратбузы холодной:
Оба братья, оба Кленовичи,
Рода Тетвы, рода Попелова,
Что пришел сюда с полками Чеха³²
Из-за трех рек в этот край обильный.

Прилетала мирная пичуга,
Ласточка от той кривой Отавы,

На широкое оконце села
На любушину в дворе отцовом,
В золотом дворце в свят Вышеграде,
И бедует жалостно, печально.

То услышала сестра тех братьев,
Их сестра родная при Любуше,
И княжну просила — в Вышеграде
На собраньи братьям дать решенье,
И призвать сюда обоих братьев,
Рассудить по правде, по закону.

Шлет тогда княжна послов, чтоб звали:
Зутослава от Любицы белой,
Где прекрасные растут дубравы;
Лютобора с холмов Доброславских —
Там, где Лаба пьет приток Орлицу;
Ратибора с гор тех Креконошей —
Там, где Трут сгубил люто́го змея;
Радована с Каменного моста;
Ярожира от речных нагорий;

³¹ Рукопись «Суда Любуши» состоит из двух отрывков: в первом дается самый суд, второй — совсем маленький — объясняет древний закон наследования у чехов. Мы поместили его непосредственно вслед за основным отрывком, так как это могло быть, конечно, выступлением кого-либо из участвовавших в сейме, может быть, даже того самого Ратибора, который начинает говорить в конце первого отрывка. Но самая история суда и последующих событий в этой неоконченной поэме не завершена.

Любуша была одною из трех дочерей Крока, который, наравне с Само, является героем древней чешской истории. После смерти отца она правила своею частью страны умно и счастливо; между прочим она указала место для построения Праги — будущей столицы Чехии. Спор двух мужей, давший повод к устройству суда для разрешения их дела, привел к тому, что на другой же день Любуша

отправила послов с наказом — назвать князем первого, кого они увидят обедающим за железным столом. Таковым оказался Пшемьсл, владетель стадицкий, обедавший на плуге во время отдыха от работы. Он и сделался князем — мужем Любуши и родоначальником чешских владетелей.

³² Чех — здесь имя собственное, имя вождя — родоначальника чехов.

³³ Из всех географических названий, указывающих местожительство приглашенных, особенно следует отметить горы Креконоши. Горы эти, по-русски Исполинские, расположены в Судетах, т.-е. в той самой области, которую Чехо-Словакия вынуждена была отдать Германии, и Ратибору, приехавшему на сейм именно с этих гор, принадлежит фраза: «Стыдно нам искать у немцев правды!».

Пелеланич о Тоуте, который убил в этих горах змея, было живо в народе еще в середине XIX века.

Стрезибора от Сазавы ладной;
Саморода с Межи среброносной³³;
Всех селян, старшин, владык поместных;
Звали б братьев Хрудоша, Стаглава,
Что враждуют об отцовских землях.

Как сошлись тут старшины, владыки
Во дворце Любуши в Вышеграде,
Каждый род свой соблюдал, порядок.
И княжна в одежде белой села
В славном сейме на престол отцовский.

Две разумные при ней девицы,
Наученные гаданьем, стали:
У одной писания на досках,
У другой был меч противу кривды,
Перед ними огонь, гласящий правду,
Святочудная вода пониже³⁴.

Почала княжна со злат-престола:
«Поселяне, старшины, владыки!
Рассудите правду между братьев,
Что теперь промеж себя враждуют:
В ссоре братья об отцовских землях.
По закону богов вековечных
Пусть владеют они оба вместе
Или поровну разделят земли.
Поселяне, старшины, владыки,
Рассудите то, что я сказала,
Будут ли слова по вашей мысли,
А коли не придутся по мысли,
Новое для них решение дайте,
Чтобы помирило оно братьев».

Поклонились старшины, владыки,
Тихо начали переговоры,
Говорили тихо меж собою,
И ее они хвалили речи.

Лютобор от холмов Доброславских
Начал говорить такое слово:
«О, княжна на отчем злат-престоле!
Все слова твои мы рассудили,
Голоса сбири в своем народе».

И сбирали судии-девицы,
Голоса в сосуд они сбирали,
Старшинам для оглашенья дали.

Радован встал с Каменного моста,
Числить стал он голоса людские,
Чтобы объявить о том народу,
Собранному в сейме для решенья.

«Вы, родные братья Кленовичи —
Рода Тетвы, рода Попелова,
Что пришел сюда с полками Чеха
Из-за трех рек в этот край обильный!
Помиритеcь так о спорных землях:
Володейте ими оба вместе».

Хрудош вышел от кривой Отавы,
Разлилася желчь в его утробе,
В ярости все члены трепетали,
Он махнул рукою, рявкнул туром:
«Горе тем птенцам, где змей вгнездится,
Горе мужам, женщина где правит!
Мужу должно управляться мужем!
Первенцу должно отдать наследство!».

Тут Любуша встала с злат-престола...
«Поселяне, старшины, владыки!
Слышали мое вы поношение,
Так судите ж сами по закону:
Не судить мне больше ваши ссоры.
Равного себе берите мужа,
Чтобы вами он владел железом,
Девичья рука для вас слабенька».

Ратибор от гор тех Креконошей
Начал говорить такое слово:
«Стыдно нам искать у немцев правды,
У нас правда — свято, по закону, —
Что отцы с собою принесли к нам
Из-за трех рек в этот край обильный...
...
Всяк отец — свою он челядь правит,
Мужи пашут, жены шьют одежды,
А умрет над челядью тот старший,
Дети все тогда владеют вместе,
Выбирая в роде том владыку,
Чтоб ходил для общей пользы в сеймы,
Где селяне, старшины, владыки».

И селяне, старшины, владыки
Встали, хвалят правду по закону.

³⁴ Досками в старину именовались книги, судебные акты; на досках этих, в данном случае, конечно, были писаны законы; огонь, видимо, был для испытания правдивости пока-

заний, как мы об этом читаем в «Тристане и Изольде». Вся эта картина двух девиц-судей и то, как самый суд был обставлен, — все это чрезвычайно любопытно.

Разрыв-трава

РОМАН

Н. ЧЕРТОВА

(Продолжение ¹)

★

8

В первую ночь после налета бандитов напуганные коммунары поставили у моста дозорного и легли спать все вместе на телегах, во дворе большого дома. Наталью приняла к себе на телегу Авдотья.

Ночь выдалась темная, наволочная. Наталья лежала и вглядывалась в грузные пятна телег, разбросанные по всему двору, в беспокойные людские тени. Здесь, под открытым небом, голоса людей звучали слабо и жалобно.

Наталья уже начала порывисто глотать слезы, когда Авдотья тихо ее спросила:

— Не испортили они тебя? Казакишки-то?

— Отошла, — с трудом ответила Наталья. — Поначалу спина все ныла.

Авдотья слабо шевельнулась, вздохнула:

— Ох, ведь и плохо в молодой жизни вдовой остаться!

Наталья промолчала. «С умом сказала или зря? — думала она, глядя в темноту расширенными глазами. — Нет, попусту она никогда не болтала...».

Она не помнила, как сон одолел ее, и проснулась только утром от громкого голоса Николая. Авдотьи на телеге уже не было. Наталья вскочила, кое-как подобрала волосы, вытерла концом платка глаза и губы, одернула помятые юбки.

Николай выдавал женщинам мотыги. Наталья встала позади всех, нагнула платок пониже и исподлобья, жадно принялась его разглядывать. Он весь как-то потемнел, осунулся, даже волосы его были не так светлы, как в молодости. Только большие глаза под золотистой бровью все так же горячо синели. Широкие плечи его были неровны, и Наталья, опустив глаза, увидела пыльный покоробленный сапог. Она все время забывала о его хромоте!

Подошла ее очередь. Она несмело приняла из его рук мотыгу.

— Старайся, — коротко сказал ей Николай.

— Не привыкать, — неразборчиво ответила она и вдруг увидела его сухой рот, обведенный желтой щетиной.

— На себя будешь работать, — с суровой отчетливостью произнес Николай. — Принимаем тебя как беднячку и жену погибшего красного гвардейца.

Наталья отошла, не чуя под собой земли. «Помнит, выместит!..» — с горечью твердила она себе, догоняя баб.

На огороде она поспешно, не поднимая головы, принялась полоть и окапывать картофель. В ряду с ней шли Ксюшка и кузнечиха. Ксюшка лениво тыкала мотыгой, кузнечиха беспрестанно отдувалась и круглой ладошкой собирала со лба пот.

— Что же за кладью своей не идешь, в Орловку-то? — спросила Ксюшка. Она оперлась на мотыгу и с любопытством уставилась на Наталью.

¹ См. «Новый мир», кн. 3 с. г.

— Боюсь, — просто ответила Наталья. — Да там у меня один наряд остался.

— Добра-то сколько! — фыркнула Ксюшка.

— Не беда, я свое отработаю, — торопливо сказала Наталья.

— Тут хоть расстарайся, пайку одинаковую получишь, — лениво возразила ей кузнечиха. — Мой вон цельную кузю привез за ту же пайку.

Наталья вспыхнула и промолчала. Она не внесла в хозяйство коммуны ни одной полушки и ждала и боялась попреков.

С недоверием и робостью присматривалась она к людям. Они были сумрачны, даже злы, на их лицах лежала давнишняя усталость и тайная тревога. Наталье, пришедшей с богатого двора, на каждом шагу видна была бедная неслаженность хозяйства коммуны.

Больше всего Наталья боялась ссор. Она вся сжималась, желая только одного, — чтоб ее не заметили под горячую руку.

Как-то перед ужином Ксюшка подошла к накрытому столу, отломала кусок хлеба и бросила собаке. Собака поднялась на задних лапах и поймала хлеб, смачно шелкнув челюстями. Дети засмеялись. Дарья цыкнула на них и веско выговорила Ксюшке:

— Что это, хлеб дешев стал? В своем-то доме, небось, все крошки подбирала да в рот? Не по крестьянству поступаешь, девка! Новины-то еще дожидаться надо!

— Все равно в прорву работаю! — тонким, отчаянным голосом крикнула Ксюшка и оскалила мелкие, острые зубы. — Руки у меня отымаются не на себя работать!

Наталья тихонько оглянулась. Авдотья задержалась на кухне. Николая нигде не было видно. За столом мирно дремал кузнец. Климентий, усмехаясь, почесывал бороду. «Сейчас крик подымут, остановить некому» — тоскливо подумала Наталья. Круглое лицо кузнечихи уже пошло пятнами, Ксюшка не давала Дарье вымолвить ни одного слова. Наталья скользнула за спиной Кли-

ментия, вышла за ворота и побрела к мосту.

Она остановилась на берегу Старицы. Вода в реке, вся проросшая камышом, загадочно и глубоко чернела. Сумерки заткали степь и небо дымчатыми тенями. Земля замкнулась вокруг хутора тесным кольцом. До Натальи едва доносились женские голоса. Хутор представлялся ей одиноким, оторванным от всего мира.

Она села в высокую, прогретую солнцем траву. С хутора послышался пронзительный крик. Наталья узнала голос кузнечихи. Она, верно, хорошо прочитала голос в общей ссоре и теперь кричала на всю степь. Ей отвечал муж едва слышным, густым ворчаньем. Очевидно, они шли домой после ужина. Хлопнула дверь, и разговор оборвался.

Покоряясь непреодолимому желанию скорее узнать, что произошло у кузнеца, Наталья подошла к его избе и стала под тополем, напротив открытого окна.

— Жилы оборвешь в своей кузне! — кричала кузнечиха откуда-то из глубины избы. — Парня в муку вогнал! А все за несчастную лукову похлебку!

— Вот машины какие... на том берегу. — с тяжелой завистью гудел кузнец.

Наталья теперь хорошо различала фигуру кузнеца: он сидел у окна, праздно опустив плечи и длинные руки.

— Чинил бы ты машины, — неожиданно ласково прокричала ему кузнечиха. — Постукал, да и рубль в карман. А я бы в ситцах ходила. Мастер, ведь!

Кузнец промолчал.

— Уйдем, Ваня! — сказала кузнечиха совсем близко, у окна. — Не цепью прикованы!

— Уйдем, папаня, — крикнул из угла папень нерешительным тенорком.

В доме возникло длительное молчанье. Кузнец пошевелился, бережно положил кулаки на подоконник и заговорил, с усилием и словно с болью отрывая каждое слово:

— Из коммуны уйду... пойду по полю.. люди увидят... Кто идет по полю? Дезертир... идет!

Кузнечиха отпрянула от него и заметалась по избе, грузно топая босыми

пятками. Она невнятно что-то бормотала, привапливая и вскрикивая:

— Дьявол копченый! Темная твоя голова!

— Маманя! — вопросительно окликнул ее Панька.

— Уйди, ты-ы! — взвизгнула мать с такой злобной тоской, что Наталья заробела и поспешно ушла.

В большом доме было темновато и пусто: люди все еще спали во дворе.

Наталья опустила на голые нары. «Вот как они живут: словно на краю стоят. Шагнешь — и провалишься» — подумала она и в тоске вскинула голову. Взгляд ее упал на большой портрет. С портрета глянул большелобый человек. Даже в сумерках было видно, что под усами у него и в глазах таится улыбка.

Наталья встала, подошла к портрету. Дилиган говорил ей, что этот человек заботится о коммунах по всей России и добивается крестьянского счастья.

Наталья полрובовала представить себе всю Россию. Но она нигде не была, кроме уездного города, и теперь испытывала только смутное удивление перед огромностью земли, людей, лесов и морей.

«Неужели и о нашей коммуне Ленин знает?» — внезапно подумала она и оглянулась. Ее попрежнему окружала нерушимая тишина пустого дома.

— Вот про меня ты бы узнал, — горько и требовательно зашептала она, глядя в твердые, сомкнутые губы Ленина. — Молода я еще, жизни хочу. Мое-то счастье где? Знаешь?

Она вспомнила хмурое, скуластое лицо Николая и его суровые слова, всплеснула руками и со стоном повалилась на нары...

... Весь следующий день Наталья молчала и жалась к Марише. Обе женщины теперь были поразительно схожи между собою — осунувшиеся, истомленные, неприветливые.

К вечеру Авдотья собралась по веники и кликнула Наталью. Та послушно отложила шитье и поднялась, с удивлением чувствуя, что не может послушаться. Она давно заметила, что Авдотье

повинуются с одного слова даже мужики.

Они отправились за озеро. По дороге их нагнала Дунька. Девушка подоткнула широкие юбки, сорвала платок и, золотоволосая, голоногая, нетерпеливо побежала вперед. Авдотья незаметно улыбнулась Дуньке и покосилась на Наталью. Женщина молча шагала рядом с ней, устремив на девушку тяжелый взгляд исподлобья.

Они вошли в полынь. Полынь стояла высокая, плотная, источающая горький аромат, только кое-где пестрившая желтыми глазками сурепки.

Авдотья строго подозвала к себе девушку, и они принялись ломать веники. Наталью сразу пошла от них в сторону. Она старалась, однако, не удаляться и жадно прислушивалась к их голосам.

— Ты у нас одна девица, — ворчливо сказала Авдотья. — Ксюшка — та в лес глядит. А тебе приданое в коммуне справим.

Девушка коротко рассмеялась и робко подняла голову. В синих глазах Авдотьи сияла любовь, — может быть, та самая материнская любовь, которой Дунька совсем не знала. Девушка растерянно опустила голову и промолчала.

Авдотья, подняв брови и неудержимо улыбаясь, с хрустом сломала еще несколько стеблей, оправила платок и певуче сказала:

— А я, дочка, вот как заневестилась. Жила сроду без родной матушки, у тетки, — за батрачку. Подоспел девичий год. У меня парень один был. Любый мой, Степой звали. Да я не смела сказать. Вот вечером как-то тетка говорит: «Полы вымой». Это на ночь-то полы мыть? Я до середины домыла, и тут она со злостью закричала: «Сватья приедут!». Я затряслась вся, — полы-то, почитай, своими слезами домыла. В тот вечер пропили меня. А через три дня и жених во дворе. Я в чулан спряталась. Тетка мне кинула туда гусарики, полушалок, новое платье. Я вздула лампу, нашла старый гвоздь, накалила его и кудри навела. Сама плачу, сама кудри навожу. На гусариках пуговицы никак не разгляжу, — в слезах вся. Ну, вышла. Жених дюжий такой, незнакомый,

а волосы красные. Испугалась я, девушка... Вот как.

Дунька выпрямилась и смотрела прямо перед собой синими блестящими глазами. Она смутно подумала, что в жизни ее не повторится вот такой час предзакатного сиреневого света, горького аромата полыни и колдовской тишины.

— Проснешься, и все кругом, словно вымытое — и солнце, и трава, — задумчиво сказала Авдотья, угадывая мысли девушки. — Это — растешь ты и, значит, полюбишь скоро...

Дунька закусила губы и повалилась в колени Авдотье.

— Девичья печаль — весенний дождь, — размеренно сказала та. — По сердцу мужа себе найдешь, без неволи.

Она провела жесткой ладонью по волосам девушки и быстро оглянулась. В двух шагах от них стояла Наталья, судорожно выпрямленная, потерянная. Несвязанный веник она сунула подмышку, и стебли полыни медленно сыпались на землю. Она ничего не замечала. Лицо ее, под надвинутым платком, бледнело не то злобно, не то печально. Встретив пристальный взгляд Авдотьи, она спохватилась, неуклюже стиснула свой веник, как подрезанная, села на землю и затихла, едва видная в полыни.

Авдотья тронула девушку за плечо и властно сказала:

— Пойдем-ка, мне к спеху!

Дунька вскочила, принялась было суетливо оглядываться. Она хотела спросить — где тетка Наталья? — но Авдотья остановила ее строгим взглядом. Они пошли кругом, по озеру, на мост, — и опять Дунька не решилась спросить, почему выбрали длинную дорогу.

У озера они внезапно услышали тяжелые неровные шаги. Обе настороженно подняли головы. Навстречу им, прямо по кустарникам, с хрустом разрывая ветви, шел Николай. Он остановился перед матерью, скользнул сухими, горячими глазами по фигуре девушки, жадно взглянул куда-то за ее спину, в степь, сдержал шумное дыханье и облизнул губы.

— Сердце сердцу весть подает, — спокойно и с торжеством сказала

Авдотья и тихо добавила: — Ступай в полынь!

Дунька долго смотрела вслед Николаю. Она даже задрожала вся, видя, как он не то бежит, не то прыгает, безжалостно волоча больную ногу.

С ужином запоздали, пришлось зажечь коптилку. Дунька нетерпеливо оглядывалась и роняла хлеб. Авдотья размеренно разлила похлебку. Ели, как всегда, быстро и молча. Николай и Наталья появились у стола внезапно, прямо из темноты. Они сели рядом. Николай подал Наталье краюху хлеба и подвинул чашку с похлебкой.

Бабы переглянулись. Слабый свет коптилки плясал на их лицах. Дилиган устремил было на Николая прямой, распахнутый взгляд, пошевелил губами, но так ничего и не сказал. Скворец неприметно толкнул локтем свою дородную жену, но та только насупила брови и нерешительно усмехнулась, — на руках у нее сладко посапывал маленький.

Долгое молчанье стало слишком неприятным. Николай сдвинул выцветшие брови и быстро взглянул на мать.

Со степи пахло горьким, полынным ветром, коптилка едва не погасла. Авдотья придвинула коптилку к себе и огородила худой ладошкой. Ее тонкое лицо, освещенное снизу, сразу помолодело, полуприкрытые глаза поласковели и чуть затуманились. Она смотрела на людей и словно никого не видела. «С девичества чудесная такая» — удивленно пробормотала Скворчиха: раньше Авдотья так затуманивалась только перед печальным воплем.

— В лугах полынь цветет, — медленно сказала Авдотья. — Колос и всякий плод незримо наливают.

Она протяжно улыбнулась и отняла ладонь от света.

— Засиделись нонче. На покой пора, с солнцем встанем.

Она поднялась, подошла к сыну и сказала спокойно и громко, не таясь:

— Последний сноп с поля — свадьба во двор. По крестьянскому обычаю.

Пшеница у коммунаров выспела чистая, высокая, густая. Она стояла, от-

ливая светлым золотом, вровень с орловскими полями. Николай не раз срывал колос у орловцев и придирчиво мял его в ладони: колосья по обе стороны межи были одинаково тяжелые и наливные, как братья. «Крупичатый чернозем» — довольно бормотал Николай.

Дни стояли долгие, душные, по небу волоклись, медленно клубясь, грозовые облака. Коммунары со страхом вспоминали, как два года назад, в страдные дни, грянули проливные дожди и зрелый хлеб погнил на корню во всей утевской округе.

Однажды на заре Николай, выйдя на крыльцо, услышал сухой, отрывистый треск жнейки: орловцы уже выехали на поля!

Николай заметил в себе прежнюю молодую жадность к работе, к людям, тотчас же после разговора с Натальей. Снова, как и в юности, он испытывал любопытство и непрерывное удивление перед жизнью, словно каждое утро мир рождался перед ним заново. Он не умел и даже не пытался объяснить свои чувства. Он только слегка стыдился их и знал, что — не сдержись — и он будет часто, беспричинно, по-ребячьи смеяться.

Заслышав треск жнейки, он ощутил мгновенную ревнивую зависть к старательным хозяевам. Коммунары собирались жать только с полудня.

Николай покосился на мутное небо, потянул в себя влажный воздух, пахнущий дождем, решительно повернулся и застучал в окно: это был сигнал к под'ему.

Дом зашумел. Первой на улицу выскочила Дунька. Она звонко крикнула, на ходу подтыкая юбки:

— Зажинать идем! Зажинать!

Когда Николай, обойдя весь хутор, вернулся во двор, там уже собрался народ. Но Наталья еще не было. Он угадывал ее присутствие безошибочно, не поднимая головы.

Кузнец Иван явился в розовой, выцветшей рубашке, без пояса. Рубашка на спине треснула, и в прореху было видно смуглое, литое плечо. Прокоченную лысину свою кузнец прикрыв старым картузом.

Он молча широко прошагал в сарай и вынес оттуда связку отточенных серпов. Никто не решился подойти, пока Иван выбирал себе серп. Он неторопливо расшил связку, рассыпал серпы и начал внимательно их просматривать. Выбрав серп, он повесил его на руку, потом отошел и безучастно присел в сторонке.

Тогда к серпам подошли женщины. Дунька нетерпеливо схватила верхний серп и отбежала в сторону. Дарья Скворчиха осторожно вытянула серп из-под низу и певуче сказала:

— Счастливо зажать!

Она взглянула на мутное небо и суеверно добавила:

— Серпы наши на ржи-матушке не обточены, поржавели.

Дилиган запряг лошадь. Он бодрил ее, понукая войти в оглобли. Кобыла пятилась и глядела на Дилигана ленивым, ласковым взглядом, какой бывает только у терпеливых крестьянских лошадей.

Во двор вошла Авдотья, а следом за ней и Наталья. Николай не удержался и, быстро подойдя к Наталье, шепнул ей:

— Бери серп с крашеной ручкой. Спорый будет. Я выглядел, да боялся — возьмут.

Глаза его по-мальчишески блестели. Он забылся и, улыбаясь, следил, как легко Наталья побежала по двору. Он не заметил потаенного, пристального взгляда Дуньки.

Авдотья принесла большой каравай хлеба, завернутый в чистую холстину. Она положила сверток в телегу и хлопотливо заметила:

— Картошки вареной положу вам, солдцы...

Она вдруг остановилась, взглянула на серпы в руках жнецов, на их озабоченные лица и завистливо сказала:

— На зажин-то и меня хватило бы.

Коммунары пришли на свое поле к восходу солнца. Было тихо, и пшеница стояла, низко склонив спелый колос.

— Ишь, в землю смотрит, жать надо, — озабоченно заметила Дарья.

Кузнец одернул рубаху, глянул на золотистое, неподвижное поле и с размаху срезал первый, жирно хрустнувший пучок пшеницы. С этой минуты он уже не разгибался больше. Когда люди разошлись по своим местам, розовая спина Ивана мелькала впереди, в светлой гуще колосьев.

— Жадный, сагана! — ласково покачала головой кузнечиха.

— За таким мужем не сгинешь в жизни,—завистливо крикнула ей Дарья.

Кузнечиха подоткнула юбки, украдкой перекрестилась, взяла поудобнее серп и загребла горсть колосьев.

Солнце поднялось, невидимое за облаками, и по степи разлилась вязкая духота. Дунька сбросила платок и жала, раскрыв пересохший рот. Грузная кузнечиха сразу багрово покраснела, вытерла лоб концом платка, раз и другой; заметив, что сильно отстала от Дарьи, заторопилась, на ходу встряхивая головой, чтобы смахнуть крупные, щекотные капли пота.

Николай дважды подымался и смотрел, как жнут коммунары. Он видел только согнутые спины. Впереди шел кузнец, за ним — Наталья. «Перед таким хлебом крестьянское сердце не устоит» — думал Николай, успокаиваясь.

В полдень ребята принесли обед. Они шли со своими обвязанными кринками по свежему жнивью, осторожно, боком ставя босые ступни.

Вечером коммунары не поехали на хутор. Они повалились в беспмятном сне на теплую, распаренную землю. Слабосильный Скворец умудрился заснуть прямо на колючем жнивье, — под голову он подсунул сноп.

Николай поднял всех, как только рассвело и стало возможно жать. За короткую ночь не успела остыть и пыль на дороге. Старица текла стороной, в степи не было ни ручья, ни колодца. Коммунары отдыхали и обедали в лоштинке, под кустом. Но и здесь не было прохлады: за день под густыми ветвями скапливалось парное удушливое тепло, и даже вода в жбане казалась густой, как молоко.

Николай неустанно торопил с убор-

кой. Теперь никто и не пытался ему перечить.

— Грех лениться на такой хлебушко, — резко оборвала однажды кузнечиха капризную Ксюшку, и та покорно смолкла.

Как-то в полдень заморосил дождь. Коммунары переждали его стоя, испуганно задрав головы к небу. Николай пошел запрягать лошадь, и они с Дилиганом и Натальей наложили полную колымагу снопов.

— Поезжай на гумно, — торопливо сказал Николай Наталье.

Наталья забралась на воз. От снопов сытно пахло хлебом и теплой, чуть влажной пылью. Наталья накрутила вожжи на руки, незаметно приклонилась к снопам и крепко заснула.

Лошадь шла нешироким, валким шагом. Перед мостом она стала, покосилась умным глазом и, не ощутив вожжей, бережно стронула воз.

Среди глубокого сна Наталья вдруг ощутила, что движение прекратилось. Она открыла глаза. Колымага остановилась у ворот большого дома коммуны. На крыльце, залитая солнцем, стояла Авдотья.

— Умаялась? — ласково и звонко крикнула она.

Наталье все еще казалось, что это сон: хутор, Авдотья, сытный, удушливый запах пшеницы и—солнце, солнце! Она поспешно задержала вожжами.

— Слезь на-час, — властно сказала Авдотья. — Молока испей, из ямы достану, холодное. Лошадь надо попоить.

Наталья послушно прыгнула с воза. Они пошли на кухню.

— Много ль жать-то осталось? — спросила Авдотья, ставя перед Натальей кринку, покрытую мелкими каплями испарины.

— Загон небольшой.

— Кончайте, да уж и свадьбу сыграем, — сказала Авдотья обычным своим, протяжным голосом.

Наталья поперхнулась и промолчала. О свадьбе она как-то еще и не думала. В поле говорили и думали только о дожде, о пшенице, о молотье. Люди там были усталые, чернолицые, пропыленные. Засыпали, не успев обмолвиться

ни одним словом. Теперь Наталья внешне подумала, что усталость эта — легкая и, может быть, счастливая.

Авдотья помогла Наталье сложить снопы в ригу и тихо побрела обратно на хутор. Наталья ударила лошадь длинными вожжами и ходко, в пустой колымаге, поехала на поле. Она пристально глядела на ровную, седую от солнца дорогу, бегущую под колесами. Губы ее были строго сомкнуты, но исхудалые щеки пламенели.

Возвратясь к жнецам, она пошла вязать за кузнецом и тут дала волю своим мыслям: кузнец, по глухоте и угрюмости своей, помешать ей не мог.

«Сказать бы кому: пришел он ко мне в польнь... — мечтала она, прижимая сноп к земле круглой коленкой.— Пришел он ко мне в польнь, я глянула на него и думаю: никого мне больше в свете не надо».

Она ловко вязала снопы и улыбалась. Она пыталась представить себя в подвенечном наряде. На голове ее лежит пышный веночек из ромашек, а от венка и до пят струится легкая, белая — белее ромашек — кисея. Наталье случилось видеть отражение своего тела только в тихой воде. И теперь ее небольшая фигурка вставала перед ее глазами тускло, колеблясь, как сквозь воду.

Она шла за кузнецом и смеялась, пока неожиданная мысль не поразила ее. Она остановилась и прижала к себе сноп, словно ребенка. Свясло, шурша, тихо развивалось в ее руке. «Кисеей нельзя накрывать,—не девушка ведь. И кисеи нет. Да и не в церкви будут венчать».

С этого часа она стала думать о свадьбе с некоторой опаской. Молча поглядывала она на загорелых, голосистых баб и недружелюбно думала: «Насмешничать будут...».

Как-то ночью Наталья проснулась от нестерпимого желания немедленно бежать в Орловку, чтобы взять у Пронькиных свои пожитки. Строго спросив себя, она обнаружила еще одно тайное желание: испросить у старой Прасковьи самый красивый, пунцовый наряд и шерстяной полушалок с темными, как кровь,

цветами. У Натальи замерло сердце при одной мысли, какой она будет красивой и молодой в новом малиновом наряде.

Она уже села, сбросила с себя дерюгу, но вдруг подумала: «Злобятся на меня все Пронькины...». Она вздрогнула от ночного холода, снова повалилась на подстилку и закрылась с головой.

Тоскливо и злобно она принялась ругать себя: зачем убежала из Орловки без своего узла? Теперь она выйдет на свадьбу в лаптях и в заплатанной, рыжей юбке! Чужемужница, бесприданница!

В полдень, сложив на гумне последние возы снопов, порожний обоз прогрозотал, под высоким солнцем, по хуторской дороге, прямо к большому дому. Ребята с криками окружили обоз. Авдотья молодо сбежала по ступенькам крыльца.

— Счастливо хлеб с корню сняли, — громко сказала она, глядя на всех светлыми, блестящими глазами. — Счастливо, под солнушком, обмолотить! Баньку истопила вам,—добавила она и взяла переднюю лошадь под уздцы. — Ступайте, мужики. Я с ребятами тут управлюсь.

Она остановила Николая, тронув его за рукав.

— Пирог я затеяла — с куренками вспеку да с пшенной кашей. Надо бы со щавелем, да сахару нет. Ивана на свадьбу позовешь, из волости-то?

— В ночь сам с'езжу, — быстро ответил Николай. — Гнедуху на остров пустите, не спутывайте.

— Питья бы какого он добыл, Иванто, — тихо, словно стыдясь, сказала Авдотья. — Непьяная свадьба в укор нам будет.

10

Свадьба пришла в солнечное воскресенье. В это утро коммунары спали необычно долго. Дилиган поднялся раньше всех и, подсучив штаны, по прохладной воде перешел в брод на остров.

Лошади щипали траву, спокойно обмахиваясь хвостами. Дилиган долго хо-

дил среди табунка, улыбаясь и причмокивая губами. Наконец он выбрал чалого мерина и молодую кобылку и на поводках ввел их в воду. Выкупав лошадей, он старательно перебрал им гривы и зашагал ко дворам. Лошади пошли за ним, шумно пофыркивая и встряхиваясь.

У крылечка во дворе большого дома уже стояла телега, щедро смазанная дегтем и доверху набитая сеном. Николай и Наталья уезжали регистрироваться в волость, а Дилиган вызвался быть у них кучером и дружкой.

Бабы и ребятишки первыми высыпали во двор. За ними вышел Николай, в новых смазных сапогах и в праздничной расшитой рубахе. Он постоял на крылечке, потом подошел к телеге и смущенно стал подбивать сено. Наталья задерживалась. Бабы, вздыхая и подталкивая друг друга, нетерпеливо поглядывали на дверь.

Наконец на крылечко вышла Наталья. Она показалась всем высокой и дородной в своем просторном, темноватом наряде. На подоле и на груди у нее цвели крупные желтые разводы. Она медленно пошла по ступенькам, потом остановилась, краснощекая, с пересохшими губами. Николая мгновенно пронзило далекое, неясное воспоминание об этих желтых разводах. Он взглянул на мать, сдвинув брови, и, ничего не припомнив, шагнул навстречу Наталье, взяв ее за руку. Она легко прошла, словно проплыла к телеге.

Кузнечиха удивленно прошептала:

— Осанка у бабы явилась!

Авдотья накинула темную шаль на плечи невесты, — от пыли. Дилиган одернул рубаху, молодецки вскочил в телегу и натянул вожжи. Ребятишки широко развели ворота, и пара дружно вынесла телегу на улицу и в степь.

Полдня прошло в жарких разговорах и в томлении. Мальчишки не слезали с тополей и перекликались, как грачи. Авдотья и Дарья, красные и распаренные, сажали пироги в печь. Мариша и кузнечиха сидели в тени с вязево.

— Бывало, свадьбы гуляла по Покров, — тихонько и с печальной робостью сказала Мариша. — У девушек

присловица была: «Батюшка Покров, покрой сыру землю и меня девицу...».

Кузнечиха взглянула на Маришу своими круглыми, острыми глазами:

— Ныне какие свадьбы! Без сватьев, без сговору. Под матицей не сижено, не пито, не пролито, не сказано, не связано.

Мариша, будто и не слыша кузнечихи, певуче проговорила:

— Бывало, сватья скажут: «Вы видели сокола, кажите нам сизу голубку...».

Сзади, от огородов, к ним тихонько подбежала Ксюшка. Она толкнула Маришу в плечо, — та вздрогнула и выронила вязево.

— Приданого невестино принесла, из Орловки, — прокричала Ксюшка и, озорно опустив глаза, растрепала перед бабами слежавшийся натальин узелок. Бабы пристально разглядели желтый наряд, гусарики с пуговицами, реденький полушало и зеркальце.

— Бедность! — горестно покачала головой Мариша.

— Приданого — два полотенца из дубового поленца, — ядовито усмехнулась Ксюшка. — Пойду старухе отдам.

— Откуда у нее, бабоньки, платье-то с разводами? — задумчиво спросила кузнечиха.

Все замолчали. Легкий ветер поднял пыль на дороге. В озере плеснулась рыба. На тополях вдруг заголосили ребятишки. Один за другим, шурша ветвями, они скатились наземь и помчались по дороге.

— Едут! — испуганно сказала Мариша и поднялась.

Женщины торопливо побежали по домам — принарядиться.

Собрались у террасы большого дома. Женщины надели блеклые ситцевые кофты и туго подвязали под горло белые платки, распустив по плечам пышные концы. Мариша стыдливо прятала ноги, обутые в новые лапти. Кузнец, начисто отмытый, голубоглазый, со светлыми кудерками вокруг розовой лысины, безучастно стоял в стороне, заложив руки за пояс. Ребятишки скакали вокруг него и опасливо посмеивались, — они решительно его не узнавали. Куз-

нечиха в цветастом сарафане стояла впереди всех, скрестив на груди толстые руки. Она глядела на дорогу круглыми, любопытными глазами.

Подвода, окутанная пылью, быстро скатилась с горы, ненадолго скрылась за амбаром. Дилиган подкатил прямо к террасе, лихо повернул пару, заставив лошадей задрать истомленные морды, и чуть не наехал на куст сирени.

От растерянности молодые слезли с телеги в разные стороны. Тогда Скворчиха сняла с Натальи пыльную шаль и, взяв за руку, степенно подвела ее к Николаю.

Молодые поднялись по скрипучим ступенькам на террасу. Из-за дверей, навстречу им, вывернулся Павел Васильевич, в розовой, не по росту длинной рубахе. Он встал на носки и, высоко подняв развязанный сноп пшеницы, осыпал колосьями молодых с ног до головы.

— Родить вам деток, сколь здесь зерен, — робко произнес он.

— Не по обычаю, — гневно сказала кузнечиха. — Баба должна осыпать, да и — хмелем.

Никто не хотел наступать на колосья, и в дверях произошла неловкая давка. Молодые ушли вперед.

— Вся свадьба не по обычаю, — крикнула Ксюшка и, безжалостно давя пшеницу, побежала по террасе.

В просторной комнате были сняты кары, посредине стоял длинный стол, укрытый разноцветными вязаными и расшитыми скатертями. На столе дымились разрезанные пироги и полные блюда масляных пампушек.

У порога молодых встретила Авдотья. На ней был длинный, до полу, малиновый наряд и легкая шерстяная косынка, повязанная по-женски, с повойником. Наталья глянула на нее и со смущением, искоса и крепко стиснула руку Николая. Авдотья легонько подтолкнула обоих, усадила их в передний угол и низко поклонилась всем коммунарам:

— Садитесь, гости, кушайте. Да и не кушайте, а просто — ешьте!

Скамьи быстро заполнились людьми. Для Авдотьи оставили место около Николая. Дилиган сел рядом с Натальей.

Он тонко кашлянул, загреб из блюда полную горсть пампушек и ссыпал их перед Натальей.

— Ешь, молодайка, с дороги-то.

Седобородый Климентий с важностью оправил рубаху и медленно усмехнулся:

— Значит, полудневать будем. А гулять когда?

Ему никто не ответил. Только кузнец оглядел стол вопрошающим, алчным взглядом и равнодушно закусил ус.

— Ишь, услышал, — лукаво пробормотала кузнечиха.

Авдотья скрытно оглянулась на распахнутую дверь и внезапно поднялась во весь рост. Дилиган перестал жевать и вытянул шею, кузнечиха мелко вздрогнула, словно укололась. За столом попритихли. В горницу вошли нежданные гости — семья Пронькиных.

Степан Пронькин, в своей пышной праздничной поддевке, остановился на пороге. Из-за плеча его выглянула сухонькая Параскева, в темной шали.

— На свадьбу пришли, — деловито пробасил Степан. — По-соседски.

Параскева часто, по-птичьи закивала головой: «Да-да, на свадьбу».

Авдотья вышла из-за стола и поклонилась им в пояс:

— Гостям рады. Пожалуйста.

Николай взглянул на мать, на Пронькиных и крепко, до желваков стиснул челюсти.

Наталья в замешательстве отодвинула от себя пампушки, пустую рюмку, потом снова придвинула. Пальцы ее дрожали. Вдруг она выпрямилась, щеки ее опалило горячим румянцем: она увидела троих парней Пронькиных, которые молча топтались за порогом, в сенях. Прокопий сразу же выступил вперед, встал на свету и устремил на Наталью тускловатый, неподвижный взгляд. «Скажет, идол... скажет про меня, — подумала Наталья, каменя от стыда и гнева, — осрамит перед всем миром, перед Николаем...».

Прокопий медлительно перевел глаза на Николая, оскалил в улыбке белые зубы и что-то негромко сказал братьям. Все трое быстро скрылись в сенях.

Николай склонился к Наталье и тихо проговорил:

— Трудная у нас будет жизнь, Наташа!

— Никого в свете мне больше не надо, — неожиданно горячо, быстро и почти плача ответила ему Наталья.

Николай повернулся к ней всем телом и едва не вскрикнул: желтые, словно лепестки подсолнуха, разводы на кофте Натальи как-то откликнулись в ее темных глазах — и тотчас же Николай вспомнил, что очень давно, мальчишкой, он видел этот наряд на молодой Авдотье! Удивление и нежность перед матерью потрясли его, он поискал ее глазами.

Вся розовая от волнения, стройная, в своем нестарушечьем наряде, она хлопотала около Пронькиных.

Степан уже сел за стол и оставил жене краешек скамьи, на который она тотчас же торопливо примостилась.

Авдотья пошла в угол комнаты, к столу с запасными пирогами. Она шугнула отсюда ребятишек и, подумав, отрезала два куска от жирного курника, приготовленного к концу обеда, для «закуски».

— Угощайтесь, — сказала она с гордостью, кладя куски перед Пронькиным. — Не взыщите.

Степан неторопливо оглядел стол, убранство, людей. Особенно пристально и долго он рассматривал молодых. Они сидели без нужной чинности, тесно прижавшись друг к другу, не наряднее других, не убранные цветами. Их лица, расстроенные и необычно трезвые для свадебного стола, были отмечены усталостью и страданием. У Николая — вокруг жесткого рта, у Натальи — меж тонких бровей легли несмываемые морщины.

Около Степана дремал большеголовый кузнец. И опять это не было сладкой, хмельной дремой: кузнец устал от непривычного безделья и скуки.

— К венцу-то ездили, что ли? — зычно спросил Степан. — Стол у вас, гляжу, не свадебный: сухой.

— В Утевке расписались, — ровно ответила Авдотья.

— А-а, вокруг стола, писарь венчал..

Степан поскреб в седых усах жестким ногтем и притворно вздохнул.

— Ныне без венцов, без бубенцов... — начал было он присказку, но сбился: в горницу, оглушительно топя высокими сапогами, ввалился потный и растрепанный Иван Дуб.

— Опоздал! — горестно крикнул он с порога. — На собраньи просидел, извиняйте! Да и за мамашей вот пришлось в Утевку заехать!

Он вытолкнул вперед маленькую, согбенную старушку, мать Натальи. На плечах старушки коробилась широкая, у кого-то признанная кофта. Коричневыми, сухими ручками она теребила концы шали.

Авдотья строго взглянула на Дилигана, и тот покорно встал, освободив место. Старуху усадили рядом с Натальей. Авдотья кинулась к пирогам и безжалостно отхватила большой кусок курника.

Иван Дуб скользнул обратно в сени и на обеих руках вынес оттуда большой сверток.

— Кумачу бабонькам привез!

Довольно похохатывая, он положил сверток на край стола и вдруг увидел старика Пронькина.

— Гости у вас тут, — неопределенно промычал он и притиснул кумачулаком.

Пронькин поежился, зачем-то отстегнул верхний крючок поддевки и ласково заглянул в глаза Дубу:

— Говорю старухе: помрем, не увидим советской свадьбы. Пойдем, говорю, дура...

Дуб стоял безучастно, словно глухой, и Степан на всякий случай подмигнул кузнецу. Тот слабо и отчужденно усмехнулся. «Сговорились, презирают...» — со злобным удивлением подумал Степан и опустил глаза. Старуха его, ничего не понимая, старательно грызла цыплячью ножку.

— На флаги прислали, кумач-то, — повысил голос Иван. — А я говорю: коммунарякам надо обрядиться.

Ксюшка, не утерпев, отвернула край материи и тихо охнула: плотный, яркий цвет и пронзительный запах краски радостно удивили ее.

Дуб между тем сделался серьезным и поманил пальцем Дилигана. Тот по-

нимающе улыбнулся, и оба они вышли из горницы.

На кухне Дуб выволок из-за пазухи бутылку с денатуратом, посмотрел ее на свет, взболтал и поставил на стол.

— В больнице выпросил. Можно сказать, силой взял. Маловато.

Спирт щедро разбавили водой. Он помутнел и стал похож на мыльные помои. Дилиган смотрел на бутылки восторженно. Дуб с сомнением пощелкал по ним длинным пальцем: выпивка получилась некрепкая.

Дилиган, как дружка, обошел весь стол и расчетливо нацедил «по первой».

— Первая рюмка колом, вторая — соколом, прочие — мелкими пташками. Кушайте! — торжественно провозгласил он.

Кузнец запрокинул стакан, подержал спирт во рту и проглотил с явным недоверием.

— Пей-ка, на дне копейка! — крикнул ему через стол Климентий и жиденько посмеялся.

Парни Пронькины так и не сели к столу. Они вышли на улицу и, пересмеиваясь, стояли в кустах сирени, под открытыми окнами.

За столом зашумели.

Женщины, в самом деле, слегка опьянели, хоть и было в вине больше дурноты, чем хмеля. Мариша сидела молча, с пьяной гордостью откинув маленькую голову, — однако брови ее были скорбно приподняты, и серые глаза налились слезами.

Кузнечиха взмахнула толстой ручкой и упрямо пробормотала:

— Добрая свадьба — неделю бывает.

— Эй, вы, горькие! — крикнул на весь стол Климентий и высоко поднял стакан. — Запили заплатки, загуляли лоскутки!

Кузнец отпил стакан до половины, потом взболтал остатки и внимательно понюхал.

Дилиган беспрестанно ходил за спинами гостей, подливал стаканы, выкрикивал шутки, побаски и то-и-дело бросал неприметный взгляд на пустеющую бутылку.

Авдотья тревожно следила за мужчи-

нами, за Степаном. Вино было мутное, слабое, ненастоящее. В Утевке, в старые времена, непьяная свадьба считалась позором: оскорбленные гости, бывало, смертно избивали хозяина стола.

Иван Дуб заметил тревогу Авдотьи. Он выцедил второй стакан, со звоном, нарочито неловко опрокинул его на стол, клонул носом и заорал:

— Песню!

— Молодых величать! — в тон ему неожиданно крикнул Степан и смаху расстегнул все застёжки у поддевки.

Дуб искоса взглянул на него и, подавив усмешку, цепко, по-пьяному облапил его обеими руками.

— Песню! Бабы, что же вы? Языки проглотили? — вдвоем, вразброд закричали они.

Дарья суетливо подтолкнула застывшую Маришу, зазывно улыбнулась кузнечихе и откашлялась.

— Как под яблонькою... — завела она так высоко, что бабы подхватили нерешительно и не в лад:

Лели-лешеньки,
Под кудрявенькой,
Там стояла кровать,
Кровать нова-тесовая,
Одеяла шелковые...

Голоса отставали один за другим. Ксюшка громко и визгливо засмеялась: — И кровати-то никакой нету — нары голые!

Песня упала, как подрезанная.

— Бывало, постель-то уберут, — мечтательно и без смущения заговорила Мариша. — Одеяло — паутинкой стегано или дождиком, подушки пуховы. С вечера — девка, с полуночи — молодка, по заре — хозяйшка...

Кузнечиха облизнула красивые губы, склонилась к столу и зашептала бабам:

— Песни свадебные вовек для девиц назначены. — Она метнула на Наталью уклончивый взгляд и печально усмехнулась. — Не цветок алый. Подснежна ягода — клюква!

Иван Дуб, словно и не слыша раздора в песне, весело улыбнулся бабам:

— Мы сейчас песню выведем — в трубу выйдет!

Он молодецки шевельнул плечами и запел старинную песню про ямщика. Певали ее в Утевке на больших гулянках, когда от перепоя люди ударялись в печаль.

Степь да степь кругом,
Сердце грусть берет...

Никто его не поддержал, и он смолк, тяжело уронив голову.

— Не свадебная, — спесиво сказала кузничиха. Она глубоко вздохнула, сделала испуганное лицо, округлила рот сердечком и запела глуховатым, утробным голоском:

Как у терема, терема
Высоки были выступенцы...

Женщины подхватили величание высокими, звенящими голосами. Песня была протяжная, переливистая, слова в ней обозначались едва приметно, — вся она звучала, как долгий крик или вопль.

За столом все смолкли, погрузнели.

Дуб стиснул плечи Степана и отчетливо сказал ему на ухо:

— С дезертирами дружишь? Смотри у меня!

По спине Степана прошла судорога, и с широкого волосатого лица медленно сполз хмельной румянец.

— Не слышу, — прошептал он, кривя губы.

— Н-ну!

Дуб сорвал руки с плеч Степана, слегка оттолкнув его, и встал, стараясь не греметь сапогами.

Дилиган стоял рядом с Николаем, обняв пустую бутылку, и жалобно улыбался от песни и от смущения: вино кончилось.

Дуб подсел к ним. Взглянув на Дилигана, на Николая хмурыми, трезвыми глазами, он спросил:

— Ну, как? В коммуне-то?

Николай положил локти на стол и ссутулился.

— Хлеб дружно убрали. Видал, какая пшеничка у нас? Зерно к зерну!

Он исподлобья оглядел весь стол, потом обернулся к окну. Там, в сумерках, никли кусты сирени и уже не слышно было голосов парней Пронькиных.

— На гумно надо кого-нибудь посылать, — добавил Николай тревожным шопотом. — Боюсь, ригу подожгут.

Он встал, подошел к дремавшему Павлу Васильевичу и что-то сказал ему на ухо. Павел Васильевич встрепенулся, согласно кивнул головой и, бережно занеся ногу в огромном сапоге, перелез через скамью.

Николай вернулся на свое место. Наталья громко шепталась с матерью. Рядом с Дубом примостился Дилиган.

Прижимая к тощей груди бутылку, он возбужденно размахивал длинными руками и вполголоса, торопясь и захлебываясь, рассказывал о нападении бандитов.

— Гром над нами грянул и — каждый за свое схватился, — задумчиво сказал Николай. — Розные мы все, врозь глядим.

Он присел к Дубу, заставив Дилигана потесниться, и быстрым шопотом рассказал, как держались мастера коммуны — Климентий и кузнец — в час смертельной опасности.

Дуб слушал его, понурился лобастую голову. Он забыл, что сидит на свадьбе, и перестал притворяться. В шопоте Николая была растерянность и боль. Дуб все больше и больше мрачнел. Он думал, что там, в волости, они не все предусмотрели. Не слишком ли поторопились они с коммуной? Малая, недружная кучка людей, с бедным тяглом, брошена в степь, на обширные, необжитые земли...

Николай умолк, а Дуб все еще сидел, опираясь локтями о колени и положив голову на ладони. За столом недружно запевали песни и шумно переговаривались. Неожиданно Дуб выпрямился, пригладил волосы. Николай увидел толстую, синеватую жилу, надувшуюся на широком лбу гостя, и растерянno подумал: «Гневается!».

Но Дуб не гневался. Он опустил руку на острое колено Николая и вдруг улыбнулся не то жалостливо, не то виновато:

— Может, не с того конца мы начали?

— Ты это о чем? — громко спросил Николай и облизнул сухие губы.

— Да все о том же, — с угрюмой настойчивостью повторил Дуб. — Не с того конца, говорю, начали. Страна наша сейчас бедная, суровая. От беляков отбиваемся, сам знаешь... Вот я и говорю: бросили мы вас в толую степь, а оснастки никакой дать не можем. По-новому вы должны крестьянствовать, — а руки у вас пустые.

Дилиган поставил на окно порожнюю бутылку и прижал к груди длинную, худую свою руку.

— Главное, Иван Никанорыч, большая у нас земля, — сказал он тонким, почти плачущим голосом. — На такую землю машина требуется, а машины-то у нас и нет.

Он приклонился к Дубу и, испуганно тараща бесцветные глазки, заговорил о машине, которую когда-то довелось ему видеть в барской экономии, куда он ходил на заработки.

— Понимаешь, Иван Никанорыч, машина эта прямо — дивная. Паровичок такой, черный, похож на локомотив, что на бузулукской мельнице стоит. Паровичок с трубой, а только на колесах. Колеса те утыканы шипами, — это чтобы машина не скользила. Видал я эту машину на поле. Ползет паровичок по пашне, а к нему четыре плуга прицеплены, и плуги те землю, как сахар, колют...

Дилиган взглянул в строгое лицо Дуба и боязливо спросил:

— Не веришь, Иван Никанорыч? Ей-богу, не вру!

Дуб слушал Дилигана бездумно, как слушают сказочников. Жалостная божба Дилигана внезапно его развеселила.

— Верю, дядя Дилиган, верю, — неожиданно твердо сказал он. — Названье машине — трактор, я в книжке читал. А знаешь, дядя Дилиган, что про эту машину — трактор — сказал товарищ Ленин?

Лицо Дуба посуровело и стало торжественным.

— Товарищ Ленин сказал: когда в стране будет сто тысяч тракторов, то крестьянство за коммунию встанет.

— Сто тысяч! — пролепетал Дилиган и всплеснул руками.

Дуб торжествующе оглядел стол, но тотчас же нахмурился, перехватив настороженный и подстерегающий взгляд Степана.

— Однако про гульбу-то мы забыли, — крикнул он и с притворной веселостью стукнул кулаком по столу. — Эй, бабы, что же вы песни оставили?

— Не вяжется песня-то! — медленно, в наступившей тишине, произнес Степан.

Он поднялся, застегнул поддевку на все крючки и повелительно бросил жене:

— Пойдем, старуха, пора ко двору.

Прасковья неохотно отодвинула чашку с пампушками, сытно икнула и суетливо стала вылезать из-за стола.

Уже стоя на пороге, Пронькин обернулся к свадьбе, поискал глазами Авдотью и, найдя ее, приторно улыбнулся.

— Не вяжется песня-то, — повторил он со скромным, потаенным торжеством. — Может, ты, Авдотьюшка, песню заиграешь?

Ксюшка прикрылась концом полусалка и хихикнула.

— Выдумает тоже! — сказала она, ни на кого не глядя. — Она только по мертвым воеет, а у нас не поминки, вопить не по кому!

Неловкая тишина возникла в комнате. Иван Дуб злобно скрипнул зубами. Он понял издевку Степана: это была издевка и над свадьбой, и над коммуной, и над плакальщицей Авдотьей. Боязливо, со стыдом и гневом он взглянул на Авдотью. Плакальщица ответила ему спокойным и ясным взглядом.

В полной растерянности Дуб услышал, как закрылась дверь за Степаном. Потом Авдотья спокойно и тихо произнесла:

— Ну, что же, и скажу песню.

Она поднялась, смело вышла на середину горницы и остановилась, словно прислушиваясь.

За окном мягко прошумела листва, и все смолкло. Авдотья видела и не видела обращенные к ней лица. Николай беспокойно пошарил что-то на скатерти и опустил руки под стол. Дунька вся

подавалась вперед. Климентий мрачно нахохлился. Дилиган беззвучно шевелил губами. В сероватом свете сумерек лица у всех казались печальными.

Авдотья низко поклонилась и, по давней бабьей привычке, скрестила руки под грудью.

— Здравствуйте, гости мои радощны! — певуче, с легкой дрожью в голосе сказала она. — Мертвым — вопли мои, живым — песня. Много печали дано человеку, а через печаль дана и радость. Сердце без печали да без тайности — пустая грамота.

Она поклонилась еще раз и строго улынулась:

— Уж не взыщите, народ, племя сердечное, на песне моей, на вольных словах...

Как по весне-то разливной, да по красной
вёснушке,

Выходила я в степь, да светлозарную,

А и кланялась в степи зеленá-трава,

Зелена-трава да тычнунушка,

Уж и колыкалася степь-матушка,

Словно синё-море плескалося...

Авдотья начала запевку несмелой скороговоркой, будто пробуя голос, но уже слово «вёснушка» пропела протяжно и низко, и звук получился повелительный, как звон металла.

Дуб поднял голову, губы его по-детски приоткрылись, и он недоверчиво вскинул брови.

— Язык — телу якорь, — пробормотала Дарья, неотступно и задумчиво глядя на Авдотью.

От этих едва слышных слов Дарья тишина стала еще более напряженной и строгой.

Авдотья шагнула вперед и уронила руки. Люди откликнулись ей, и она почувствовала знакомое и сладкое забытье, от которого, — она знала это с молодости, — только и начинается настоящая песня.

— Глуби морские на краю земли колышатся, — сказала она глуховатым и нежным голосом. — Деда наши морей не видывали и морской, крутой волны не слыхивали. А по весне выйду я в степь, и нравно мне: вот оно, океан-море, крутая волна!

Она пристально взглянула в напряженное лицо Дуба и повысила голос:

— Крестьянское наше счастье комом слежалось, с корнями в землю ушло. Солнце воспекает, колос золотом оденется, гроза в степи прогремит, — все тошно мне, горюше, все горько! А ныне встану на безмежной земле, встану, мал человек, в прозорной степи, и нравно мне: взойдет зерно, проклянет землю, взойдет и наша светлая радость! Жива душа моя, жива надежда моя!

Авдотья вскинула голову, отягченную повойником, прикрыла глаза.

Неподвижная листва за окном теперь была черной и казалась вылитой из тяжелого металла. Ночная темнота осела по углам комнаты. Худое лицо Авдотьи было бледно и сурово. Она открыла глаза, словно решив что-то про себя, и запела ровным и сильным голосом:

Как в большой степи

Жил малой мужик,

Жил малой мужик, небогатенький,

А и выходил мужик во широкую степь,

Говорил мужик степи-матушке:

Уж ты, степь моя, степь родимая,

Широко ты, степь, да просторно лежишь.

А пошто же, степь, так содеялось,

Захватили тебя злыдни-злобные,

А мне негде, малому, ногой топнуть,

А мне негде, малому, колос вырастить...

Первые же слова песни толкнули Маришу в самое сердце. Она судорожно выпрямилась, лицо ее мгновенно залилось слезами. Это была легкая, давно выплаканная, но вечно разящая тоска по мертвом.

Авдотья мельком глянула на нее и приглушила голос:

А и послушайте меня, люди добрые,

Что скажу вам про того печальника,

Как и думал он о большой земле,

О большой земле, да о дружестве,

А и дали ему землю малую,

Землю малую — всего в сажень,

И лежит он в черной постелюшке,

И шумят над ним ветры вольные,

Кипит-клонится седá-польнь...

Авдотья насухо вытерла тонкие губы и строго сказала:

— Кузьме Иванычу честь воздать от всего крестьянского рода. Не ной

его косточка во сырой земле! Малого он был, родимец, росточку: недоля человека в землю вбивает, росту ему не дает. А мечтал человек высоко, видел далеко.

Иван Дуб охватил голову руками и тихо раскачивался, сам того не замечая. Песня подняла в нем острую и сладкую тревогу.

«Вот сидят люди бедные, злые, розные» — говорил он себе, уже не ощущая тоскливого страха, помешавшего ему сказать прямо Николаю и Дилигану: «Разойдитесь, мол, вы все в разные стороны, вижу: не выйдет у вас с коммуной».

«Да, разойдутся, — думал он, глядя на поющую Авдотью. — Время коммуне, верно, еще не пришло. Но старая Авдотья, Николай, Наталья, Скворец, Дилиган — уже до конца дней своих будут коммунарками, нашими, новыми людьми! А пройдет время, и, — кто знает, — может, будет воздана этим людям великая честь! Скажут: они первые вышли на большую землю...».

Дилиган, сидевший рядом с Дубом, вдруг тяжело задышал, прислонился к косяку окна и закрыл глаза. Дарья надвинула платок и сгорбилась, стыдясь слез. Николай открыто и с гордостью смотрел на мать.

Дуб очнулся наконец и поднял голову. Люди грузно сидели в темноте. Авдотья пела и говорила, протянув к ним обе руки. Теперь, от ночных, колеблющихся теней, она казалась преувеличенно-высокой, плечистой, длиннорукой.

Дуб с трудом проглотил твердый комок, застрявший в горле: перед ним стояла старая, худая, иссеченная горем крестьянка. Всю молодость свдью она проплакала над покойниками. Теперь она также спела песню о мертвом. Но — странное дело — Дуб чувствовал, что это была песня о жизни.

Несколько мгновений он слышал только повелительный и просторный голос Авдотьи, потом стал различать слова.

— Сохи наши вместе свилися, тому и быть. По капле дождь копится, дождь

реки поит, а реками — море стоит. Мураши, и те кучей живут. Рожь стеной стоит, не валится...

— Верно, Дуня! — закричал Дуб и шумно вскочил. — Верно!

Огромный, черный, он непонятно размахивал кулаками и удушливо посмеивался.

— Чего в темноте сидим? — хрипло сказала вдруг кузничиха.

Все задвигались, будто выйдя из оцепенения. Едва различимые во тьме силуэты людей казались мохнатыми и сказочно большими.

Дунька вышла из-за стола и через минуту вернулась. Осторожно ступая, она внесла коптилку.

Люди сидели, тихо переговариваясь. Дуньке показалось, что они перекликаются, как ночные птицы.

— Хорошо в песне поется! — сказала Дарья Скворчиха, и Дунька слышала боль в ее ломком и странном голосе.

Из дальнего угла внушительно и твердо отозвался Климентий:

— Пока солнце взойдет, роса очивыест!

Трезвый и как будто сердитый голос его напугал Дуньку. Коптилка дрогнула в ее руке. Она загородила огонек ладонью и тревожно спросила Авдотью:

— К чему это он, тетка Авдотья? Страшно как!

Авдотья взглянула прямо в глаза девушки, наполненные слезами, и медленно и властно сказала:

— В степи бывает и голубиный пролет, и волчий прорыск.

Дунька поставила коптилку на стол и отошла к порогу.

IV. РАЗРЫВ-ТРАВА

1

Осенью 1929 года Авдотья Нужда, старая плакуша, нанялась выбирать из реки вымокшую коноплю, простудилась и слегла. Болезнь была тайная, злая, она кинулась сначала на ноги, потом в грудь. «Стар человек, рушится» — спокойно решила Авдотья. Она с тру-

дом прибралась в избе, надела чистую рубаху и легла на печь.

Боли не очень беспокоили ее. Только тело стало вдруг до того легким, что Авдотья с удивлением прислушивалась к себе и думала: «Я и костей-то не чувю!..». Равнодушно принялась она ждать тихой и благостной стариковской смерти.

О чем ей было жалеть? Единственный ее сын Николай с женой Натальей жил в далекой Азии вот уже восемь лет. Сама Авдотья кормилась в людях на поденках и за лето, как всегда, с трудом скопила муки, пшена и картошки на зиму. Одинокие, длинные годы эти прошли, словно сквозь сон: пустая, чистая избенка с одним окном в улицу, тишина, чужие дети на руках, чужие поля, зреющие вокруг. В иной час и запеть бы песню, заломить руки в небо, — да слов нет, нет и радости...

Авдотья пролежала всю осень и половину зимы, вплоть до святок. Ползком, бледнея от боли, она слезла по приступкам на пол, чтобы истопить печь. Хлебы месила сидя, раскрыв рот от удущья.

Жизнь глухо шумела вокруг ее одинокой избы. Она слышала то детские голоса, то скрип полозьев, то бабий, торопливо удаляющийся говор, или тяжелый стук бадьи о край колодца: кто-то поил коня и тихо посвистывал.

Воду Авдотье носил одиннадцатилетний сын Мариши — Кузька. Он прихдил с полным ведром, ставил его, выгибаясь от натуги, на высокую скамью, довольно шмыгал носом и похозяйски похлопывал рукавицами.

— Кузя, чего деется в улице-то? — спросила его как-то Авдотья.

— Деется? — важно повторил мальчик. — Ходят по амбарам, по избам, хлеб выщупывают — такими длинными шестами.

— Кто же это?

— Партейные. Хлебозаготовка, — знаешь?

— Нет, не знаю, — растерянно сказала Авдотья. — А мать-то где?

— На собранья ходит, хвост завила, — быстро и явно с чужих слов проговорил Кузька.

— Что же, и у вас хлебушко отобрали?

— А у нас все равно его нет, — сурово ответил мальчуган.

Авдотья снова осталась одна. Тишина привычно окружила ее. Мальчишка сболтнул что-то непонятное. Да и что ей за дело до всего, что творится на белом свете, — ей, старой бобылке, думающей о скорой смерти?

Однако, когда часом позднее в сенцах послышались чьи-то быстрые шаги, она насторожилась и с любопытством поглядела на дверь.

Это была соседка, толстая Семихватиха. Она распахнула сборчатую шубу, бережно положила на приступок тяжелый сверток в ветошке и протяжно спросила, вглядываясь в темный угол печки:

— Жива ли?

— Жива, — скупно откликнулась Авдотья.

— Мясца я тебе, мясца принесла, — заторопилась Семихватиха. — Из силы, поди, вышла, покушай.

Авдотья молчала, удивленная. Соседка, гордая богачка, прозванная Семихватихой за неистребимую жадность, никогда не давала без расчета и одного яичка.

Между тем Семихватиха небрежно сбросила шубу и полезла на печь. Приступки прогнулись и заскрипели под ее могучим телом.

Она присела с краю, у изголовья Авдотьи, едва взглянула на нее маленькими, заплывшими глазками и вдруг скривилась и заплакала.

Авдотья приподнялась на локте и схватилась за сердце: неужели пожалела? Впрочем, и самой Семихватихе жизнь нелегко. Немощный муж ее Акимушка издавна мучается грыжей, старший сын буйствует где-то в городе, младший отделен, значит — отрубленная рука...

— Авдотьюшка, подруженька, пропало все мое добро, пропало, — зашептала наконец Семихватиха. Быстрые, мелкие слезки аккуратно стекали по ее багровым щекам. — Слышь, телку сами порушили, мясца-то я тебе... Мужик в колхоз записался, все равно отберут..

Одну лошадку продали, успела, а еще пару-то записали, теперь вести надо на общий двор. Знатё бы — татарам на махан продала, и то легче... Под топор все хозяйство подвели!

Семихватиха всхлипнула, всплеснула короткими ручками.

— Отведи ты мне душу от смерти, матушка, привопи, золотая ты моя! — заикаясь от рыданий, выкрикнула она.

Авдотья тяжело опустилась на подушку и закрыла глаза. Сердце у нее билось с болью, редкими, сильными толчками. С молодости плетень в плетень жила она с Семихватихой. И всегда во дворе у Семихватихи серебряно блестяли плуги, амбар до матицы был засыпан тучной пшеницей. Всю жизнь Авдотья отработывала неоплатные долги Семихватихе — за пудик ржи, за навоз, за пряжу, за чашку масла... Николай тратил свою молодость на просторных полях Семихватихи.

— Знаешь что, — с трудом сказала Авдотья, не открывая глаз. — Возьми-ка свое мясо. Ни к чему оно мне: видишь, больная, в дорогу собралась...

— Что ты смерть кличешь! — испуганно пробормотала Семихватиха. — Грешно.

Авдотья открыла большие, блестящие глаза и ровно проговорила:

— Своими бы руками добро наживала, а то все на чужих плечах. Какие мы подруженьки?

Семихватиха рывком накинула шаль, с громом скатилась с печки. Впопыхах она уронила мясо на пол и взвизгнула:

— Собакам скормлю-у!

Авдотья пристально и задумчиво проследила, как по полу от двери прошла и растаяла волна морозного пара. Потом она перевела взгляд на темноватый передний угол. Там, над чисто выскобленным столом, висела икона Христа. Икона была очень старая, — ею благословляли под венец авдотьину матушку, которая и умерла после того через два года. Икона давно потрескалась от времени, стала шерботой, лицо у Христа расплылось. Но если подойти совсем близко, то можно, пожалуй, различить огромные, неподвижные, человеческие глаза Христа.

— Смирись, старая, смерть подходит, — со стоном прошептала Авдотья, принуждая себя взглянуть на икону со стыдом и смирением. Но она давно — со времен коммуны — не молилась, и полузабытое чувство восторга и веры не приходило к ней. Мысли перебивались, она не переставала думать о Семихватихе с любопытством и ненавистью.

Ночь пришла темная, вьюжная. Ветер метался в тесном дворе, бросал охапки снега в окно, выл высоким длинным воем. Авдотья лежала на спине, широко открыв глаза. Ветер голосил, захлебывался в трубе, прямо у нее под боком.

Авдотья пристально слушала. Иногда словно возникала песня. Потом она обрывалась и снова возникала, но уже другая.

«Завтра печь пораньше истопить» — подумала Авдотья, погружаясь в сладкую дремоту. Она заснула и увидела во сне себя. Молодая, легкая, в красном сарафане, она бежала по травным лугам. Высокие цветы качались ей навстречу, прямая и белая, как свеча, березка распустила по ветру тонкие ветви. Далекий чистоголосый хор звенел над лугами.

Авдотья вздрогнула, поднялась на локте. Ветер утихал, ее окружала плотная тьма. Стройные голоса все еще звучали. Авдотья села, тряхнула головой: это по слабости звенело у нее в ушах. «Песни бы кому отказать, помираю» — прошептала она со страхом и ревностью.

Однако именно после этой ночи Авдотья начала поправляться. Сначала ей показалось, что она не удивилась и не обрадовалась. Но однажды утром она уцепилась за теплый выступ печи, слезла на пол, неуверенно прошла по избе и припала к окну. «Ничего, подымусь» — пролепетала она, беззвучно смеясь и глядя в белую сумятицу за окном. Сердце у нее тяжело билось, глаза горели.

Она бодро замесила хлебы, вымела избу, затопила печь и присела у окна — отдохнуть. Над сугробами курилась легкая поэмка. Авдотья пристально и задумчиво смотрела на кру-

жение снежинок, когда во дворе возникла маленькая, закутанная до глаз фигурка старика-почтальона. Авдотья встала и протерла глаза, — до того неожиданным и бесшумным было это появление. Старик лез через сугробы, придерживая тяжелую сумку. В сенцах он долго хлестал веником по валенкам и наконец медленно приоткрыл дверь.

— Завалило тебя, мать, — громко сказал он, едва видный в белых клубах пара, и принялся рыться в сумке. Авдотье показалось, что все на нем поскрипывает от мороза.

— От сына, поди, — завистливо заметил старик, подавая Авдотье серый, смятый конверт. — Мне вот никто не напишет.

Авдотья молча взяла письмо. На худом, прозрачном и тонком лице ее отразились такое удивление и радость, что старик смущенно кашлянул, сплюнул оттаявшую на усах сосульку и горестно пробормотал:

— Неграмотная? Ахти, и я очки забыл, старый.

Авдотья усадила почтальона у печи, отрезала ему ломоть хлеба.

— Хвораешь все? — неясно спросил старик, впиваясь беззубым ртом в пышную мякоть.

— Подымаюсь. Спасибо на добром слове.

— Одна живешь? Гляди, сугробы намело. Никто не ходит к тебе, что ли?

— Ребятишки когда воды принесут. А дрова-то у меня в сенцах заложены...

Старик обвел пристальным взглядом темноватую, пустую избу, заглянул на теплый, прочерненный шесток и недоверчиво уставился на Авдотью:

— Ребятишки, говоришь? А комиссия не была?

— Какая? — удивилась Авдотья.

Старик как будто обрадовался, звонко хлопнул себя по коленкам.

— Ну, да с тебя нечего взять. Ишь, ты-ы! Они знают...

Он засуетился, судорожно проглотил мякиш, рывком вытер усы.

— Пролежала ты, мать, ничего не знаешь, — жадно зашептал он. — В колхоз всех пишат, хлеб отбирают. Сказывают, коров и лошадей на один двор

собьют. Да чего там: курей, слышь, и тех переловют. Моего гусака, значит, тоже...

— Кто отбирает? — тихо, с испугом спросила Авдотья.

— Комиссия, кто же! — Дед грозно насупил седые брови. — Ты скажи, кто я есть — служащий или кто? Всего хозяйства у меня — гусак...

Авдотья уже не слушала старика. И непрочитанное письмо, и непонятные новости тянули ее вон из избы, на улицу, к людям.

Она накинула шубейку, теплую шаль и, вслед за стариком, вышла во двор.

Пьяноватый, блистающий морозный воздух, смешанный с кизячным дымом, и белизна снега ослепили ее. Она прислонилась к воротцам, чтобы не упасть, и сказала старику:

— Ступай, я как-нибудь...

Старик пожевал губами и молча пошел через сугробы на тропку.

Авдотья отдохнула, осторожно открыла глаза. В улице ничто не изменилось. Маришина изба попрежнему стояла без крыши, у Дилигана одно окно было заткнуто обмерзшим тряпьем, низенькая изба старушки Федоры как будто еще больше подалась вперед. Все так же сверкали на солнце ледяные срубы колодцев, и наезженная дорога темнела посреди горбатой улицы, убегая к околице, в чистый простор степи.

Авдотья зашагала вдоль порядка, с удивлением и радостью переставляя дрожащие и словно не свои ноги. Неожиданно она столкнулась на тропе с круглолицей Хвощиной.

— Не умерла? — вытаращила на нее глаза Хвощица. — Ныне и умереть не жалко. Хозяевам конец пришел.

Хвощица сплонула и посмотрела на Авдотью затаманенными, словно хмельными, глазами.

— Телку мою знаешь? Зорьку? Пойду сейчас зарежу!

Авдотья вся вздрогнула.

— Что это ты? — слабо прошептала она.

У Хвощицы скривились толстые губы, круглое лицо пошло горькими складками.

— Зарежу! — плачущим голосом закричала она. — Все одно — отберут. Мяса нажрешь. Красавица ты моя!

Авдотья поглядела ей вслед, вздохнула и зашагала дальше.

Возле избы рыбака Казары Авдотья увидела кучку мужиков. Они густо дымили цыгарками, кричали и наскакивали друг на друга, размахивая длинными руками полушубков. На поклон Авдотьи никто не ответил, а она, от волнения и слабости, не расслышала ни одного слова. Только Николайка, молодой мужик, вор, гроза богатой Карabanовки, бросил на Авдотью темный, нечистый взгляд и недобро усмехнулся.

Авдотья держала письмо Николая на отлете, крепко прихватив его озябшими пальцами. Она шла к Дуньке, замужней дочери Дилигана. Сирота и бесприданница, Дунька была пропита первым же сватьям с Карabanовки лет пять назад и вошла в просторный дом бывшего красного дружинника, кровельщика и садовода Александра Попова, или, попросту, Лески. В Кривуше, улице бедняков, Дуньке жарко завидовали...

Авдотья прошла два высоких пятистенника бывшего старосты Левона и остановилась у резных ворот Лески. На Карabanовке стояли добротные деревянные дома, ровные, как братья, с большими, светлыми окнами, в кружевных наличниках. Авдотья подняла тяжелую щеколду и лицом к лицу столкнулась с Леской. Сухопарый, желтолицый и раскосый, словно киргиз, Леска оглядел Авдотью с головы до ног и, злобно толкнув ее плечом, вышел на улицу.

— Пришла! — жалостно крикнула ей навстречу Дунька и, как слепая, заметалась по избе. На руках у нее сидел толстый, годовалый младенец. Мальчик, лет четырех, возился у печки и беспрестанно шмыгал носом. Дунька посадила маленького в люльку и незаметно, концом платка, вытерла глаза.

— Молчи! — крикнула она на маленького звенящим голосом.

Авдотья нерешительно присела на край скамьи. В этой большой, холодно-

ватой передней избе и Дунька, и ребятишки казались чужими, случайными гостями. И пахло здесь почему-то не обычными уютными, жилыми запахами, а новой кожей и травами. На постель, высоко взбитую и увенчанную множеством подушек, казалось, и сесть-то было неловко...

— Лошадь у нас нынче свели. И не пашем, и не сеем, а свели, — быстро, не поднимая глаз и все тем же звенящим голосом заговорила Дунька. — Сама знаешь — вечно кровельщик да садовник... Все равно — в колхоз сбивают.

Дунька вдруг смолкла и насторожилась.

— Ушел твой-то в улицу... — тихо сказала Авдотья.

Безошибочным бабьим чутьем она сразу угадала и дунькин страх перед мужем, и ссору, которая здесь только что отшумела, и всю трудную, несчастливую дунькину жизнь.

— Теперь совсем жизни меня решит, — зашептала Дунька, пугливо торопясь и оглядываясь. — Все прячет, все прячет, все лютует. Ваша, говорит, кривушинская гольтепа в колхозе повинна. К отцу — и то не пускает. Пять лет живу, тетя Дуня, родименькая, а добро все его остается, ко мне не прилипает. Скупой, окаянная его душа, — из блохи голенищу выкроит. Работая, жилуюсь, аж втулки повылезли!

Слезы текли по худому лицу Дуньки; она их не замечала.

— Ты не разгоришься, — ласково остановила ее Авдотья. — Я все знаю. Говорила я тебе — дочкой моей будешь: одинаково нам с тобой талану нет. Николай письмо прислал. На-ко вот зачти.

Николай слал поклоны, спрашивал о своем наделе земли и про цену на лошадей. К весне он собирался вернуться домой — хозяйствовать.

Авдотья в замешательстве два раза подряд утерла губы концом платка и вздохнула:

— Не доживу еще.

Дунька сложила письмо, подала его Авдотье и тяжело опустила голову. Так

они посидели, молча, думая каждая о своем.

— В колхозы, говоришь, сбивают, — медленно проговорила Авдотья. — Это чего же, коммуна опять?

— Нет, не коммуна, — смутилась Дунька. — При своих дворах остаются...

Она порывисто отвернулась, взглянула в окно.

— В коммуне-то, тетя Дуня, плохо-плохо, а мне, молодой, вольная жизнь была.

— Знаю, дочка.

Ребенок заплакал. Дунька встала, пошла к люльке. Авдотья обвела пристальным взглядом ее отяжелевшее тело.

— Или опять носишь?

— А то чего же? — досадливо крикнула Дунька. — На это он, косоглазый, не скупой. А жалости все равно и к брюхатой нет!

— Про Наталью ничего не прописал Никола, — задумчиво и горестно заметила Авдотья. — Неужели до сего дня простая ходит?

2

С того дня Авдотью неудержимо потянуло на люди.

Неделю и другую бродила она по дворам кривушинских жителей. Недоумение, страх, молодое любопытство попеременно овладевали ею. Пока она хворала, жизнь в Утевке перевернулась вверх дном. Давно забыт был вековой обычай — укладываться спать, едва стемнеет на улице. До первых петухов у дворов и в избах толпились взбудораженные люди, — спорили, ругались, плакали, насмешничали.

Зима выдалась необыкновенно заносливая, вьюжная, в степи заметало дорожку косыми сугробами. В ветреные ночи, а иногда и среди дня, в Утевке медленно и тягуче звонил колокол, чтобы в степи не заплутались путники. Ветер подхватывал глухой звон, сламывал и разносил его. «О, господи, люди сбесились, и зима сбесилась» — ворчали и крестились старухи.

По Утевке прошли две убогие ни-

щенки. Они просили подаяния и раздельно приговаривали:

— Из коммуны мы, пожалейте!

— Из какой коммуны? — с живостью спросила Авдотья, отламывая щедрый кусок хлеба.

Нищенки переглянулись, смиренно закланялись и, не взяв подаяния, хлопнули дверью.

При Авдотье к глухой и басовитой бабке Федоре явился старый монах. Федора обошла ближние дворы. Когда бабы собрались в ее избе, монах стал рассказывать, что римский папа идет войной на Россию и скоро белые всадники потопчут всех большевиков и колхозников. Бабы, плача, расчесали монаху грязные, седые космы, сунули ему теплый каравай и тайно вывели на игнашинскую дорогу.

Кузнечиха быстрым шопотом поведала Авдотье, что скоро всех молодых баб, весом более четырех с половиной пудов, будут отправлять в Китай для размножения белого народа. Авдотья с удивлением глядела на круглые, озорные глаза кузнечихи и так и не поняла — врет она или нет?

Утевка шумела из конца в конец, в школе каждый день шли долгие собрания. Беднота собиралась особо — в светлой избе сельсовета.

Однажды Авдотья с удивлением увидела, как вместе с мужиками из сельсовета вышла вдовушка Акулина. Белесые брови ее были сурово сдвинуты, худые щеки пылали неровным румянцем. Она шла размашистым шагом, в своих растоптанных валенках, рядом с молодым сельсоветчиком Карасевым и председателем колхоза — малорослым, щуплым Петром Гончаровым. Сзади бежал, прижимая к себе папку с бумагами, секретарь сельсовета, комсомолец Тишка. Авдотья бесшумно побрела за ними в некотором отдалении.

Все четверо остановились перед высоким домом, крашенным синькой, богатого хозяина с Большой улицы, Ильи Курылева. Акулина оглянулась на маленького Гончарова и смело нажала щеколду. Во дворе хрипло, с воем залаяла собака. Резная калитка приотворилась. Илья Курылев, с метлой в ру-

ке, смиренно поклонился гостям. Акулина прошла мимо него, поджав губы. Гончаров исподлобья взглянул на хозяина. Карасев едва тронул свой красноармейский шлем. Тишка держался рядом с Карасевым, выставив свою папку вперед. Акулина все тем же широким и решительным шагом прошла мимо собаки, яростно натянувшей цепь. Карасев и все остальные торопливо тронулись за ней. Хозяин опомнился. Минуя тропинку, по которой гуськом шли люди, он косо прыгнул в сугроб, уронил шапку и, размахивая метлой, кинулся вдогонку Акулине. Лысая голова его была желта, как дыня, от шапки остался на ней круглый красный рубец.

— Чего надобно? — сипло крикнул он.

Акулина остановилась около старой баньки, толкнула дверь.

— Открывай подполье! — сурово сказала она из полумрака.

— Ба-а-а-а-а-а-а-а-а! — хлопнул себя по коленкам Илья и жиденько засмеялся. — Какое тут подполье!

— Ну, ты... делай, — внушительно пробасил Карасев.

Илья нехотя подобрал полы шубы, влез в предбанник и, кряхтя, отодрал полусгнившие доски. Карасев взял у Тишки его папку и кивнул головой на предбанник. Тишка нахлобучил шапку покрепче и влез в темноту.

— Выдь отсюда! — звонко крикнул он хозяину, чиркнул спичкой и словно пропал в подполье.

Илья беспрестанно оглядывался, заискивающе покашливал. Акулина, не мигая, смотрела в раскрытую дверцу. Тишка глухо крикнул что-то непонятное, его кудлатая голова показалась над помом, и в тот же момент к ногам Акулины упал тухлявый мешок.

Акулина, торопясь и ворча, развязала мешок, запустила в него обе руки и выпрямилась. В обеих горстях у нее чернели разбухшие, зловеще-липкие пшеничные зерна.

— Хлебушко! — с отчаянием прошептала Акулина, протягивая дрожащие руки. — Хлебушко, жи-тушко...

В улице, верно, слышали собачий

вой и голоса: по тропке к баньке, толкая друг друга, бежали бабы.

Тишка выбрасывал и выбрасывал заплесневевшие мешки с пшеницей. Акулина обернулась к бабам. На сухом, скорбно вытянутом лице ее обильно блестели слезы, из сжатых кулаков сыпалась на снег зловонная труха.

— Стной-ил! Жи-тушко! Иродова душа! — закричала она, кривя губы и задыхаясь. — Сама видала... по осени... ночью хлебом забивал подполье... все думала — скажу... сиротам моим!..

Все знали, как билась с хлебом одинокая детная Акулина. Потому толпа сумрачно молчала, заглядывая в темную дверцу.

Илья стоял без шапки, грузно опираясь на метлу. Сухие прутья у метлы хрустнули, подломившись. Илья вдруг упал на колени. Маленькая длинноносая жена его продралась сквозь толпу, нахлобучила ему шапку. Потом она кинулась к Карасеву и, не достав ему до плеча, умоляюще, обеими пятернями зацарапала по его полушубку. Карасев оттолкнул ее.

— Собирайся! — крикнул он хозяину и обернулся к толпе. — Значит, сынов наших в Красной армии гнилым хлебом должны мы кормить, а рабочих в городе, бедняков в деревне тухлятью?

Петр Гончаров медленно ощупал мешки, потом глянул на Курылева своими маленькими, слезящимися глазами и тихим, вздрагивающим от ненависти голосом произнес:

— В каждом зернушке пот крестьянский. Только в твоём-то зерне — чужой пот, вот и не жалеешь ты его, сука!

Авдотью оттерли назад, она постояла, послушала Карасева, послушала бабий плачущий крик и медленно зашагала прочь.

Поднялась поземка. Авдотья закрыла рот своей толстой шалью, засунула руки в рукава и неожиданно для себя повернула на Карабачовку, к Дуньке.

Леска был дома. Он сидел в переднем углу с Дорофеем Дегтевым, бывшим прасолом, разбогатевшим от кабальных сделок во время голода. До-

рофей и Леска перебрасывались тихими, скупыми, загадочными словами.

Когда Авдотья вошла, Дунька схватила пестрое одеяльце и побежала в переднюю избу к ребенку. Пробегая, она успела прошептать: «Повадился, чорт, морда!». Авдотья поняла, что ругательство относится к Дегтеву.

Она присела на лавке у порога. Дегтев глянул на нее горящими, ястребиными глазами и, уронив на стол тяжелый кулак, сказал насмешливо и внушительно:

— Ну, что же, посею нынче пшенички только для себя. Поглядим, как Россия без нашего зажиточного хлеба праздновать будет.

Авдотье вдруг вспомнилась упрямая, ненавидящая Акулина. Глядя в черное, словно опаленное, лицо Дегтева, она подумала: «Злобы-то, злобы-то сколько» — и распахнула шаль, почувствовав внезапную слабость во всем теле.

Дунька не вышла к Авдотье и не позвала ее к себе. Авдотья простилась с мужиками; они не ответили на ее поклон, и она ушла.

Домой она вернулась затемно. Изба показалась ей особенно пустой и сиротливой. Она сбросила шубу, достала из печи остывшую кашу и принялась есть, бережно собирая в горсть крупинки.

Она думала о своей жизни. В ее разоренном дворе никогда не ржала лошадь. Она никогда не держала в руках тяжелые, как медь, мешки собственного зерна и не выгоняла в стадо свою корову. А как, должно быть, хорошо в сумерках доить свою корову, слушая сытный звон молочных струй!

Авдотья вспоминала также коммуны, развалившуюся в голодный год, вспоминала суровую и дружную работу, песни, ссоры, белоголовых ребятишек. День за днем перебрала она всю свою долгую жизнь. Выходило так, что только в коммуне и промелькнуло ее короткое счастье.

Сквозь трудные мысли и сомнения в ней пробивалась скрытая надежда: «Вот придет Николая, заживем своим хозяйством, буду внуков нянчить». Она даже придумала первые печаль-

ные слова в письме к сыну: «Не перо пишет, не чернилица, пишет горяча слеза. Жду тебя, родимый Николая, не дожуся, как желтый лист — осеннего ветра. Пуста моя жизнь, пуста моя старость...».

3

Петр Васильевич Скворец принадлежал к многочисленной семье Гончаровых, исконных утевских жителей, «садчиков», как называли здесь основателей деревни. Гончаровы были все малорослые, слабосильные мужики, и на Большой улице, а также в Карабановке считались никудышными хозяевами. «Скворцами» их прозвали потому, что в кулачных боях они вставали в передние ряды и дрались особенно задиристо и упрямо.

Осенью 1929 года Петра Гончарова выбрали председателем только-что организованного утевского колхоза. В колхоз вошли тогда три вдовушки и несколько небогатых, недавно поженившихся мужиков, не успевших еще обзавестись хозяйством. Крепкие хозяева насмешливо окрестили колхоз «Вдовой долей» и отнеслись к нему со спокойным и осуждающим любопытством: колхозники были бедны, на поле еще не выходили, а председатель их, робкий Скворец, ни в какое сравнение не мог идти с председателем местного ТОЗ'а Прокопием Пронькиным. У Прокопия и усмешка была скрытная, и походка строгая, и во всем его широкоплечем и ладном теле чувствовалась молодая, но уже устоявшаяся сила. Пронькинский ТОЗ владел доброй землей, хорошими машинами и справными лошадьми. Половина Утевки ходила в смиренных должниках ТОЗ'у и почтительно относилась к Прокопию. Но зимою, когда в избах взволнованно заговорили о коллективизации, когда в деревнях, один за другим, стали возникать колхозы, Скворец, как председатель первого в районе колхоза, неожиданно стал заглавным чело- веком в Утевке. Сам Прокопий обходительно начал заговаривать с Гончаровым. Он предлагал председателю тозовскую помощь машинами и тяглом, но Скворец хмуро отмалчивался, и Проко-

пий — это все видели — мертвец от обиды и заметно начинал тревожиться.

Над «Вдовой долей» перестали по смеиваться, а в разгар зимы в колхоз вошло немало справных хозяев. Мужики отводили коров на общий двор, а жены их воили у пустых сараев. Рыбак Казара трижды уводил коров на колхозный двор, а вечерами водворял их обратно в свой плетневый сарай. Авдотья удивлялась злобному блеску его маленьких темных глаз. Однажды Казара с горечью признался Авдотье:

— Под начало к Петру обидно идти. Ведь не хозяин он, Скворец!

После того, как Казара окончательно увел коров на колхозный двор, он распахнул свои ворота настежь и запил горькую. Двор его быстро занесло снегом, и самые столбы утонули в сугробах, как будто хозяева съехали отсюда на дальнюю сторону.

Вслед за Казарой распахнула двор Семихватиха, потом Хвощ. Бабы, проходя мимо, с суеверным страхом заглядывали в пустые дворы и шептали что-то жалостное. Авдотья слышала, как комсомолец Тишка, остановив Хвоща, заставил его закрыть ворота. При этом Тишка сумрачно буркнул:

— Не разводи агитацию!

Авдотья уважительно и твердо запомнила незнакомое слово, долго думала над ним, но так и не поняла его смысла...

...Как-то перед вечером Авдотье стукнули в окно. К стеклу приникло широкое волосатое лицо исполнителя сельсовета.

— На собрание! — крикнул он тонким, промерзшим голосом и прошел дальше.

Авдотья вздрогнула, уронила веретено и, шаря по пыльному полу, подумала: «Запутался дед!». Ее никогда не звали на собрания.

Она нашла веретено, снова уселась на лавку, тронула колесо; прялка монотонно запела. Но нитка почему-то рвалась, и Авдотья то-и-дело намусливала и скручивала концы. «Темно прять-то» — нерешительно подумала она и заглянула в окно. Тени между сугробами и навозная дорога зияли черными провала-

ми, вечер опустился на деревню, улица была пуста и молчалива. «На собрание все ушли» — забеспокоилась Авдотья. Она отодвинула прялку, встала, быстро накинула шубу, шаль и вышла.

Издали она увидела высокий, четкий силуэт церкви и рядом — светлые окна школы. Авдотья сначала стыдливо прошла мимо, вернулась, заглянула в окно, подмерзшее снизу, и поднялась на крыльцо. Она быстро огляделась, — ей казалось, что из темноты кто-то неогступно следит за ней, — и потянула тяжелую скобу.

Собрание шло в одном из классов, двери которого были широко раскрыты. Авдотья скользнула по пустому, теплому коридору и притаилась в тени, за дверью. По густому неясному ворчанию, по жаркому шопоту и кашлю можно было догадаться, что собрание идет многолюдное и разгоряченное. К удивленью своему, Авдотья услышала молодой и ясный женский голос. Она вышла из тени. Просторный класс был плотно набит людьми, — они сидели за партами, на полу, рядом стояли у стен. Авдотья высмотрела свободный уголок у печи и с трудом пробилась туда.

В президиуме шептались, тесно приклонив головы. Говорила молоденькая девушка в оленьей седой дошке. Дошка то-и-дело сползала с худенького плеча, тогда девушка как-то по-птичьи встряхивалась, и дошка вставала горбом за ее спиной.

— Мы, советские землеустроители, опрокинем старую, столыпинскую практику землеустройства, — говорила она быстро и с устрашающей отчетливостью, глядя на собрание серыми серьезными глазами. — Возьмем, например, вашу утевскую землю. Глядите, вот она.

Девушка, взмахнув волосами, обернулась к классной доске. На белом листе бумаги были нарисованы разорванные, темные пятна и неровные кляксы, — только в середине и еще по краям листа чернели сплошные, почти правильные квадраты.

Это была схема утевского землепользования — солонцоватая, скудная земля, раскромсанная единоличными хозяевами.

— Вот ваша земля, — повторила девушка, укоризненно тыча карандашом в пестрядь рисунка.

Собрание, казалось, слушало ее с непроницаемым равнодушием. Мужики, развалясь на партах, лениво поглядывали на бумагу, и, может быть, в первый момент никому и в голову не пришло, что эти пятна и кружочки и есть их собственные осьминники и десятины, ныне лежащие под глубоким снегом.

— Вре-ошь! — прошептал только один остролицый мужик в лисьей шапке и невольно взглянул на свой огромный подшитый валенок, который, пожалуй, ни за что не уместился бы на всем чертеже.

Девушка обвела карандашом черные массивы по краям листа и живо обернулась к собранию.

— А это — хуторские земли, — сказала она быстрым и звонким своим голосом. — Старики помнят: плодородные, жирные земли были отрезаны хуторам — Завидовке, Ягодному, Орловке. Хуторская земля встала в самом горле у деревни. Это и есть столыпинская система отрубов...

— В аккурат — отруба, — довольно сказала худая, большеротая женщина. Она вытянула длинную шею, жадно выглядывая то на карту, то на девушку. Тяжелая шаль упала ей на плечи.

— Ну, а это чья земля? — девушка указала на срединный массив, как бы втянувший в себя все мелкие точки и полоски. — Это — земля вашего ТОЗа, у Красного Яра и до самых берегов Тока. Отличная земля, граждане! — Острие карандаша неожиданно с треском распорол бумагу. — Теперь эта земля отойдет утескому колхозу. Сюда же вольются и многие мелкие участки единоличного владения, а всего, значит, восемьсот га. Массив у колхоза должен быть сплошной и близ села. Заливные луга у Тока мы тоже отрежем колхозу...

— Погоди, кто это — мы? — спросил из дальнего угла чей-то сиплый, задыхающийся голос.

Девушка вскинула голову; ее легкие волосы разлетелись.

— Мы с вами: общество, — с легким недоумением сказала она. — Советская власть.

Вслед за этими словами наступила такая тишина, что девушка услышала свое прерывистое дыхание и нервно повела плечами.

В ту же минуту за партией поднялся мужик в лисьей шапке.

— А если я там, у Красного Яра, зябь поднял? Значит, моя зябь... пропадай?..

Он побледнел от общего грозного внимания и безнадежно махнул рукой. В его тихом голосе, однако, клокотала такая скрытая боль и злоба, что многие подняли головы и насторожились.

Мужик вдруг выпрыгнул из-за парты, сорвал с себя шапку, шмякнул ее об пол и обеими руками судорожно развел свой полушубок, сорвав заодно единственную пуговицу с холстинного ворота рубахи. Он теперь глядел на девушку так пристально, что та невольно сделала шаг назад и подняла голову.

Мужик неразборчиво что-то лопотал, тряся жиденькой бородкой, потом крикнул натужным, почти бабьим, голосом:

— Отдай мне твою-то шубу! Ишь, надела! Вот тогда мы с тобой наравнях будем... Слышь?

Он повернулся всем телом к собранию, и все увидели его голую, выпуклую, желтую мужицкую грудь, трясущуюся бороду и взбешенные глаза. Кто-то из баб взвизгнул не то с испуга, не то от удивленья, и все закричали сразу, повскакали с парт:

— Самоуправство! Граждане! Мужики!

— Прощайся с землицей, родимые!
— Тозовская земля, не имеешь права!

— Тоже — товариство!

— Надела шубу-то!

— Ты, барышня, пахала нашу-то землю?

— До тебя тыщу лет землей распоряжались, не плакали!

— Колхозу — сочные земли! Правильно!

— А какая одноличнику будет земля? Одноличнику?

— Да тут пьяным напиться надо!

Около Авдотьи схватились два мужика. Оба поднялись с одной парты и орала друг другу в лицо:

— Пишишь в колхоз, вот тебе и земля!

— У меня подпруга еще не лопнула!

— Кулацкая ты портянка, на грех наводишь, Дегтев тобой подтерся!

— Э-эх, ты, а отец еще! И то говорят: в рыжих правды нету!

Авдотья стиснула руки на груди и слушала, сдерживая дыхание. От волнения она никак не могла узнать мужиков и только видела: у одного рыжая борода, у другого — темная, редкая.

— Легше! — крикнул, вставая над партами, председатель сельсовета Карасев. — Слово гражданину Пронькину.

Прокопий протиснулся к столу и с достоинством откашлялся. В классе стихло.

— Спрошу вас, я извиняюсь, — со спокойной ласковостью обратился он к девушке. — Когда делить землю будете? По весне?

— Нет. По снегу размежуем, — отчетливо ответила девушка.

— Вот тебе! — со злобным удивлением фистулой выпалил Леска.

Собрание заворчал, задвигалось, кто-то несмело засмеялся. Прокопий приметно побледнел и провел дрожащей рукой по щеке.

— Товариство наше никому не мешало, — все так же вкрадчиво начал он, но голос его сломился в неожиданной хрипотце. — Коллективом три года работаем. В землю навозу столько вбили и поту немало пролили. Теперь зачем же у нас законный наш участок отбирать? И луга тоже? Иль земля на нас клином сошлась? Мы, может, самые первые коллективисты. И бедняки у нас в ТОЗ'е тоже имеются...

Во втором ряду, прямо перед Прокопием, медленно привстала высокая, тощая женщина. Это была колхозница, детная и несчастливая вдовушка Акулина. Белесое лицо ее испуганно порозовело, она что-то пробормотала и даже вымахнула тонкой рукой в выцветшем рукаве. Прокопий остановился и вопрошительно на нее взглянул. Со всех сто-

рон повернулись к ней головы. Тогда она резко выпрямилась и, морщась, словно от боли, тихо и внятно сказала Прокопию:

— А как я к тебе на святки пришла мучки в долг попросить, — ты чего сказал? Я говорю — ребята помрут, а ты чего ответил? «Нищих меньше будет!». Вот они где у вас, бедняки-то!

Она стиснула худой кулак, с неожиданным иступлением потрясла им перед Прокопием и, запаленно дыша, опустила на парту.

— Ве-ерно! — отчаянно крикнул сзади высокий бабий голос.

— Молчи, бабы! — недовольно пробасил бывший староста.

Карасев постучал по столу:

— Легше!

Авдотья удивленно смотрела в простоволосый острый затылок Акулины, потом перевела глаза на смелое темнобровое лицо девушки-землеустроителя. «Молоденькая, — думала она, — молоденькая, а какую тяготу на себя взяла! Не послушают ее, поди».

Она давно приглядывалась к приезжему человеку, который сидел в президиуме рядом с Карасевым. Приезжий что-то торопливо записывал, склоняясь над белым листом. Светловолосый его затылок с непослушным вихром и широкие, слегка сведенные плечи казались Авдотье знакомыми. Когда он, наконец, поднял голову, Авдотья едва не вскрикнула: это был Дубовицкий, Ваня Дуб, старый партийный секретарь, у которого в двадцатом году бандиты под Игнашкиным зарубили невесту.

Он похудел, рот у него стал жестким, глаза словно потемнели. Он был на голову выше всех и глядел на собрание спокойно и пристально.

Весь первый ряд занимала многочисленная семья бывшего старосты. Старик, седые кудри у которого пожелтели, как древняя кость, едва втиснул свое могучее тело в парту. По ту и другую сторону сидели трое его сыновей — все широкоплечие, смиренные, большеглазые. Глаза у старостинных сынов были особенные — цыганские, черные, с желтоватым белком, в дремучих ресницах. Утевские девки побаивались моло-

дых этих мужиков, — болтали, что они могут приколдовать.

Староста недавно отделил всех своих сынов. Утевцы хорошо знали, что старик схитрил и попрежнему держит всю семью на крепких вожжах. И все-таки богатое его хозяйство никак нельзя было подвести под кулацкое: разделенное на четыре части, оно едва-едва обозначалось середняцким, а в работниках староста никогда не нуждался, семья его, с сыновьями, снохами и внуками, доходила до пятнадцати душ.

Левон сумел протащить всех своих сынов сквозь голод и войны. Старший вернулся из окопов невредимым, младший был еще мал, среднего же старик откупил взятками.

Все это знал Иван Дубовицкий. Он разглядывал семью старосты с хмурым любопытством. Он понимал, что перед ним, лицом к лицу, сидел крепкий, хитрый, упрямый единоличник, о котором в Утевке говорили с лютой завистью:

— Своим домом живет человек, никакой колхоз ему нипочем. Свой умок — скопидомок.

Староста, видимо, дремал. Но, когда Иван внезапно оглянулся на него, старик жестко усмехнулся, и Дубовицкий увидел, что глаза у него были глубоко запавшие, выцветшие и острые...

«Одного из сынов надо оторвать от корня, тогда у Левона все рухнет» — подумал Иван, всматриваясь в младшего, худого и строгого парня.

Тишина, вдруг повисшая в комнате, заставила Ивана поднять голову. Говорил Карасев — своим резким, крикливым голосом, отрубая каждое слово решительным движением ладони.

— Здесь есть шептание, граждане. В чем дело? Желаете против постановления правительства советской власти итти? Сказано: отдать колхозам массивы самой лучшей земли. Понятно? Я говорю, граждане. Кто — за?

Собрание мертво молчало. Кое-где вздернулись руки и вяло сникли.

— Кто — против? — грозно крикнул Карасев.

Теперь не поднялось ни одной руки. Староста живо повернулся всем те-

лом к собранию, шея его и затылок налились багровой кровью.

— Подожди, — быстро и громко сказал Иван. — Прения еще не кончены. Я прошу слова.

Собрание замолкло плотно и, сторожко. Сзади вскочил кто-то из мужиков, но тотчас же снова нырнул вниз, — должно быть, его дернули за полу.

— Товарищ Акулина Никашорова совершенно правильно сказала, вы слышали. ТОЗ ваш — кулацкий ТОЗ. Чего вы о нем хлопочете? — спокойно и рассудительно сказал Иван.

Он видел, как Прокопий Пронькин выронил горячую цыгарку и грузно шагнул к двери, подняв одно плечо и словно ожидая удара.

Острый, пронзительный шопот рассек толпу — от первых рядов и до порога — и смолк.

Иван слабо усмехнулся:

— Что же это, товарищи? В своем хозяйстве каждому грошу счет ведете, а здесь не сумели сосчитать, каковы барыши в ТОЗ'е и, главное, кому в карман они текут. Поди, все в долгу перед ТОЗ'ом ходите?

Ему снова никто не ответил, и он успел только заметить, как некоторые быстро переглянулись и отвели глаза.

Тогда Иван высмотрел в третьем ряду мелкого, вертявого мужика, по прозвищу «Ивлик», и окликнул его:

— Степан Иваныч!

Ивлик испуганно оглянулся, — его давно никто не называл Степаном Иванычем, — и вскочил, теребя шапку.

— Степан Иваныч, скажи, много ль тебе от ТОЗ'а пользы вышло? С одной-то клячонкой, без плуга, без машин?

На Ивлике висел враспашку заплаканный полубубок, лицо и шея были испещрены обветренными морщинами, глаза испуганно слезились.

— А в колхозе и ту клячонку отберут! — вдруг визгливо крикнул он и высоко задрал белесые бровки.

— И то! — одобрительно крикнул староста.

— Говори, Ивлик!

— Молчи, горемышный! — звонко, со слезами прошептала Ивлику его бледная широколицая жена.

— Горемышный ты и есть, Степан, — серьезно и с сожалением сказал Иван. — От самого себя терпишь, по глупости против колхоза идешь. Кулаки тебя научили, вот и кричишь. Все знают, как им за машины отработывал своим горбом, в пот всю семью вогнал. Как за пуд ржи в страду по три дня отжидал...

— Да это хоть и правда, — несмело сказал бывший коммунар Дилиган.

Иван тотчас же обратился к самому Дилигану: мужику перевалило на пятый десяток, стал уж он сесть с бороды, а до сего дня, словно молодой и бездомный парень, пашет свою полоску в долг, на чужих лошадях, чужим плугом...

Дилиган шумно вздыхал и поглядывал на соседей своими маленькими, виноватыми глазками.

А Иван уже показывал на Павла Васильевича Гончарова: у этого выросли три добрых сына, семья работающая, строгая, а каждыми святками бежит человек занять хлеба у тех же богатеньких. И до сего часа дразнят старика — Скворцом.

Мариша, вдова расстрелянного дружинника Кузьмы Бахарева, так и не покрыла крышею свою избу.

Иван называл и называл имена бедняков. Люди смущенно оглядывались, опускали головы. Вокруг них тотчас же кольцом закипал взволнованный шум.

— От этого никуда не уйдешь, — шептали бабы, опасливо косясь на Ивана. — Он всех нас, как окаянных, знает, не разжалобишь.

Иван между тем разглядел косоглазое воспаленное лицо Лески-садовода и набросился на него:

— Ты, Александр, был красным дружинником и прятался на чердаке от карателей. Теперь ты — середняк, собственник. У тебя, выходит, две души: одна на пороге колхоза...

— Не имеешь права! — Леска вскочил и потерянно замахал смуглыми кулаками. — Я свою кровью за добро

заплатил! До моей жизни не касайся, это тебе не пройдет, Дуб!

— Легше!

— С чужого голоса поешь! — вставил сильный и внятный женский голос.

Иван пристально взглянул в лицо Авдотьи, — это была она, — и не узнал ее. Ему показалось, что у печки стоит моложавая незнакомая женщина.

— Не кричи, Александр. Ты не один живешь в Утевке. Общее собрание постановило — писаться в колхоз, и ты мимо этого не пройдешь. Ты и сам скоро поймешь, что иного пути у тебя нет. Мы добьемся того, что у нас скоро не будет ни одного единоличника. А кто будет злостно мешать — того с дороги сбросим.

— Это куда же? — медленно и веско спросил староста.

— В прохладные места, — отчетливо ответил Иван. — Кулацкая горячка там остынет.

Шопот из конца в конец пробежал по комнате и стих.

Иван закончил свое слово, сел и подтолкнул Карасева, — тот должен был рассказать план колхозного сева. Но едва Карасев встал и крикнул по привычке: «Легше!», как от печки отделилась сухая и черная фигура женщины.

— Мне пятьдесят шесть лет, и я могу сказать, — порывисто произнесла она, вздохнула и вскинула голову. Все увидели и узнали Авдотью Нужду.

Собрание насмешливо заворчал, из угла кто-то принялся выкрикивать тонким, злобным голосом, — от возбуждения Авдотья не разобрала ни слова.

Она шагнула вперед, прямо в табачный дым, в шум, в сумятицу и властно крикнула в толпу своим грудным, звенящим голосом:

— Неужели от всей-то вдовьей моей жизни, от всего-то голода и холода не могу я сказать?

— Говори, Дуня! — поддержал ее Дилиган высоким, исступленным голосом.

— От веку наша крестьянская жизнь на межах была положена да раскроена. Утопленников на межах хоронили, виллами на межах смертно дрались, дедов наших на межах плеткой крестили. Ме-

жи-то, они на нашем сердце кровью вырезаны.

— То-то и оно! — важно процедил Левон.

Авдотья повернулась к нему всем телом, глаза ее недобро блеснули:

— А по одну-то межу рожь стеной стоит, пальца не просунешь, змея не проползет, а по другую — колос колосу руку тянет. На межах и солнце неравно угревает и дождь неравно падает. Может, я сейчас для народа окаянная буду, а скажу — запахать надо межи!

— Сказошница, чорт! — загудело собрание.

— Бабушка, помирать пора!

— Мои деньки еще остались, — спокойно усмехнулась Авдотья и сложила руки под грудь. Она знала: нет в собраньи ни одного человека, которого не взволновали бы ее слова. Так бывало и после ее воплей и песен. Только там все люди одинаково подчинялись ей в печали или в радости. А здесь — она чувствовала — она посеяла и смятение, и радость, и ненависть. Это удивило и слегка испугало ее.

Молча, закусив губы, смотрела она на людей и, сквозь махорочный дым, поймала несколько удивленных и настороженных взглядов. «Злобы-то, злобы сколько!» — снова подумала она, но уже с какой-то спокойной и бесповоротной уверенностью. Она прислонилась к печке, голова у нее кружилась от слабости: «Ноженьки мои подсекаются» — жалостно подумала она о себе и, решительно раздвинув толпу, пошла к порогу.

4

Дилиган вернулся с собрания глубокой ночью, усталый, ошеломленный. Ощупью он зажег лампешку, забросил шубу на печь, тяжело опустился на скамью и задумался, глядя на слабый огонек своими заросшими, маленькими и печальными глазками.

Да, он одинок, убога его старость. В огромном и темном мире где-то затерялась малая доля его, дилиганова, счастья. Да ведь он никогда и не ждал его, счастья-то, не гнался за ним, не роптал, не плакал. Дунька выросла у

него синеглазая, веселая, вся в мать, — а вышла за Леску и сникла, посуровела. Разве не похожа она теперь на утесских баб, смирных, горьких, одноликих? Жестки руки у Лески: Дунька боится протянуть отцу кусок хлеба. Но ведь Дилиган и здесь смолчал, вытерпел: весной он вышел на свою полоску снова один, как в давний год, после смерти молодой жены... Только с висков вдруг побелел да согнулись широкие, костистые плечи.

Ныне, думал он, надлежало ему терпеливо и молча дотянуть одинокую старость до тихого конца. Стоит ли теперь, на шестом десятке, на краю жизни, искать свою долю?..

Дилиган поднял голову: он услышал во дворе, потом в сених чьи-то неторопливые шаги. Дверь открылась, и на пороге встала закутанная Авдотья.

— Вижу, огонек, — глухо, сквозь шаль, сказала она. — Не спишь, значит.

Она сняла шаль и, простоволосая, большеглазая, стройная, предстала перед Дилиганом, как живое напоминание о далекой его молодости, о малой сиротке Дуньке, о коммуне...

— Проходи-ка, Дуня, — порывисто проговорил он и чуть было не прибавил: «желанная гостья», да застеснялся, смолк и опустил встрепанную голову.

Авдотья неслышно прошла по избе и присела на скамью.

— Думаешь? — ласково спросила она, словно догадываясь о его печали. — А помнишь, как мы с тобой жали рожь? Прошлым летом?

Это был памятный, единственный год, когда Авдотья решила «покушать своего хлебушка» и засеяла собственный осьминник, войдя в неоплатные долги за пахоту, за семена, за бороньбу...

В жаркий летний день, когда белая от цветущего ковыля степь, казалось, кипела под прямыми лучами солнца, Авдотья вышла жать свою полоску. Она сразу же облилась потом, ноги у нее дрожали, светлое золото ржаной соломой беспамятно металось в глазах, поясница ныла и отнималась. Сложив первый крест, она пошла за лесок, на соседнюю полоску к Дилигану.

— Один? — спросила она его, сипло дыша.

— Один. — Он усмехнулся и махнул рукой. — У них свое хозяйство.

Он говорил о зяте. Авдотья взглянула на Дилигана снизу вверх. Он стоял перед ней, высокий, слегка согбенный, и беспокойно шевелил длинными руками. Впалые щеки его заросли редкой седоватой бородкой.

— Бобыли мы с тобой, — пробормотала Авдотья.

Вокруг них покачивалась и звенела спелая рожь.

— Давай, пожнись с тобой! — Авдотья оправила платок, склонилась и захватила полную горсть колосьев.

— Ну, ладно, а я тебе помогу, — откликнулся Дилиган и застенчиво потрогал пальцем зубрины серпа...

... Перед обоими прошло теперь это воспоминание, наполненное горечью.

— В коммуне-то у нас и труд и хлеб по-братски делили, — прошептала вдруг Авдотья с обидой.

— В коммуне-то... — задумчиво протянул Дилиган.

— Зачти-ка мне, Иван, коммунскую книжку, — торопливо и с нетерпением сказала Авдотья и даже потянула Дилигана за рукав, — где про человека писано. Не помнишь, что ли?

Иван удивленно поднял густые свои брови, потом молча кивнул и взгромоздился на лавку. Он пошарил на божнице, сдул пыль с желтой книжонки, уселся, склонился к лампе и начал читать медленно и по-ученически старательно:

— «Коммуна является средством уничтожения всяческой эксплуатации человека человеком...».

— Погоди, — резко и со страстностью перебила его Авдотья. — Человека человеком... — горестно повторила она. — Человек человеком унижен.

Она даже встала и зябко подняла плечи.

Внезапно в окно дробно застучали.

Во дворе послышались голоса, глухие на морозе, дверь в сенях закрипела. Белые клубы холодного пара заволокли избу. Огонек в лампешке метнулся и посинел. Авдотья отступила на шаг и села на скамью. Иван растерянно за-

крыл книжку пятерней. Потом спохватился и сунул ее за пазуху.

— Вот она где, Авдотья-то Логунова, — весело и басовито сказал Дубовицкий. — Здравствуй, тетя Дуня! Думаешь, забыл?

— Здравствуешь, — скупое отозвалась Авдотья. — Городские-то забывчивы.

С Иваном пришли молоденькая девушка-землеустроитель, Карасев и Петр Васильевич. Все уселись на лавке, только Петр Васильевич встал и прислонился к косяку окна. Он то-и-дело обтирал маленькой, круглой ладошкой обмерзшие усы.

Авдотья заволновалась, услышав, что все эти люди долго искали ее среди ночи. Словно сквозь сон, она слышала, как Дуб строго выговаривал Карасеву за то, что тот не звал Авдотью на собрания бедноты. Иван вспомнил и плач Авдотьи над Кузьмой, и ее песню на свадьбе сына.

— Понимать надо: у нее золотые слова всегда в припасе. Ведь это — агитатор!

Авдотья очнулась, выпрямилась и взглянула на Карасева своими синими застенчивыми глазами.

— Слово да песня мне от роду дачены. Слово слово родит, третье само бежит, — строго и с достоинством сказала она.

Девушка в распахнутой дошке подвинулась к Авдотье, разглядывая ее с откровенным и жадным любопытством.

— Как это у вас выходит? И голос такой... А вы не поете?

Авдотья повернулась к ней, помолчала. Лицо у девушки было розовое, широконюкое, губы по-детски сочны и влажны, но в серых глазах, в морщинке над переносьем и особенно в резко очерченных скулах проглядывала уже взрослая суровость.

— Надолго ли к нам пожаловала?

— Завтра уеду на хутор Капусткин, оттуда работу на земле начнем.

— А-а! Молода ты, дочка,—Авдотья мягко покачала головой. — Плечики твои тяжело не носили. Всей нашей горькой жизни не знаешь. Ты для них

словно воробушек: чиликаешь, а толку нет. Надо каждому судьбу его рассказать, носом ткнуть...

— Вот, вот, — нерешительно встал Карасев. Он беспокойно толкся у скамьи, уважительная улыбка бродила по его круглому, сонному лицу.

Дилиган сидел неподвижно над мигающей лампешкой, прижав широкую ладонь к груди: он еще не понимал, к чему клонят гости.

— А ну, дай-ка твою книжку, погляжу, — неожиданно повернулся к нему Дуб.

Дилиган робко пошевелил губами, засопел и смятенно полез за пазуху.

— А-а, — серьезно, изменившимся голосом протянул Дуб, разглядывая тощую, выцветшую брошюрку.

— Значит, живет она в вас, коммуна-то, — добавил он медлительно, словно преодолевая мгновенную, тяжкую задумчивость.

— Ты как же, Ваня, женился, или бобылем живешь? — глуховато спросила Авдотья.

Дуб встряхнул головой; упрямая прядь волос поднялась у него на затылке.

— Женился.

Общее молчание ощутимо пролетело по избе. Карасев и девушка недоуменно переглянулись.

— Вот, ведь, в коммуне-то, — тихо сказал Дилиган и двумя пальцами смахнул пот со лба. — Вот ведь не вышло. Пытали и не вышло... Сколь годов прошло!

— Сам знаешь: сухой поля дотла пожег, вот и упала коммуна. Да тогда — другое было дело, Иван. — Дуб неясно улынулся и кашлянул, прочищая голос. — Помнишь, о тракторе с тобой мечтали? А теперь, слушай-ка, сто тысяч тракторов-то уже готовят. А? И войны кончили. Посмотрел бы, какие заводы в стране поднимаются... А к коммунам мы еще вернемся. Будем богатые, Иван, и вернемся...

— Трактор! Ишь ты, машина... — мечтательно усмехнулся Дилиган. — Взглянуть бы на него — и помирать можно.

— Зачем помирать? — засмеялся

Дуб. — Тут ты как-раз и начнешь жить!

— Отжили, отгоревались, — одними губами прошептал Дилиган.

Тогда Дуб властно положил на стол белые тяжелые кулаки и принялся говорить.

Перед Авдотьей, двор за двором, улица за улицей, возникла родная деревня. Только это была какая-то новая, невиданная Утевка: вся она, от края до края, билась в смертной схватке. Дегтев, старая жила, разводит кулацкую агитацию, у Казары, у Хвоща, у Лески кипит жадная подкулацкая душа, — вот почему они распахнули ворота и пьянствуют напрапалу. Кулаки рассовывают свое добро по темным людям, по родственникам и потом объявляют «самораскулачивание». Кулаки пустили злобные слухи о войне, о том, что тракторы газами портят землю, о десятикопечных пайках в колхозе...

Иван остановился и глянул прямо в широко раскрытые глаза Авдотьи.

— Драться надо, Авдотья Егорьевна, — сказал он с ударением, плотно стискивая зубы. — Сама знаешь: ты своим словом и утетишь, и на дыбы поставишь, и насмерть засечь можешь. Врага засечь, слышишь? Или у тебя сердца нету на кулаков, на хозяев? Да если за одну твою, да вот за его жизнь, — он показал на сгорбившегося Дилигана, — за всю вашу нужду цену хозяевам назначить, — их и с потрохами нехватит, чтобы заплатить. Ну?

По острому и бледному лицу Авдотьи прошла судорога удивления и гнева.

— Цена большая, — тихо, с трудом сказала она. Тонкие губы ее дрогнули. — Да если маришину жизнь, да Гончаровых всех приложить. Неподъемная цена...

— А ты сумей всех горемышных приложить, — резко перебил ее Дуб. — Со всей страны, от моря до моря...

— Ну, этого я не знаю, — с испугом прошептала Авдотья.

Она надвинула платок на глаза, исподобья, пристально оглядела всех по очереди и остановилась на Петре Васильевиче. Он стоял теперь посредине избы; мелкое его лицо, иссеченное мор-

щинами, пылало, расширенные глаза были неподвижны, а губы дрожали, шевелились, будто он произносил горячую речь, а кругом сидели глухие и не слышали.

«Скворец» — вспомнила Авдотья его родовое прозвище и внезапно подумала: «Обездоленные они все, Гончаровы. От униженной жизни — малый их рост: в корень идут, в землю...».

— Чего делать-то мне прикажешь? — спросила она наконец, удивляясь своему робкому голосу.

— Запишешься сама в колхоз и завтра же пойдешь по бабам, — спокойно ответил Дуб. — Красной свахой у нас будешь, агитатором.

Он озабоченно порылся обеими руками в стареньком, пузатом портфеле и неожиданно склонился к Авдотье, блеснув белыми зубами у самого ее лица.

— Николая твоего нет, — тихо шепнул он ей. — Вот бы кого в председатели! Петр, он хорош, душа у него за дело горит, а — слабоват...

Авдотья вышла из избы Дилигана только под утро. Она остановилась у ворот, огляделась, глубоко вздохнула. Ночные, свинцовые тени отбежали к избам, дорога уже слегка высветлела, на чистом хрустком снегу, на ледяном скрубе колодца дрожали едва видимые, скорее угадываемые, розовые отблески рассвета.

Авдотья была стара, и давно уже ей стало казаться, что в жизни все повторяется, как вечная смена дня и ночи. Не удивляясь и не радуясь, встречала она первые влажные, плодородные запахи весны и равнодушным взглядом провожала последний осенний лист, сухой, пепельно-легкий, гонимый ветром. Повторялись и людские радости, и печали.

И вот сегодняшняя ночь, — Авдотья поняла это с твердостью, — была первой, новой, единственной в ее жизни.

Авдотья засмеялась в шаль и, переполненная радостным удивлением и решимостью, зашагала домой.

5

В голодный год у Мариши померли две младшие девочки. Молча, без слез

она зарыла их на кладбище, прямо в снег, — неудивительна и нестрашна была тогда смерть. В живых остались — Кузька и старшая девочка Дашка.

Одиннадцатилетний Кузька был поразительно мал ростом, но широк в плечах, темноволос, хмуроват. И взгляд у него был отцовский — прямой, пристальный, из-под низких бровей.

Мариша жила бедно, на поденках, вся в долгах, — и Кузьке сызмала пришлось выйти на пашню, на чужие огороды. Этой зимой он нанялся в школу — возить воду из-под горы.

Работал он в людях не по-детски сосредоточенно, брал не силой — где же она у мальчишки! — а быстротой и ловкостью. Усталая мать, случалось, покрикивала на него, а он, к удивлению ее, не обращал на это никакого внимания. Один раз он, однако, сурово и звонко сказал ей:

— Ладно уж ты.

Она так и застыла с ухватом в руке, хотела в сердцах замахнуться на сына, но взглянула на него попристальнее и вдруг ослабела вся и прошептала:

— Иставанный отец: капля в каплю. Оставил Кузьма Иваныч свой следок на белом свете.

Она разжалобилась, поплакала, но так и не приласкала сына: в трудной своей жизни она не удосуживалась ласкать детей, да они к этому и не привыкли.

Дашка долго бегала длинноногой, золотушной девчонкой, но потом как-то сразу выравнялась, налилась в теле, порумяnela. В Кривуше стали потихоньку удивляться на ее строгую, не деревенскую красоту.

— Ишь, в мать вышла: лицом-то выписанная, — говорили ей в глаза старухи и тут же задумывались, может быть, вспоминая маришино зачумленное девичество и два ее горьких замужества.

Молодая Дашка начала погуливать по вечеркам, она была смела в песнях и пляске. Мать поняла, что дочь заневестилась. К этому времени из приданого была кое-как огоревана только одна постель. Мариша необычно строга была с дочерью в эту зиму, ходила подглядывать за ней на вечерки, — долго ль девке до греха? Ее собственная юность давно отшумела, забылась, и теперь Ма-

рише казалось, что строгие ее родители были правы, не признав за ней ее девичьей воли.

Раннею весною, едва зачернели проталыны, Мариша вместе с дочерью началась в батрачки к Дегтеву. От пахоты и до молотбы обе они гнули спины в тяжелой мужицкой работе. Мать старалась не отлучаться от дочери и то-и-дело, поглядывая, нет ли вблизи хозяина, подсказывала к Дашке, чтобы помочь ей, и сердито шипела:

— Не подымай тяжело! Надорвешься, какая будешь невеста. Горе мое!

Осенью обе ушли от хозяина в слезах и злобе. Дегтев, черная душа, так ловко насчитал на них за харчи да за поломанные грабли, что заработанных денег и муки едва-едва должно было хватить на пропитание до пасхи. О приданом нечего было и думать.

Именно этой осенью в куцей, безверхой хате Мариши, словно невзначай, появился ямщик Федор, по прозвищу — Святой. Издавна — от прадедов и до последнего бобыля Федора — Святые держали в Утевке ямщину. По гладкому степному тракту — от Утевки до Араповки — их лихие вороньи тройки распластывались, как птицы, в писаных сбруях, с колокольцами. Были они мужики крепкой породы, все до одного отчаянные озорники и веселые пьяницы, — на козлы садились орлами, строго расправив широкие плечи и выпустив из-под шапки темные кудри в кольцо. Кони у них не знали кнута. Ямщик только слегка шевелил вожжами, а за деревней, в степи, вскрикивал гортанно и диковато — и обе пристяжные враз поднимались в галоп, круто отворачивая головы с блестящей гривой. Святой скорее мог прибить жену, нежели коня. Возвращаясь домой без седока, ямщик, случалось, всю дорогу разговаривал с лошадьми и пел им песни.

Походка у Святых была мелковата, ноги несоразмерно коротки. Они, казалось, рождались ямщиками, и природа щедро награждала их только в корпусе и в плечах, что видны были над козлами.

Последний Святой — бездетный бобыль Федор — до сего дня гонял в го-

род почту на своих дряхлеющих вороньих.

Когда Федор пришел к Марише, она наскоро накинула полушалок и повела разговор, поглядывая на гостя искоса и с опаскою. Однако он был трезв, мешковато мял шапку в руках и покашливал, словно от простуды.

«Либо свататься к Дашке хочет, — подумала Мариша. — Без сватъев, правда, да ведь у Святых так — сроду без броду».

Дашка собиралась на вечерку. Несколько раз она, равнодушно и даже как будто усмехаясь, прошла мимо гостя. На ее худоватых девичьих щеках рдел яркий, как кровь, румянец: значит, опять натерлась красной бумажкой, глупая!

Дашка убежала. Федор так и не сказал ни одного путного слова, — встал, степенно поклонился, а на пороге вдруг устремил на Маришу долгий взгляд. Озорные глаза его блеснули, он тряхнул кудрями и скрылся. Мариша поперхнулась прощальным словом и совсем растерялась.

С того дня Святой зачастил к Марише. К удивлению Мариши, он не глядел на Дашку и даже заметно сердился, когда заставал ее дома. Однажды Мариша поймала на себе пристальный взгляд дочери, молча отвернулась и вспыхнула. Она и сама начинала догадываться, но стыдилась и еще не верила. Вечером она тихонько вытащила из кладки голубую сатиновую кофту, тщательно ее выкатала, обрядилась и, сдвинув брови, долго смотрелась в тусклое, прозеленевшее зеркальце.

Они долго пили чай со Святым, взглядывая друг на друга из-за самовара. Потом Святой встал и от волнения уронил табуретку.

— Красивая ты, Марья! — тихо сказал он и усмехнулся в бороду.

Свет от лампешки падал на его яркие губы. Мариша вдруг заметила, что и борода у него вьется крутым кольцом.

Она тоже встала, слабая от сладкого предчувствия.

— Что ты! Грех! Я двоих деток похоронила да двоих мужей! Дочь — невеста. Стара уж!

Она испуганно оглянулась. Дашки не было, а мальчишка сладко сопел на полатах.

Федор усадил ее и железными ладонями стиснул плечи.

— Эх, Марья! Я мальчишкой был, когда тебя за дохлого Якова отдавали, — и то кричал в голос...

Мариша поплакала несколько ночей, попричитала. Федор ходил неотступно — был ей мил. Она точно знала: от улицы ничего не скроешь. Но पुще всего стыдилась она Дашки. Девушка все видела, все понимала, но не говорила матери ни слова.

Она как будто и не осуждала мать, и не смеялась над ней, а просто оставалась спокойной, как будто ничего не произошло.

Мариша и раньше часто не понимала дочери и смотрела на нее со страхом, а иногда и с грустью. Девуцы ныне были смелы и самостоятельны, сами выбирали мужей, на свадьбах пели городские непротяжные песни, на святках не рядились и не гадали. С обидой Мариша думала, что Дашка, верно, на свадьбе не упадет матери в ноги и уж никак не будет травиться спичками.

Мало-помалу Мариша поняла, что любит, ждет, ревнует Федора. Сам Федор держался со спокойной уверенностью, словно он был ее мужем. Он поправил у Мариши плетень, завалинку и по первопутку привез дров из лесу. В зиму Федор нанялся извозничать, пропадал в городе неделями и являлся с гостинцами и деньгами. Мариша задрожала и заплакала, когда он в первый раз сунул ей в руку новенькие бумажки.

— Молчи, — тихо сказал он и наклонил к ней багровое лицо, иссеченное морозным ветром. — Мне любо на тебя работать.

«Дашке кисею куплю, под венцом накрою, — со скрытным ликованием подумала тогда Мариша. — Для Дашки, для дочки, на все решусь» — утешала она себя, видя, как кривушинские бабы начинают косо взглядывать на нее. На посиделках, у колодца, на собраниях они старались незаметно оттереть ее плечами и, словно невзначай, больно толкнуть локтем. Однако Марише, к ее уди-

влению, не бывало от того ни страшно, ни стыдно.

Необыкновенно легкую силу и уверенность стала она чувствовать во всем теле. Оставшись одна в избе, она иногда начинала петь и беспричинно смеяться. Седую прядь волос на правом виске, пробившуюся в год гибели Кузьмы, она тщательно подбирала и закалывала скрученной шпилькой. Ей захотелось как-то взглянуть на себя в большое зеркало, которое, она знала, стояло в комнате у старой учительницы. Она достала со дна кладки красные бусы, дважды обернула их вокруг шеи и побежала на Карabanовку, в школу.

Она попросила свежих дрожжей и, когда учительница отправилась в сени, бросилась к зеркалу, несмело распахнула ворот полушубка и сдвинула шаль на спину. Бусы, яркие, как незрелая вишня, румяные щеки, блестящие глаза, а над ними темные, писанные брови так напомнили Марише ее самое, молодую плясунью и певичу, что она удивленно застонала.

— Вот и дрожжец тебе, — не сразу сказала учительница, войдя в комнату.

Мариша вздрогнула и, лохматя волосы, снова низко натянула шаль.

— Вся щека в саже, — звенящим голосом произнесла она и взяла из рук учительницы деревянную плошку, в которой пенились хмельные дрожжи. — Хороши дрожжи-то, пьяные. Спасибо.

Учительница заметила, что глаза у Мариши полны слез, но ничего не успела спросить, — Мариша поклонилась и торопливо вышла.

Первые две-три избы Мариша прошла, как в тумане, держа плошку на стелете. Потом привычное спокойствие и уверенность овладели ею, она усмехнулась и зашагала решительнее. Казалось, она теперь никому не верила, кроме себя, и никого не боялась.

И все-таки, когда однажды утром она увидела в своем дворе Авдотью, — сердце у нее упало. Они не встречались очень давно, с лета. Мариша удивилась и оробела до того, что сунула в печь ухват черенком вперед. «Знает или не знает? — подумала она. — Знает, корить меня будет». Она едва не уронила

на неровном полу горшок с кашей, поставила ухват в угол и порывисто вздохнула: голова и плечи у нее сразу налились свинцом.

— Здравствуешь, Марья, — тихо сказала с порога Авдотья.

И Мариша сразу засуетилась, забежала по избе: усадила Авдотью в передний угол, смахнула ладошкой крохи со стола, прикрикнула на Кузьку. Тот молча накинул полушубок и ушел.

— Сядь, — внятно и словно с упреком проговорила Авдотья.

Мариша послушно села и наконец решилась прямо, открыто взглянуть на Авдотью.

Сухое, чистое лицо Авдотьи, туго охваченное шалью, ее синие, строгие глаза поразили Маришу в самое сердце. Она вспомнила и старую дружбу в коммуне, и причит Авдотьи над убитым Кузьмой, и глухую, голодную зиму, когда Авдотья, неизвестно откуда, приносила сухие кусочки хлеба и мерзлые картофелины детям Мариши.

«Этой не соврешь» — с решительностью и отчаянием подумала Мариша. Она молча сползла со скамьи и уткнула пылающее лицо в колени Авдотьи.

— Матушка, не осуди, — глухо пробормотала она. — К попу не пошла, а перед тобой, как на духу.

Авдотья не пошевелилась, не вздохнула. Тогда Мариша, не поднимая головы, затряслась в плаче.

Авдотья положила обе ладони на голову Мариши и легко разняла по ряду темные, спутанные волосы.

— Не за тем я пришла, — медленно сказала она. — Да и как осудишь? Переломали у тебя жизнь, перехрустали...

Мариша перестала плакать, затихла и насторожилась.

— Ныне всяк своему счастью хозяин. Сама знаешь: одна головня и в поле гаснет, а две — дымятся.

Мариша упруго вскочила и всплеснула руками:

— Авдотьюшка!..

Залитое слезами лицо ее задрожало от радости. В печке что-то шипело, ухидило. Мариша бросилась туда, вытерла рукавом щеки и схватила ухват.

— Каша убежала!

Авдотья молчаливо и пристально следовала за ней. Движенья у Мариши стали ловкими, молодыми, на щеках выступил смуглый, воспаленный румянец, — вся она, от тяжелого медного узла волос на затылке и до маленьких ног в толстых пестрых чулках, была красива той последней, пронзительной бабьей красотой, которая рушится сразу и бесповоротно.

— Гляди, не затяжелей! — заметила Авдотья и опустила глаза, скрыв улыбку.

Мариша подбежала к ней, как на крыльях, и зашептала со страстной убежденностью:

— Не затяжелою, чую, — перегорело во мне все... сколь горя на горбу снесла, шутка ли? Дочь на выданьи, стыдобушка мне. Да ведь какой мужик-то, видала? Кучерявый, сильный, а — смиренный!

— Ну, вот, наговорила, — слабо усмехнулась Авдотья. — Приданое Дарье справила?

Мариша дрогнула, ничего не ответила и опустила голову.

— И не справишь, — жестко сказала Авдотья. — Будешь всю жизнь на чужих людей батрачить, горб ломать. Девку надорвешь, сама жилы вытянешь, а не справишь.

— Что это ты! Федя вон деньги мне давать стал.

— Федор не надежа: не свое у него дитя — Дашка.

Это была правда, которую Мариша таила даже от себя.

— У самой сердце иссохло, — тихо призналась она. — Неужели и Дашке в жизни доли не будет?

Авдотья не ответила. Она оправила шаль тонкими, узловатыми пальцами и поджала губы.

— Мальчишку тоже не жалеешь. С каких пор по чужим пашням пустила.

— Этому приданого не надо, — со злобной решимостью ответила Мариша. — Мужик — сам долю свою найдет.

— До мужика далеко. Молодая ветла: гнется, гнется, да и сломится.

Они помолчали.

Долгим и печальным взглядом обвела Авдотья бедную маришину избу: две

широких скамьи, на которых, — Авдотья помнила это отчетливо, — лежал убитый Кузьма. Чисто выскобленный шаткий стол, — за ним когда-то шумели малые маришины ребятишки. Горбатый бурый сундук с вырванным напрочь пробоем, широкие кривые половицы, некрашенные, пыльные, и — огромная закопченная печь, устало осевшая на один бок.

Как радовался Кузьма новой своей избе, и бумажным занавескам, и расшитой скатерти! Бывало, он подолгу простаивал над зыбкой сына, конфузливо трогал одним пальцем розовую пятку младенца и задумчиво следил за его светлым, бездумным взглядом. Давно это было!

— Слушай меня, Марья, — сказала, наконец, Авдотья с такой значительностью, что Мариша подняла голову в тревожном удивлении. — Я твою жизнь знаю всю, до самого дна, от дедов и до последнего часа-минуты. Слушай меня, старый человек не соврет: пропадешь, ты, одинокая, как былинка в чистом поле. Одна тебе дорога: заходи в колхоз.

Мариша даже отпрянула от нее и уцепилась за подоконник, как будто земля ушла у нее из-под ног.

— Значит, не спроста пришла, — пронзительно зашептала она. — Ты что же, с ячешниками-то заодно?

Авдотья резко поднялась, глаза ее были широко и удивленно раскрыты. Теперь женщины стояли друг против друга, только Мариша была пониже и взглядывала на Авдотью исподлобья, прикусив яркие губы.

— Не об этом речь, — тихо, с гневной силой сказала Авдотья и упруго пристукнула сухим кулачком по столу. — Глупа ты, Марья! Прикинь, рассчитай: куда тебе идти. В колхозе народная управа, никто не обсчитает и на себя же будешь работать. По Кузьме-то Иванычу ты первая в колхоз должна зайти!

Мариша внезапно сломилась, закрыла лицо руками и крикнула со слезами и досадой:

— Мало я в жизни горя нахлебалась!

Авдотья провела ладонью по ее дрожащим плечам и мягко проговорила:

— И я о том же: похлебала, — и доволно. Хоть дети свет увидят. Думай, бабонька. Вечером приду, скажешь.

Авдотья медлительно застегнула шубу, запахнула шаль и взялась за скобу.

Мариша не смотрела на Авдотью. Всклипывая и трудно дыша, она перебирала дрожащими пальцами мелкие оборки на кофте.

6

В первое воскресенье после шумного собрания в школе Левон, бывший староста, проснулся на рассвете. Он лежал на своей широкой постели, за выцветшим пологом, пока на угловом окне не заголубели морозные разводы.

Тогда старик, кряхтя, влез в валенки, пригладил спутанные кудри, оделся и вышел во двор.

Над второй его избой уже дымила труба, — густой, розоватый столб дыма стоял прямо, как замороженный. Старик подумал, что день идет безветренный и морозный. Он потянул носом, — дым был легкий, древесный, значит, как всегда, снохи пекли праздничные пироги.

Левон медленно оглядел весь свой обширный, укрытый, чисто разметенный двор. И здесь все было обычно, как всегда. За плотной дверью звонко переступали кони на деревянном полу конюшни. Рядом, в плетеном, тепло уманном сарае, сонно проблеяла овца, и шумно на весь двор вздохнула корова.

Старик остановился среди двора и придирчиво копнул снег носком валенка: ему показалось, что в сугробе застыла оброненная сыновьями седелка. Но он выковырял всего только замерзший чурбашок и, досадливо отшвырнув его в сторону, опустился на наклеску саней, что стояли, задрав в белесое небо связанные оглобли. Сани накренились и визгливо заскрипели.

На крыльце появилась и осторожно стала сходить вниз высокая, статная Агаша, жена младшего сына Степана. Она погромыхивала подойником, неся впереди себя огромный материнский живот. Как всегда, Агаша не вдруг поклонилась свекру, а прежде поглядела на него странно-зелеными на морозе глазами.

У Левона слегка дрогнули седые, нависшие брови. Он обернулся вслед снохе всем телом, так, что сани длинно скрипнули, и увидел на спине Агаши длинную темную косу, которая шевелилась, как живая, с каждым шагом женщины. Это окончательно раздражило старика. Вольная коса, по его понятиям, полагалась только в девичестве. Баба, по закону, тотчас же после венца должна чистенько прибрать волосы под повойник.

Левон упруго выскочил из саней. Яростно и твердо давя свежий снежок, он прошел по двору, распахнул тяжелую калитку и остановился, видя и не видя широкоую, белую и сонную улицу Карабановку.

Снохи его беременели каждый год, и он всегда гордился мужской силой своих сынов и всей своей многолюдной, здоровой семьей. Старшим сынам он сам указал жен. Это были бедные, безгласные, работающие девушки, — одна даже перестарок. «Силу в дом беру, а добра своего хватит» — мудро рассуждал тогда старик.

Младший же сын Степан на год раньше срока, назначенного отцом, не спросившись, привел в дом девушку с бедного хутора, где жили пришлые беженцы, огородники, или, попросту, «капустники».

Степан «окрутился» с Агафьей в сельсовете и слушать не хотел о настоящей свадьбе, с попами, пьяными обедами и песнями. Левон, скрипя зубами, стерпел первую сухую свадьбу в своем доме. Однако с того самого дня в сердце его закралась непреодолимая тревога: казалось, в семье, до того покорной его хозяйской воле, пошло все не так, не по старому. Младшая сноха, как и две другие, быстро забеременела. Но старик, к удивлению и страху своему, уже не говорил соседу Леске: «Мое семя, плодное!» — и не ощущал привычной, счастливой гордости за нового внука...

Левон глянул вдоль улицы светлыми, затуманенными глазами и вдруг увидел длинноногого Николайку, пропавшего пьяницу и конокрада, которого в Утевке и били, и побаивались. Николайка подошел к Левону своей легкой и неверной

походкой вора. Ловко высвободившись из длинного рукава, он протянул старосте руку, которую тот и пожал с равнодушной брезгливостью. Пальцы у Николая были длинные, потные и гибкие, весь он казался неправдоподобно хрупким.

Глянув куда-то мимо старосты, Николайка сказал:

— Баламутят! Всю деревню кверху пятками поставили. Колхоз!

— Мне не каплет! — досадливо откликнулся старик. — У меня свой колхоз.

Николайка поморгал больными, красными веками и, достав кисет, начал разматывать его неторопливо и как бы неумело.

— По дворам шастают, — все так же тихо говорил он. — Народ сбивают. Иван Дуб, а с ним...

Николайка затрясся от смеха, так что кисет, длинный и грязный, запрыгал в его руках. Рыжеватые, словно выщипанные, усы его хищно взметнулись кверху, пепельное лицо покрылось морщинами, одни оловянные глаза в красных веках остались неподвижными и как бы мертвыми.

— А с ним Нужда ходит, Авдотья! — уже не смеясь, громкой скороговоркой произнес он. — Твоя младшая сношенка с Нуждой ухо в ухо идет. А Степан-то с Дубовицким шепчется, с ученым. Гляди, не подсекло бы тут.

Левон уже с отвращением и даже со страхом посмотрел на темные, быстрые, словно резиновые, пальцы Николайки, — тот крутил цыгарку, — и, не помня себя, крикнул:

— Убью!

Николайка от неожиданности просыпал на снег махорку и усмехнулся прямо в багровое лицо старика:

— Приходи к Дегтю сумерничать. Ноне в полночь, как отзвонят. Добрые люди соберутся. Тебе тоже есть чего спастись!

Левон отступил на шаг и порывисто отмахнулся от Николайки. Он знал о ночных сборищах у Дегтева. Но он был слишком умен и прочен в жизни, а потому презирал эти тайные и злобные: «шептанья».

— Противу закону идете, — стараясь сболбости достойное спокойствие, сурово ответил он Николайке. — Сам был старостой, знаю.

Но тут внезапно вскипела в нем вся многолетняя, кровная гордость крепкого и властного хозяина. Мгновенно отошли и тревога, и малодушный страх перед бедой, которая, чудилось, уже стоит у ворот.

Он побледнел и двинулся на Николайку, сверкая глазами. Голос его теперь зазвенел молодо, сильно, с напором.

— Один постою за крестьянство, без шептальщиков. Дома мои, да дружба в домах, да хозяйство у всех на глазах. Значит, по-моему, каждый сам себе хозяин: роди сынов, паши землю — и будешь счастлив в этой жизни.

Николайка выплюнул цыгарку, злобно растер ее на снегу и тонко хихикнул:

— Ну да, ну да! Счастливо тебе говорить, дедушка, прощай!

Он легко сорвался с утопанной дорожки и обошел старика, вихляясь и размахивая длинными руками.

— У, сучье семя! — сипло, вдруг потеряв голос, прошептал старик.

Он плотно закрыл калитку и только теперь почувствовал, что весь вспотел, как после бани.

7

В это утро Леска напугал жену необычайной своей молчаливостью. Медленно, словно чего-то разыскивая, бродил он по избе, шарил на подоконниках, потом влез на лавку, достал с божницы деньги и, не дождаввшись завтрака, ушел. Дунька не посмела спросить — куда.

Но едва она поставила на стол чугунок с дымящейся кашей, как Леска возвратился. Еще на пороге он бережно вытянул из кармана пузатую бутылку. Желтое, плоское лицо его было торжественно и злобно.

— Пошла на кухню! — прошипел он на жену, плотно усаживаясь за стол.

Пил он редко, в полном одиночестве, разговаривая сам с собою. Охмелев, разбивал бутылку, рвал на клочки бу-

мажные шторы на окнах, сбрасывал на пол подушки, перину, одеяла и заваливался спать на голых досках.

Дунька перетащила ребятишек на кухню, подвесила люльку на крюк у окна, а старшего мальчика посадила на печь и погрозила ему худым пальцем. Потом она пожевала сухой картошки, заплакала привычными, тихими слезами и села к окну, чутко прислушиваясь к бульканью водки, бормотанью и вскрикам, доносившимся из передней избы.

Калитка глухо закрипела. По двору, один за другим, прошли — Петр Гончаров, секретарь сельсовета Тишка с желтой папкой в руках.

Дунька вскочила и выхватила из люльки маленького с безотчетной поспешностью. Ребенок закатился в плаче. Когда в кухню вошли люди, Дунька стояла у двери в переднюю избу, навалившись на нее всем телом.

— Не пушу! — пронзительно зашептала она, утискивая ребенка. — Во хмелю он! Ярой! Убьет!

— Да ты чего это, — удивленно протянул Петр Гончаров. — Мы по чести пришли. Сам звал.

Тишка выступил вперед и хлопнул варежкой по папке:

— Заявление в колхоз подали? Подали. Надо хозяйство списать, пай определить.

Дунька бессмысленно взглянула на его смешливое, безбровое и словно голое лицо и нерешительно отступила от двери. Тут, за спиной Тишки, она увидела Авдотью.

Мужики прошли в горницу и закрыли за собой дверь. Дунька положила ребенка и раскачала люльку.

— С ними пришла? — спросила она Авдотью и опустила глаза.

— С ними.

— Теперь корову со двора сведете.

— А она твоя, корова-то?

— Дети мои.

Авдотья задумчиво взглянула на Дуньку. На обтянутом, прозрачном лице беременной женщины она уловила ту, самую затаенную, вязкую, тупую ненависть, которой она так страшилась в первые дни своих хождений по избам.

— Иван-то, батя твой, — медленно, нехотя сказала Авдотья, — из хлеба совсем выбился. Какая старость сердешному выпала: с рождества ходит, по фунтику занимает.

Авдотья знала, что ударила Дуньку-сироту в самое сердце.

Дунька и в самом деле судорожно выпрямилась и добела закусила губы. Люлька, раскачавшись, несколько раз ударила ее в бок, но она стояла неподвижно, как каменная. Наконец, будто сломившись, она опустилась на лавку, напротив Авдотьи, сорвала с себя нечистый платок и повалилась головой на стол.

Под черным толстым жгутом полойника блеснули дунькины льняные девичьи косы.

— Один он, родимый-то, в целом свете, — сурово сказала Авдотья, глядя в золотистый, вздрагивающий затылок Дуньки.

Дунька, не поднимая головы, повернулась к ней лицом, по ее покрасневшему носу медленно и криво проползла тяжелая слеза.

Авдотья увидела: в синих родных дунькиных глазах растаяла ненависть, и теперь в них дрожала только одна глубокая, выношенная под сердцем, молчаливая боль.

Авдотья сняла шаль, оглянулась на дверь и под села к Дуньке. Обе простоволосые, узколицые, синеглазые, удивительно похожие друг на друга, — они теперь сидели, как мать и дочь.

Дунька подняла голову, слизнула слезинку с дрожащих губ и жалостно зашептала:

— Хоть бы одним глазком на батю глянуть! Летом, бывало, на задах, как воры, друг дружку находили, видались. А зимой-то куда я с ребятами? Он, конечно, гордость имеет. Придет, бывало, ко мне, а мой-то идол все и нюхает, — не просить ли чего пришел.

Она взглянула на Авдотью расширенными, горячечными глазами и стиснула ее локоть.

— Украду мешок пшеницы и отнесу, сй-богу, украду!

Но тотчас же она снова вся сникла и всхлипнула:

— Не украдешь! Он каждую луковичу считает. Думала, к детям желанный будет, а он их и не видит.

Внезапным, бережным и быстрым движением она приложила обе ладони к своему тугому животу, вся насторожилась, перестала дышать и даже раскрыла рот.

— Ты чего? — удивленно шепнула Авдотья.

Дунька уронила обе руки и опустила голову:

— Нет, молчит. Бывало, утром вот сюда меня тукнет, и я проснусь. Нынче все утро ждала, ждала...

— Ну? — сурово спросила Авдотья. Дунька робко, исподлобья на нее взглянула.

— Идол-то мой... бить меня стал. Полосует! Вчера кулаком ткнул, свету не взвидела. Боюсь, — по дитенку.

Авдотья встала перед Дунькой во весь рост и цепко встряхнула ее за плечи.

— Да ты чего это, баба! — отчетливо и грозно сказала она над ухом у Дуньки. — В крепостных живешь? Иль белый свет клином сошелся?

В передней избе что-то тупо грохнуло. Дунька тоже вскочила.

Дверь из горницы с визгом распахнулась, на пороге остановился Леска, в расстегнутой и начисто разорванной рубахе. Он был пьян и взбешен до того, что косые его глаза остановились, беспомытно глядя сразу и на обеих женщин, и на люльку, и — в другую сторону — на печку. Мальчишка на печке вскрикнул от страха. Авдотья молча шагнула вперед и загородила собой Дуньку.

Леска тяжело метнулся мимо женщин, каменным плечом своим ударил дверь в сени и минуту спустя, в облаках пара, появился с двумя новыми хомутами в руках.

— Монашка! — неожиданно крикнул он прямо в лицо Авдотье. — Язышница! Измочало!

Сухое, скуластое лицо его было залито пьяными слезами, в ощеренном рту нехватало переднего зуба, отчего Леска, разозлившись, всегда говорил с присвистом.

— Закрой дверь! — коротко сказала ему Авдотья.

Он плюнул ей под ноги и, как-то боком, везя по полу пахучие ремни хомутов, влез в горницу.

Женщины переглянулись и двинулись вслед за ним, — Дунька за плечами у Авдотьи.

Среди горницы, на наследенном, крашеном полу, была беспорядочно свалена постель. Леска подтащил сюда же хомуты и сразмаху кинул их прямо на розовые подушки, потом снова сбегал на кухню и подмышкой приволок ухваты, сковородки, тяжелую коцергу.

— Пишите! — тонко и ненавистно крикнул он, с грохотом сваливая в кучу кухонное добро. — Детей пишите! Сам-четверть!

— Чего ты яришься? — удивительно тихо и спокойно произнес Петр Васильевич. Он сидел у стола, на краешке скамьи, держа шапку в обеих руках. — Записался, а яришься?

— Я записался? — Леска даже присел на своих кривых ногах и плюнул в кучу добра. — Карасев меня записал! Не моя рука писала!

— Все одно — мимо колхоза не пройдешь.

Маленький, вз'ерошенный и потный Петр Гончаров, Скворец, сказал эти слова с такой глубокой уверенностью и силой, что Леска приглушенно свистнул и выпрямился. Мгновенно протрезвев, пристальный и злобный, он взглянул на молодого Тишку и на Петра Васильевича так, словно только теперь по-настоящему их заметил.

— Не сильного достатку человек, а душа в нем кулацкая, — задумчиво и словно про себя сказал Петр Васильевич.

В общей тишине Леска по-кошачьи мягко обошел кучу добра и, вытянув шею, встал перед Гончаровым со сжатыми кулаками. Встревоженный Тишка отодвинул разграфленную ведомость и заткнул карандаш за ухо.

— Я не кулак, я — мастер, — сказал Леска тонким, с присвистом, не своим голосом. — У меня в руках все кипит. У меня вон и ягода, — какая уж

там ягода — красная смородина, — а растет крупна, как янтарь.

— Гордишься ты своей собственной ягодой, — ответил ему Гончаров все с тем же спокойным упреком. — А не соображаешь, какая гордость твоя была бы, если б народный это был сад!

Леска едва ли слышал его.

— Я купола крыл! — закричал он, весь, с головы до ног, трясаясь от напряжения. — Я, может, вниз головой висел, одной пяткой держался!

— Ну, теперь купола крыть не придется, — перебил его Петр с угрюмой усмешкой. — Народ за это спасибо не скажет.

Леска взглянул на него с горьким и пьяным удивлением:

— Народ! Народ!

— Сообрази, школу ты, например, покроешь, — настойчиво объяснял ему Петр. — А ребята скажут: это нам дя-дя Леска.

Леска зажмурил глаза и зашатался, как от ветра.

— Уйди, ты-ы! — простонал он и, вытянув руки, ощупью добрался до лавки.

— Ишь, заело как тебя, — просто-душно пожалел его Петр. Он покачал головой и попробовал пригладить вихры на затылке.

— Понятно... — Петр развел короткие свои ручки и вздохнул. — Кто раньше крыл дома-то?

Он строго посмотрел на испуганную и бледную Дуньку:

— Батя, что ли, твой крыл? Кулаки да баре, да попы. Вот у него сердце к ним и прикипело.

Петр осторожно дотронулся до острого колена Лески.

— Ты, мастер, в колхозе и работу найдешь, и почет встретишь, каких сроду не видывал. Ну, Тиша, пиши, что ли!

Леска сидел недвижимый, жидкие усы его были влажны от слез, плечи и руки беспомощно обвисли.

— Да он пьяный, — со страхом сказала Дунька. — Проспится, опять за-лутует.

Авдотья взяла ее за руку, как маленькую:

— Ну, мужики тут без нас управят-

ся. Дуня, заверни ребятишек, идем, у отца погостюешь денек. Обед-то сготовила? Ну, вот.

Дунька, пятясь к двери, еще раз поглядела на мужа. Она никогда не видела его таким придавленным, беспомощным, смиренным. Все еще дрожа от страха, Дунька закутала ребят, выхватила из-под лавки мешок и, прикусив губы, запихала туда несколько караваев свежего хлеба.

И только выйдя вместе с Авдотьей в

улицу, она вдруг подумала, что в мужнином доме, где она, словно наймичка, не смеет тронуть лишнего куска, где до конца жизни будет ей колоть глаза лескино добро, — в мужнином доме ныне что-то хрустнуло, подломилось, отошло навсегда, невозвратно.

Она шла, прижимая к животу мешок с хлебом; в ладони ее теплела ручонка сына, и широкая снежная улица казалась ей новой и ослепительной, как в далеком детстве.

(Окончание следует)

Д у б

М. ЛИПОВИЧ



Он шумит над ручьем. Нескончаемой поросли предок,
Весь из'еденный мхом и сырыми ветрами ночей.
Он стоит над ручьем. И с надтреснутых времен веток
Жар осеннего золота каплет, как время, в ручей.

Я не знаю — когда он пробился на солнце впервые
И впервые вонзил оголенные когти корней.
В узловатой коре зарубились года боевые,
И рубцы от клинков пролегли, как сказания, в ней.
И об этом я знаю.

Сюда соловьиным рассветом
Их пришло только шесть — партизан из села моего,
А седьмой — на лугу под разбитым остался лафетом,
И могучие травы уже обступали его.

Он не видел, что шесть от всего их отряда осталось.
Почерневшим виском к ледяному припав колесу,
Он не видел, как шесть понесли свою скорбь и усталость,
Чтоб у дуба сложить в окруженном врагами лесу.

... И когда от ручья оторвали иссохшие губы,
Встал плечистый Андрей — дровосек, по прозванию Гора:
— Что, ребята, забыли, как память ведут лесорубы?
Он ударил клинком, и ответила соком кора.

И не ведал Андрей, что открыл с партизанами вместе
Этой красной зарубкой утратам и горестям счет...
Он друзьям говорил: — Пусть, как в дереве память о мести,
В черном сердце врага нашу ненависть штык засечет!

Но немецкие снайперы глаз на прицеле держали,
И, когда по утрам смельчаки возвращались к воде, —
Загоралась на дубе, как свежая кровь на кинжале,
И пылала цапапина — повесть о новой беде.

Чём за каждую смерть отплатили врагам лесорубы,
 Помнят сытые вороны, дымные помнят ветра...
 Но засечек уже было шесть на развесистом дубе,
 А у дуба один был привязан плечистый Гора.

Он смотрел на штыки. А над ним, как тяжелые слезы,
 Бесконечные звезды срывались в листву напрямик, —
 И когда б я не знал, что извечно белесы березы,
 Я поклялся бы вам, что они поседели в тот миг...

Он смотрел на штыки.

— Кто придет?.. Кто на дубе крылатом
 Засечет его смерть?..

Только плюнул в глаза палачу.

Офицер покачнулся и выхватил штык у солдата...

Есть на дубе засечка,
 И я за нее заплачу!



Два рассказа

ВЛ. ЛИДИН

★

ЕЛИСТРАТ АНИКЕЕВ

Елистрат Аникеев, шеф-повар нарпитовского ресторана в Москве, приехал в родное село на побывку. Со станции вез его односельчанин Егор Горячёв, степенный мужик, знавший Елистрата еще с детства.

— Вот опять посетил ваши глухие места, — сказал Аникеев, восторженно нюхая все эти знакомые и такие позабытые запахи: подопревшей соломы, дегтя, влажно хлюпавшего во втулках колес, конского пота и махорочной крошки. — Ну, как у вас тут, в глухомани, колхознички? Справляются, ничего?

— Понемногу справляются.

Горячёв был неразговорчив, зверски зарос бородищей до самых глаз и встретил приехавшего равнодушно.

— Я ехал—всё думал: дыра какая—родное наше село Захаркино, дядя Егор... ужас подумать, как от Москвы или Ленинграда далёко! Конечно, любопытно взглянуть на родные места... но только, кто в городе побывал, того сюда в глушь обратно не заманишь, нет!

Он достал портсигар и насладительно закурил папироску.

— Ты сам-то на каком деле спасаешься? — спросил неодобрительно погода Горячёв.

Не нравились ему в приехавшем вся эта не к месту словоохотливость, манера, с какой сидел тот на облучке, перекинув ногу на ногу, и отставленная рука с папироской.

— Я, дядя Егор, по кулинарному де-

лу пошел... слышал про такое? Работаю поваром. Раньше, конечно, приучался по малости, а теперь отличился, назначен шеф-поваром. За всю, можно сказать, кухню целиком отвечаю. А посетитель подозрительный, сердитый пошел... если что не так — котлетка там, скажем, пережарена или картофельной муки в киселю переключено, — сейчас же шеф-повару за все отвечать.

Он держал папироску на отлете и смотрел на знакомые поля, на грачей, похожих на куски антрацита, выклевавших из пахоты жирных червей, и на синеватый дымок дальнего леса, за которым лежало родное Захаркино... Егор Горячев молчал, и Елистрату хотелось растолкать разговорами деревенскую эту глыбину.

— Опять же Москва... — сказал он, как бы всматриваясь сквозь дымок папироски в далекое видение, — город мировой, одно можно сказать. По нашему кулинарному делу и то видно, как человек на высоту поднимается... кашей да щами от него не отвертишься. Он у тебя и меню потребует, и там, скажем, лангет или какое-нибудь беф-бризе чтобы по всей форме ему подано было. Ну, ресторан наш на высоком счету... случается, там банкет или еще какое празднество, мы такой торт другой раз наворотим, что и ковырнуть его жаль. В прошлом году у нас повар Петров из жженого сахара радиомачту вытянул, как есть Коминтерновская мачта в Москве, полная копия!

Егор Горячев не ответил, поля с лиловыми полосами пахоты катились назад, и Елистрат вдруг тоже замолчал и задумался. Вот вышел он из подпaska в люди, едет на побывку в родное село — свояков посмотреть и себя показать... есть у него городская сноровка, и, конечно, подивиться односельчане и его одноклассники, что до многого дошел он, Елистрат Аникеев, которого помнили сиротой.

— Ну, а как бабушка Матрена... жива? — спросил он погодя у Горячева.

— Скрипит понемногу, — ответил тот односложно. — Недавно к ней внук приезжал... ну, навез ей там и мануфактур, и прочего.

— Алексей? Да он разве не здесь? — И Елистрат Аникеев вдруг оживился: был Алексей Ларичкин его одноклассником, вместе бегали в школу в соседнее село Суково, вместе таскали по утрам на Глотве колючих ершей близ песчаной отмели...

— А ты не слыхал? — И Егор Горячев повернулся и как бы впервые оглядел словоохотливого этого, в городском и нарочитом обличье, человека. — Он у нас на первого тракториста по соревнованию между колхозами вышел... теперь шофером гоняет. Ты что же, газет не читаешь? — спросил он еще с тем же неодобрением. — Про него и в Москве написали, я думаю!

— Так, так... жива бабка, и Алешка — шофер! — пробормотал Аникеев и снова задумался.

Вставала знакомыми именами родимая тишина, и он подивился строгой неспешности Горячева, — была и у того как бы иная приглядка к людям, и равнодушно встретил он на станции гостя с его повадками столичного жителя...

— Ну, а как у нас, дядя Егор, насчет просвещения?.. всё в Суково по-прежнему ребятенки гоняют?

И он вспомнил те долгие две версты, по которым двигались гурьбой через розовое от утренней зари снеговое поле, облупившись до шелухи на носу от мороза, остроословы и драчуны — деревенские маальчишки.

— Нет, школу у нас новую построил колхоз... теперь своя, никуда не ийти.—

И довольная усмешечка дрогнула и сейчас же пропала в строгом горячевом взгляде. — Ты все думаешь — как медведи живем, — сказал он еще наставительно. — Нет, ты вперед пошел, и мы тоже не назад ходили.

Телега затряслась под взволок, и Аникеев подобрал ноги в новеньких галошах, в зеленом глянце которых бежали поля. Так приехали в родное село Захаркино, и Аникеев направился к дому Мишки Коростелева, с которым вместе призывался в Красную армию.

Мишка был дома и деловито гонял шербатые костяшки на рыженьких счетах.

— А, и ты заявился... давно пора, Аникеев! — сказал он, так же не удивившись, как не удивился на станции Егор Горячев. — А то ведь не ладно получается... позабыл про родных! — Он оторвался от счетов и прошелся по комнате, высокий, с коротко остриженной по-военному головой, еще не утратив выправки недавнего красноармейца. — Колхоз твоей бабке, конечно, помог, а все-таки и тебе о ней не грех было вспомнить.

И приметливым глазом, как бы прикидывая на вес, он оглядел посетителя. новенькие его галоши, кепочку с пуговкой и коричневый чемоданчик у ног.

— Ты что же думаешь, я в Москве голубей гонял, что ли? — сказал Аникеев обидчиво, — не понравились ему и усмешка Мишки, и хозяйский тон, с которым тот говорил с ним. — Я, может, там целую науку прошел, про какую и слухом вы здесь не слыхали.

— Инженер, что ли, стал? — осведомился Мишка деловито.

— Инженер не инженер, а свое в жизни взял! — И Аникеев вдруг зло — не понравилась ему вовсе эта в'едчивость Мишки — добавил: — Ты тут какого ума набрался, мне еще не известно... счетоводов в нашем тресте, что сушек на нитке. Не великое дело на счетах считать.

— Вот ведь ты какой... — сказал Мишка не обидчиво. — Чего же ты сердишься? Я, как председатель колхоза, с тобой говорю... по-нашему — нехорошо забывать было бабку; как-никак она те-

бя в люди вывела. Ну, а дальше твое дело, я тебе не указчик.

— Ты — председатель колхоза? — спросил Аникеев.

Он смотрел теперь на Мишку, на всю его повадку бывалого и привыкшего распорядиться человека и вспоминал того самого Мишку Коростелева, с которым, случилось, разнимали их в школьной драке...

— Ну, да... выбрали. А ты не слышал?

— Нет, я про это ничего не слышал, — сказал Аникеев и снял свою кепочку.

Он сидел теперь со своим аккуратным проборчиком, в пестром шелковом галстучке, от которого, думал, окосеет не один его одноклассник в глухоманном этом Захаркине, и блеск новеньких, так и неснятых галош показался ему не ко времени. Мишка стоял перед ним и нестеснительно оглядывал его серыми, вдалеке детства — озорными, глазами.

— А ты чего удивляешься? — сказал он затем. — Тут многие наши ребята далеко шагнули... Федька Щербатых в агрономы пошел, да и на съезде передовиков сельского хозяйства тоже не одного нашего захаркинского насчиталось.

Было это большое колхозное хозяйство, которым управлял он, Мишка Коростелев, и Аникеев сидел и вспоминал знакомые имена, давно позабытые им и как бы затерянные в тиши глухого Захаркина...

— В общем, осмотришься, друг, кругом... не мешает, — сказал Мишка еще наставительно. — Не одной Москвой земля наша мерена. Мы тут, знаешь, насчет чего перед обкомом хлопочем? — добавил он вдруг и подмигнул Аникееву. — Чтобы железнодорожную ветку к нам сюда протянули. Тут пять колхозов об этом деле хлопочут... к тому же лесные разработки кругом. Ну, запоет наш край, совсем другое дело получится, — добавил он просветленно, и давним, школьническим озорством блеснули серые его глаза.

Потом Аникеев покинул дом Мишки и пошел по опаленной сухой осенью улице родного села. Выросли за эти годы подростки, которые были в его пору

грудными детьми, и никто не знал в лицо приезжего. Школа, как и сказал Горячев, стояла на площади, и из нее вываливалась знакомая и шумная толпа школьников с книжками. Школьники бежали мимо и оборачивались на незнакомого человека с чемоданчиком. Конечно, можно было бы поразить кулинарным искусством и самого Мишку Коростелева, вытянуть там из жженого сахару трактор или даже целый комбайн, но все это вдруг померкло, словно не он обогнал одноклассников-одноклассников, а они его. Так он подошел к дому бабки, где прошло его детство. Он не сразу вошел в дом, а постоял в стороне, часто мигая и как бы вызывая в памяти давно прошедшие годы. Но так же белые резные наличники были вокруг окон, так же рыжие куры бродили в пыли, и, точно осыпанная петушиными гребнями, горела рябина в палисаднике. Думал он, трясаясь на телеге Егора Горячева, как войдет в знакомый дом, неспеша снимет кепочку, сядет скромно в сторонке и поразит бабку, как бы исподволь извлека из памяти разные случаи, рассказом о своей жизни. Но бабки не было дома, и чужой человек, сидевший у самого окна за столом, поднялся ему навстречу.

— Вам кого? — спросил он, становясь лицом к свету, и Аникеев сейчас же узнал в нем старшего сына Алешки — Митьку. Был тот рыжебров и похож на отца, только глаза у него были взрослые и приглядчивые не по возрасту.

— А и вырос ты, Митька, — сказал Аникеев не сразу, — свояка не узнал. Елистрат Аникеев, помнишь?

Потом они сели друг против друга, и Митька рассказал, что за бабкой приехала из соседнего села дочь Надежда и повезла погостить к себе и что он, Дмитрий, доживает здесь последние дни каникул и отсюда вернется обратно в город Саратов, где кончает в этом году педагогический техникум.

— Самоварчик, может, поставить? Это я мигом, — предложил было он, но Аникеев от самоварчика отказался.

Вот вырос этот конопатый, с рыжими бровями, Митька, выписывает у окна что-то из книжек в свои тетрадки, окончил неприметно за эти проскочившие го-

ды школу и готовится выйти теперь на большую дорогу.

— Ты, что же, учителем будешь? — спросил он затем недоверчиво.

— А как же... весною кончаю.

И Митька оживился и рассказал еще, сколько учителей и учительниц выпускает ежегодно их техникум, и что все-таки нехватает учителей, — столько построили за эти годы школ. День за окном был синий и гладко обмытый осенью, с таким ярким небом, такой красной рябиной, что больно было смотреть в окно.

— Я думал, село наше попрежнему на месте стоит... а оно вон куда сдвинулось! — сказал Аникеев.

Он сидел по-домашнему, в сером пиджачке, заутюженных брючках и в галстучке пестрой, ядовитой окраски, но удивлять было некого.

— У вас в Москве там, поди, совсем сумасшедший шум, — сказал Митька еще, как бы желая все же отличить городское его положение, — у нас, в Саратове, и то шумно стало...

— Шуму у нас много, — согласился Аникеев.

Мог бы, в свою очередь, поразить он и большеголового этого, с рыжими удивленными бровями, Митьку, на какую высоту поднялось кулинарное дело, каких, например, любительских тонкостей требует какой-нибудь там салат или как можно изготовить горячий, со спиртовым синим огоньком наверху, омлет «Сюрприз», чтобы внутри нерастаявшим оставалось мороженое... Он так и видел по дороге сюда весь этот круг голов глухотных захаркинцев, которые жадно внимают ему, чтобы ничего не пропустить из рассказов об удивительном его искусстве. Но встретил его равнодушно Егор Горячев и не торопил для приезжего лошадей, по-хозяйски попрекнул его Мишка Коростелев, что забыл о родном доме, и вот теперь сидит перед ним тот самый Митька, которого знал он вихрастым, как пук рыжей соломы, и

который готовится теперь стать учителем.

— Ну, а ты, дядя Елистрат, по какому делу пошел? — спросил Митька, как бы сочувствуя, что не успело это старшее поколение в полную меру хвататься наук, и не было даже в родном селе Захаркино в ту пору школы...

— Мое дело какое... тебя разве обогнишь, — сказал Аникеев обидчиво.

Его галоши одиноко стояли в стороне, и он понял вдруг, что в родной глухомани не удивится никто городскому его ремеслу и что не осталось, пожалуй, ничего и от самой этой глухомани.

«Уважаемый товарищ Петров, — написал он два часа спустя, примостившись у края стола, — исполняю обещание и пишу, как провожу свой отпуск в родном углу. Конечно, тут про наши нарпитовские дела понятия не имеют, и некому даже рассказать про наши достижения на этом пищевкусовом фронте. Но только глухие наши колхозники все в люди вышли, и мне тоже неохота от всех отставать. Прошу вас, поскольку управляете сейчас рестораном, выясните и напишите мне сюда, не могу ли я попробовать подучиться на инженера в институте пищевой промышленности, с отрывом от производства или без отрыва, как это будет возможным, и что для этого нужно? Вопрос этот для меня актуальный, товарищ Петров, и прошу поспешить с ответом и помочь мне тоже кое-чего достигнуть в области науки, а оставаться шеф-поваром я не хочу...».

Он сидел за краешком митькина стола с его книжками и тетрадками и писал; новенькие галоши, словно были в отставке, обиженно сияли в стороне. А за окном, как бы наливаясь под осенним солнцем, лежало Захаркино, некогда далекое и глухое село, откуда выходили теперь именитые люди и шли по широкому большаку жизни, по-хозяйски оглядывая родные места, которые тоже менялись вместе с ними.

АКТРИСА

Пришли музыканты, и началась репетиция. Все было неизменно за двадцать шесть лет в этих пахнувших клеем, пылью, пудрой кулисах. Только в его, Николая Петровича, жизни многое изменилось за эти годы: как-то незаметно из танцовщика, легкого на прыжки и движения партнера, перекидывавшего в воздухе тела балерин, отплясывавшего на оперных балах краковяк и мазурку, — стал он стареющим педагогом. Незаметно подползли и второй подбородочек, и эти нестираемые припухлости под глазами... Но он все же принудил себя с привычной балетной легкостью взбежать по лестнице.

Он миновал площадку, по обе стороны которой уходили в глубину уборные, и вошел в репетиционный зал. Зал был еще пуст, только молоденькая балерина-комсомолка Чердынская с упорством репетировала перед зеркалом позы. Она увидела его в зеркале, смутилась и с какой-то институтской неловкостью присела, точно делала книксен.

— Ничего, ничего... продолжайте, Чердынская, — одобрил он, словно впервые после многих десятков репетиций увидев ее худенькое юное тело, затерянное в газовом ворохе классических пачек, и нежную родинку возле ключицы. Но маленькие крепкие ноги в атласных балетных туфельках уже заспешили к выходу. На раскрытом рояле лежали ноты и исписанная его рукой тетрадошка постановщика, в которой цифирьками и значочками были обозначены бесчисленные прыжки, пируэты и позы... Ежегодно из театрального училища выбегали такие же юные девушки, на его глазах становились танцовщицами, жизнь многих из них была ему известна в подробностях, и он давно перестал задумываться над всем этим. Но начиналась весна, за окнами репетиционного зала с его роялем и станками для упражнений в белесой мгле таянья лежал город, и все прошедшие двадцать шесть лет, вся прожитая им, Николаем Петровичем, театральная жизнь как бы раскрывали теперь перед ним свой свиток... Были известность, успех, его легкая мускулистая

фигура в «Корсаре» и чьи-то такие же хрупкие плечи, как только-что проскользнувшие мимо него, которые он не удержал, да и не особенно стремился удерживать. Все было отдано желанию сделать возможно разнообразнее свою жизнь. И он извлекал из нее самое шумное и преходящее, может быть, пропустив навсегда простые и такие необходимые ему теперь, в старости, чувства.

Потом он стянул с себя это внезапно пробужденное беспокойством весны ощущение и прошел в костюмерную. Здесь пахло запахом слежавшихся тканей, в которые десятилетиями облачались разгоряченные женские и мужские тела, и туго — одно к другому — висели все эти боярские, польские, венгерские, шитые золотом и как бы налитые парчей костюмы... До репетиции оставалось еще полчаса, в костюмерной было полутемно, только в ее освещенной глубине подбирала какие-то пояса и расшитые золотом вставки костюмера Анна Васильевна. Некогда, свыше двадцати лет назад, так же из театрального училища выпорхнула на сцену танцовщица Аня Софронова, с такими же хрупкими молодыми плечами, милой и застенчивой родинкой на левой щеке, вместе с ним сделала трудовую балетную жизнь, такую нарядную и блистательную со стороны. Потом, как и он, постепенно отяжелела, перешла на мимические роли сначала, затем стала костюмершей, теперь примеривает и подбирает для нового поколения балерин все эти нарядные костюмы, мягкие цветные сапожки, туфельки, бусы и играющие стекляшками застежки...

Она расправляла на столе парчевую ткань и подняла на него глаза, все еще красивые и увеличенные от подведенных временем теней.

— Все возишься, Аннушка, — сказал он с внезапно всколыхнувшимся сердечным участием к этой женщине, которую знал столько лет. Он постоял у ее стола и точно впервые увидел отяжелевшие складки ее некогда свежего лица, седину, которую она уже не скрывала, и весь этот обреченный женский закат. Он:

знал, что она не замужем, не имеет детей, живет одиноко, покорно приняв очередное время года актерской судьбы. Потом в наклонном зеркале он увидел себя, лысинку, еще старательно прикрываемую волосами, и шелковый ненужный платочек, с актерским щегольством засунутый в карманчик пиджака.

— А постарели мы, Аннушка... ничего не поделаешь, — сказал он горько и крепко провел обеими руками по лицу.

Нет, неужели не любила ни разу в жизни эта некогда живая и красивая женщина, не разделяла ни с кем своей судьбы, не страдала и не заставляла страдать других? Он помнил ее всегда безмужней, занятой на бесчисленных репетициях, всегда торопящейся, деловито отстукивавшей каблучками по знакомой крутой лестнице кулис... Он, столько раз увлекавшийся и столько раз позволявший увлекаться собой, смотрел теперь не без сожаления на эту, как-то вхолостую, без больших сердечных подъемов и волнений, прожившую свою жизнь женщину. Он звал ее коротко по имени: Аннушка, как сокращенно звали друг друга привыкшие к интимности театральной общей жизни кулис актеры. И сердечное чувство к ней, этой прожившей с ним бок-о-бок все двадцать шесть лет женщине, вдруг как-то обратило его к личной ее жизни. На самом деле, как жила, какие узнала чувства эта, ставшая такой же принадлежностью театра, как старые капельдинеры, театральный врач Зубов, осветитель Приклонский, актриса, — какие были у нее личные радости?

Он сел теперь возле ее стола, заваленного бутафорской мишурой и костюмами, и смотрел на знакомое, столько лет знакомое и как бы ни разу не увиденное в подробностях лицо.

— Ну, хорошо, Аннушка... я — старый пес — положим, все-таки взял от жизни кое-что. А вот я столько раз хотел спросить у тебя: ну, там на репетициях, потом за всякой суетней, примерками — это я тебя видел... а вот так, чтобы ты под ручку с кем-нибудь в свое время прошла, — ни разу тебя не видел. Да и не сплетничал тоже ни-

кто про тебя... а у нас ведь, знаешь, чуть-что, и сейчас же болтовня начинается. Неужели ты в жизни так-таки никого ни разу не любила?

Она сидела, опустив голову, разглаживая рукой тонкий вышитый рукав какого-то польского или венгерского костюма.

— А зачем вам это, Николай Петрович? — спросила она затем и не подняла головы.

— Ну, все-таки хочется знать... все-таки мы с тобой четверть века плечо к плечу прожили.

— Ну, а если за четверть века ничего не заметили, что теперь говорить? — сказала она, и легкая краска по-молодому тронула вдруг ее щеки. — Вы, Николай Петрович, всегда были заняты собой, своими делами... успеха у вас тоже хватало. А я шла в сторонке, своей дорожкой, где же было заметить? Нет, я любила, — сказала она еще спокойно. — Этим меня судьба не обидела.

Пальцы ее были исколоты булавками, — по давней привычке прибегали к ней в своих легких пачках балерины подколоть газовые складки, — и ему захотелось погладить эту трудовую руку. Он взял ее в свою, пожал и не сразу выпустил. Рука женщины покорно, и тронув его этой своей покорностью, лежала в его руке.

— Я только-что в репетиционном зале на Чердынскую посмотрел, и как-то вспомнилась вся жизнь, — сказал он погодя. — Я и тебя помню молоденькой, стройной, Аннушка... кажется, тебе в «Коньке-Горбунке» первый сольный номер дали.

В костюмерной было тихо, и только из знакомой музыкальной преисподней у сцены летели теперь окрепнувшие голоса скрипок.

— Ну, так ты бы и рассказала про это... тайны, я думаю, тут нет никакой. А то мне все казалось, что ты точно безлюбая, Аннушка.

Она быстро подняла голову и посмотрела ему в глаза. И какое-то давнее, забытое движение нежности словно ответило ему из самой глубины.

— А как вы думаете, Николай Петрович, кого я все эти годы любила, да

и люблю сейчас? Я только никогда не говорила об этом и обещала себе не говорить... но вот раз пришлось к слову, — да это теперь и совсем безопасно, — надо же когда-нибудь сказать. А то ведь так помрешь, и никто не узнает, — добавила она еще с какой-то скорбной усмешечкой. — Я с первого дня, как пришла из театрального училища на сцену, полюбила, и все эти годы любила и ни разу не изменила своему чувству. И каждый ваш успех был для меня моим успехом, я ему радовалась. А что невеселого было — об этом к чему говорить... ревновать вас права я не имела, и только одна мучилась, сама с собой. А помучиться вы много раз меня заставили, Николай Петрович... я ведь знаю, как многие наши балетные равнодушны к вам были, и вы их тоже не оставляли вниманием. И вот все-таки, оглядываясь на всю свою жизнь, я могу сказать, что больше была счастлива, чем несчастлива, оттого, что любила... знаете, когда любишь одного человека и через всю жизнь проносишь это в себе, то и жизнь как-то полнее, лучше становится.

Он сидел, мигая, машинально теребя золоченые концы какой-то канители, в этой плохо освещенной и набитой костюмами пещере. Женщина говорила просто, почти не волнуясь, глядя на него словно матерински-примиренными, все давно пережившими в себе и теперь не боящимися признания глазами.

— Ну, вот, вы спросили, и я ответила, — сказала она затем. — Видите, как иногда не замечаешь, что около те-

бя делается... Если вам это неприятно, извините меня. Я все-таки по чувству вам это сказала...

— Нет, отчего же, — пробормотал он, — только это, конечно, для меня неожиданно.

Она сидела теперь с мягким своим сидящим пробором, с теплым профилем все еще красивого лица, со знакомой родинкой на щеке и маленькой выточенной раковиной уха, единственно сбереженного временем в своей девической прелести, — простое близкое сердце, которое он пропустил... Были в его жизни связи — нарядные и капризные, женщины, любившие его за успех и так же изменявшие ему, как изменял им он сам, все это шумное и беспокойное движение актерской жизни в прошлом. Только не было одного — верности, пронесенной за долгие годы, и простой человеческой любви, в которой так, на склоне лет, он теперь нуждался...

Потом прозвенел звонок, возвещая начало репетиции в зале. Он молча поднялся, поцеловал женщину в пробор склоненной головы и вышел из этого темного капища, полного забытых теней сыгранных спектаклей. Все в зале были уже в сборе, и маленькая, с худыми ключицами, Чердынская опять с упорством проделывала у станка упражнения. Он молча прошел в круг всех этих молоденьких женщин и девушек, которым предстояло теперь осмысленнее и полнее, конечно, прожить такую же долгую театральную жизнь. Аккомпаниатор взял первые такты вступления, и репетиция началась.

Два стихотворения

НИК. УШАКОВ

★

ПЛОТЫ

Плакучей ивы струи
касаются воды.
Плывут сквозь ночь сырую,
плоты плывут,
плоты.

И дуги веток карих
мерцают вдалеке.
Течет огнем фонарик
по дымчатой реке.

Горит
и сам не знает,
дрожа витым лучом,
о чем
предупреждает
и говорит
о чем.

Подчеркнут черной тенью
зигзаг его огня.
О, тихое течение,
куда
зовешь меня?

О, тихое теченье
и темные луга!
Стоят,
полны значенья,
на берегу стога.

Стоят, как бы в тумане,
во весь высокий рост,
а луг,
как Мыс Желанья,
весь
в смутном пепле
звезд.

ТАЗИРЕТ

Ах, рубаха на нем какая:
Двадцать пуговиц — все горят!

Как следил он,
не уставая,
За маневрами
ястребят!

Висло облачко на перевале,
Снаряженное в перелет.

Тазирету передавали,
что письмо его дома ждет.

Пять ветров, быстрее эскадрилий
Пролетев
у его
головы,

В Заромаге¹ ему подтвердили:
«Есть,
действительно,
из Москвы».

Волн воздушные шли дуэли,
Над рекой между скал крыля,
И сказал Бурон¹:
«В самом деле!
заказное!
ему!
из Кремля!».

Это луг у морены голой,
Или светлый аэродром?

«Вы зачислены в летную школу» —
Тазирету пишет нарком.

¹ Заромаг, Бурон — селенья по Военно-Осетинской дороге.

★

Суровый характер

РАССКАЗ

ВАС. КУДАШЕВ

★

I

Я пришел к пастуху Еремею немного раньше обещанного. Встретил он меня, как и вчера, гостеприимно здороваясь, низко поклонился и подал руку, прочную, коричневую от загара и ветра. Посмотрев по сторонам, он сказал:

— Тихо и небо ясно. Вечер нынче, кажись, будет удачный...

Прихрамывая, Еремей медленно, но с достоинством идет впереди большого стада. На плече у него длинный кнут, подмышкой самодельный зонт из белой парусины и тонких ивовых прутьев. Он глядит с высокого холма куда-то вдаль, на огромные просторы лугов и полей, на сплошные леса. Пастух явно горд и счастлив, что идет во главе большого стада, и, кажется, готов вести его далеко, далеко, за синеву леса, на край земли...

Овцы из-за кустов вышли в поле, приближались к копне пшеницы. Еремей взмахнул палкой, натертой до глянца.

— Кы-ыры! Сытые, а всегда неугомонные!

Пестрая волна овец послушно отхлынула назад.

Коричневолицый и голубоглазый подпасок Тишка, в фуражке набекрень, в легком и сильно вылинявшем пиджаке, идет поодаль от нас, посвистывает, чтобы овцы и коровы не подходили близко к просу.

— Михалыч, — обращается ко мне Еремей, — вы, значит, книжки сочиняете?

— Да. А что?

— У меня есть к тебе дело. Хорошо бы в газете пропечатать!

— Какое?

— Каждому пастуху непременно должен полагаться при его службе зонт. Летом зонт спасает от солнца, а осенью — от холодных дождей... Вчера, помните, какой ливень хлестал? А мы с вами шли под моим зонтом и хоть бы хны... Что под крышей тесовой. Справедливо говорю?

— И от сильного ветра, — вставил Тишка, — зонтом можно отгородиться.

Мы спускаемся с холма все ниже, по направлению к голубому озеру, на берегу которого стоят длинные белые здания молочной фермы.

Сорвалась и с чильгиканьем улетела за кусты стайка серых куропаток. Мы начали разговор об охоте. Еремей, как мне говорил, мастер подвывать волкам, — за этим я и пришел — послушать Еремея.

II

— Вчера нам дождь помешал, а нынче сходим, потрубим, — говорит Еремей. — Волки у нас есть, даже много... Вокруг нашей деревни глухие леса, овраги, болота. А в лесу жить, и как же это не уметь по-волчьи выть? Давно, когда еще был парнем, я начал заниматься этим делом. И не сразу мне

далось научиться трубить по-волчьи. Я много охотился на волков с ружьем и особенно любил ставить капканы. А потом, в первый год моей женитьбы, сам попался в капкан: забрали на германскую войну. Там мне и оторвало по самое колено левую ногу. И теперь вот у меня одна нога, сами видите, деревянная. Иду, а она: скрип, скрип. Охотиться мне тяжело, особенно зимой. Но с царской войны посуровел характером и сильно зол ко всякой несправедливости в жизни. А к волкам с тех пор я стал еще злобней, потому что волк — зверь хищный, вор, вредитель...

Раньше, когда был парнем, мне казалось, что волки, как сороки, все одинаковые. Оказывается, нет, — у каждого волка свой склад, характер; все они лобастые, но у каждого своя шуба: на одном серо-желтая, на другом синевато-серая, есть туманно-белесые, бывают и ржавой окраски с темным ремнем на хребтине... На добыче каждый горазд по-своему: один отличается смелостью, а другой — хитростью. Насмотрелся я на них, на всяких. Столько встречал...

— И не опасно?

— Если человек трус, может, и опасно, — продолжал Еремей, помяв ладонью темную бородку. — А так нет... Всякий зверь, как бы он лют ни был, сторонится человека. А меня волки — знают, что ли, — боятся. Заслышат скрип деревянной ноги — сейчас же утекают. Во-он, влево, подле болота, осинового остров... Видите? Там каждый год бывают волчьи выводки; там живет знаменитый волчище-щука. Прошлой весной, в конце мая, я взял у него пять волчат.

— Убил?

— Зачем убил? Взял голыми руками. Еще с начала весны я заметил, что в центре осинового острова беспокойно стрекочут сороки и на высокой сухой осинке-раскоряке вороны часто присаживаются. Сидят-сидят, а то вдруг падают в лес... обратно на осину поднимаются с добычей в клюве. Эге, думаю, значит там обязательно волчье логово. И вот, в полдень, поставил я стадо у озера на стойло, а сам направился к

осиновому острову. Долго лазал в чащобе. Неопытному никогда бы не отыскать волчьего пристанища, а я лезу, лезу, остановлюсь, послушаю, поведу вокруг носом... Вдруг в кустах треск сухих веток — матерый, значит, волк заслышал меня и удирает.

— А ты был с ружьем?

— Не-ет, — Еремей смеется темными глазами, — пустой мешок подмышкой, и только.

— А если бы на тебя напали волки?

— Как же они на меня нападут, коль знают, кто идет! Деревянная нога-то моя: скрип-скрип. Ну, вот... Слушай дальше. Остановился я и чую: сильно несет падлом, — недалеко, значит, волчье гнездо. Но где оно — не разберу, — вокруг воздух недвижим, и не поймешь, с какой стороны идет запах... Ладно, думаю, стану искать на слух... Начал делать круг и вдруг слышу — вроде где-то в кустах гудит пчелиный рой. Это мухи, подле остатков пищи, жужжат... Раздвинул ветки и вижу: в овраге два волчонка, то ли играют, то ли дерутся из-за кости. Заметили меня и неуклюже юркнули в заросли. Я спустился в овраг. Валяются кости, бараньи черепа с рогами, куриные и гусиные перья... В ямке, между растопыренных корневищ, плотно склубились волчата. Лечат, не шелохнувшись, словно неживые. Одного за другим положил я головастых щенят в мешок и пошел. На опушке леса слышу вдруг треск в кустах. Волчица, думаю, за мной следует. Я крепче нажимаю на деревянную ногу — скрип-скрип. Но зверь не отстает. Что такое? Глядь, из высокой прошлогодней травы показалась морда, длинная, как у щуки, зубы сверкают... Кричу:

«Ты куда!».

А волк ближе ко мне, спина ершом...

«Но, но! Ай не поймешь, кто идет!» — говорю я, а сам оробел: вижу, что преследует меня не просто волк, а сам волчище-щука. Сейчас, значит, должна какая-нибудь невеселая для меня игра начаться.

Проводил он меня, пощелкивая зубами, почти до самого стойла. Покрича-

ли, погорланили мы с подпаском Тишкой, и волк скрылся. А я уже и не рад был, что на этот раз отнял щенят на глазах у волка-щучки.

«Тишка, — говорю, — будь каждую минуту на-чеку. Знаменитого волка-щучку обидели, а его уловки известны... захочет, и быка свалит».

— Чем же он знаменит?

— Чем? Слушай, если не лень. Такой волк своей обиды никогда не простит. Так оно и вышло. Наступила осень. Стережем мы с Тишкой стадо. Ходим подле опушки леса, покуриваем. Ладно. Откуда ни возьмись — гнедой, рысистый орловец-трехлеток, жеребчик Ухват. Вырвался он из нашей колхозной конюшни и давай скакать по полю, по зеленым. Хвост трубой, всхрапывает и скачет, собой радуется. Глядим, а рядом с Ухватом бегают огромный дымчатый волчина. То обгонит жеребчика, а то вернется, играючи, назад, круги делает... Уши прижаты, глаза сощурены, длинная щучья морда оскалена, вроде смеется, а клыки сверкают... Я хотел было крикнуть, а Тишка мне:

«Подожди, дядя Еремей, Ухват сейчас угостит волка...».

И верно, Ухвату вроде любо поиграть с таким зверем. Волк только хочет приблизиться, а Ухват надаёт ногами и норовит даже зубами его цапнуть. Долго они так занимались, а потом волк изловчился и — хватъ жеребчика зубами за хвост. Ухват всхрапнул, поскакал на всех парах. Зверь волочит, тормозит, из-под лап летят комки земли. Ухват скачет все напористей и лише. Но вдруг... там, где кончались зеленя и начиналась жнивье, волк сразу сжался в комок, всеми ногами крепко уперся в бугорок и выпустил из пасти хвост... Ухват полетел кувырком. И не успел он подняться, как волк очутился у него на шее.

Мы засвистели и загомонили, стали кнутами хлопать. Ну, где уж там... Подбежали к Ухвату, а он лежит — закаптался глаза, изредка вздрагивает. Из горла ключом бьет кровь... Вот он какой, волк-щучка! Тишке, подростку, отвел он глаза — это уж туда-сюда, а

мне, опытному волчатнику, никак нельзЯ простить, что на моих глазах волк коня зарезал.

Потом мы устроили на волков две облавы. Убили пять штук, а волка-щучку так и не видели. Этим летом он опять появился. Раза два я с ним уже переключался. Отвечает он неохотно и каким-то утробным баском. А в последний раз джюе ладно вышло. Такая потеха...

Еремей ухмыльнулся и, опершись руками на палку, посмотрел куда-то вдаль.

— Не опоздаем? — спросил я.

— Не-ет. Заря еще слабо горит...

— Ну, какая же, говоришь, потеха вышла?

— Да это — скорее и не потеха, а факт...

Еремей помолчал, обернулся к стаду, мирно шедшему позади нас. Какая-то корова затяжно кашляла.

— Тишка, чего там Комолка нехорошо кашляет? Глянь! — крикнул он и продолжал: — А факт, значит, начался вот с чего. Жена моя Марфа — может, слышали? — вот уже шесть лет заведует МТФ. Три раза премирована, стахановкой значится. Дело свое она любит, и все шло у нее полным ходом. Из других колхозов часто приезжали посмотреть, как она орудует... Под ее наблюдением пятьдесят семь коров и хороший, неугомонный бык — Лобан. Но вот в прошлом году пришла в колхоз бумажка, в которой приказывалось получить для фермы другого, лучшей породы, быка, а Лобана, говорят, можете сдать на мясо. Ну, так было и сделано. Марфа рада, что получила породистого быка Красавца. И верно, на вид Красавец джюе завидный, но глаза унылые-унылые. И как только он появился у меня в стаде, я дал ему новое прозвище — Нюня.

«Что-то он вроде смирен, — говорю я как-то Марфе, — и к коровам не яровит?».

«Чем скот породистее, тем он умнее и смиреннее» — отвечает Марфа.

«Смотри, — говорю, — тебе лучше знать, ты два раза курсы проходила в пользу своей специальности».

Но вот миновали осень, зима. Марфа с каждым днем становилась угрюмей. А с наступлением весны совсем загоревала. И как ей не горевать? Почти все коровы оказались яловыми. Что тут делать? Планы по приплоду телят лопнули, а в ответе за все кто? Марфа. Посоветовалась она со мной, с председателем нашего колхоза Ивашиным и направилась в район. Заявила там:

«Возьмите вашего порченого быка, а нам дайте хорошего».

Заведующий райзо Гамов ответил: «За быка Красавца мы можем ручаться, а что приплода коровы не дали, в этом ты, гражданка Лукошкина, виновата. Хозяйствуешь плохо!».

Вернулась моя баба домой и в слезы: «Что мне делать? Опозорили, голову сняли! Прислали бесплодного быка, а я виновата».

И действительно. Работала, не покладая рук, со всей душой, а тут вдруг навредили ее хозяйству и ее же, Марфу, судом пугают. Вечером я забегу домой, начну бабу утешать, а она и слушать меня не хочет, плачет. Очень обидно ей за урон на ферме, и к тому же Гамов накричал, пригрозил. Вскоре заехал к нам инструктор из района, а потом среди колхозников, особенно доярок, слушки пошли: «Марфа, мол, сама во всем виновата. Надо перевести Марфу в рядовые доярки». Как тут быть? Сильно и меня задела такая несправедливость. Закипело у меня все внутри... Целую ночь Марфа сочиняла письма куда-то в центр... А я ей говорю:

«Не так надо давать отпор!».

Рано утром я запряг лошаадь, привязал к задку телеги быка Красавца-Нюню и — в город, в район. Являюсь к самому Гамову. Он сидит за столом, пишет. Я объяснил, зачем приехал. Он косо метнул на меня взглядом и опять пишет, уткнувшись круглым лицом в бумаги, как сова в добычу. Да и весь он похож на сову: сутулоплеч, голова тупая и лысая, и глаза не мигают. Я жду, гляжу на него в упор и думаю: «Не отступлю от своего. Добьюсь правды!».

Он спрашивает:

«А ты кто такой?».

«Пастух».

«Пастух — стереги стадо, а зачем же ты быка привел?».

«Примите, — говорю, — порченого быка и погасите нам убытки от него по ферме».

Гамов, грозно глянув на меня, повысил голос:

«Что-о? Какие убытки?».

«Принимай, — говорю, — быка под расписку, иначе привяжу его сейчас к двери райзо! А если попытаешься привести его нам обратно, то, смотри!.. привяжем быка к твоей шее!».

Сказал я так-то и вышел. Красавца-Нюню привязал не к двери, а за тополь, напротив окон комнаты, в которой сидел Гамов.

Вернулся я домой, рассказал предколхоза Ивашину, как все случилось. Он и Марфа накинулись на меня. А я им:

«Не-ет, что хотите, со мной делайте, а в таком деле я суров характером».

На другой день председателю позволили, чтоб срочно явился в район. Ивашин — человек хозяйственный, но не очень смел. «Что ты, — говорит он мне, — наделал? Факт. насчет быка вызывают». Уехал он. Оказалось, Красавца-Нюню Гамов куда-то уже определил и предложил получить за него денежки. А вместо суда над Марфой вдруг было решено еще раз направить ее на курсы животноводства, хотя она и без того сильно знает свои обязанности. Ладно. Так все это и кончилось бы, но, прошло недели две, прибегает ко мне на луг Фомка, сынишка председателя.

«Скорее, — говорит, — иди к леснику в избушку. Срочно тебя требуют...».

Являюсь в лесникову сторожку. Гляжу, там сидят Ивашин и сутулый Гамов. Пьют водку, закусывают колбасой. Меня всего так и передернуло. Если бы знал, что тут Гамов, лучше бы не шел. Ненавижу я нечестного человека, а тем более, если он является каким-нибудь начальником.

«Еремей, — говорит Ивашин. — товарищ Гамов приехал послушать, как ты волков подвываешь. Отзовутся они нынче?».

«А почему же? — говорю. — Умело поголосить, всегда откликнутся. Выводов много...».

Сажусь на лавку, в сторонке. За столом хозяйничает сам Гамов, важный, морда красная от выпитого. На меня он посматривает свысока и хищно. Припоминает, должно быть, мой разговор с ним о быке. Ну, выпивает он и закусывает, щедро потчует Ивашина, а меня вроде и не замечает, и даже хотя бы из приличия пригласил к столу. А ведь вечер понатужился, подвызая, утром встанешь — голос охрипший, в зеркало посмотришь — себя не узнаешь: глаза опухшие, краснотой налиты... Я закурил и, стараясь не глядеть на Гамова, думаю: «Не важна мне твоя стопка водки и колбаса. Мы с Марфой сами живем так, что в любое время, если захотим, можем и выпить, и лучшую закуску иметь. И не в этом толк, а в чести и уважении к человеку». Сажу я, как на гвоздях, неловко и стыдно мне за Гамова. Приехал он, чтоб я ему доставил удовольствие, а ведет себя гордо и занайски: «Я, мол, начальник, а ты так себе, мужик и к тому же пастух, поэтому, мол, знай себе место и держись поодаль...».

Совсем я уже хотел уйти прочь из сторожки, но слышу, Гамов напоминает Ивашину о быке Красавце-Ньюне. Ивашин охмелел, раскис, лебезит, а меня это словно ножом по сердцу.

«Да, — говорит, — осечка у нас с быком вышла... Ну, ничего...».

«С быком, — говорю я, — осечки не вышло, а вот на ферме получился убыток позорно громадный...».

«Мы уж тут с председателем обо всем договорились, — отвечает мне Гамов. — Ничего, поправится дело и с фермой...».

Гамов вылил из бутылки в стакан остаток водки и предложил мне: «Выпейте». «Спасибо» — говорю я. Он поднялся, идет ко мне, в одной руке стакан с водкой, в другой ломтик колбасы. Вновь потчует. А мне с усталости

за день выпить водки дюже хочется, но отказываюсь и думаю: «Хватит, быком ты нас угостил...».

«Еремей! — кричит Ивашин. — Ты чего это ломаешься? Ну-ка, хлестани для смелости!».

«Благодарствую, — говорю, — сейчас мне нельзя... Выпью, голос сразу осипнет, и какое же тогда выйдет у меня подвывание...».

Совсем уже вечереть стало. Было позднее, чем вот сейчас. Начали собираться в лес.

«Ружье, — говорю я Гамову, — оставьте, не берите с собой».

«Почему?».

«Стрелять зверя, факт, не придется, а оружие и порох волки чуют далеко. Из-за этого могут и не откликнуться».

Вошли мы в лес, а тут уже сразу я во всем хозяин и должен занять гостя. Гамов начал было со мной лестно заговаривать. Я сделал вид, что теперь, мол, ни гу-гу, зверь на подеме и может издали услышать шопот.

Еремей, окинув взглядом стадо, посмотрел на ясный диск солнца, низко стоявший над лесом, и продолжал:

— Зашли мы в самую глушь, где, по моим расчетам, должно быть не менее пяти волчьих выводов. Тихо, не шелохнется ни один листок. Поставил я Гамова на перекрестке волчьих троп, у толстой осинки-раскоряки, а для себя выбрал местечко чуть поодаль...

Совсем уже спустились сумерки. Я присел и для затравки, несмело и с заиканием, завыл неопытным волчонком. Чуть погода, слышу, направо, где-то в оврагах, откликнулся мне переярок, прошлогодний щенок. Завыл он залиристо, скорбно, очень был, видно, голоден. Я голову чуть приподнял... В подвывании важно не только уметь орудовать голосом, но надо и кое в чем другом соображать. Ляг, скажем, на землю или стоя вой, хотя бы лучше самого зверя, волк в таком случае редко откликнется. Приподнял я, значит, чуть голову, чтоб стать в рост волка-переярка, и призывно — собирайся, мол, на добычу — еще подвыл, но поглубже, чем первый раз. Слышу, то в одной сторо-

не, то в другой на разные голоса за-скулили звери. Два голоса отозвались совсем рядом, в Чаговом овраге... Жалобно и скорбно. «Эге! Вечер нынче удачен» — подумал я, а сам отошел тихонько от Гамова. Получилось так, что он очутился между мной и Чаговым оврагом. Совсем стемнело. Я подвываю, а волки отзываются все азартней и ближе. Совсем рядом, где стоит Гамов, в потемках зелено сверкнули два глаза, и, похоже, старая волчица завывала. И таким диким, глухим голосом завывала, что даже у меня, и то по спине поползли мурашки. Темно, хоть глаз выколи. Лес стонет... Но прошло несколько минут, звери замолкли. Я еще поголосил раза три, — нет, не отвечают... «Ладно, — думаю, — теперь я и без вас доставлю Гамову удовольствие». Зашел в дубовые кусты, поймал там двух светлячков. Гамова мне не видно, но я и на память знаю, где он стоит. Подошел тихонько ближе... Опустился наземь и давай ползать вокруг того места, где стоит осинка-раскоряка. У самых глаз держу в пальцах козявок-светлячков, а сам на разные волчьи тона орудую голосом, вою и думаю: «Это тебе, Гамов, за порченого быка, а это... умеи разговаривать с людьми и уважать их вдвойне, если ты начальник». Натешился я вдоволь. Но смекаю — нет ли у Гамова с собою револьвера? Стрелять еще вдруг начнет! Я помолчал, а потом ногой скрип-скрип и кашлянул, — мол, вот я иду, а волки скрылись. Подошел к самой осинке-раскоряке. И так, и этак зорко вглядываюсь в тьму. Нет Гамова. Что такое? Слышу, он пыхтит, спускается почти с самой макушки осины. Слез и молчит. И я ему не сказал ни слова, только, когда уже совсем вышли из глухих мест, заметил:

«Зверья нынче уйма было».

Прошло дней пять, вдруг поздно вечером зовут на собрание. Что такое? Оказалось, прокурор приехал — раз'яс-

нить, что в районе арестованы три вредителя, в том числе и Гамов. Собрание проходило бурно. Марфа моя так вся и рокотала от злобы. Я тоже сердито говорил, поведал собранию историю с быком. Посмеялись, как я заставил Гамова прятаться на осину. А потом сижу, слушаю народ и думаю: «Да если бы я знал, что Гамов — человек хищный, волк, я бы с ним, когда ходил на подвыванье, устроил бы не такую штуку. У меня суровый характер, я бы...».

Еремей не договорил, поглядел в сторону леса.

— А что бы ты мог сделать больше? — спросил я.

— Что? О-о! Так сделал бы. До утра бы выл.. он бы у меня...

Народ на собрании и особенно бабыдоярки сильно были разгневаны. Если бы знали, говорят, что Гамов — вредитель, повесили бы его на осине вверх ногами. И они сделали бы так... Не верите? Народу злостно вредить — все равно, что, сидя в соломе, с огнем шутить, — сам дотла сгоришь.

III

Еремей подозвал подпаса Тишку, передал ему мешок, кнут и зонт.

— Поведешь стадо один. Слышишь?

Лесом мы шли молча. Вокруг было тихо и мрачно, только впереди между ветками деревьев розовели клочки неба. Сильно пахло прелью прошлогодней листвы, грибами и разными травами.

Узкой и непрочной тропинкой мы пересекли болото, заросшее кустарником и густыми травами. Из-за темной кромки камышей поднялась сова. Неуклюжая в полете, птица, противно крича, сделала над нами круг.

— Эге! Вот теперь и нам надо поспешать, — сказал Еремей. — Сова поднялась на крыло, а волк уже потягивается, готов встать на ноги.

Кавказ

ЛЕВ ОЗЕРОВ



Здесь беркутов стреляют на лету
И наземь камнем падают орлы.
Двуглавый Эльбрус смотрит в
высоту,
И ледники его всегда светлы.

Дорога в горы круче во стократ
Разбойничьих баллад и повестей,
А по бокам необозримый ряд
Зевающих и черных пропастей.

По склонам гор джигиты, как кусты,
Разбросаны. И выкрики летят
На праздничный, особой пестроты,
Из ярких нитей сотканный закат.

Танцоры пляшут и в ладони бьют,
Танцоров песня за сердце берет.
Здесь горный, свой, особенный уют,
Здесь свадьбу торжествует весь
народ.

Здесь слышен грохот узловатых рек,
Закованных полукольцом стальным.
В таких местах рождается человек,
Как обещанье счастья остальным.



Возвращение

ПОВЕСТЬ

Б. ВАДЕЦКИЙ

★

КОБЗАРЬ ГРИГОРИЙ ФЕДЬКО

1

После долгой отлучки возвращались в село чумаки. И, как обычно, шло с ними много иногородних, а то и беглых, приставших в пути. Были среди них валяльщики и кузнецы, актеры и тарбанисты. С юга в ту пору двигалось много всяких людей. Пробирались на вольную Кубань последние запорожцы, бежавшие от Крымской войны, и повстанцы с Киевщины. Навстречу обживать Волянь ехали псалтырщики в длиннополых пуховых шляпах, польские гусары в помятых киверах и веселые «халдеи» — бессарабские купцы.

Все они сходились на старом Ромодановском шляхе, и в прошлые времена не уступили бы им чумаки дороги, а теперь сами сворачивали в сторону. Уже не те были чумаки, не ходили они дальше Дона, не тягались с купцами; на возах, кроме батожков, казанов да соли, не притаивалось никакого богатства. Серые свитки их совсем заскорузли, оттого что в дождь прикрывали ими мешки с солью.

Вечерело. Темнели сторожевые курганы. Слышалось «таканье» аистов и сухое шелканье бичей... И сразу, за горой, — Керелеевка: тополя, левады, белые, по-польски снопками крытые хаты, шинок. Доносились запахи жилья—хмеля, кизячной золы и шкварок. Возы входили в село, наперерез им в это время, к шинку, подъезжала группа гусар.

Было слышно в сумерках, как дети, забегая вперед, тянули на один голос:

Ой був ляшок морквяний,
А кінь буряковий,
Шапка його з пастернаку,
Жупан лопуховий.

И чей-то зычный окрик: «Геть, бисовы щенки! Пожалуйте, пане». У шинка всадники спешили. Ломились плетни. Из садка крикнули: «Ой лишенько, наши едут!». Замелькали бабьи платки. Чумацкие возы шумно проталкивались на середину улицы.

В это время, незаметные в общей суете, с воза спокойно слезли два кобзаря и направились в разные стороны. Один из них, Григорий Федько, вошел в хату Грушевских; другой, вытянув шею, по звукам угадывая, куда итти, нащупал палкой плетни, стукнул в окно, крикнул: «Чьи?». В хате было темно; из соседнего двора спокойно ответили: «Проходи дальше, Агапка примет, ее черед».

Пока слепец искал тех, чья очередь принимать кобзарей, Григорий Федько уже помыслы с дороги и неторопливо разбирал сумку. Почти каждый год, заходя в Керелеевку, он останавливался у Никиты Грушевского, и сейчас он чувствовал себя здесь своим. Была ему по сердцу строгая простота мужицкой хаты и даже холостяцкий неурядок в ней: кучка чая и табака на подоконнике. Старуха внесла ужин. Дети один

за другим, косясь на кобзу, молчаливо и быстро, словно через овраг, прыгали от порога к стене. Они помнили, как уходил дед в прошлом году с темным лицом, с пустой сумой и у них же взял сушеных карасей на дорогу. Пришла Ярина, низко поклонилась кобзарю, за ней, держась за руку, пятеро слепых мальчиков из семьи Ковтуна. Ждали, что расскажет кобзарь. А дед не спешил, сквозь степи и города пронес он затаенные песни, — на папертях и в богатых домах их не пел. На площадях привык дед по-слепецки моргать веком или недвижно глядеть сохранившимся глазом (был он слеп на один глаз), здесь же глядел зорко, по-охотничьи. Он всматривался, нет ли знакомых из тех, кому не следует доверяться, — чего доброго, погонят из села. Он вынул и разгладил на столе писанный углем портрет Сквороды — веселого старика с библией и флейтой в кармане. После этого тронул кобзу, сожмурился, запел веснянку. Едва кончив, не переводя дыхания, начал рассказывать о том, как встретился Скворода с Сатаной. «Я такой же веселый, как ты, но не плут», — говорил он Сатане. «Что делали бы попы, не будь меня? — спрашивал Сатана. — Ведь отупели бы». Рассказал о чаровнике, победившем всех богословов, и только тогда запел о том, что видел сам за год. Дед помянул, как в Веселом Подоле хорошо угостили его на свадьбе, и начал приглушенно рассказывать о том, что некуда казаку податься из барской неволи.

И скрізь на славній Україні
Людей у ярма запрягли.

Но тут Ярина из-за угла крикнула:

— То Тарас сочинял, дядько!

Она подбежала к нему, откидывая косы, схватила за плечи и, словно сонного, тормошила:

— Ой, дядько, то не ты сочинял, скажи.

— А я разве спорю? — смутился дед. — Сочинял земляк, а передают люди...

Но, не слушая его, уже кричали другие:

— Дядько, где ты встречал Тараса?

— Да разве ж я встречал его? Может, судишь по тому, что я эту песню знаю? — Старик встал и поднял руку. — Слушайте, я поясню вам.

Но по деревне уже, спотыкаясь, бежал слепой сын Ковтуна, тыкался в окна и кричал:

— От дяди Тараса человек пришел.

Еще скрипели кое-где возы, и не стихал шум шинка. Во многих дворах сошлись родичи проведать вернувшегося чумака, но, заслышав о Тарасе, перебежали к хате Грушевых. Кое-кто из знавших кобзаря недоуменно спрашивал: «Та же ж Федько. Чи он бачил Тараса?».

В хате было полно. Свет лучины падал на льняную голову кобзаря, на восковые его руки и старую кобзу. Дед жался к стене, закрыл глаза, как, бывало, на площадях, когда приставали к нему школяры да пьяные.

— Тебя слушают, Федько, — сказала ему Ярина.

Дед встал и, как ответчик перед собранием, говорил, не подымая глаз:

— Не видали мы кобзаря Тараса, но пришлось нам как-то в русской колонии быть, в два дома просились — не пустили, и сказал я им о Тарасе Шевченко, — к слову вышло, — и пустили нас. И после, когда мы свое спели, они эту песню сказали нам... Они, москали, знают эту песню. И что говорят они о Тарасе? Будто большое учение кончил Тарас, и сам царь боится его. И разумом он не меньше Разина и Пугачева, а сердцем его народ издалека слышит. И москали пели нам о Разине и Тарасе. Сейчас не припомню песню ту. Только Разин не ученый был и ратной отвагой отличался, а Тарас всех царских художников, писцов да знатных ученых одолел. Потому царь и сослал Тараса на Каспий.

И еще раз, словно оправдываясь, Федько сказал Ярине:

— А встречать — не встречали его, что ты?..

Весь вечер был разговор о Тарасе. Вспоминалось Ярине: белит она с Тарасом хату ранней весной, полосы синьки сбегают ручьями, хрустят льдинки,

чисто поет овсяночка. Пахнет мохом и паром обмытая дождем клуныя.

Разрисовывает Тарас печи, и так хорошо выходят у него замшевые сережки вербы, что в хату сбегаются женщины.

А она и виду не подает, что гордится братом. Только, когда пошел Тарас в казачки к помещику, пожалела, что не остался на печи тот рисунок, — мачеха стерла. Мачеха что? Попрекает Тараса: не зря, мол, отец завещание оставил: «Сыну моему Тарасу из моего имущества ничего не надо, человеком не будет каким-нибудь...». Завещание на большом листе написано и памятно всем. Нет у Тараса ни земли, ни хаты своей. Мачеха говорит: не заботится Тарас о семье, а он, мальчишкой, как почитает псалтырь над покойником, пятак в дом несет, и теперь из Петербурга деньги слал, и в письмах писал, что не знает покоя, пока из крепостной неволи родных не выкупит... Ладно, хоть сам вышел. Да нет, вышел ли? По какому тракту его из Питера на Каспий везли и жив ли? Три года вестей нет. Мачеха помянула раз: «Упокой, господи, раба твоего Тараса». Брат Варфоломей панихиду служить предлагал.

Хотелось Ярине сказать о Тарасе, — стеснялась.

К ночи уже, когда за окнами прошел с колотушкой сторож, спросили Григория Федько:

— О воле что слышно, рассказывай.

— Мужик свободен, а помереть негде, земли ведь не дают. Слыхали, паны не отделяют...

— Пану не беднеть, нам не богатеть.

— Энгельгардту не беднеть из-за нас, не таков он, — согласились тут же. — Коли так, чего думать напрасно, а только, Григорий, как же, о воле говорить?

— Говорят, — хмуро согласился кобзарь.

Поднялся сосед Грушевых, чумак Мусий, поклонился кобзарю и сказал строго, размеренно:

— А все же, Григорий, тарасов ты человек. Для всех кобзарей Тарас старшим будет. Должен ты знать, что Тарас о воле думает. Думы его ни в какую крепость не спрячешь, вырвутся. Или

мало ты по свету, Григорий, ходил, что от панычей о нем не проведал? Энгельгардту пишут, небось, из Петербурга.

— Пишут, — подхватили другие.

— Так-то. В гурте потолкуй, после расскажешь.

— Ну, прощай, Григорий, слушать тебя придем на неделе, — говорили гости, расходясь, и, по обычаю одаривать кобзаря, кланялись от дверей:

— В хату зайди — хлеб возьми.

— И нашу хату не пройди!

— Зайди, Григорий!

— Спаси бог! Спаси бог! — кивал головой кобзарь, не стибаясь, и устало моргал глазом.

2

Старая деревянная церковь окнами в малинник, обжитая, сырая и темная. Строилась по форме корабля, три купола, как башни на палубе. Почерневшие узорные кресты и на одном из них цепкое гнездо грача. Внутри: иконы со святыми на-вытяжку, покрытые полотнами, громадный, в три яруса, иконостас.

На паперть вышел дьячок Середа, веснучатый, быстрый, в подоткнутом дымчатом халате; заметив кобзаря Федько, крикнул:

— Григорий, а ну зайди!

И сразу торопливо заговорил, заводя в церковь, к скамейке:

— Чего ты у Грушевых сидишь, только и разговоры — у них, а время-то какое, страх божий.

— А что?

— Э, Григорий, отца Петра в Черкасах били, зачем манифест утаивает, думают — уже объявлен, а Тарас у Грушевых смутьян, — быть ему в Сибири, не пустят сюда.

— Не в Сибири он, на Каспии.

— Все равно — Сибирь, — упрямо сказал дьяк. — Выслали — значит Сибирь. А разве ты знал Тараса?

— Нет.

— А я знал. Когда школяром был, дьякона Бугорского пьяного в крапиве отстегал за обиды, никто не видал, я сам тот ничего не припомнит, но только больше некому. А не задирист был, да же смирен с виду.

Помолчал и, чуть толкнув кобзаря, словно тому все на селе известно, зашептал:

— Отец Петр—капитан теперь. Власть капитана-исправника ему дали! Прихожан устрашать! Служитель церкви! Время-то! А только, Григорий, есть печаль тяжелее: с одного боку москаль жмет, с другого поляк донимает. Отец Кошецкий—поляк, из униатов, не подойду к нему. Богословы, риторы — из панов. Переехать хочу... Чего же ты, Григорий, опять пойдешь?

Не дожидаясь ответа, он прошел к алтарю и вынес в тряпке кусок сала.

— И чего ты ходишь все, Григорий?— сказал он, подавая ему.—Говорил господь: «К путнику милосердным будь», а дома ведь лучше. Ну, как без дома жить?

— А петь-то кому?

— Петь-то? — повторил дьяк. — Вот и поешь ты, слышал я, еретическое, на свою голову.

— Псалмы Сквороды, ратные сказы да церковные песнопенья пою.

— Добро бы, коли так, — предупредил я тебя, Григорий.

В церковь входил Филипп — кат¹ помещика Энгельгардта. Федько вышел в садок.

— По делу к тебе, — сказал Филипп, снимая шапку.

— Какое дело? — надулся дьячок. — Бога нельзя гневить в церкви. Выйди на волю.

Филипп послушался.

Филипп заговорил отрывисто, глядя в сторону:

— Пруд копать надо. Управляющий наказывал. Молебен бы! К тебе послал. Народ сзывать будем. Слышать, что барин продавать село хочет. — Палач едва заметно усмехнулся. — А новый барин без пруда не берет. Слышно, погорело без прудов много деревень нынче. Управляющий спешит с молебном...

Дьячок недружелюбно слушал Филиппа, поднялся и молча ушел в церковь.

— Ну что же? — крикнул ему вслед Филипп.

— Иди к отцу Кошецкому, — донесся из церкви гулкий голос. И вслед за этим дьячок неожиданно прокричал нараспев:

— Двери, двери, оглашенные, изыдите...

— Хорохорится, чорт, — сказал Филипп и направился к дому священника.

Дьячок же, почувствовав себя увереннее, и как бы в отместку за непристойную вольность палача, долго басил, начиная службу.

Григорий Федько лежал в церковном садке у забора, и странное чувство охватывало его: словно всю жизнь лежал он здесь и ждал для себя только плохого.

Ходят кобзари по древним степям Украины, мимо синих курганов, сельских шлагбаумов и казачьих станичных постов. Ходят, и одно над ними старое, звездное небо, и одна впереди исхоженная уже дорога, и одно горе. И быть ли этому всегда, как восходу и закату, привыкнуть ли ко всему и умереть внезапно на паперти или на гулянке, головой на дсдовской кобзе? Так умерли Мусий Ляшенко, веселый полтавский кобзарь, и гундосый, хилый Никита Погребец. И так умереть ему, Григорию Федько. Кто знает: споют ли хоть о нем хорошее поминанье, отличат ли среди других, или молча заркоут в стороне от кладбища и ближе к дороге, как хоронят самоубийц и покрыток¹.

Он пытался представить себе, что будет, если освободят крестьян. О манифесте настойчиво говорят в селах, и даже староста не преследует больше за эти речи. Что же, выедет Энгельгардт и отдаст землю мужикам? Отменить ли барщину, и отделить ли земельмер мужикам участки? Посмеется пан над их участками, как над детскими грядками. Пан ведь не обеднеет, как же мужик богатеть будет? И чего кобзарь нового споет? А от него, Федько, требуют, ждут... Его о Тарасе спрашивают. Он, Федько, в селах советчик.

¹ Покрытка — обманутая, вабеременная девушка.

¹ Кат — палач.

Спокойнее жить кобзарю-сумнику, «слезнику», из тех, что похорон да поминок ждут, у больших церквей трутся. Любят кобзарей с песнями о Запорожье, о Хортице. Да мало их с тех пор, как засеяли Хортицу картофелем в поругание над Сечью. Бывало, приносили кобзари песни с повстанья, а теперь?..

Вот Тарас Шевченко не слезник. И в народе знают его; а не каждый кобзарь споет его песни, — не по голосу. Быстры песни у Тараса и беспокойны. Кобзу сразу не приноровишь. И чего хочет Тарас?

Думая об этом, Федько задремал. Проснулся он от чьего-то тяжелого сопенья и тихого причитания людей. Заглянул в щелку забора, увидел стол, накрытый вышитым полотенцем, тяжелую бахрому хоругви, священника в епитрахили и поодаль — толпу женщин, отдельно от мужчин. Заметил он, как белый дымок из камильницы секунду застревал в листве, как аист с высокого гнезда на столбе тревожно глядел и приподымал крылья. Шел молебен.

Дьяк забасил, но Федько не слушал его и упорно смотрел на стол.

Священник Кошецкий разложил на столе какие-то списки и заговорил. Федько привстал и тихо приблизился к толпе.

— ...А ежели те чумаки, — говорил Кошецкий, — что возят с собой не рыбу и соль, а смуту и ослушанье, а также непристойные вести о том, что не подлежит еще знать нам о царских указах, будут упорствовать на своем, — то пойдут в крымское ополчение. Песни же Тараса Шевченки, поелико запрещено ему государем писать и рисовать вовсе, тоже запрещению следуют, и да не будете противиться вы, ибо не помянуты в его песнях божьи заветы и нет в них красоты малороссийской. Говорю к тому, что нашлись в Чигирине и в Черкасах люди, сказывающие песни Шевченки. Чумакам надлежит явиться ко двору управляющего Дмитриенко, и всем крепостным и отпущенным и гостящим ныне в селе прихожанам рыть пруды по приказу.

Федько с любопытством слушал Кошецкого. «Ой лях, лях, какой хитрый, и впрямь, как исправник, толкует. А затревожили-таки злыдней тарасовы песни. Может, и верно добьются свободы мужики!..».

Речь попа убеждала Федько в мужицкой силе. Он подождал, пока очистится паперть, и легко зашагал, огибая церковь, на улицу.

Солнце спускалось на клуни, на колючие красные розы, насаженные перед хатами. Тень колодезного журавля расчерчивала дорогу.

Посредине послушно стояли женщины. Филипп первым сильно ударил лопатой в поросшую травой землю, за ним молча склонились с лопатами остальные.

Григорий Федько видел, как равнодушно рыла землю Ярина, и ему было жаль ее. На его глазах старилась приветливая молодая хозяйка. Еще сохранила Ярина скорбную, уходящую красоту. Кобзарь любил ее улыбку, быстроту, как вспышка. Ярине тяжело жилось замужем, тяжело и вдовой теперь.

Федько подошел к Ярине. В толпе шепнули ему:

— Ушел бы, Григорий, переждешь — вернешься.

— Пруд-то с месяц копать, — сказал он.

— Иначе барину не продать нас без пруда, — пронеслось в ряду.

И Ярина сказала строго:

— Уходи, дед, уходи, слышишь? О тарасовых песнях узнал поп. Ой, беда наша, была надежда — выкупит Тарас, теперь чего ждать?

Федько вошел в одну из хат, куда приглашали его. В чистых, белых сенцах нашел макитру с молоком, буханку хлеба, — половину отрезал, взял. В хате не было никого. Неожиданно в подвешенной к потолку корзине заплакал ребенок. Федько ловко и неторопливо раскутал его, взял на руки, обдавая запахом тютюна.

Во дворах было тихо, в маленькое чистое окно прокрадывался закат. Федько уложил ребенка, прибрал в хате, вышел и, не останавливаясь, направился в Будницы — к помещью Энгельгардта.

3

Корреспондент «Пчелы», известный под именем «Мирской соглядатай», неделю жил в поместье Павла Энгельгардта. Привез его досужий почтарь — самый свободный дворовый человек, тщательно ожидавший на границе помещичьих владений каких-либо пакетов. Привез и сам подвиглся своей смелости: приезжий не был ни столичный родственник, ни врач, ни чиновник, а помещик, по слухам, готовился к распродаже и велел никого не принимать. На покупателя приезжий тоже не походил, был одет в старенький плащ с большой цепью на застежке, сам тщедушный и суелливый. Поселился он у откупившегося плотника, стеснял его семью расспросами о барщине, но платил исправно. Искал он в деревне кобзарей, записывал стариковские сказки.

Помещику послал визитную карточку с льстивой припиской из сочинений Гребенки: «Что за губерния! И степей, и лесов, и садов, и буераков, и шук, и карасей, и вишен, и всяких напитков, и волов, и хороших коней, и хороших людей — всего, всего вдосталь. Ну, как не описать во славу государства помещичью жизнь!».

Когда-то генерал-поручик Василий Энгельгардт держал свой театр, и последний из крепостных актеров поведаль приезжему, в каком тоне лучше писать барщину.

Помещик принял не сразу, и, проходя в его покои, корреспондент убедился, что, действительно, молодой Энгельгардт готовится к отъезду. Фамильные портреты, картины суздальского письма, иконы с ликом ченстоховской богородицы лежали снятые со стен. Передняя была загромождена коврами, шкапами для сыров, мебелью.

— Враки все, — сказал молодой Энгельгардт, подавая руку. — Пожалуйста, садитесь. Кони, может, и есть, но хороших людей я еще в нашей местности не встречал. Пожалуйста, ничего в «Пчеле» обо мне не пишите.

Раздраженный и грубоватый, он тем не менее был приветлив и по-мальчишески прост. В помятом цветном

шлафроке, он грузно ходил по комнате и изредка поправлял оплывавшие свечи.

— Читатели встревожены частыми беспорядками, редакции хочется дать несколько натуральных картин упроченного благоденствия в крае, — просительно сказал корреспондент.

— У меня не было беспорядков. Я вот умел со своего крепостного Шевченки пользу взять, а теперь его без пользы заперли в крепость. Я и сейчас говорю: верните мне Шевченку — и если не задобрю его, так выпорю, но картины он будет писать... Так нет, он, видите ли, государственный преступник. Выдумали. Поэт Жуковский не таким его видел у меня. И сам Жуковский, думаю, не тому его учил. А помните стихи Жуковского:

Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи!

— Вы уезжаете? — вдруг спросил корреспондент.

— Да, только не от мужиков, извольте знать, а от господ дворян, от губернатора, от того, что скучно и руки связаны. Ваша газета печется сейчас о нас, а не так давно она же о денационализации края писала, о том, что мы — литовцы и поляки — космополиты, народ портим, казачков да ряженных в деревни шлем, да Хмельницкого портрет, видите ли, не повесили у себя дома. Да что поп от нас убежал, что школы не держим. Да что вспоминать? Я жду, — крепостное право отменяют?

— Многие ждут, многие, — угодливо сказал корреспондент.

— И зря, — зло прервал его Энгельгардт, — вы, конечно, за отмену. Как же, одна страна в Европе с крепостными, варварство, думаете, а отпустите крепостных, тогда, наверное, беспорядки начнутся. Да, да, не удивляйтесь, я согласен с Дубельтом. Он писал царю, что помещик — природный исправник, лучший сторож государства. Это верно! Пока у меня не было беспорядков, а тогда — не ручаюсь. Впрочем, уезжаю... — Он в упор поглядел на гостя и сказал мирно: — Слушайте, что вам подарить на память, пойдёмте, поглядим.

И, неожиданно взяв гостя под руку, он увел его в картинную галерею. Корреспондент должен был разглядывать картины работы Даниила Ходовецкого и молодого Яна Матейко и между ними увидел рисунок Шевченко. Окрестности Вильны, литовские замки предстали пред ним в гравюрах.

— Вот возьмите, — сказал Энгельгардт, показывая на портрет Киприды, — я не повезу с собой, а работа замечательная. Копии нет, я не дал срисовывать. Возьмите на память, но в «Пчеле» обо мне ничего не пишете.

И Энгельгардт простился.

В этот же вечер привели к приезжему кобзаря Григория Федько.

Пел ему Федько сказанья о полку Игореве. О том, как метал князь Все-слав жребий, о девице милой во время царствования Траяна, как

На коне он скакал к городу Киеву
И коснулся копьем золотого стола
Киевского.

Пел ему о славе ратной, о степях малороссийских и о народе вольном, царю благодарном, пел, закрыв глаза и чуть улыбаясь в усы.

Тот же почттарь вез корреспондента обратно до первой корчмы.

Всю дорогу, теперь уже не боясь, сетовал он на жизнь, на то, что ляху да литвину приходится служить, а теперь и неведомо кому. Энгельгардт на торгах поместье продаст с крипаками вместе. Семнадцать сел имел раньше, три села продал, одно село по закладной отдал, тринадцать осталось.

Почттарь сокрушенно высчитывал помещичьи доходы да подати, отгадывая, с чего бы ему продавать дом, а приезжий думал о том, что он напишет в газету из рассказанного Григорием Федько.

А начнет он обращением к читателю: «Освежите вашу душу волнением, послушайте старого кобзаря...».

Громадный портрет Киприды в тяжелой раме заполнял все сиденье. Корреспондент жался в угол, слабой рукой поддерживая раму. Иногда картина раскрывалась, и прохожим казалось, что везут большую икону. Было совсем тем-

но, когда почттарь высадил приезжего с тяжелой ношей у грязной корчмы и завернул обратно по ухабам.

4

В конце старого энгельгардтовского сада, на горке, в переделанных беседках жили отпущенные крепостные актеры, из тех, кто получал от помещика ежегодную грацию¹, не имел близкой родни и прижился в поместье. Отсюда виден был фасад помещичьего, белого дома, в коринфском стиле, мраморные колонны и резные балкончики, громадный флюгер.

Трое стариков, живших в беседке, наблюдали за домом, угадывая по движению в нем о сборах помещика в отъезд. Старшему из них, привезенному из Шереметьевского театра, трагику Горькову, было девяносто лет. С тех пор, как сыграл он последний раз любовника из «Белой дамы», — а было это лет двадцать назад, — приходилось ему петь только в церквях.

Он бродил по саду, сметая сухие листья, и тревожно напевал из какой-то оперы: «Уезжаешь, старый князь, уезжаешь...».

Рядом, за забором, спускался к оврагу расчищенный сад с клумбами и желтыми дорожками. Григорий Федько вышел к беседкам, встретил стариков. Один из них оцепенело сидел, вцепившись рукой в грязную белую бороду, другой, словно в забытьи, что-то бормотал под нос, один Горьков бодро похаживал с метлой.

— Никак Федько? — сказал Горьков, всматриваясь. — Ну, так и есть, Федько. Значит, ходишь еще?.. Глядите, братцы...

— И ты, мой друг, на этом брэнном свете... — оперно сказал другой, поманив кобзаря громадным рукавом свитки.

— Помещик-то не переживет тебя, слышал — уезжает?.. — сказал Горьков.

— Что же ему? Будет в Петербурге жить, — тихо возразил Федько, садясь рядом.

¹ Грация — пенсия некоторым крепостным.

— Умрет теперь, — уверенно сказал Горьков. — Распродается — значит запыет, завертится, и смерть его роду.

— Или в городе панам жизнь плаха? — не сдавался Федько.

— Эх, Григорий, сколько по земле бродишь, а нюха нет. Неужели не чуешь: смердит, умирает барство. В прологе участвовать да финала не знать? Шестьдесят лет при барине жить, в операх играть, а в жизни слепцом остаться? Говорю тебе, не те господа сейчас, дело их к концу идет.

— Думаешь, царь волю даст? — спросил Федько.

— Дурная голова, что же он, царь-то, тебя заместо себя поставит? Его царское дело — неволить тебя...

— «Я чую, в мире что-то происходит, зловещее и страшное, как сон», — не удержался второй старик.

Горьков махнул на него рукой, присел к Федько, заговорил:

— Малец был из народа, крипак, по нему о многом сужу. Нам-то на сцене Кукольник иной раз в ум ударит, — и язык становится не твой, а малец просто сочинял. Тарасом звать, на фольварке работал, потом приезжал художником сюда, выкупленный, и записывал я стихи его. Не Кукольника стихи, сами в душу идут. Не знаю, жив ли?.. Коли хочешь, сейчас принесу...

Он поднялся, пошел в беседку. Федько услышал скрип передвигаемых им корзинок, лязг ведер и квохтанье потревоженной наседки. Горьков принес аккуратно сплетенную тетрадь между двух тонких дощечек. На ногтой бумаге под скрипичным ключом были мелко выведенные строчки.

— Говорил Тарас, что, если удастся напечатать эту книгу, «Кобзарем» ее назовет. Так и сделал. Видел его книгу. По ней буквам учились. Василь, — толкнул он третьего старика, — проснись, божий человек, гость у нас, иди за водкой...

— Не шутишь? — очнулся тот, и на Федько глянули сквозь спустившиеся волосы добрые водянистые глаза, — не шутишь?.. Бегу, бегу, Савелий Кузьмич, дай-кось торбу и чайник возьму.

Он вскочил, качнулся и длинными, заплетающимися ногами в грязных штанинах засеменял к беседке и оттуда чуть не кубарем — в барский двор.

Федько покачал головой, промолчал.

— Блажной он, лишнее живет на свете, — понял его движение Горьков. — А напьется — что пень. Мы щелкаем по лицу — не чувствует, только дышит. И всегда пьян.

— Савелий Кузьмич, — попросил кобзарь, — дай мне тетрадку эту, не нужна она тебе, а меня народ спросит.

— Что ты, что ты, Федько, — испугался Горьков. — Да разве для огласки она?.. — И вдруг успокоенно рассмеялся:

— На что тебе? Читать ведь не умеешь?

— Целовальник прочтет, запоминать буду.

— Да ты рехнулся: да и где ж такой целовальник, что не донесет на тебя? Стар, а малый ребенок. Ну, запоминай, коли хочешь.

Мир краю прекрасный, розкинный, богатый,
Хто тебе не мучив, як би розсказать...

Он медленно прочитал стихотворение. Василь вернулся с водкой, хлебом и куском сала. Все четверо расположились на траве. У Василя дрожали губы. Горьков сказал, наливая доплна белые, обкусанные чашки:

— Выпьем чарочку за шинкарочку. Эй, Василь, пляши, божья душа.

Василь поднялся, и Федько с удивлением заметил, как расслабленная фигура его вдруг обрела твердость. Василь сложил накрест жилистые руки, разогнулся и медленно закружил ногами. Лицо его актерски преобразилось, и трудно было разобрать: на самом деле он весел или подражает кому-то. Так некогда изображал он пьяного чаровника.

Горьков хмелел. Он встал, тянул к себе кобзаря, что-то путая, сипло пел:

Эх, далеко до корчмы,
Пан помрет, но живы мы.

В помещицьем дворе чинили кареты. Никто не знал, с каких радостей пляшут на горке, подобно гоголевским ведьмам, эти странные старики.

А по тракту, через Будинцы, двигались возы, кибитки и конники. С юга и с севера, в гости и на войну ехали ополченцы, чиновники и подрядчики. В жаркую, хлебную Волинь мерно шел звонкий цыганский табор. Со стороны Керелевки несли, как хоругвь, герб Флерковского, нового хозяина поместий, — изображение двух горлиц на рыцарском щите.

Лошади волокли повозки с панскими сундуками, а сам пан ехал в громадной колымаге, подталкиваемой мужиками, ехал с гостями и управляющим.

Курили они из длинных чубуков, и душистый дымок вился из окна над головами мужиков.

5

Кобзарный гурт находился под Корсунью, в деревне князя Лопухина. Ровная дорожка с улицы, засаженная по краям акацией, чтобы слепцы не сбивались с пути, вела к старой избе. Подпорки поддерживали избу кругом, даже рамы окна подпирались колом. У входа над иконой раздувалось грязное полотенце, о которое слепцы, бывало, вытирали руки, и стоял ящик с копилками, сумками и разным дорожным достоянием слепцов и поводырей.

Вели хозяйство ученики, из тех, что смолоду наследуют по слепоте своей и способностям святое кобзарное дело. Помогали им зрячие, присланные местным кобзарным покровителем. Знали все, что в районе покровитель им — дьячок Середа, в губернии — доктор Заславская, а во всей России над всеми каликами переходжими — великая княгиня Елизавета. И знали, что идет в губернии уже третий год спор, относить ли кобзарей к нищим, или выделить к разряду искусников, людей, чтимых народом. В Киеве учительство подало прошение губернатору о признании кобзарных прав особым указом: и о ежегодном сборе кобзарей при городской капелле. Поминали стихи:

Ой, пора тебе на волю, песня русская,
Благовестная, победная, раздольная,
Погородная, посельная, попольная.

Летом изба пустовала, зимой же собирались «братчики», больше из убогих. Оставленные на время поводырями, они доедали летние запасы: сухари и просфорки из грязных сумок, дремали на соломенных подстилках и благодарили добрую бабу Агату за то, что топила она им русскую печь. Весной, когда растапливались снега, стояли слепцы и безногие возле избы, у громадной, навозом пахнувшей лужи, и ждали, пока переправят их на другую сторону.

Григорий Федько выпросил-таки у Горькова «Кобзаря» и спешил в гурт почитать тарасовы песни. Он думал о том, кому бы доверить читку. Шел Федько в гурт и по дороге выискивал грамотеев. У хаты дьячка Середы встретил он двух слепцов. Тянули они перед окном «лазаря» и, кланяясь, спрашивали в один голос:

- Здоровы ли будете?
- Здоровы, — басисто отвечал дьячок.
- Здоровы ли в ноги?
- Здоровы.
- Здоровы ли в руки?
- Здоровы.

Федько глянул в окно, увидел веселую спальню дьячка, всю в ситцевых занавесах и подушках, и самого Середу, тощего и срамного, без подрясника.

— Григорий, заходи, — крикнул дьячок.

Федько потоптался у входа, роясь в сумке, выбрал одну меченую страницу из книги и, закрыв глаза, вошел в комнату.

Полчаса спустя сидели они за чаем. Распаренный дьячок, поражая Федьку своей худобой и подвижностью, ругал ляхов, иезуитов и Кошецкого с ними и добродушно читал поданную ему Григорием страницу:

Перебендя — старий, сліпий,
Хто його не знає,
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.

— То про меня, — радостно и умиленно шептал Григорий, открыв глаза так широко, что дьячок вскрикнул:

— Да ты прозрел никак?

До гурта было итти еще верст пятнадцать.

В ДРЯНЬ-ГОРОДЕ

Аман-кала — Дрянь-город по-киргизски—и Новопетровск на Каспии, прозванный солдатами Сибирской крепостью, — старейшие места ссылки. Учрежденные при Екатерине, по типу дальних фортов, тюрьмы эти имели маршевые площадки для обучения арестантов, помещение для «полковых девок» и даже штатного целовальника. Служащие Дрянь-города и Новопетровска — охранники и дядьки при арестантах — были сами посланы сюда за провинность. Киргизы обычно объезжали эти места, и только меновой базар в праздничные дни располагался недалеко от Новопетровска. Из Хивы, Бухары и Коканда с'езжались ханские караваны, скупщики и одиночки-кочевники, изредка жаловали из Астрахани именитые купцы. Степь преображалась, откуда-то с луками и кспьями, как в древности, появлялись наездники, муллы истощно кричали по утрам, воздевая руки к востоку. А позже, когда пустели базары и караваны уходили в обратный путь, вслед им несли щемящий, тысячелетний шум гальки, которую перекачивал Каспий. Безлюдная степь сходилась с песками, и на киргизское кладбище, на большие и редкие могильники, слетались скопища птиц пожирать оставленное усопшим.

В эти дни из серых бастионов крепости для остратки палили из пушек, и часовые подтягивались.

Собственно, крепости не было, к бастионам примыкали батальонные казармы рядом с большим темным сараем — эхсерчис-гаузом, на военном языке, а попросту — каталажкой. Дорожка, посыпанная толченым кирпичом, вела сразу от распахнутых ворот к саманной мазанке коменданта. У ворот, на нелепо устроенном газоне, в птичьих клетках, — индюки: достояние целовальника. Вокруг на пустыре — редкие юрты с белыми куполами, недвижимые, словно застывшие верблюды на солончаковых взгорьях, и занесенные песком скелеты, бочки, голые стволы саксаула.

Весенний приход почтовой лодки был

событием. Посыльный казак долго разворачивал на глазах у всех полосатую, черную с белым, как столбы и шлагбаумы, лодку. Среди собравшихся на берегу стояли племянница коменданта Надя Ускова в батистовом платье с пестрым зонтиком, супруги Зигмонтовские — бакалейщики, хлебопек Андрей и солдат Тарас Шевченко.

Казаку кричали с берега — не подмочило ли сахар и везет ли он копченые сельди, когда приедет смотритель и кончился ли на Волге ледоход? Когда посыльный угрюмо ступал на берег, к нему подходил Шевченко и тихо спрашивал:

— Не привез ли мне писем, Остап?

Казак кивал на холщевый мешок в лодке, козырял офицерам и баском в сторону отвечал:

— Бумаги важные, один конверт в сюргуче весь, может, и вольная кому.

Мешок забирали, и к дому коменданта тянулись любопытные. Вскоре со двора легко выбегала Надя Ускова и говорила Шевченко:

— Тарас Григорьевич, вы не печальтесь; наверное, на следующей лодке придет. Я все проглядела с дядей.

И, помолчав, грустно шептала:

— Вот новый артикул пришел и новая раскладка довольствия, и письмо от Шаровой, — ей муж изменил, — и «Петербургские ведомости» Зигмонтовским.

Шевченко шевелил усами, снимал фуражку с белым чехлом, вытирал лоб.

— Чего же так, Надежда Петровна, чего же так? Может, и нет мне никакого увольнения, соврали друзья.

Он стоял перед ней, все еще не надевая фуражки, большой и беспомощный, с грустными, отвислыми усами.

— Тарас Григорьевич, мама, папа и я вас сегодня к ужину просим, можно не по форме. Придете? И, чтобы не забыть, остерегайтесь дядьки вашего, Васюкова. Он нынче говорил Кампиньни, что вы рисуете. Тот допытывался: а что, что рисует? Васюков сказал ему: «Никак ворону, ваше благородие...».

Шевченко пошел к Мостовскому. Бывший артиллерист, польский революционер, пан Мостовский в ссылке старался жить на широкую ногу. В комна-

те его, задрапированной гобеленами, висели старинные кинжалы, портреты женщин, стояли начатые бутылки вин, присланные с оказией из Гурьева, возвышалась подушками самодельная софа рядом с казенной серой кроватью.

— Приказов нет обо мне, Сигизмунд.

Мостовский вскинул черные, блестящие, чуть припухшие глаза и резко сказал:

— А хотя бы и были? Все равно погибнешь, Тарас!

— Что так?

— Не тот ты уже, Тарас. Двенадцать лет здесь прожить и поэтом остаться? Уснешь душой, уснешь, Тарас. У царя верное средство—временем умертвить тебя, временем. В такой пустыне да живым остаться?.. Я о таланте твоём говорю, не о теле твоём, Тарас.

— А может быть, я пишу тайком, пробую. Неужели рука с кистью не справится?

— Не то уже будет. К худшему готовься всегда и пойми: не даст тебе царь жить на свете, не даст тебе покоя и в Малороссии. Спору нет, лучше тюрьма там, чем на Каспии, но без тюрьмы не проживешь, Тарас...

И, помолчав, добавил задумчиво:

— Я все время готовлю себя к этому. Меня отпустят, а через год услышишь: сидит Мостовский в тюрьме, в другом месте. Поляк упрям, Тарас, поляку у кохла упрямства не занимать, а дратья ему и на роду написано.

— Мрачный ты человек. Ну как без думок о счастье прожить?

И устало пошутил:

— А я к тебе в гости собирался, в поместье. Помещика Мостовского проведать, друга по ссылке.

— Жду, Тарас. Хоть год, а поживем весело. У греков учиться веселью будем. Афинские ночи вспомним, ссылке на зло... Шляхтичи цыганок привезут.

— Ну, значит, не бывать мне там. Ты уж один веселись... Нам не пить с аристократами.

— Ой, батько Тарас, все скромничаешь!

— Да нет, Мостовский, мне не по-гречески, а по-хохлацки бы праздник справить. А веселиться-то мы лучше

греков умеем. Мне бы хату в садку, у Днепра, да в народе песни послушать. Чистый народ наш, гордый, хотя и не греки...

— Насмехаешься, батько Тарас. Одной Русью не будешь сыт. Чего ты, чудак, античность отвергаешь? Не Брюллов ли твой у Греции учиться?..

Тарас не слушал его. Он понимал желание Мостовского отрешиться от всего, связанного с ссылкой, залить горе вином. Двенадцать лет, может быть, ждал человек дня, когда снова вернется хозяином в свое поместье... И все же Тарас содрогался от мысли, насколько озлобила и опустошила Мостовского ссылка. Сам Тарас все время призывал себя к терпению; он верил в свой день и мысли не допускал, что погибнет здесь. А если Мостовский прав? Если время работает на его врагов? Как сохранить себя? И здесь, в пустыне, он страстно любил жизнь, — не солдатскую муштру, не замызганную казарму, а ту жизнь, которая возвышалась над всем этим, была в оранжевом закате, на песчаной отмели Каспия, в народных песнях, в образе его друга Щейкина, к которому стоном обращались его слова: «Друже мой милый, друже мой единый, тебя помню». И ради этой иногда созданной им жизни терпел он Кампиньони, командира и «измывателя» своего, и верил в будущее. Иначе... Что иначе? Тарас боялся сказать себе, что и он превратился бы в пьяницу, циника и мизантропа.

Он долго сидел на кровати Мостовского, сжав руками голову, и глядел широко раскрытыми, невидящими глазами, потом поднялся, улыбнулся извинительно и вышел.

Вечером, мешковатый, в шинели, накинута на плечи, он шел к Зигмонтовским и в оттопыренном кармане брюк нес им два огурца и редьку. Эти редкостные овощи были им возвращены на своем огороде, скрытом за домами, где в беседке из хвороста не раз дневал и ночевал он. Там же сажил он тувовые деревья и принимал гостей под тенью единственной яблони с зарубками на коре — отметками прожитых в укреплении лет. Пухлая, расторопная старуш-

ка Зигмонтовская встретила его с заднего хода лавки, упрашивала зайти поужинать и охотно вынесла ему в обмен на огурцы и редьку несколько номеров «Петербургских ведомостей».

Ночью в беседке, при свете огарка, Шевченко читал петербургскую газету. Сообщалось о коронации бельгийской королевы, о выходе первого номера брачной газеты, об окончании Крымской кампании, о выставке картин Брюллова в Петербурге и о покупке первого лимонного дерева ботаническим садом. Он отложил газету и, перечитывая письмо Лазаревского, убеждался: Лазаревский, друг его по Петербургу, писал о том, что государь удовлетворил наконец прошение о помиловании и уже передал военному министру для исполнения. Как же так?

Шевченко вынул из-за голенища записную книжку в клеенчатом переплете и приписал несколько строк:

Минають дні, минають ночі...
Чи я живу, чи доживаю,
Чи так по світу волочусь,
Бо вже не плачу й не сміюсь.

Он расстелил шинель поверх тулупа на широкой скамье, сдвинул к стене чайник и ведро с водой, завернул в чистое полотенце каравай свежего хлеба и положил на полку, рядом с лейкой и садовыми ножницами, потом загасил свечу и медленно лег, не раздеваясь, голый на старую папаху. На заре хотел он уйти рыбачить. На берегу за укреплением расставили киргизы сети.

Но выспаться ему не пришлось. Неожиданно прогудел у берега пароходный гудок, ему откликнулась с бастиона труба, заиграли сбор. В мутном рассвете забегали, закричали люди, и дядька, с лицом хмельно-багровым, с нафабреными усами, предстал перед Тарасом.

— Отец-командир изволил при-
быть, — сказал он.

Было пять часов утра, когда рота, в которой состоял Тарас, вышла на площадку и в ожидании прибывшего батальонного командира Львова занималась шагистикой. Тарас, в новом мундире с начищенными пуговицами, грузно шагал со всеми, вытягивая носок. Он махал длинными руками в такт шагу,

подбирал живот, приседал; усы его, теперь остроконечные и прямые от фабрика, казались нелепо приклеенными, и на большом бледном лице брови гневно вздымались над тусклыми, усталыми глазами.

По примеру прежних лет, капитан Львов начал с опроса по ранжиру, кто и за что разжалован в солдаты.

— Ты за что? — спросил он у первого по строю.

— За утрату казенных денег, ваше высокоблагородие.

— Да, знаю: ты неосторожно загнул угол. Надеюсь, впредь не будешь гнуть углы, — сказал он и обратился к следующему:

— Ты за что?

— За буйные поступки, ваше высокоблагородие.

— Надеюсь... А ты за что? — спросил он Тараса.

— За сочинение возмутительных стихов, ваше высокоблагородие.

Не слушая, Львов уже проходил дальше.

— Ну, ребята, за богом молитва, за царем служба не пропадает, — сказал он. — Надеюсь, ребята, что нет между вами таких государевых преступников, которых не послал бы царь проливать на войне за него кровь, и все вы, ребята, только преступили закон по слабости человеческой, а, в сущности, вы мирные и трудолюбивые люди.

Командир разжалобился от своих слов и хотел чем-нибудь показать свое расположение к солдатам.

— Ну, вот ты, выйди сюда, — кивнул он Тарасу. И, когда Тарас подошел, сказал: — Претензии есть? По жене скучаешь? На, выпей за меня, старика. — Он ткнул ему в руку двугривенный и крикнул: — Как поворачиваешься? На пятку — кругом! Еще раз! Тюря, а не солдат!

К середине дня Шевченко сидел в беседке, без мундира, и усмехался над собой. Отец-командир уехал. «Пронесло» — говорили в крепости. Тарас знал, что теперь долго комендант Усков не будет его принуждать к военным занятиям. Комендант с женой жалеют его. Но когда придет увольнение? Если

бы не письмо Лазаревского, он бы подумал, что это только сон, одно воображение. И все же смотр обескуражил: «Пока-что ты — смерд, Тарас: от офицера зависишь».

В этот день, убедившись, что за ним не смотрят, а дядька отсыпается в казарме, Тарас записал в дневнике:

«Надеждою живут ничтожные умы,— сказал покойник Гете. И покойный мудрец сказал истину вполнину. Надежда свойственна и мелким, и крупным, и даже самым материальным, положительным умам. Это наша самая нежная, постоянная, до гробовой доски неизменная, нянька-любовница. Она прекраснее и всемогущего царя, и мирового мудреца, и бедного пахаря, и меня, мизерного, постоянно лелеет доверчивое воображение и убаюкивает недоверчивый ум своими волшебными сказками, в которые всякий из нас так охотно верит. Я не говорю — безотчетно. Тот, действительно, ничтожный ум, который верит, что на вербе вырастут груши. Но почему же не верить мне, что я хоть к зиме, но непременно буду в Петербурге, увижу милые моему сердцу лица, увижу мою прекрасную Академию, Эрмитаж, еще мною не виданный, услышу волшебницу-оперу. О, как сладко, как невыразимо сладко веровать в это прекрасное будущее.

Материальное свое существование я предполагаю устроить, как разумеется, с помощью друзей моих. О живописи мне теперь и думать нечего. Это было бы похоже на веру, что на вербе вырастут груши. Я и прежде не был даже и посредственным живописцем, а теперь и подавно. Десять лет неупражнения в состоянии сделать и из великого виртуоза самого обыкновенного, кабашного, балааешника... А я думаю посвятить себя безраздельно гравюре акватинта. Для этого я полагаю ограничить свое материальное существование до крайней возможности и упорно заняться этим благороднейшим искусством. Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без чудотворного резца гравера... Потом уеду на дешевый хлеб в мою милую Малороссию...

Ну, как можно жить без мечты и надежды?».

Были дни, когда перед Тарасом вставало прошлое. Как музыкант лелеет в памяти любимый мотив, вбирает в него все события своей жизни, отрекаясь от ненужного ему, так и Тарас мысленно создавал высокие образы желанных людей, забывая о муштре, о крепости, о Кампиньони. На песчаном, пустом Мангышлаке, за крепостью, лепил он из глины девушку, посмеиваясь над собой: «Нельзя рисовать, но о лепке ничего не сказано». Мягкими пальцами, стареющий и сутулый, он нервно выжимал из куска глины русскую, гордую, представшую в его воображении голову. Ему казалось, что рука девушки удаётся, особенно в изгибе, и осанка ее, и легкие складки рубахи. Но тут же признавался себе, что все это бред, что если он может сказать о ней, так только в стихах. Но фигуру девушки все-таки слепил и спрятал в кустах. В своей книжке писал он о человеке, которого хотел бы встретить и которого создаст время.

Должен был этот его герой —

Измерить пропасти страстей,
Понять на деле жизнь людей,
Прочсть все черные страницы,
Все незаконные дела
И сохранить полет орла
И сердце чистой голубицы.

Он написал эти стихи, и казалось ему, что жизнь стала легче и мир более понятен. Он ходил в киргизские юрты, слушал сказания: «Даныш и Байш», «У бога за дверьми лежала секира» — и тайком от служащих рисовал киргизов.

Прозван был он киргизами акын-терези. Терези назывались по-киргизски весы. В их глазах был Тарас «честен и умен, как весы».

Однажды Кампиньони, вихлявый, безбровый офицер, пахший псиной и табаком, привез глиняную фигуру девушки и поставил солдатам, как мишень для стрельбы. Кампиньони был уверен, что киргизы вылепили это чучело для птиц. Один из солдат сказал: «Ваше благородие, а как хорошо, как живая». Кампиньони засмеялся: «Мо-

жет, вместо жены возьмешь?». Вскоре он заметил глиняную фигуру в кладовой у кухни. Солдаты спрятали ее. Утром он велел стрелять по ней за пятьсот шагов, и Тарас видел, как с одного зала па разлетелось это его несуразное творение.

Андрей Обременко, земляк его с Киевщины, пел песню и слаживал солдатский хор. Шевченко приходил послушать. Андрей пел «За Сибиром солнце всходит» и в эти минуты глядел на Тараса, как на ребенка, до того просветленно-радостным становилось лицо его. Андрей по-своему понимал скорбь своего земляка по песне и не раз говорил Тарасу:

— Хочешь, в денщики устрою?

И здесь же пояснял, что между ним и командиром сговор есть: он за его женой следит и за это может любую награду себе потребовать. Вот он и готов похлопотать... Представление его о судьбе Тараса было, вообще, наивное, — сам комендант Усков помогал Тарасу в его освобождении.

Помилование Тарасу все же прибыло. Следующая лодка из Гурьева принесла ему радость.

И, когда наступил этот день, Тараса охватило внезапное чувство грусти и растерянности. Он больше, чем когда-либо, почувствовал себя уставшим и почти машинально собирал в дорогу «мизерию» свою—одежду, вещи. Но радость его немногих друзей в крепости—комендантши Усковой с детьми, земляка Андрея Обременко и Мостовского—свидетельствовала о том, что действительно ссылка кончилась и жизнь начинается заново.

Полдня он провел в киргизских юртах, кончая свои этюды с натуры, зарисовки кочевья. Теперь он мог не скрывать своих работ и нес сверток с полотном и кистями на виду, не пряча за полу своей длинной шинели. Рыбаки из ближнего становища принесли ему рыбы и кувшин с бузой на дорогу. Прислышав об его отъезде, со стороны менового базара приехали всадники в колычугах и сбросили в подарок вьюк с невымытыми кошками.

В уютной лодке один проделал он путь из крепости в Астрахань. Вонючие болота, река Кутум, густые леса мачт, лачуги рыбаков и зубчатые белые стены Кремля предстали перед Тарасом. И внутренним своим взглядом пытался Тарас рассмотреть и разгадать причину нищеты кругом, «грязи внутренней и духовной», и по этому своему критическому отношению к давно им утраченной и вновь лежащей перед ним действительности Тарас понял, что он еще не настолько одичал, чтобы предаться просто наслаждению тем, что на человека одинокого и покинутого могло произвестись, наверное, мирное впечатление.

Жизнь в Астрахани, в этой вонючей и жалкой Венеции тех лет, складывалась для Тараса из бытовых неудач, которые так и гнались за ним по пятам.

Гостиницы с бельведерами, лавки без с'естного, простенькие мелодии из «Роберта Дьявола», трогавшие до слез Тараса, его чулан с видом на помойку — все это выглядело невесело. И только по дороге в Нижний, удачно попав на пароход, встретил он крепостного музыканта Панова, которого прозвал крепостным Паганини. Встреча была радостная.

«Благодарю тебя, мой случайный, мой благородный, — писал Тарас, — из твоей бедной скрипки вылетают стоны народной крепостной души и сливаются в один протяжный, глубокий стон миллионов...».

В Нижний Тарас приехал 20 сентября. Здесь он узнал, что въезд в Петербург ему еще не разрешен. Он прожил здесь более полугода.

Только зимой получил он разрешение вернуться в столицу.

В марте, будучи в Москве, зашел он к княгине Репниной. Они беседовали в домашней молельне, неожиданной среди роскошно убранных комнат. За окнами великопостный звон колоколов; дворники шуршали лопатами, сгребая снег, пронеслись тройки.

Он не узнал в остролицей, сутулой княгине своего некогда горячего и чуть суматошного друга. «Монашка» — дума-

лось ему. Он сдержанно рассказывало прошедших в ссылке годах, о помощи, оказанной ему графиней Толстой, не зная о том, что княгиня с ней в переписке.

Днем позже княгиня писала Анастасии Ивановне:

«...Вы увидите нашего Кобзаря совсем угасшим. Я знаю, что ваше участие в нем будет теплым солнечным лучом на его седеющую голову, и потому не скрываю от вас ничего о нем. Вы знаете, что двенадцать лет назад в обществе говорили о близкой нашей связи и родные мои были шокированы этими разговорами. Между тем, видевши его раз великим, я хотела, чтобы он был неизменно свят и лучезарен, чтобы он распространял истину силою своего несравненного таланта, и хотела в то время, чтобы это сделалось через меня. Вот суть нашей дружбы. Он был со мной открыт, но без фатовства и ухаживанья. Но отношения наши уже перешли эту грань внешних условностей, проистекающих часто из-за ложного этикета или неуверенности друг в друге. Должна вам сказать, что тревожила меня его ненависть к богу, именно ненависть. Я бы смирилась с тем, если бы он не замечал религии. Библию, подаренную мной, он не привез из ссылки, я догадалась об этом. Боюсь, что привез он оттуда еще большее богоненавистничество. Мы разговаривали с ним о наших встречах в Ягвине, — вы знаете, как непередаваемо трагичны и одновременно внешне благопристойны бывают воспоминания. Он рассказывал о ссылке, со свойственной ему легкостью переходя от грусти к веселости, а я думала, как встретит его Петербург и как он нуждается там в таком истинном и попечительном друге, как вы. Вы напишите мне, как возвращается к жизни этот не сломленный судьбой, но угасший человек. Я заметила в нем самом неуверенность за себя, но, конечно, не подала виду. Победит ли в этой борьбе с изломами судьбы его воля и любовь к жизни? Дай-то бог.

Ваша Репнина».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1

В ненастное утро он вышел из вокзала на пустынную площадь. Был апрель, и в воздухе вместе с запахом печеного хлеба плыл тонкий аромат распускающихся деревьев. Шел косой дождь.

Тарас приподнял воротник и спрятал большое лицо за лацканы старой, потертой шинели.

Бил с моря ветер. Колыхались парусиновые навесы над витринами магазинов, раздувалась бахрама голубых извозчичьих карет.

— Сиги морские, сиги! — кричал разносчик с корзиной на голове.

Невесело выглядел город Петра в этот час, но в воображении Тараса стоял другой, солнечный Петербург — Летний сад, в котором впервые ощутил он непреодолимое влечение к живописи.

И, уже выходя на Невский, прибранный, украшенный мостами, Тарас вспомнил строчки Гоголя: «О, не верьте этому Невскому проспекту! Я закутываюсь покрепче этим плащом своим, когда иду по нему, и стараюсь вовсе не глядеть на окружающие предметы. Все обман, все мечта, все не то, чем кажется».

Роскошь на Невском не поразила его. Танцующие рысаки, английские ландо и чванливые кучера с крашеными бородами были только скучны.

Собственно, итти можно было только в гостиницу. Со скорбными пятнами на лице Тарасу не хотелось заходить к знакомым, надо было полечиться с неделю. Он сел у Моховой в извозчичью пролетку и велел себя везти в Балабинские номера.

Весь следующий день он бродил по городу. Он пересек розовое поле, прошел мимо турецкого киоска, небольшого пруда, покрытого лунками, мимо старых лебедей в нем, зарывшихся в камышевые подстилки. Тенистый Летний сад и в нем, в куще тополей, скульптура Паоло и Барта и вазы над капителями. Отсюда, из-за деревьев, виден был золотой шпиль адмиралтейства. Пред ним был

Петербург, сохранивший строгость и величие, но дальше, за мостом, начинались замызганные булыжные улицы. В нескольких дворах видел он, казалось, одного и того же шарманщика в дражном картузе, в гарусном шарфе. Обезьяна в тирольском платье верхом на пуделе путалась возле Шарманка, вся в красной бахrome, заливалась: «По всей деревне Катенька», а из оконных створок летели копейки, булки и пряники. Дебелые поварихи и чахлые мастерицы в грязных кофтах подпевали из окон и удивляли Тараса своей невзыскательностью.

Он сел на конку и доехал через Васильевский остров до гавани. Здесь, у взморья, жили «чухны», уличные гаеры, финнки-разносчицы, называвшие себя жакериями. Здесь был Мательсоновский завод, на низких стапелях красовался корабль «Князь Рюрик», а у заводских ворот между тачками лежали пришедшие наниматься. Тарас заглянул в цех (сторож не заметил его): бородатый токарь, в лаптях, в черном переднике, какой носят мясники, налаживал первый самоход с крашеными шестернями. По цеху ходили куры.

Тарас шел к морю. Навстречу ему к мрачной, петровских времен, церкви несли в кресле больного чиновника; шагали полицейские. На углу показывали петрушку. С залива гулко перекатывались волны, и было слышно, как они бежали по гравию. Шхуны белели свитками парусов. Грязные и сырые хибарки, казалось, дрожали на ветру. Тарас сел на груды бревен и всматривался в противоположный берег. Петербург — город державной бюрократии и гольтубы — представился ему чахоточным, а гавань — сплошным трактором, в котором люди и он — лишь случайные посетители за стойкой. На миг показалось ему странным, как уживается рядом с морем эта людская нищета, вспомнился Каспий и песчаный Мангышлак. Люди кругом суетились и не замечали его. Поодаль на Неве рыбаки катали в лодках курсисток.

Тарас пошел обратно, мимо многолюдного рынка, обнесенного тыном. Из любопытства заглянул он в ряды. Кро-

хотная старушка в истертом салопе продавала за рубль рябую грудастую молодуху. Артельщик сдавал на поденщину равнодушного мальчишку с рогаткой в руках. Тарас скорбно усмехнулся, подумал: «Что с Пирятинского базара гуся захватить хозяйке, что эту девку с собой, — все одно, и все человек терпит». Молодуха с надеждой глянула на него и зло покосилась на свою обнищавшую барыньку. Старушка, казалось, дремала, цепко держа в сухонькой ладони большой кошелек. Проходящая, по виду чиновница, с муфтой на отвислом животе, спросила, умеет ли крепостная крахмалить сорочки. Старушка оживилась, шире открыла глаза и не попадала ответила: «Работящая она и без норова». Звук ее скрипящего голоса вывел Тараса из себя, он полез в карман, нащупал два полтинника и передал барыньке.

— Ну, Фекла, заходи за подушкой, — сказала та и повернулась к птичьим рядам.

Тарас зло шагал по улице и за ним, еле попевая, — купленная молодуха. Он только на повороте Большого проспекта вспомнил о ней, обернулся и грустно сказал:

— Куда же ты идешь? Ты не нужна мне!

— Снова продаваться, — всполошилась она, и в голосе ее почудились Тарасу страх и укор. Голые ноги ее были покрыты гусиной кожей; мясистые красные руки, чистые синие глаза под накрашенными ресницами. Тарас вспомнил, что недалеко отсюда живет Черненко, и, остановившись у витрины колбасной, написал записку: «Иван, купи я только-что крепостную, возьми хотя бы на время. Она о себе расскажет. Живу в Балабинских».

Молодуха неохотно ушла по адресу, грустно оборачивалась и по-деревенски низко кланялась ему, утирая непрошеную слезу кончиком красной юбки.

Через три дня узнали друзья Тараса, что он приехал и болен. Лазаревский застал его в номере рассматривающим разноцветные камешки — сердолики, привезенные им с моря.

— Друзе мой, испугался ль я Петербурга...—говорил Шевченко. — Сижу в номере и гадаю, а что же дальше будет? Ведь надо мне представляться полиции, надо в академию итти и благодетельницу мою Настасью Ивановну навестить, и вот привыкаю, говорю себе, что художник я, а не солдат, а тут хвороба еще, — показал он рукой на красное от скорбута лицо.

И когда Лазаревский предложил прокатиться по Петербургу, поглядеть острова, строившийся в ту пору Народный дом, Шевченко перебил:

— Ходил, — тяжелый город. Нижний меня протрезвил. Понял я, что значит под наблюдением полиции находиться. К воротам Петербурга не подпустили сразу: «Не спеши, козак, на сечь итти, спеши с домом прощаться, а там, — что атаман скажет...».

В этот же вечер Лазаревский беседовал с Анастасией Ивановной Толстой и с Костомаровым о том, что Шевченко необходимо обласкасть, ввести в свет, как триумфатора. Иначе не поднять его духа и уверенности в себе. Будет долго привыкать, как барсук, к воле, — не тот Тарас, что двенадцать лет назад. Княгиня Репнина не зря писала сюда, что нашла его совсем угасшим. Слова Лазаревского передали Аксакову и Курочкину. Аксаков, интересовавшийся судьбой Шевченко, предложил устроить встречу у себя на подмосковной даче, но Толстая от имени мужа — вице-президента Академии художеств — заявила, что вечер должен состояться в ее доме и о том еще раньше договорено с властями, с князем Долгорукиим.

Граф Толстой прожил жизнь, не обычную для своего времени. В ранней юности застал он еще Шереметьевский театр в Кускове и влюбился в актрису Любашу Богунову, дочь кузнеца. Известная в те годы актриса была на положении барыни-крестьянки, имела свой домик, слуг, но, однако, могла стать только любовницей графа. Граф упрашивал родителей разрешить жениться на ней, докучал Шереметьеву, выкупал родных Любаши и прослыл филантропом. Любаша была выдана

замуж за ефрейтора из рогового оркестра, вскоре умерла, а внезапная война с Наполеоном надолго смешала события. Ученик известного пастора Грубера, иезуитского коллегия, позднее мичман гребного флота, молодой граф Федор Петрович опечалил своих родителей тем, что вышел в отставку, занялся медальерным искусством, а в годы войны оказался искателем приключений в южных странах. Женившись на Анастасии Ивановне, «русачке», как ее звали в обществе, — девушке из старого княжеского дома, с косами до пят, — он заявил, что женщин любит типа Манон Леско, а для себя жить считает возможным только в плаваниях и в походах. Однако Анастасия Ивановна остепенила мужа. Увлекла ли она его русской стариной, или скрасила светскую жизнь ему, — граф занялся живописью, театром, сделал несколько медальонов с аллегорическим изображением Отечественной войны, единственный из аристократов не побрезговал профессией художника и актера. У столычного мецената Кокоскина случилось ему встречать Пушкина. Загоскину, работавшему тогда в театре, предлагал он иллюстрировать «Юрия Милославского». В 40-х годах был он уже профессором медальерного искусства и скульптуры, делал орнамент к входным дверям московского храма Спасителя, но в вопросах живописи считался высокопоставленным дилетантом. Он рисовал для императрицы коллекцию стрекоз и был известен ей тем, что упорно выискивал секрет заграничной гуашевой краски, рисовал гуашью цветы на грунтовой зеленовато-серой бумаге. Граф коллекционировал картины, ездил на международные выставки, опекал художественные училища и по одному этому был назначен помощником президента Академии художеств великой княгини Марии Николаевны, а позже — вице-президентом. Предшествовали, правда, этому назначению длительные беседы графа с княгиней о русском принципе в живописи, о том, кого из наших художников представлять за границей. Беседы эти ни к чему не свелись. Княгиня предпочитала церков-

ную живопись и говорила, что русским с голландцами и французами в художественном мастерстве состязаться не приходится и академия должна ставить перед собой религиозно-просветительные цели. К чести Федора Петровича, он эти цели понимал иначе, а художественному вкусу научился у Кокошкина и Оленина. К тому же модные в ту пору прогрессисты из дворян и русские сен-симонисты, издатели журнала «Фаланстер», если не убедили графа в правильности своих социальных устремлений, то уверили в том, что искусство должно быть демократичным. Вице-президент Толстой издал распоряжение: каждый человек из простонародья мог по воскресным дням приходить в академию со своим рисунком, пройти в академическую церковь, поставить копеечную свечу и быть принятым наставником по рисованию. Самоучки-художники тянулись по воскресеньям в церковь. Приезжали из дальних губерний, и граф вскоре учредил штат наставников из трех учителей, в прошлом иконописцев.

В 60-х годах все это изжилося: княгиня признала светскую живопись, академия европеизировалась, — правда, и ранее столичные художники Брюллов и Венецианов мало считались с официальным направлением академии и вкусом ее президента. Граф Федор Петрович, большой, постаревший, жил уже больше прошлым, тяготился спорами и, по собственным словам, искал в живописи умиротворения. Если бы не настояния Анастасии Ивановны, он, возможно, не так энергично хлопотал бы перед Долгоруким о разрешении вернуться Шевченко в столицу. К старости он удивил окружающих заботливостью о своих родных. Псковские и вологодские сестры его, ранее забытые в своих поместьях, были вызваны в Петербург и наделены подарками. В графских деревнях — а было их более пятидесяти — отпустили с предоставлением земли более сотни крестьян. Казалось, граф торопился отметить чем-нибудь хорошим свое прожитое восьмидесятилетие. В графских покоях без конца перевешивались с места на место картины, и по

этим переменам Анастасия Ивановна угадывала о настроении мужа. Его утомляли батальные сцены, к старости он полюбил сельские виды и деревенских красавиц. Он разглядывал их, сидя в кресле, и напевал: «Ой на грече белый цвет опадает...». В академии спешно перерисовывали для него купальщиц Венецианова.

Ожидали Шевченко. В большом доме Толстых на Гороховской, в зале, были поставлены полукругом зеркала, чтобы гость мог во всех положениях видеть себя.

Чествовали так только юбиляров и высоких сановников.

Салон, некогда отделанный декоратором Гонзаго, был весь синий. Граф подражал императору Александру в выборе цвета. Как всегда, чистили слуги в этот день синие кресла, синие французские ковры, тафтяные занавеси и расставляли по углам горшки цветов. В больших, темных покоях графа было тихо и пустынно. Граф страдал подагрой и лежал в креслах. Слуги говорили, что узнают графа по свистящим туфлям. Задник его туфли при нажмие пяткой, действительно, свистел, и граф детски радовался этому. Слуги в этом доме жили сонно, они перебирали засаленные святцы в людской и гадали в сумерках на воду.

Граф говорил Анастасии Ивановне, растирая большое колено:

— Проще надо с Шевченкой. Чего там! Небось, у него, как у меня, ноги болят. Водки нам подать да закуски с хреном, это лучше солдату.

— Но в глазах других... — возражала Анастасия Ивановна. — Вы же сами говорили о том, что в глазах общества, в глазах академии надо сохранить его.

— А чего там в глазах других, — раздражался граф. — В глазах общества, изволите сами знать, мужик мужиком останется. — И, боясь обидеть жену, поправлялся: — Академия примет его, а вы делайте, как хотите.

Вечером Шевченко ввалился в прихожую, не замечая гостей, быстро скинул пальто и прошел в зал.

— Как благодарить вас, Анастасия

Ивановна?.. — сказал он графине и отступил на шаг.

В зеркалах увидел он себя, длинноусого, с громадным и словно вздутым надбровьем, нарядных дам с шиньонами на затылках и лохматую болонку в чьих-то руках. Он заметил, что брюки у него непомерно вылезли из голенищ. В зале захолопали ему, затыкала болонка. Граф протягивал ему руку — он стоял в раздумьи, наклонив голову, потом низко поклонился и, сторонясь лакеев, вытянувшихся у стены, прошел к столу.

Он выслушал поздравления Анастасии Ивановны, кивал головой и на просьбу рассказать о себе отшучивался:

— Да разве до меня вам, видите, сколько людей! Эх, Анастасия Ивановна, и зачем меня позвали сегодня?

Ему стало свободнее, когда к столу подсел граф и заговорил о живописи. Граф вел себя так, словно Шевченко все десять лет был в Петербурге. Старику казалось, что лучшей помощью Шевченко будет не замечать его измученного вида.

— Я был в Лондоне на очередном суде красоты, — говорил граф. — У нас, знаете ли, последние времена зачастили ездить за границу. Вот Григорович и Гончаров едут. И как вы думаете, Тарас Григорьевич, какой новый трюк в британской живописи? (Граф любил слово «трюк» и часто употреблял его некстати.) Животный мир любят они. Конюшня, птичник, овцы — вот их любимые темы. Помните о Магомете?.. Магомет хотел отрезать рукав своей одежды, только бы не разбудить заснувшую в нем кошку. Так и они... У нас скучно, Тарас Григорьевич. Сами знаете, что после Брюллова скучно в академии. Вас любят... Да, да. Знаете, чего нехватает в нашей живописи? Вашей сердечности, простонародности при этом. Рембрандт с крестьянки рисовал богородицу, — не следует забывать.

— Но Рембрандта голландцы не признали, — сказал Тарас.

Граф продолжал говорить, не слушая его:

— В академии мало сельской и бытовой живописи. Аллегии отжили. Античность отходит. Пейзаж и натуральные виды доходчивее и не менее благородны.

Тарас приглядывался к картинам, висевшим в зале; по тому, что висело, он никак не мог бы определить вкус озяина. Здесь были «Синдики» Рембрандта, сцены из «Декамерона» Пуля рядом с «Оливером Твистом» и «Продажей любимого ягненка» живописца домашних сцен Коллинса.

Гости беседовали о лихоимстве управляющих, о том, выгодно ли давать кредит на мануфактурное дело. Тарас узнал Фета в кирасирском мундире, Майкова и старого Аксакова с двумя сыновьями. Он пристально глядел на Анастасию Ивановну, любовался ее ясным, точно изваянным лицом, с лучистыми ресницами. Думал: «От нее зависело мое чудесное избавление».

Анастасия Ивановна села за клавиш и взглядом подозвала Тараса:

— Бука какая, — сказала она ласково. — Ну, глядите же веселее. Репнина вас таким не любит. Да ну же, Тарас Григорьевич, потерпите, — и в голосе ее почуял Тарас просьбу быть нетребовательным к вечеру.

— Что ж, Анастасия Ивановна... — хотел он сказать облегченно, но Майков подошел ближе с листком бумажки и в наступившей тишине продекламировал величественно, нараспев:

На белой отмели каспийского поморья,
Работой каторжной изнеможен, лежал
Певец. Вокруг песок. Ни кустика, ни взгорья,
Лишь Каспий брызгами страдальца освежал.

Тарас слушал стесненно, словно не верил, что нежнейший поэт и яростный крепостник Майков посвятил это ему. Выступал старый Аксаков и, поправляя мягкой рукой седые, редкие волосы, наставительно читал:

От тебя зависит много:
Будут ли молиться богу,
Как проснется жизнь народа,
Тихо ли взойдет свобода,
В церковь ли пойдет с смиреньем,
Иль, начавши кабаком,
Все свои недоуменья
Порешит он топором.

— В лице Шевченко чувствуем просветителя народа, — сказал Аксаков.

★

Ночью графская карета доставила его к Балабинским номерам. В коридоре пахло на него селедкой и полугарным вином. В комнате полового ожидал его солдат Семен Титов, товарищ по службе в оренбургском батальоне.

— Еле нашел, Тарас Григорьевич, — сказал он хмуро, не здороваясь. — Да и то думаю: в Питере, может, не признаешь?

— Куда идешь? — с любопытством прервал Тарас.

— А куда? Безродный я и старый. В фонарщики или на колокольню звонарем.

Солдат сел на табурет и голодным взглядом уставился в стену.

— А сам, верно, у меня жить собираешься, затем и приехал, — усмехнулся Тарас. — Что ж ты, Семен Никитич, устраивайся, чай закажи, с вечера я у панов сидел, ну, и устал с ними. Да не здоров, спать лягу.

После этого вечера Тарас записал в дневнике:

«Что-то не по себе мне, боюсь, как бы мне не сделаться модной фигурой в Питере. А на то похоже. Меня здесь на вечерах приветствуют, как давно ожидаемого и дорогого гостя. И все это добросердечная Настасья Ивановна! Верю ей и побаиваюсь ее гостей».

2

Знакомства за этот месяц у Тараса произошли самые неожиданные. Встретился Тарас с Львом Толстым, Достоевским, Щербинной, с циркачами, актерами и негритянским трагиком Айра Ольдриджем. В доме Анастасии Ивановны позднее увидел Тарас приземистого негра в тесном фраке, с осторожными движениями и быстрым взглядом, а приглядевшись к его игре в драмах Шекспира, сказал: «Какая-то личная трагедия управляет этим человеком и дает ему силу». Тарас обратился к Ольдриджу через племянницу Толстого, знавшую английский язык.

— Я горю, что не знаю вашего языка. Вы, вероятно, так хорошо знаете жизнь, как не снится столичным людям. Если вы умеете передать Шекспира, то можете не хуже сказать и о себе.

Тарасу казалось, что все, что играет Ольдридж, — «не настоящее»: все это маска; но прямо не решался высказать свои опасения.

Ольдриджу рассказали о Шевченко. Негритянский трагик удивился. «Негр, — сказал он, — может только играть в шекспировских пьесах, но не петь негритянские песни, и, конечно, негр — не Отелло. Но великий Шекспир показал общий человеческий характер, и этим Ольдридж утешается». Он произносил свое имя театрально, держа руку на груди, и поминал себя в третьем лице: «Ольдридж — негр из Судана. Купил Ольдриджа миссионер и привез из Африки в Лондон, а в Лондоне — этот город больше Петербурга — Ольдридж играет в королевском Ковент-Гарденском театре и шлет деньги родным в Судан. Ольдридж уже выкупил сестру и мать, но в Африку ходят суда за невольниками, и Ольдридж выкупает всех людей из своего племени, и вот за выступление в Петербурге он получил деньги, на которые выкупит трех человек. Так Ольдридж помогает своему народу, и что он может сделать еще?».

— Ну, а твои песни о рабстве, о Судане? — кричал ему Тарас, не обращая внимания на гостей.

Ольдридж подсел к клавесину и вполголоса спел «Спиричюэлз» — старинную негритянскую песню. Короткие пальцы его плохо ходили по клавишам, он пел, качая головой, двигая бровями.

Гости шушукались и не вмешивались в их беседу.

★

Вскоре Шевченко перебрался в маленькую квартиру при академии. Графу Толстому передал он прошение о разрешении ему держать экзамен на звание художника-гравера и преподавать рисование в одном из университетов.

Комнату свою в мрачном, казарменном здании академии Шевченко укра-

сил на украинский лад. Он выбелил стены, занавесил окна вышитыми полотенцами, на стене повесил пучки сухих трав—барвинки и полыни, над столом—монисто и цветные бусы. В другую, смежную, комнату вынес он гравировальные доски, бутылки с кислотами для протравления гравюр, а на стенах развесил рисунки и эскизы свои. Тарас не любил ничего лишнего в комнате: мраморный чернильный прибор на столе заменил легкой фарфоровой чернильницей, толстые академические фолианты, оставленные ему кем-то, сложил в угол и вынес в швейцарскую резные деревянные кресла, заменив их венскими стульями.

В его отсутствие в комнате нельзя было увидеть раскрытой, недочитанной книги, так же как в его мастерской оставленной невымытой кисти. Поселившись в академии, он первый месяц не умел распределить своего времени, не мог отказать землякам в гостеприимстве. Они уже отвлекали его от работы.

Приезжали к нему две девушки с Ладоги и Онеги, медички в коричневых пелеринках и с белым крестом на груди, чернобровые, с раскосым взглядом, морячки из украинских поселений на Иматре. (Елизавета когда-то сылала запорожцев к Северному морю.) Они приносили с собой запахи хвои и в клетках — певчих птиц (по тогдашнему дарственному обычаю), мягко ступали на носки, поднимаясь к нему в комнату. Они говорили, что Питер чужой им, а Гельсингфорс — родной город. А в поселении порожистую Иматру Днепром зовут, и ночи там черные, как на Украине.

Он жадно слушал, как бы срывая новую завесу с жизни, наверстывая потерянное десятилетие. И если когда-то воображение увлекло его только к Украине, — теперь представляли перед ним водопад Иматра, Кавказские горы, тайга, хотя он никогда там не был. Было что-то непосильное и оттого грустное в этом охвате жизни. Из множества образов вырастал перед ним один созданный мечтой облик. Он говорил с медичкой и думал про себя: «Ты не смеяла, и глаза у тебя покорные, и ты за-

будешь Украину». Иногда он проговаривался:

— А я вот думаю: не посмеют ли ко мне девушки по Невскому в украинском платье притти, с лентами да с коралловым монистом?

Приходили художницы к нему из салона Толстых, дочери аристократов, терпевшие в его комнате жеманность. Он весело разглядывал их рисунки, и то, что было в них нарочитого, лишнего гармонии и простоты, называл японским, подобно тому, как в его времена всякую путаницу называли «китайщиной». Он мысленно был на Украине и каждое утро, просыпаясь, ожидал увидеть за окном не бугрообразный, холодный двор, а ровные левады и аистов на дереве. Но вовсе не одни левады, тихие садки и звонкие речки любил он в природе, как утверждали его противники. Он любил в людях юмор, неторопливость и правдивую ласку. А эти черты были в его народе. И, пожалуй, иногда в живописи и в жизни была у него попытка «обукраинировать» мир. Так говорил когда-то Брюллов. Он не мог объяснить себе, почему песню «Така ії доля» готов был слушать коленопреклоненным, почему, захваченный мотивом этой песни, он рисовал «Пророка». Он жил одним строгим и гордым мотивом братства и духовной красоты людей и сам себя называл послушником этого братства. Поездка на Украину, однако, зависела не только от разрешения полиции. Он должен был выяснить для себя в Питере, с чем ехать в деревню, к чему идет общество. У Толстых было трудно это понять, Толстые жили сегодняшним днем, и даже ожидаемый манифест о раскрепощении мало волновал их. Слушая медичек, Тарас чуть не спросил было: «А как ваши дети жить будут?».

Со дня возвращения из ссылки он не встречался еще с революционерами. На вечере же у Толстых, когда благодарил Анастасию Ивановну за свое чудесное избавление, он чувствовал, что смириться не может, что в Петербурге должен найти свою точку опоры в борьбе с царем. И он напряженно присматривался

к людям, представляясь им тихим, усталым и благодарным.

В это время Тарас учился гравированию у мастера Уткина—подвижника своего дела и питерского библиофила. Он занимался историей живописи, воссоставляя в памяти лекции Брюллова, и больше всего любил Рембрандта. Готические, худые херувимы Дюрера и Корнелиуса вызывали у него насмешку. «До какой степени утратили жизнь эти немецкие и прочие идеалисты живописи»—говорил он и отказывался делать с них гравюры. Он согласился сделать иллюстрацию к книжке Надеждина «Сила воли» и к повести Основьяненко «Знахарь», а сам как будто отождил на время свои стихи и рассказы.

Он привыкал к Петербургу, работа увлекала его, и друзья говорили, что Тарас «журится меньше и копит деньги выкупать родных». Действительно, Шевченко, подобно Олдриджу, мечтал видеть свою родину на свободе. В письмах своих на родину не раз обращается он к Ярине: «Сестра моя святая, единая, ежели пойдет работа успешно в академии, да еще сделаю я несколько рисунков к повестям здешних авторов,—будет начало положено материального моего существования, — выеду я к тебе летом и поговорю сам с паном, а пока прошу брата Варфоломея подыскать хату с участком земли на Днепре, а то и от тебя неподалеку». Писал он и помещику Флерковскому запрос, не согласится ли тот землю сестре выделить и вольную ей дать.

Помещик ответил: «...И так, сколько я в числе дворян Киевской губернии сочувствую идее общего выкупа земли крестьянским населением, столько стою против отдельной продажи ее мелкими частями».

Но в деревне побратим Тараса Варфоломей вовсе не спешил с покупкой хаты и земли. Он говорил Ярине, что на брата блажь нашла, что неизвестно еще, как его жизнь в Питере повернется, — не сошлют ли опять, а пока пусть Тарас шлет деньги, они на хозяйство и на выкуп им самим пригодятся. О разговорах этих не было известно Тарасу. Неграмотная Ярина посылала

через дьячка короткие вести о себе, в которых стеснялась даже выразить ласку свою и беспокойство.

3

— Вот они, земляки! — говорил Тарас, встречая на лестнице Кулиша и Костомарова. — Ну, проходите, люди ученые... А и шляпы-то, трости да ленты у них в петлицах! Или с тростью легче ходить стало? Добро бы лирнику-старика, а то таким молодцам. Да кто вас за земляков признает?!

Он, смеясь, принял от них трости и весело кричал Кулишу, пока они проходили по гулкому коридору академического здания:

— А за совет спасибо, помню, как ты написал мне в Нижний, чтобы я сочинительство бросил, — вот я за букварь взялся... Хочу хохлацкую грамматику написать... — И здесь же лукаво поправился: — Шучу. Разве могу я без господ ученых обойтись, без земляков своих?

Тарас усадил их за круглый стол и сразу же принес штоф водки и колбасу.

— Может, вас шербетом угощать надо, да шашлык сделать, так вы по холодецкому моему положению не выщипайте, а впрочем, землячка тут из Чернигова коржики прислала, хороши будут к чаю.

За окном разносчик продавал воздушные шары. Из дворничкой доносились песни. Кто-то выщипывал на гитаре «Разлуку».

Дядька Шевченко, Семен Никитич, принес, пышащий жаром, желтый солдатский самовар.

Худошавый, щегольски одетый Кулиш, с фиолетовым бантом на шее, не понравился дядьке.

— Подвинь локотки, барин, — сказал он ему. — Дай самовар поставлю.

И, заметив неудовольствие на его лице, добавил:

— Я, барин, тоже земляк, мы с Тарасом Григорьевичем вместе в Оренбурге, в батальоне маялись.

Костомаров, сутулый, в форменном сюртуке, в пенсне, шурился и добродушно сказал Тарасу:

— Ко двору он тебе: небось, из ефрейторов, — бойкий.

— Не, барин, не. В Бородине участвовал, а простым пехотинцем остался. Пулю от Бородина имею, в плече вот.

И, повернувшись к Тарасу, он угрюмо спросил:

— Голубей мальчик принес, — может, взять?

Тарас догадался: дядька любил голубей, но не смел сам завести их, как бы предоставляя дело случаю.

— Бери, птицевод! Эх, земляки, вы не знаете; как мы с Семеном Никитичем жили!

Дядька порезал ситный и здесь же, на столе, посадил двух голубей.

— Они чистые, — сказал он просительно, — совсем чистые. Я и медок собрать думаю: на балконе улей поставил, в палисаде, где памятники, чучело медвежье, там они роиться будут, только дворник ругается.

Он медленно вышел. Костомаров проследил взглядом его фигуру в белой армейской рубашке, выутюженных брюках на-выпуск.

— Забавный старик.

И по привычке, когда что-нибудь удивляло или беспокоило его, Костомаров потер себе ноздри сухими, выхоленными пальцами. Казалось, он подносит к носу понюшку табаку.

— Тарас, тебе на дорогу выходить надо, как другие выходят. Не художник ты, а поэт малороссийский, — помнить надо.

— Верно, — поддакнул Кулиш. — Царь Петр у бояр бороду брил да кафтан укорачивал. Тебе же в Петербурге во фраке ходить не следует. Народ знает тебя в шароварах да в свитке. Давайте о деле решим. Что нужно сейчас Тарасу? В доверие власти войти, стихи напечатать не о гольтыбе нашей, не о крепостничестве... Да, да, успеешь, Тарас, не чурайся (он заметил гневное движение Шевченко), сам я «Алексея-однорога» для этого писал. Ну хотя бы, Тарас, чтобы не грешить против совести, напиши об Анастасии Ивановне Толстой, русской аристократке, разве она того не стоит? Посвяти стих Аксакову. Да не думай, кстати, что

так хорошо везде рассказывать о садке, о хуторе. Все мы, и я, хутор с садком покупали, да не рассказывали. Удивил чем! А я о нашем Кобзаре, о батьке Тарасе, напишу.

— В Питере, кроме нас, нет у тебя друзей, Тарас, — говорил назидательно Кулиш. — Для света, ты — экзотика, как Ольдريدж в театре... Хочешь в свете своим быть, подумай о поведении.

— О том я думал, да выхода не вижу. Мне от света ничего не нужно, — сказал Тарас.

— А в грамматику тебе лезть, как дьячку в богословие. Вот картины марковать да вирши слагать — твое дело.

— Знаешь, Кулиш, прогону я тебя, кажется, земляче. Вижу, что холопа во мне ищешь или лубочного героя.

Костомаров недовольно покосился на Кулиша.

— Кулиш шутит, Тарас, — сказал он, — Кулиш статью о «Кобзаре» пишет. Тебя защищает.

— А меня защищать нечего: никто не охал.

— А Белинский?.. — зло сказал Кулиш. — «Что за поэзия дуботолкостого мужицкого ума». А статьи Гребенки? Или забыл?

— И ты мне советовал писанье бросить, — усмехнулся Тарас.

Костомаров грустно сказал:

— Вот мы и поссорились. Не то ты говоришь, Кулиш: стихи Тараса печать молчания сорвали, в них родник народный, в них богатство наше, Гоголь...

— Гоголь к москалям перешел. Он об Украине не пишет, — перебил Кулиш.

Тарас поднялся над столом и, скрывая раздражение, сказал:

— Не было вас, земляче, — спокойнее мне было. Не пиши, Кулиш, о «Кобзаре», узнаю — тростью побью, верное слово. Пей водку, пока хозяин потчует, да не приходи больше с такими речами. Думаешь, лыком шит да миром мазан, да сивухой держусь. Дядька мой больше тебя знает, господин ученый этнограф.

Вскоре они вместе вышли из дома. Шотландская шхуна, развернув флаг, проплывала по Неве мимо гранитного

здания академии. Лоцман на борту раскланивался перед прохожими, и они трое тоже поклонились ему. Паруса убирались, словно никли на их глазах. Шхуна шла в порт. Голуби и чайки провожали ее.

В Петербурге начиналась белая ночь.

4

На вечере у Толстой Тарас слышал от Аксакова о Добролюбове:

— «Вандал-кутейник», — говорил про него Аксаков, — дерзостный юноша. Эти радикалы опасны прямою, но еще больше дерзостностью. И почему они считают, что именно им дано право вершить суд над миром?

Перед этим Тарас закончил вторую часть «Матроза» и хотел ее отнести к Аксакову.

«Мне ужасно хочется ему понравиться, и только ему» — признавался он в дневнике. Седобородый, спокойный Аксаков с добрыми, мягкими руками, в пикейном халате, каким видел его Тарас, казался ему неспособным на несправедливость.

Тарас не сразу увидел под внешней мягкостью его когтистую барственность.

Тарас с любопытством прислушивался к словам о Добролюбове, тем более, что сам недавно прочитал его едкую рецензию на странную и ходкую в те годы книгу: «Руководство к наглядному изучению административного течения бумаг в России» — и от души смеялся над книгой. Он тут же сказал Аксакову об этой рецензии:

— Выходит, что от земского суда до совета министров любая жалоба крестьянина должна пройти 159 инстанций. И это узаконено на Руси, и это изучается!

Аксаков ответил, что книжки этой не читал, но какое дело Добролюбову — критику изящной словесности — до подобного рода вопросов? Автор «Детства Багрова внука» искренне недоумевал и при этом заметил:

— Некрасову скажите, он любит такие вещи.

На другой день Тарасу случилось быть у Костомарова. «Костомаровские

вторники» привлекали многих из столичных и провинциальных кругов педагогической молодежи. Сам Костомаров, как автор русской истории, был в славе; и правительством, казалось, были забыты те дни, когда он состоял в Кирилло-Мефодиевском братстве.

В этот вечер у Костомаровых говорили о славянских мотивах в поэзии Черногоории. Филологи оспаривали влияние балканских стран и ратовали за «идиллическую эстетику» деревни. В стороне отчужденно сидел Добролюбов, показавшийся Тарасу совсем больным. Глаза его были полузакрыты, чахоточное, строгое и старобразное лицо казалось лицом подвижника. Тарас сел рядом и был удивлен, когда Добролюбов, почти не оборачивая головы, сухо спросил:

— Как себя чувствуете, Тарас Григорьевич?

— Вы меня знаете? — простодушно удивился Шевченко.

— Конечно, и псевдоним знаю: вы подписывались когда-то Дармаграй, но ваши стихи всегда отличишь и без подписи.

Тарас сидел, потупившись, словно пристыженный, — неизвестный человек, оказывается, издавек наблюдал за ним, читал, и никто из них никогда не поздоровался друг с другом, а вот Кулиш навязывается в критики... Тарас всегда порывисто и запросто подходил к людям, когда чувствовал в них силу и бескорытность. Ему хотелось сейчас же объясниться с Добролюбовым, но тот был сдержан в разговоре.

— Прочитайте мое стихотворение «Дума при гробе Оленина» и скажите ваше мнение. Вот я и увижу ваши политические взгляды. Зайдите в «Современник».

5

В ту пору в Стрельне сватался Тарас за горничную Лукерью Полусмакову, жившую у родственников Кулиша. Тарас скрывал свои мысли о женитьбе и тоску о семье. «Такой хмурый да старый, могу ли я сам свататься, но найди мне хорошую женщину из народа. Обыкновенная женщина, по-моему, самая лучшая и понятливая» — писал Тарас

Ярине и просил проведать некоторых знакомых ему в Моринцах девушек. «А будет казаться странным сватовство мое — скажи, что любить буду строго, но к амурам не способен». Однако, «понятливых» женщин приходилось мало встречать Тарасу, он и не надеялся найти себе помощницу. Он писал: «О, если бы могли светочи мира обойтись без домашнего очага, сколько великих произведений не потонуло бы в домашнем омуте. Но увы, и для гения, вероятно, как и для нашего брата, домашний камин и семейный кружок необходимы».

Дядьке Семену Никитичу как-то сказал он, глядя в сторону:

— При хозяйке веселее бы жилось, а? И тут Семен Никитич, бобыль сам, страдальчески-ворчливо и весь обмякнув, отрывисто заговорил, вздыхая:

— Баба — она баба, Тарас Григорьевич, и от бабы много неудобства, но как сказать...—Он засмеялся.—Нашел — бери. Одну капитаншу я знал — куда лучше мужа и серьезная, а убили капитана ее, — вышла за акцизного, тля такая, глядеть не на что. Подвоха боюсь, Тарас Григорьевич, а тебе виднее... И притом насчет поведения: кто за кем ухаживать будет? Если ты ей облатки понесешь (облатками старик называл конфеты), так я за тебя страдать буду.

И все же Тарас ездил в Стрельну. Привлекала его Лукерья Полусмакова угловатой, хищной, цыганской красотой своей, статностью и тем, что не опускала при разговоре быстрого, немного косога взгляда. Казалось ему, что должна она быть хитра, но сердечна, что, если пойдет за него, — не обманет и что полная невзгод жизнь ее — тому порукой. Не было в ней истощенной доброты в лице, не раскрывала она себя перед людьми, не кокетничала, больше молчала.

Впрочем, Тарас сам сознавался, что образ Лукерьи создан им самим.

Он сидел у ее хозяйки — Надежды Михайловны Забелиной — и, чувствуя неловкость, нарочно грубовато говорил:

— Вы молчите до поры, я сам решу с ней. Пусть привыкнет ко мне, тогда скажет...

— Не советую, Тарас Григорьевич, ну что это вы, право, нашли в ней? Луша, — сказала она вошедшей горничной, — барин с тобой говорить хочет. Прибери у себя в комнате.

Последние ее слова наводили на мысль, что у Лукерьи, должно быть, грязно и не приличествует барину итти к ней.

Но Тарас грузно сидел, странно спокойный, и, казалось, рассматривал на столе чайный китайский сервиз.

Он тяготился тем, что к невесте надо итти с согласия барыни, что сватовство его уже приняло официальный характер, что никто не понимает истинных его намерений — вырастить Лукерью, и что все это уже наполовину испорчено досадным отношением окружающих. Тарас прошел в полутемную комнату Лукерьи. Ободранные обои, запачканное зеркало и гребенка с вычесанными волосами на столе были неприятны. «Неряха» — подумалось ему.

Лукерья подметала пол и не обращала внимания на остальное. Она выпрямилась с веником в руке и молча улыбнулась.

— Сидайте, — сказала она по-украински, и звук ее голоса обрадовал Тараса. Она не стеснялась его. Перед тем раза три пришлось им свидеться. — Может, молока трошки выпьете, принести?

— Сядь, Луша, со мной, — сказал он вместо ответа и подождал, пока она, убрав мусор, деловито присела рядом. — За меня, за старого, пойдешь, Луша? — Он положил на ее плечо тяжелую руку и глядел печально, словно провожал ее в дорогу и давал какой-то наказ.

— А зачем барину я нужна? — вырвалось у ней.

— Я не барин, — медленно сказал он. — Я крипак был, и ты со мной вольная будешь. В Корсунь поедешь, в Малороссию.

— Нынче деншики в театр звали, — почему-то вспомнила она вслух, и Тараса кольнуло от ее слов.

Он не ответил и продолжал:

— Родных выкуплю, место найду, с тобой в деревне жить буду. Места наши хорошие, нигде, даже на Кавказе, нет таких мест.

— В городе чего лучше, — заметила она, словно ни с чем не споря.

— Будешь и в городе... — И подумал: «А что, собственно, еще я могу предложить ей?». — Говори, Луша, пойдешь за меня? Небось, обдумала, говорили тебе раньше?

Она молча и словно безрадостно кивнула головой, сказала:

— Пусть по-вашему! — И неожиданно звонко рассмеялась. — А мне молодого сулили, да с вами жить хорошо будет.

— Не знаю, Луша, не знаю, как сложится жизнь, — терпеливо, немного растерянно сказал он и медленно, потцовски поцеловал девушку. Она не отстранялась, не дичилась, внимательно гладила его руку.

(Продолжение следует)

Вот ты влез на третью полку,
Ты урвал себе клочок
Там, где ехал втихомолку
Слезший ночью старичок.

Коренное население
Проявляет к тем, кто влез, —
К молодому поколению —
Свой законный интерес.

А попутно с этим, если
Были люди хороши,
Тех, кто ехали и слезли,
Вспоминают от души.

Ты знакомишься случайно.
Поделившись табаком,
Ты одалживаешь чайник
И бежишь за кипятком.

Ты чужих детей качаешь,
Книжки почитать даешь,
Ты и сам не замечаешь,
Как в дороге устаешь.

Люди сходят понемногу,
Сходят каждый перегон,

Но, меняясь всю дорогу,
Не пустеет твой вагон.

Ты давно уже не знаешь,
Сколько верст в пути прожил,
И соседей вспоминаешь,
Как заправский старожил.

День темнеет, дело к ночи,
Скоро — тот кусок пути,
Где, без лишних проволочек,
Предстоит тебе сойти.

Что ж, возьми пожитки в руки;
По возможности без слез
Слушай, высадившись, стуки
Улетающих колес.

И надейся, что в вагоне
Целых пять минут подряд
На дорожном лексиконе
О тебе поговорят:

Мол, проездивший полвека
Непоседа и транжир,
Все ж хорошим человеком
Был сошедший пассажир!



М. В. Фрунзе

Пролетарский полководец Михаил Васильевич Фрунзе

★

Жизнь Михаила Васильевича Фрунзе была недолгой: он умер в возрасте сорока лет. Но какая это большая, богатая событиями и поучительная жизнь!

М. В. Фрунзе, по национальности — молдаванин, родился в 1885 г. в г. Пишпеке, — теперь Фрунзе, — Семиречен-

ской области. Его отец, бывший крепостной крестьянин, был фельдшером.

В 1904 г. молодой Фрунзе окончил гимназию в г. Верном и, переехав в Петербург, поступил в Политехнический институт. Здесь перед двадцатилетним юношей открывался обычный жизненный путь. Фрунзе мог бы стать инже-

нером-экономистом, пойти по пути обеспеченного существования. Но он избирает совершенно другую дорогу.

Еще учась в гимназии, тов. Фрунзе интересуется революционными идеями и работает в кружках самообразования. На первом курсе Политехнического института он вступает в социал-демократическую организацию, причем сразу же примыкает к ее большевистскому крылу и остается верным большевизму до конца своих дней.

Тов. Фрунзе целиком отдается изучению марксизма и практической революционной работе.

Все годы, начиная с 1904 и вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции, жизнь тов. Фрунзе целиком посвящена трудной, тяжелой работе в большевистском подполье.

В 1905 г., во время первой русской революции, тов. Фрунзе высылается полицией за участие в студенческих «беспорядках» в бывшую Иваново-Вознесенскую губернию, в г. Шую, где он вскоре делается любимым организатором и агитатором рабочих-ткачей. Здесь и в г. Иваново-Вознесенске протекают почти три года деятельности Михаила Васильевича, до ареста его царской властью в начале 1907 г. по обвинению в сопротивлении полиции. Суд приговаривает тов. Фрунзе к смертной казни через повешение; но даже царские палачи вынуждены были заменить этот необоснованный приговор десятилетней каторгой.

С 1909 по 1914 г. длится сибирская каторга; затем—поселение в Иркутской губернии, революционная работа среди поселенцев, новый арест, бегство с каторги, работа на Западном фронте под фамилией Михайлов. Наконец, Февральская революция освобождает тов. Фрунзе и открывает новую эпоху его жизни.

Великую Октябрьскую социалистическую революцию Михаил Васильевич встречает в баррикадных боях, во главе вооруженного отряда ивановских ткачей, которых он привел в Москву. Этот двухтысячный отряд ткачей сыграл немалую роль в разгроме московского контрреволюционного восстания в кон-

це октября и начале ноября 1917 г. (старого стиля). Во главе своих ткачей тов. Фрунзе штурмовал гостиницу «Метрополь», где засели вооруженные юнкера и другие контрреволюционеры.

Очень скоро партия призывает Михаила Васильевича на новую, большую, руководящую работу. С 1918 г. по конец его жизни мы видим тов. Фрунзе на ответственных военных постах.

В суровые годы гражданской войны широко развертывается могучий военный талант М. В. Фрунзе.

«Михаил Васильевич вошел в историю как один из наиболее выдающихся полководцев и вождей Красной армии,—пишет о нем К. Е. Ворошилов.—Он не был специалистом военного дела в обычном понятии этого слова. Михаил Васильевич стал полководцем и вождем вооруженных пролетарских сил, пройдя тяжелую школу большевика-подпольщика, которая многое восполнила в пробелах специальных военных познаний этого незаурядного человека. Чудом может казаться, что вчерашний каторжанин, затравленный беглец и ссыльнопоселенец, становится сперва образцовым военным организатором в должности ярославского окружного комиссара, а затем возглавляет самые ответственные операции по разгрому контрреволюционных сил, грозивших еще неокрепшему, хрупкому пролетарскому государству»¹.

Вся полководческая деятельность М. В. Фрунзе может быть разделена на три основных крупных этапа, охватывающих последовательно его работу на Восточном, Туркестанском и Южном фронтах гражданской войны.

★

В конце декабря 1918 г. партия ставит М. В. Фрунзе на ответственный пост командующего 4-й Красной армией, действовавшей на крайнем правом крыле Восточного фронта, в Уральской области. Михаил Васильевич, весь воен-

¹ И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов. — М. В. Фрунзе. Партиздат ЦК ВКП(б), 1938. стр. 13.

ный опыт которого ограничивался баррикадными боями 1905 и 1917 гг. и недолгой организационной работой в должности ярославского окружного военного комиссара, смело берется за новое дело. Предварительно, в течение января 1919 г., тов. Фрунзе тщательно знакомится с положением на фронте 4-й армии и усиленно занимается военными науками.

В то время обстановка на Восточном, колчаковском, фронте была наиболее угрожающей. Отсюда, по мысли империалистов Антанты, белогвардейцы должны были нанести главный, смертельный удар по советской власти. В декабре 1918 г. Колчак, стремясь к соединению с английскими интервентами, высадившимися в Архангельске, овладел Пермью, нанеся тяжелое поражение 3-й Красной армии. Партия возложила на товарища Сталина задачу расследования причин пермской катастрофы. Известно, что товарищ Сталин не только выполнил эту задачу, но рядом смелых революционных мероприятий добился в течение января 1919 г. оздоровления и укрепления положения на всем Восточном фронте.

В духе сталинских мероприятий действовал и новый командующий 4-й армией тов. Фрунзе на южном крыле Восточного фронта. В течение февраля 1919 г. он добился значительного укрепления 4-й армии, войска которой до этого были мало боеспособны. По инициативе тов. Фрунзе, на Уральский фронт прибыла такая замечательная, крепкая революционная часть, как Иваново-Вознесенский рабочий полк, составивший в дальнейшем ядро знаменитой 25-й Чапаевской дивизии.

К началу марта 1919 г. красный Восточный фронт проходил по западным предгорьям Урала, причем наиболее прочным было положение на севере — против Перми — и на юге, где от белых были освобождены Оренбург и Уральск. Центр фронта занимала слабая по численности 5-я Красная армия (11 200 штыков и сабель), сумевшая, однако, в течение зимы добиться крупных успехов и освободить от белых Уфу.

Белогвардейцы усиленно готовились к

новому походу. Они сосредоточили в направлении Уфа — Самара свои лучшие ударные части: Западную армию генерала Ханжина, и 5 марта 1919 г. перешли в общее наступление. Армия генерала Ханжина была численно вчетверо сильнее 5-й Красной армии, и последняя была вынуждена отходить под напором белых.

В это время, с 18 по 23 марта, в Москве собрался VIII съезд партии. Съезд уделил огромное внимание военному положению республики и состоянию Красной армии, приняв по этим вопросам ряд конкретных решений. Обращение съезда к партийным организациям, опубликованное в «Правде» 20 марта 1919 г., разъяснило советскому народу план и истинные цели первого похода Антанты и звало партию и всех трудящихся на борьбу с Колчаком, на помощь Красной армии.

К середине апреля белым уже оставалось по кратчайшему расстоянию до Волги всего 80—100 км. А потеря Волги означала бы соединение Колчака с Деникиным и смертельную угрозу всей Советской России.

12 апреля ЦК партии опубликовал написанные В. И. Лениным «Тезисы ЦК ВКП(б) в связи с положением Восточного фронта». Эти исторические тезисы намечают конкретные пути и методы организации победы над главным врагом — Колчаком. В течение второй половины апреля широкий поток партийных, комсомольских и профсоюзных мобилизаций вливает в ряды Восточного фронта тысячи стойких, преданных советской власти бойцов.

В эти тревожные дни армии южного крыла Восточного фронта (4-я, 1-я и Туркестанская) продолжали занимать достаточно прочное положение, образуя клин, глубоко входивший в расположение противника. Такое начертание южного крыла Восточного фронта подсказало тов. Фрунзе идею удара, в общем направлении на север, во фланг и тыл наступающей главной группировке белых. Этот блестящий, совершенно правильный план был предложен тов. Фрунзе партии и командованию вопреки злой воле предателя Троцкого и его

ставленников, настаивавших на необходимости отступления за Волгу.

7 апреля тов. Фрунзе предлагает командованию Восточным фронтом создать ударную группу в районе Бузулука для нанесения контрудара белым.

10 апреля, на основе прямого указания ЦК партии, главным командованием отдается директива о создании Южной группы Восточного фронта в составе четырех армий: 4-й, Туркестанской, 1-й и 5-й. Командование этими войсками возлагается на М. В. Фрунзе и члена Реввоенсовета В. В. Куйбышева.

Тов. Фрунзе немедленно приступает к подготовке и осуществлению своего знаменитого контрудара, который вошел в сокровищницу оперативного искусства гражданской войны как образец блестящего маневра.

План контрудара тов. Фрунзе осуществляет в исключительно тяжелых условиях. Он создает ударную группу за счет своих частей, не дожидаясь прибытия резервов из центра, ибо время не терпит.

Михаил Васильевич решается на проведение контрудара, несмотря на острое и трудное положение в собственном тылу. Здесь сказались его правильное оперативное предвидение и непоколебимая вера в успех.

Он снимает с южного крыла фронта, с уральского и оренбургского направлений, наиболее боеспособные, крепкие части и сосредоточивает их в районе Бузулука.

Командование фронтом всячески мешало тов. Фрунзе, фактически не желая допустить задуманного им маневра.

16 апреля предатель Троцкий выезжает в Симбирск и на заседании Революционного военного совета фронта делает предложение об отводе армий Восточного фронта за Волгу.

Партия бьет Троцкого по рукам, не дает ему осуществить этот предательский план. Но в конце апреля, когда сосредоточение ударной группы уже заканчивалось, командование фронтом опять пыталось сорвать операцию, предлагая отложить ее на две недели, до окончания весенней распутицы.

Однако тов. Фрунзе настойчиво проводит свой план в жизнь. 28 апреля начинается контрнаступление Южной группы, и уже в первые дни инициатива переходит в руки Красной армии.

В течение 22 дней разворачивается одно из крупнейших сражений гражданской войны, в итоге которого белые орды были отброшены на 220 км. Весь первоначальный успех Колчака был ликвидирован. Его фронт затрещал и покатился на восток. Операция закончилась поражением белого корпуса Каппеля под Белебеем.

Предательское троцкистское командование опять пыталось задержать наступление под предлогом переброски войск с Восточного фронта на Южный, где в это время начал наступать Деникин. Но прекращение наступления на Восточном фронте означало бы, что Колчак, оправившись от удара, летом или осенью вновь начал бы наступать, и, возможно, как-раз в тот тяжелый момент, когда Деникин, заняв Орел, протягивал кровавые руки к сердцу Советской России — Москве.

Вот почему тов. Фрунзе настойчиво добивается немедленного осуществления второй крупнейшей операции — уфимской, связанной с форсированием серьезной водной преграды — реки Белой.

В этом случае Михаил Васильевич действует по прямому указанию В. И. Ленина, телеграфировавшего 25 мая Реввоенсовету Восточного фронта:

«Если мы до зимы не завоюем Урала, то я считаю гибель революции неизбежной; напрягите все силы; следите внимательно за подкреплениями; мобилизуйте поголовно прифронтовое население; следите за политработой; ежедневно шифром телеграфируйте мне итоги...»¹

Исходя из этой ленинской директивы, тов. Фрунзе организует и блестяще проводит уфимскую операцию. Красные части в начале июня форсируют реку Белую неожиданно для колчаковцев, без специальных переправочных средств. Красноармейцы переправ-

¹ В. И. Ленин. — Из эпохи гражданской войны. Партиздат, 1934, стр. 52.

лялись через полноводную реку шириной в 200 метров и глубиной до 6 метров на плотках, на бочках, на случайных лодках. 9 июня Чапаевская дивизия занимает Уфу и отбрасывает белых за Уральский хребет. В кризисный момент боя за Уфу М. В. Фрунзе лично появляется на поле боя и, с винтовкой в руках, ведет за собой в контратаку 220-й полк иваново-вознесенских ткачей. За этот подвиг М. В. Фрунзе был награжден первым орденом Красного Знамени.

В период уфимской операции ЦК партии отстранил Троцкого от руководства делами Восточного фронта, — настолько явно пораженческим и предательским было все поведение этого контрреволюционера.

В итоге бугурусланско-белебеевской и уфимской операций белые потеряли свыше 25 тысяч человек. Западная армия генерала Ханжина понесла огромное поражение. Колчаковский фронт откатился на Урал; в тылу Колчака рабочие и крестьяне, ободренные успехами Красной армии, подымали знамя восстания.

Под руководством тов. Фрунзе, уже как командующего всем Восточным фронтом, в июле — августе 1919 г. была проведена еще одна крупная операция — челябинская, в которой белые потеряли свои последние стратегические резервы.

В дальнейшем, вплоть до начала 1920 г., продолжалось победоносное преследование Красной армией полчищ Колчака, закончившееся, как известно, полным его разгромом, освобождением от интервентов и белых всей Сибири и расстрелом врага народа, мерзкого наймита английского капитала — адмирала Колчака.

Операция контрудара, проведенная тов. Фрунзе, положила начало этому разгрому и сыграла решающую роль в его осуществлении.

Но значение контрудара тов. Фрунзе заключалось не только в том, что был разгромлен Колчак. Оно велико и потому, что здесь были применены такие формы вождения войск, которые и на сегодняшний день служат образцом командирам Красной армии.

Это было первое крупное сражение гражданской войны, проведенное в форме оперативного удара во фланг с целью выхода на сообщения противника. Смелость задуманного маневра заключалась в решении М. В. Фрунзе стянуть на главное направление максимум сил за счет второстепенных направлений. Такое решительное сосредоточение сил и правильное определение направления удара обеспечили быстроту оперативного эффекта, вызвавшего крушение всего стратегического фронта белых. Осуществление подобной операции требовало искусства, умения, мужества и настойчивости. Все эти качества и были проявлены тов. Фрунзе.

В ходе операций по разгрому Колчака тов. Фрунзе удалось организовать, воспитать и сколотить такие войсковые части и соединения, которые являлись и являются сейчас гордостью Рабоче-Крестьянской Красной армии. Первое место среди этих соединений по праву принадлежит славной 25-й Чапаевской дивизии.

Контрудар, нанесенный колчаковцам под руководством тов. Фрунзе, есть величайшее сокровище оперативного и тактического опыта, который Красная армия изучает и будет изучать для его применения на полях будущих битв.

★

В августе 1919 г., когда задача разгрома Колчака в основном уже была решена, наступает второй крупный этап полководческой деятельности тов. Фрунзе.

Партия ставит его во главе нового, Туркестанского, фронта.

Если на Восточном фронте тов. Фрунзе имел дело с линейными войсками противника, с организованной армией и с более или менее устойчивым фронтом, то совершенно иной была обстановка в Туркестане. Тов. Фрунзе встретил там исключительно сложный переплет политических, национальных и социальных условий. Война велась полупартизанскими силами, фронт был всюду. В этом сложном переплете особен-

но нужно было сочетать полководческую военную деятельность с огромной и умелой политической работой. Тов. Фрунзе блестяще осуществляет эту задачу, добиваясь и здесь крупнейших военных результатов.

Операции по освобождению блокированного Туркестана были начаты окружением и пленением белой казачьей армии генерала Белова. Эта армия действовала до августа 1919 г. на южном фланге колчаковского фронта. После поражения белых под Челябинском она вынуждена была отходить на юг, к Туркестану. Операция против двадцатитысячной армии генерала Белова кончилась тем, что, отброшенная в пустынные степи, окруженная красными частями, она была вынуждена сдаться со всем вооружением. В истории военного искусства не много можно найти таких побед, когда целая армия оказывалась плененной.

22 февраля 1920 г. эшелоны М. В. Фрунзе пробились наконец в Ташкент. Началась упорная, длительная борьба по ликвидации интервентов и белогвардейцев в самом Туркестане.

Первой задачей М. В. Фрунзе являлся разгром семиреченского белогвардейского фронта, силы которого состояли из зажиточных слоев казачества, кулаков и остатков белогвардейского офицерства разбитых армий Колчака. Во главе семиреченских белогвардейцев стояли такие отъявленные бандиты и палачи, как Анненков, Щербаков, Дутов и другие. Эти банды дезорганизовали хозяйственную жизнь обширной Семиреченской области, держали в состоянии кровавого террора ее мирное, трудовое население, грабили и насиловали трудящихся.

Борьба в Семиречьи развернулась на обширных предгорных пространствах. Красная армия действовала здесь не сплошным фронтом, а отдельными ударными группами, на основных направлениях, ведущих к экономическим центрам страны.

В течение весны 1920 г. наиболее крупные белогвардейские банды в Семиречьи были уничтожены, а их главари скрылись в Китай.

Задачу огромной трудности представляла собой борьба с злейшим врагом трудящихся Туркестана — с басмачеством.

Иностранные интервенты, и, прежде всего, английские капиталисты, нашли в басмачестве удобный инструмент для своей захватнической политики и начали щедро вооружать басмачей, всячески поддерживая их материально.

В 1920 г. басмачи объединялись в довольно крупные банды, во главе которых стояли так называемые «курбаши» (банды Мадамин-бека, Курширмата и др.). Опираясь на духовенство, еще имевшее влияние на мусульманское население, басмачи пользовались обширной агентурой, что в сочетании с превосходным знанием местности делало их зачастую почти неуловимыми. К тому же большинство басмачей было отличными природными наездниками и меткими стрелками. Все эти условия чрезвычайно затрудняли ликвидацию басмачества.

Основная тактика М. В. Фрунзе в борьбе с басмачами заключалась в проведении широкой политической работы среди населения и, в первую очередь, — среди трудящихся дехкан. Политическая работа велась и внутри самих басмаческих отрядов. Эта работа приносила большой эффект, она не только приводила к ослаблению басмаческого движения, но были даже случаи, когда отряды басмачей переходили на сторону Красной армии.

Борьба с басмачами изобиловала острыми моментами и опасными положениями. Известен случай, когда бывший басмач, по имени Анхужан, перешедший на сторону Красной армии и командовавший национальным узбекским полком, стал грабить и терроризировать население. Вызванный к М. В. Фрунзе, он явился в сопровождении четырнадцати вооруженных до зубов курбаши. Фрунзе спокойно передал Анхужану приказ Реввоенсовета фронта — вывести полк в Ташкент. Анхужан отказался выполнить приказ. Тогда Фрунзе потребовал сдать оружие. В ответ на это Анхужан выхватил маузер и направил его в упор в грудь безоружному Фрунзе. Жизнь Михаила Васильевича висела на воло-

ске; но он, спокойно смотря на Анхужана, еще раз приказал сдать оружие. Бандиты подчинились этой непреклонной воле и были разоружены.

Умелым сочетанием политической работы с мерами вооруженной борьбы М. В. Фрунзе удалось добиться ликвидации основных очагов басмачества уже в 1920 году.

Заключительной крупной операцией, проведенной под личным руководством М. В. Фрунзе в Туркестане, был разгром контрреволюционных войск бухарского эмира — последнего оплота английской интервенции в Средней Азии.

★

21 сентября 1920 года партия призвала М. В. Фрунзе на новый, ответственный участок гражданской войны, на Южный фронт, — против Врангеля. Советская Россия только-что успешно отразила крупнейшую опасность — поход белопанской Польши. Но оставался еще очень серьезный враг — барон Врангель, угрожавший Донбассу и Украине. Нужно было, во что бы то ни стало, быстро покончить с этой опасностью, дабы обеспечить наконец мирный труд измученной и разоренной стране.

Товарищ Сталин, по личному указанию В. И. Ленина, выбирает тов. Фрунзе в качестве командующего Южным фронтом, как человека, лучше других способного осуществить задачу разгрома Врангеля. И действительно, в исключительно короткий срок и в чрезвычайно трудных условиях Красная армия под командованием тов. Фрунзе наносит Врангелю сокрушительный удар.

М. В. Фрунзе разработал блестящий план разгрома Врангеля, положив в его основу идею плана товарища Сталина, предложенного еще летом 1920 года.

Разгром Врангеля разбивается на две самостоятельные операции: первая в истории гражданской войны получила название — «Сражение в Северной Таврии»; вторую знает каждый — это бой под Перекопом и овладение Крымом.

Обе эти операции содержат массу поучительных моментов.

Сражение в Северной Таврии было проведено, как операция окружения. Главная роль в этой операции выпала на долю Первой Конной армии под командованием товарищей Ворошилова и Буденного.

Используя в качестве исходного пункта для наступления каховский плацдарм, созданный гением товарища Сталина, Первая Конная армия ударила по сообщениям Врангеля. Это вызвало быстрый откат врангелевских войск и их паническое бегство в Крым, под прикрытием перекопских укреплений.

Перекоп считался неприступным не только белыми, но и иностранными военными специалистами. Белогвардейцы имели значительное превосходство в артиллерии, несколько заранее подготовленных позиций с бетонированными пулеметными гнездами. Флот интервентов помогал белым. Он господствовал в то время в Черном и Азовском морях. Двигаясь по голому Перекопскому перешейку, Красная армия подвергалась не только фронтальному удару белых, но и фланговому огню флота. Но М. В. Фрунзе и тут нашел пути к победе.

Перекопская победа была обеспечена смелым форсированием Сиваша, который считался непроходимым. Части Красной армии, перейдя через Сиваш, вышли в тыл белым; тем временем перекопские позиции были атакованы с фронта. Такой комбинированный удар не позволил белым снять достаточно сил с перекопских укреплений и бросить их против обходной группы Красной армии.

Это было одно из наиболее кровопролитных, наиболее трудных сражений гражданской войны. Осень в 1920 г. стояла необычайно холодная. В начале ноября по ночам уже было до 10—16 градусов мороза. Красная армия не имела теплого обмундирования, бойцам нигде было укрыться от холода. Приходилось располагаться в голой степи.

Для того, чтобы предпринять столь смелую операцию в таких неблагоприятных условиях, нужны были решитель-

ность, настойчивая воля и способность предвидения. Тов. Фрунзе пошел на эту операцию и ударом, построенным на внезапности, разгромил белых. Красные войска несокрушимой лавиной ворвались в Крым и освободили его от белогвардейцев и интервентов. Разгромом Врангеля в ноябре 1920 г. был закончен, в основном, период интервенции и гражданской войны в СССР. Исключительные заслуги тов. Фрунзе по разгрому Врангеля были отмечены советским правительством: он был награжден почетным революционным оружием и вторым орденом Красного Знамени.

В период боев с Врангелем произошла встреча двух крупнейших пролетарских полководцев — Фрунзе и Ворошилова.

Впервые товарищи Фрунзе и Ворошилов познакомились в апреле 1906 г. на IV (Объединительном) съезде партии в г. Стокгольме. В ту пору они, в силу требований конспирации, знали друг друга только по партийным кличкам: один был «Арсений», другой — «Володя».

В Стокгольме будущие соратники великих битв подружились, прожили месяц вместе. Затем жизнь и борьба разлучили их на 14 долгих лет.

В годы гражданской войны К. Е. Ворошилов много раз слышал, что на Восточном фронте и в Туркестане красными войсками руководит Михаил Фрунзе. У него заочно сложилось отличное мнение о тов. Фрунзе. К. Е. Ворошилов знал Фрунзе, как крупного деятеля партии, как полководца-большевика; но он никак не ожидал, что это и есть тот Арсений, с которым он подружился в Стокгольме.

Вот как сам товарищ Ворошилов рассказывает об этой радостной встрече:

«1 Конармия форсированным маршем движется с польского на врангелевский фронт.

Получается приказ нового командующего т. Фрунзе об ускорении марша армии. В конце сентября он вызывает либо меня, либо т. Буденного на совещание в Харьков. Тов. Буденный не может оторваться от армии, и я спешно на паровозе мчусь в Харьков.

Вагон главкома. За столом главком. Начштаба... и... кто это? Фрунзе? Глазам не верю. Радостная встреча—Арсений и Володя, «перекрещенные» революцией в их собственные имена и фамилии. Пожимаем друг другу руки. Оба возбужденные, рады неожиданной встрече.

Так вот он кто Фрунзе-Михайлов, о котором так много славных, граничащих с легендами, вестей и слухов! Вот он, большевистский воспитанник иваново-вознесенских и шуйских ткачей!

На столе огромная карта, на которой видно, что враг, последний враг русской революции, с удесятеренной наглостью пытается расширить район своих действий.

Мы начинаем обсуждать стратегический план нанесения решительного и последнего удара барону Врангелю.

И вчерашний подпольщик, большевик Арсений, с изумительной ясностью и поражающим авторитетом истинного полководца развивает в деталях предстоящие решительные операции Красной армии»¹.

Именно таков и был тов. Фрунзе. Военные специалисты, работавшие вместе с ним, в своих воспоминаниях пишут, что Фрунзе поражал природным военным талантом, умением быстро схватывать обстановку и правильно в ней разбираться.

Гениальные люди, как правило, бывают просты; и тов. Фрунзе, по существу, тоже был прост, так же, как просты были его военные правила. Он любил говорить: «Сначала изучи, а потом действуй». Фрунзе так и поступал: сначала внимательно изучал обстановку, а потом принимал решение. Он охотно выслушивал советы подчиненных; но, раз приняв решение, твердо доводил его до конца. Мы не знаем случаев отмены тов. Фрунзе своих приказов, бессмысленного дергания войск, чем была так богата «деятельность» многих царских генералов.

Однако тов. Фрунзе отнюдь не держался своего решения, как слепой док-

¹ И. В. Сталин, К. Е. Ворошилов. — М. В. Фрунзе. Партиздат ЦК ВКП(б), 1938, стр. 9—10.

тринер. Если он видел, что обстановка требует частичного изменения решения, он немедленно вносил это изменение. Так было, например, при форсировании реки Белой во время уфимской операции, когда тов. Фрунзе решил перейти в наступление еще до окончания сосредоточения 25-й дивизии, дабы использовать благоприятную обстановку и нанести белым неожиданный удар.

Широту, ясность и простоту мышления, упорство в достижении своей цели тов. Фрунзе соединял с гибкостью, с чрезвычайной маневренностью ума, с умением внести нужные изменения в решение там, где этого действительно требует обстановка.

В своей полководческой практике тов. Фрунзе применял разнообразные формы маневра именно потому, что он не был доктринером типа старых академиков царской армии, разрабатывавших отвлеченные схемы и пытавшихся втиснуть в эти схемы живую боевую действительность. Известно, что многие честные военные специалисты оказывались неспособными руководить операциями гражданской войны в силу необычности и сложности ее обстановки и форм.

Наконец — и это главное — тов. Фрунзе был полководцем-большевиком, полководцем совершенно нового типа, такого типа, о котором буржуазия не может и мечтать. Это позволяло ему широко сочетать командование с политической работой. Тов. Фрунзе был не только командиром, но и политработником. Он был представителем коммунистической партии в рядах Красной армии. Как член этой великой партии, он поступал всегда — и в малом, и в большом — в соответствии с ее директивами и ее политикой.

Это находит, в частности, отражение в отношениях тов. Фрунзе к бойцам. Он ищет случая поговорить с красноармейцами. Он не сидит в кабинете. Послужной список тов. Фрунзе пестрит пометками: «Выезжал на фронт». Как правило, во время решающих операций Михаил Васильевич находился непосред-

ственно на фронте. Под Уральском в феврале 1919 г. он шел в атаку в боевой цепи. В кризисный момент боя за Уфу он бросился в штыки впереди Иваново-Вознесенского полка.

Общение с массами, умение узнать, чем масса дышит, чем она живет, в чем нуждается, позволяло Фрунзе очень быстро схватывать обстановку и действовать исходя из учета потребностей и реальных сил того самого ценного капитала — людей, которые составляют основу нашей армии.

М. В. Фрунзе умело применял ленинско-сталинское учение о национальной политике; это было одним из крупнейших условий его побед на Восточном фронте и особенно — в Туркестане.

Наконец, очень характерная черта: тов. Фрунзе никогда не зазнавался. Он всегда учился.

К военным специалистам тов. Фрунзе относился именно так, как учил нас В. И. Ленин. Он был требовательным и зорким, не щадил изменников, но он умел и ценить честных военных специалистов. Поэтому ему всегда удавалось подбирать из их числа ценных сотрудников.

Наконец, надо добавить, что тов. Фрунзе был замечательным организатором. Он тщательно продумывал все свои операции с точки зрения их организационного обеспечения. В частности, успех контрудара по Колчаку был обеспечен кропотливой работой по организации войск, их снабжению и комплектованию, а также заблаговременным выделением резервов.

Все эти моменты характеризуют тов. Фрунзе не просто как полководца в старом смысле этого слова, а как военного руководителя нового типа, как полководца-большевика.

Одной из причин победы Красной армии было то обстоятельство, что ее возглавляли такие замечательные военные руководители нового типа, как Фрунзе, Ворошилов и Буденный.

Полк. Е. Болтин.

Через всю Арктику

В. МОЛОКОВ

Герой Советского Союза

★

ЧТО ДОКАЗАЛ НАШ ПЕРЕЛЕТ

Признаюсь: об этом перелете я мечтал давно. Не первый год я летаю на Севере. Летал и в восточном секторе Арктики — на Чукотке и в Восточно-Сибирском море, и на западе — в Карском море, и в море Лаптевых. Но еще ни одному полярному летчику не приходилось пролететь весь Северный морской путь. И мне давно хотелось пройти через всю Советскую Арктику — от самой восточной точки до западной.

Я люблю работать на Севере. В воздухе Арктики как-то легче дышится. Над полярными морями летать интереснее, чем над материком.

С каждым годом Север становится все ближе и доступнее. Перелеты, еще вчера казавшиеся неосуществимыми или очень трудными, сегодня стали почти обычными. Давно ли о полете до острова Врангеля говорили, как о героическом предприятии? А теперь наши самолеты летают на остров Врангеля запросто. Зимой и летом мы появляемся и на Земле Франца-Иосифа, и на Северной Земле, всюду, в любой точке Арктики. Арктика перестает быть загадочной страной. Мы узнаем ее!

Разрабатывая план перелета, я отчетливо представлял себе все трудности. Но они только подстегивали меня. Да и какого советского летчика не вдохновляют на борьбу преграды и трудности, возникающие на пути! Если бы все было легко и просто, так и летать было бы неинтересно!

Судя по предварительным прогнозам, мы не могли рассчитывать на благоприятные метеорологические условия и не сомневались в том, что встретим крайне сложную ледовую обстановку. Все это не пугало — напротив, это радовало и меня, и моих товарищей.

— Если в суровый год, — рассуждали мы, — удастся пролететь через всю Арктику, то в легкие годы это будет делом обычным.

Хотя прогнозы оказались правильными, нам удалось побывать во всех важнейших пунктах Советской Арктики, и в Москву мы вернулись уже с твердой уверенностью в том, что полет через Арктику в благоприятных условиях не представит особых трудностей.

На борту самолета, кроме меня, бортмеханика Побежимова, его помощника Мишенкова и штурмана Ритсланда, находились работники Главсевморпути. Машина была загружена продовольствием, подарками для зимовщиков и литературой. Мы летели с полным грузом.

Наш перелет доказал, что в Арктике организация сквозных коммерческих перевозок по воздуху — дело недалекого будущего.

СТАРТ

Перелет начался в Красноярске.

Нам предстояло тронуться в путь на самолете «СССР Н-2», и мне пришлось незадолго до старта испытать эту машину.

Восемнадцатого июля я совершил первый пробный полет. Продолжался

он всего тридцать три минуты. За эти минуты выявились мелкие недостатки в машине. Их устранили за два дня. Двадцатого июля я вылетел вторично. Машина показала хорошие летные качества. Единственным ее недостатком было очень тугое управление элеронов. Я обратил на это внимание еще во время первого полета, но устранить это заводу не удалось, и с таким управлением пришлось отправиться в рейс.

С двадцатого по двадцать второе июля усиленно шла погрузка в самолет запасных частей, рации, продовольствия...

Двадцать второго июля, когда машина была загружена, мы принялись стартовать, но не могли оторваться.

Енисей не способствовал старту. Погода стояла на редкость безветренная, совершенно гладкая поверхность реки напоминала блестящее зеркало. И главное, мы летели с полным грузом. При ветре мы оторвались бы, но в условиях полного штиля это оказалось невозможным. Пришлось пришвартовываться к бочке.

Подрулив, мы выбросили в шлюпку парашюты, выбросили (как это и было намечено на случай, если придется разгружаться) патефонные пластинки, часть книг и лишнее продовольствие.

Когда вес самолета уменьшился килограммов на сто, мы, хотя и с трудом, но оторвались.

Я облегченно вздохнул.

«Теперь можно о взлетах не тревожиться» — промелькнула мысль.

Оторваться на реке тяжелее, чем на море. Я хорошо знал это и не сомневался, что на море самолет будет легко отрываться, даже если произвести догрузку.

НА АНГАРЕ

Из-за густого тумана и тяжелого старта вместо семи утра мы вылетели из Красноярска в одиннадцать и решили заночевать там, где успеем снизиться до темноты. Этой точкой оказалась Кежма на Ангаре.

В 1932 году я доставил в Кежму

мотор для потерпевшего аварию самолета «Дорнье-Валь № 1». Я хорошо помнил этот маленький таежный поселок, расположенный на высоком берегу Ангары, знал, куда подрулить и где поставить машину.

В ЯКУТСК

От Ньюи до Якутска шли на высоте двух тысяч пятисот метров; эта высота позволяла при первой необходимости спланировать на воду.

Было очень холодно, сильно болтало. Сделав несколько спиральных кругов над городом, я сел в аэропорту—там же, где садился прошлым летом.

В Якутске мы решили задержаться на два-три дня. Впереди был ответственный участок перелета—нам предстояло через сушу пройти до Охотского моря. По опыту прошлого года я знал, что перед этим полетом необходимо проверить материальную часть, аэронавигационные приборы, девиацию.

Время летело незаметно. Дни были заняты работой, вечерами развлекались: ходили в кино, в театр, в парк.

Мне особенно ярко запомнились якутские национальные танцы. Я видел их на лугу, около парка. Обычно танцовать начинают человека три, они берут друг друга под руки и смыкают круг. Постепенно к ним присоединяются новые и новые танцоры, круг ширится, и танец становится все стремительней.

ПАМЯТНЫЙ ПЕРЕЛЕТ

Двадцать седьмого июля вылетели из Якутска в Крест-Холджай на Алдане.

Здесь мы переночевали, заправились бензином и подготовились к большому, ответственному перелету через Джуг-Джурский хребет к Охотскому морю.

В Якутске и в Крест-Холджае мы долго совещались, как идти: на Охотск, или на Аян?

Путь в Охотск короче, но это безводный путь, в Аян путь длиннее, но зато лежит над водой.

Из-за перегруженности машины мы не могли взять бензина больше, чем на десять летных часов.

Что же мы станем делать, если, пойдя к хребту, увидим, что пройти над ним невозможно?

От Крест-Холджая до Охотска — девятьсот километров, а до Аяна — тысяча триста. Взяв курс на Охотск, мы сможем пройти три четверти пути и вернуться обратно; а, пройдя три четверти пути до Аяна, вернуться не удастся: нехватит бензина.

Все же мы выбрали более длинный, но зато менее опасный путь: решили идти по Алдану, выйти на реку Мая, пройти до местечка Нелькан и, свернув от реки, перевалить через хребет.

Этот путь не был знаком ни мне, ни моему экипажу, но мы знали, что вынужденная посадка на этом пути не опасна: он лежит над водой, а если не над водой, то на большой высоте, с которой всегда можно спланировать на воду.

Над сушей предстояло лететь только через хребет — около часа двадцати минут.

...Двадцать восьмого июля, рано утром, после заправки машины, тронулись в путь.

Погода благоприятствовала.

Мы шли на большой высоте — выше трех тысяч метров, внимательно следили за незнакомой трассой и с волнением вглядывались вдаль: что ждет впереди?

Связи с Аяном и Охотским морем не имели. Там нет радиостанций Главсевморпути, а связаться с радиостанциями Наркомсвязи было трудно.

Хуже всего мы чувствовали себя, приближаясь к Джуг-Джурскому хребту.

Минута, две, три...

Вот и хребет. Впереди — море; оно закрыто туманом, воды не видно.

Что делать? Вернуться?

Нет, возврата не было, путь был только вперед.

Ближайшая точка, где можно сделать посадку, повернув обратно, — река Мая, но до Ман не долететь: нехватит бензина.

Самолет достиг вершины хребта, под нами мрачные утесы и ущелья.

Выбора нет. Остается одно: выйти к воде, а там подумаем, что делать.

Я вел самолет к туманным очертаниям моря.

Когда мы подходили к морю, завеса тумана внезапно приподнялась, и, точно в узенькое оконце, километрах в двадцати справа от Аяна показалась вода.

Это очень обрадовало меня.

Скорей! Скорей!

Я спешу проскочить в это «окошко» к воде размером с пятак.

...Самолет подошел к «пятачку», высота уже не три тысячи, а шестьсот метров. Что тут думать?

Я прикрыл газ и нырнул под туман. Туман повис метрах в пятидесяти над водой. Под туманом мы и вошли в бухту Аян.

Первое впечатление от Аяна неприятное. Бухта окружена горами, посадка возможна только с моря. Случись ветер с моря, мы бы легко не сели. Но, к счастью, ветер дул с берега, и я посадил машину против ветра.

Едва мы пришвартовались к мертвому якорю, бухту закрыло туманом, — он скатывался с высоких гор.

СКВОЗЬ ТУМАН

Аян — небольшой, но растущий город: центр охотско-аянского рыболовства.

Близко познакомиться с городом и его окрестностями не удалось. Наступил вечер, экипаж отправился ночевать в квартиру коменданта погранпункта, а на следующий день вылетел в Нагаево.

После трехчасового полета попали в густой, сплошной туман.

Мы шли на небольшой высоте — от ста до трехсот метров, но туман становился все плотнее, спускался ниже и ниже, ложился на воду: волей-неволей пришлось набрать высоту и пойти над туманом, на высоте тысячи метров.

Туман закрыл море и побережье. Подлетая к бухте Нагаево, я задумался:

«Открыта ли бухта для посадки?».

Берег мы видели изредка в просветах, спуститься вниз не решались.

Не долетев до бухты, я заметил в разорвавшемся тумане небольшой островок и захотел проверить: нельзя ли в это маленькое окошко пробраться поближе к воде. Но, пока делал круг, островок исчез: мы опоздали...

Наконец, по другую сторону Нагаево показалась чистая вода. Это обрадовало. Я давно решил пролететь Нагаево и сесть по другую его сторону, если спуститься в бухте не удастся.

Мы подошли ближе, и я отчетливо увидел, что лишь половина бухты закрыта туманом.

Сделав разворот, сел в открытой половине бухты, где садился еще в 1935 году, и пришвартовался к бочке.

К самолету подошел катер, нас перенесли на берег и проводили в новую гостиницу.

В 1935 году, прилетев в Нагаево, я видел только фундамент гостиницы, а теперь очутился в недавно построенных удобных комнатах.

Вечер провели за товарищеским чаем, утром по очень хорошей шоссейной дороге поехали осматривать окрестности.

Километрах в двадцати от города машина остановилась у реки, и мы наблюдали за ходом рыбы, которая с моря пробиралась в верховья метать икру.

В ХАЙРЮЗОВЕ

Тридцать первого июля вылетели из Нагаево и взяли курс на Усть-Камчатск.

Когда мы пролетели через Охотское море и приближались к Камчатке, я увидел, что Камчатский хребет закрыт туманом и что перевалить через него не удастся.

— Как долго продержится туман — неизвестно, — решил я. — Ждать у подступов к Усть-Камчатску не стоит, лучше итти кругом, через мыс Лопатку, и заночевать по пути.

Места ночевки я не определил, но и часа не прошло, как стало ясно, что садиться придется в поселке Хайрюзово, где расположен аэропорт и можно заправиться бензином для дальнейшего перелета.

Посадка в Хайрюзове была очень удачной. Мы селились во время прилива. Через три часа начался отлив, вода ушла в море, и я понял, как трудно было бы в это время выбирать место для посадки: фарватер оказался очень узким; кроме того, по фарватеру «плавали» огромные глыбы земли, которые отрываются здесь от берега; при отливе мы рисковали сесть на мель и наткнуться на эту «плавающую землю».

Ночью огромная глыба земли подошла к самолету и начала его тащить всей своей тяжестью. К счастью, стоявший у самолета часовой предупредил нас, и мы быстро ликвидировали эту плавающую неприятность.

Утром я отправился осматривать берег. Во время прилива вода закрывает много десятков километров суши и обдувает большой залив; когда вода уходит, от залива не остается и следа: на его месте, впадая в море, течет маленькая речушка.

Прогуливаясь вдоль берега, я обратил внимание на бежавших по воде собак.

«Что это они по воде бегают?» — подумал я и принялся за ними наблюдать.

Вскоре я разгадал причину странного поведения собак: когда вода отступает, следом за ней отступает рыба, а за рыбой с пронзительным лаем бросаются вдогонку собаки.

Одна из собак на моих глазах схватила рыбу за голову, скрылась в траве и вскоре снова занялась охотой.

Меня особенно забавляла небольшая, шустрая собачонка. В каждом ее движении чувствовался опытный рыбак, она раньше всех замечала рыбу, но большие собаки опережали ее, и ей, бедняге, мало что доставалось.

Возвращаясь обратно, встретил пионеров. Один из них, мальчуган лет шести, приветствовал меня, прочитал несколько стихотворений и доложил:

— Они большие, а я маленький, но знаю больше, чем они. А меня в отряд не принимают, говорят, что лет не хватает.

И в голосе его звучала великая обида на товарищей.

ВОКРУГ КАМЧАТКИ

Из Хайрюзова направились в Петропавловск. Минут через сорок — пятьдесят попали в дождь. Дождь сменился туманом.

Зная, что я нахожусь в море и десятиметровая высота над водой вполне достаточна, решил не итти выше тумана.

Мы шли к мысу Лопатке. Этот мыс вдается острым углом в Курильский пролив. В шести милях от мыса — Японские острова. В условиях туманной погоды мы могли незаметно перемахнуть границу и оказаться в неприятном положении. Чтобы не потерять Камчатку, я держался берегов и шел под туманом.

До мыса Лопатки прошли хорошо. Правда, берег видели изредка, но все время ориентировались и знали, где находимся.

Когда приближались к мысу, разыгрался шторм, видимость становилась все хуже и хуже.

Невольно мелькнула мысль: «Здесь даже плохонькой бухты не найдешь, а садиться в открытом море при шторме опасно».

Видимость не превышала одного метра. Мы обогнули мыс Лопатку в очень тяжелых условиях.

В тумане мыс показался не таким, каким он показан на карте, его очертания резко изменились: острый угол сгладился и точно растворился в прибрежных водах.

Мы плохо видели обрывистые берега Лопатки, но нас видели достаточно хорошо. Когда мы прилетели в Петропавловск, я узнал, что пограничники сообщили в город о том, что мы летим, и даже назвали тип нашего самолета.

Обогнув западный берег мыса Лопатки, пошли по восточному берегу. По-

года совсем испортилась. Берег не виден. Единственный ориентир — волны: разбиваясь о скалы, они оставляют едва заметную белую полоску пены.

Берег Камчатки очень высок и обрывист. До Петропавловска из-за тумана не удалось найти ни одной бухты, где можно укрыться от непогоды, — волей-неволей пришлось продолжать полет.

Итти вдоль берега, ориентируясь лишь по белой полоске прибоя, трудно. Но уходить мористее было опасно: мы рисковали совсем потерять берег, и, кроме того, на предполагаемом траверзе Петропавловска так или иначе пришлось бы повернуть и подходить к берегу перпендикулярно. При очень незначительной видимости это грозило тем, что мы могли врезаться в берег.

Что же делать?

Я пошел параллельно берегу.

Нелегко управлять самолетом в таких условиях и не легче определить курс.

«Удастся ли нам найти бухту Петропавловска? При плохой видимости и большой высоте трудно учесть силу и направление ветра. В расчеты могли вкратиться ошибки» — тревожился я. Но Ритсланд лишний раз показал блестящее знание аэронавигации. Руководствуясь картами и приборами, он в поте лица произвел точный расчет. В ту минуту, когда он написал мне: «Сейчас будем в бухте Петропавловска», берега не было видно, но мы действительно приближались к бухте.

Когда самолет подошел еще ближе к невидимому берегу, Ритсланд снова передал мне записку: «Перед нами берег. Здесь начинается вход в бухту».

Зайти в бухту? Нет.

Я не мог рисковать людьми и материальной частью.

Мы не знали, что представляет собой бухта, насколько там плотен туман, побаивались, что Ритсланд ошибся, и перед нами не вход в бухту, а ворота, ведущие в ущелье, которое сойдется «на конус» и поймает нас в ловушку.

Тут-то я крепко пожалел о том, что самолет не имеет заднего хода: если бы это чудо было, я, заметив, что самолет

упирается в скалы, дал бы задний ход и снова вышел бы на морской простор.

Нужно искать иной выход.

Решил сесть в море:

«Волна сильная, но выбора нет. Подходящей бухты не видно, бензина остается всего на час. Болтаться в воздухе попросту безрассудно».

Я пошел на снижение и удачно сделал посадку, хотя волны так разыгрались, что мы легко могли поломать машину.

С воды видимость была лучше, самолет шел на малой скорости, и нам удалось разглядеть очертания берегов. Вдали вырисовывались три небольших скалы. Это были «Три брата», они помогли нам определить местонахождение и убедиться в том, что Ритсланд не ошибся в своих расчетах: мы находились у ворот Петропавловской бухты.

Надо полагать, что члены экипажа, расположившиеся в корме, основательно беспокоились. Самолет шел в тумане, берега затерялись; хотя по расчету времени предстояло лететь часов шесть, летели мы семь часов двадцать одну минуту. А в плохую погоду все смотрят на часы, и каждый лишний против расчетного времени десяток минут вызывает сомнения.

Я чувствовал: многим казалось, что мы сели наобум. Правда, об этом никто не сказал ни слова.

— Мы не сомневались, что сели неподалеку от города, — говорили мои спутники в Петропавловске.

Но, когда самолет опустился на воду, я заметил, что один из них с волнением спросил Ритсланда знаками:

— Где мы? Где мы находимся?

Ритсланд ответил:

— Все в порядке. Впереди город.

...Покачиваясь на волнах, прирулили в бухту.

Когда самолет находился километрах в пяти от цели, я увидел два катера, они шли нам навстречу.

Вскоре мы узнали, что с мыса Лопатки радировали в Петропавловск о том, что мы пролетели; пост, дежуривший у входа в Петропавловскую бухту, услышал шум мотора, но из-за полного

отсутствия видимости не заметил самолета.

«Что-то случилось» — решили в городе и выслали нам навстречу катеры, в помощи которых мы совершенно не нуждались.

Наше появление удивило местных работников.

— Мы не ждали вас, да и не могли ждать, — говорили они. — В такую погоду даже пароходы бросают якорь около ворот в море и стоят, пока не разойдется туман. А вы, да еще на самолете, рискнули нарушить эту традицию и вошли в бухту.

За восемь суток нашего пребывания в Петропавловске мы ни разу не видели солнца. Густой, плотный туман повис над городом. В воздухе было так сыро, что стоило появиться на улице, как одежда промокала насквозь; казалось, что идет проливной дождь.

Плохая погода, однако, не мешала работать — мы ежедневно ездили к нашей летающей лодке, произвели генеральную уборку, тщательно осмотрели моторы.

Восьмого августа туман рассеялся. Над бухтой ярко светило солнце.

Мы собирались лететь на Командорские острова и взяли на борт нового пассажира, недавно приехавшего сюда парторга Командорских островов.

НАД КОМАНДОРАМИ

Когда прибыли на аэродром, в воротах бухты появился туман.

Я чувствовал, что в нашем распоряжении мало времени, и сказал товарищам:

— Если мы через пять — десять минут не вылетим, снова придется ждать погоды.

Наскоро простившись с местными жителями, собравшимися на аэродроме проводить нас, мы торопливо сели в шлюпку, подошли к самолету, удачно завели моторы и отрулили.

К моменту старта туман закрыл половину бухты, но мы ясно видели, что он расположился конусом, метрах в пятидесяти от воды, и знали, что скоро распрощаемся с ним.

Через пять минут мы оказались над туманом, а через двадцать оставили его далеко позади.

Вскоре я узнал из радиogramмы, что впереди хорошая погода, и со спокойной душой взял курс на Командорские острова. Но не прошло и двух часов, как мы снова встретили туман и пошли выше тумана, по компасу.

Когда мы находились примерно в полутора часах полета от Командорских островов, я заметил в тумане небольшое окошко, нырнул в него и пошел над водой, на высоте пятидесяти метров.

Туман плыл метрах в пятнадцати—двадцати над морем, постепенно лег на его поверхность и стал очень густым.

Не заставит ли нас туман повернуть в Петропавловск?

Возвращаться не хотелось. Я дал полный газ и пошел в пятидесяти метрах над туманом. Здесь ярко светило солнце и не болтало.

Минут через двадцать должен показаться один из Командорских островов — остров Беринга.

Томительно тянутся минуты ожидания. Я пристально смотрю вдаль. Наконец из тумана выплывает вершина горы. Самолет идет к ней, мы уже видим две-три вершины, возвышающиеся над густым туманом.

Я веду машину вперед и вперед. Место, где, по нашим предположениям, должно находиться озеро, на котором мы собирались сделать посадку, закрыто. В небольшой просвет видна лишь узкая полоска моря.

Я впервые летел над Командорскими островами, но знал по рассказам, что в море здесь невозможно сделать посадку, что здесь нет ни одной бухты, что посадка возможна только на озере...

Оставалось лететь назад, на материк. — в Усть-Камчатск.

Повернув обратно, вышел из тумана и на высоте восьмисот метров пошел курсом на Усть-Камчатск.

Вскоре из Усть-Камчатска мы получили по радио хорошие вести о погоде.

Самолет шел над туманом, внизуплыли серые облака, а высоко в небе ярко светило солнце.

Хотя приближался вечер, экипаж и

пассажиры не волновались: я знал, что стемнеет часа через полтора, не сомневался, что успею за это время подойти к месту посадки, а садиться в сумерках мне приходилось не раз.

Неожиданно, минут за тридцать до Усть-Камчатска, когда солнце уходило за горизонт, мы получили тревожную радиogramму:

«Усть-Камчатск закрыт туманом, видимость «ноль», сделать посадку невозможно».

Пришлось посмотреть по сторонам: Нет ли чистой воды?

Нет. И вправо, и влево, и позади, и впереди самолета воды не видно, — под нами белая вата...

«К берегу подходить опасно, — прикинул я, — берегов мы не знаем, садиться вынуждены в темноте, да еще в густом тумане».

Я решил воспользоваться оставшимися в нашем распоряжении пятнадцатью — двадцатью минутами светлого времени и сделать посадку в море.

А дальше? Что делать дальше, решим уже на воде.

Сообщив Побежимову и Ритсланду о своем решении, я попросил их наблюдать за появлением воды.

— Как только вы заметите воду, — сказал я, — дайте мне знать.

Что мы собирались делать, знали, кроме меня, только Побежимов и Ритсланд. Я живо представил себе настроение остальных членов экипажа и пассажиров: они любуются прекрасной картиной заката солнца, вдруг моторы сбавляют обороты, самолет постепенно погружается во мрак, наступает полная темнота.

Мы потеряли триста метров. Я не вижу ни одного ориентира и руководствуюсь лишь приборами. Планировать очень трудно, машину нужно вести строго по прямой: если допустить ошибку в пилотировании, грозит неминуемая поломка.

Главное — ни на секунду не отрываться от приборов и не прозевать воду.

Альтиметр показывает двести метров. Я спокоен; можно еще снижаться.

Становится все темнее и темнее ..

— Вы знаете, — рассказывали пассажиры, когда мы опустились на воду, — не успел самолет погрузиться в туман, как мы потеряли Ритсланда; казалось, что он убежал.

Работая у аппаратов, расположенных перед моим сиденьем, Ритсланд скрылся в тумане. Из задней кабины пассажиры видели только мою спину...

Наконец, альтиметр остановился на «0», а воды нет.

Я прислушиваюсь; еще мгновение — и Ритсланд или Побежимов крикнут: — Вода!

Но они молчат.

Пришлось применить свой многолетний опыт посадки — с известным углом планирования и известными оборотами мотора.

Я знал, что это гарантирует сохранность машины; но как узнать, что делается там, внизу, на море.

Мы пристально всматривались в туман, но воды не удавалось заметить.

Встретит ли нас море гостеприимным штилем или сильным накатом?

Размышлять не время. Я принялся шупать воду хвостом.

Альтиметр твердо показывал «0». Я верил показаниям альтиметра и, учитывая поправку на изменение температуры, не сомневался в том, что мы летим в одном-двух метрах над водой; но эти один-два метра решали все.

Наконец я почувствовал, что хвост задел воду.

— Мы по ветру садимся! — крикнул Побежимов.

Самолет, ветер и волны шли в одну сторону, но сели мы на редкость чисто; многие не заметили, что мы сели, и, лишь когда машина потеряла скорость и ее начало сильно бросать, увидели, как велика волна.

Решили превратить самолет в пароход и итти водой.

Наверху, в воздухе, слабо чувствовалось наступление темноты, а здесь была густая, черная ночь: у меня в кабине находились два несветящихся прибора — теперь я их не видел.

Не меняя курса, каким самолет шел в воздухе, мы рулили к Усть-Камчатску.

Прошло пять часов. Внезапно завеса тумана приоткрыла берег, он возвышался неподалеку от нас, но мы не успели подойти: туман показал его лишь на одно мгновение и сомкнулся.

Через шесть с половиной часов мы вновь увидели берег и, ориентируясь по его смутным очертаниям, направились в бухту.

Когда приближались к бухте, впереди открылись яркие электрические огни.

«Там какие-то заводы» — подумал я и пошел на огни, но вскоре заметил, что они переместились и горят уже не прямо по носу, а с левого борта нашего судна.

Это был пароход. Его, как мы узнали впоследствии, выслали за нами.

Когда Усть-Камчатск потерял с нами связь, он радировал в Петропавловск:

— Сообщите, где самолет Молокова.

— Не знаю, — ответил начальник погранохраны, — но вы не беспокойтесь: Молоков привык садиться нивесть где и неизвестно откуда появляться.

Устькамчатцы, тем не менее, выслали пароход. Не заметив нас, он прошел в море, а мы подошли к берегу.

Берег все еще вырисовывался смутно; я видел лишь белую полоску прибоя, не рискнул подойти близко и решил найти устье реки Усть-Камчатки.

Еще в Нагаеве и Петропавловске нас предупреждали о том, что вход в устье очень опасен.

— Запомните, — говорили мне, — вы познакомитесь там с ужасным баром. При ветре с моря и большой волне на нем ломает палубные надстройки речных и морских пароходов, а катеры и шлюпки захлестывает и разбивает.

Я этому не поверил, не поверил и мой экипаж: решив, что проскочить удастся, мы продолжали рулить.

Стало немного светлее, впереди показался катер.

— Где вход? — спросили мы голосом.

— Идите за нами! — послышалось в ответ.

Мы пошли за катером, но внезапно снова спустился туман. Все закрылось плотной завесой, из виду скрылись и катер, и берег.

Я боялся наскочить на катер и лег на обратный курс.

Вскоре мы заметили у самой машины несколько дощечек и, присмотревшись к ним, убедились в том, что это поплавки от сетей и что под самолетом сети.

Я обрадовался:

— Жилье недалеко, скоро придут ловцы вытаскивать рыбу, и мы точно узнаем, где вход в реку.

Мои предположения оправдались. Прошло немного времени, и мы услышали голоса.

На берегу шел разговор о самолете:

— Гляди, гляди, как шумят моторы!

— Да, машина где-то рядом, шагах в ста, в ста пятидесяти.

— А может, и ближе, но за туманом ее не заметишь.

Минут через пятнадцать к самолету подошла шлюпка. Рыбаки спросили, нет ли среди нас желающих переправиться на берег.

«Пока не разойдется туман и мы не снимемся с якоря, экипаж не может оставить машину, но зачем задерживать пассажиров?» — подумал я и посоветовал им пересест в шлюпку.

Так они и сделали.

Шлюпка отошла от самолета и скрылась в тумане.

Мы долго летели, я очень устал и, понимая, что самолету не грозит опасность, улелся спать.

Хорошо выспаться не пришлось: разбудил шум.

— Наконец-то, — облегченно вздохнул я, протирая глаза, — туман рассеялся.

Мы находились метрах в двадцати от берега, заполненного народом. Недоумевая, люди забрасывали друг друга вопросами:

— Когда прилетел самолет?

— Как он попал в бухту?

— Где он собирался снизиться?

К нам подошел катер. Моторист спросил: не отбуксировать ли нас в Усть-Камчатск? Поблагодарив, я ответил, что мы полетим.

— Взлетать опасно, — возразил экипаж, — на сильной волне легко разбить машину. Лучше пойти своим ходом.

Я считал, что и на буксире, и своим

ходом итти рискованно, и приказал заводить моторы.

Зная, что машина очень легка, что мы выработали бензин и переправили четырех человек на берег, я не сомневался в том, что взлететь удастся на первой волне. Так оно и получилось.

Поднявшись, я осмотрел бар, ясно увидел с воздуха, что волна там приличная, и подумал:

«Начни мы рулить — и машина была бы поломана».

Нас предупреждали еще в Петропавловске, что в Усть-Камчатске быстрая река, что она течет со скоростью сорока километров в час.

«Нужно принять меры предосторожности при посадке. Сорок километров — скорость большая, река не особенно широка, маневрирование самолетом сильно сократится» — думал я, опускаясь на воду; но, когда мы сели и стали рулить, сразу почувствовал, что скорость тут пять — десять километров, никак не сорок.

«Очевидно, мы получили неправильные сведения, — решил я, — впрочем, их дали нам летчики, не раз побывавшие здесь. Быть может, сорокакилометровая скорость — временное явление».

От местных жителей мы узнали, что скорость течения увеличивается лишь в период таяния снегов, да и то не до сорока километров.

...Наконец весь наш экипаж собрался в просторной уютной комнате. Все жалели о том, что не попали на Командорские острова. Каждому хотелось побывать там. Но, учитывая, что мы вылетели из Красноярска с большим опозданием, что время позднее, что хороших дней в году на Командорах лишь восемь процентов и уловить хороший день трудно, решили отказаться от этого полета и через залив Корфа полететь в Уэллен и на остров Врангеля.

В течение семи дней на пути в Корф стояла неблагоприятная погода, а в Усть-Камчатске за это время выдалось немало хороших часов.

Затратив один день на осмотр материальной части и подготовку к дальнейшему полету, решили отдохнуть.

Прежде всего мы, конечно, воспользовались солнцем: с ним так редко встречался экипаж самолета, что, как только оно показывалось на небе и начинало греть, все уходило к реке, загорали, — и загореть, надо сказать, умудрились здорово.

В ЗЕЛЕНОМ ПОСЕЛКЕ

Пятнадцатого августа мы наконец вылетели в Корф.

Первую половину пути от Усть-Камчатска до Корфа летели в условиях очень хорошей погоды, а вторую половину — в густом тумане и дожде. Когда подошли к заливу Корфа, лило, как из ведра.

Сделать посадку в заливе — около баков с бензином — не удалось: помешал сильный шторм. Мы сели в лагуне, неподалеку от пункта погранохраны, и узнали, что бензина у пограничников нет. Нам любезно предложили привезти горючее из селения, но мы не стали затруднять друзей-пограничников и долетели до селения. Из-за мелководья я не мог подойти к берегу и поставил машину на якорь.

Трактор привез бензин. Заправив машину, мы пошли отдыхать в один из частных домов, где нас гостеприимно встретили и хорошо угостили.

Корф — очень привлекательный уголок. В этих районах мало зелени, но тут ее вполне достаточно, в центре поселка разбит прекрасный сквер и возвышается памятник Ленину.

ПО ЗНАКОМОЙ ТРАССЕ

На следующий день вылетели в Майна-Пыльгин.

Корф был последним незнакомым местом — все побережье после Олюторки было мне знакомо. Правда, я бывал здесь зимой, а зимой местность очень не похожа на то, что она представляет собой летом.

В Майна-Пыльгине мне пришлось делать посадку вторично — впервые я садился здесь зимой 1934 года. Река Майна-Пыльгин, казавшаяся зимой достаточно широкой и очень удобной для

посадки, оказалась летом совсем незначительной по ширине.

Сели мы не на реке, а на озере, где карта указывала место посадки.

Озеро далеко от жилья, садиться здесь неудобно, я жалел, что не сделал посадки на реке. Хотя река узкая, при благоприятном ветре на такой машине, как наша, сделать посадку сравнительно нетрудно, а ветер дул благоприятный.

Посидев минут пять на озере, перелетели на реку.

Сделав посадку, я распределил между членами экипажа обязанности и установил дежурства. Дежурные должны были отнести к месту ночевки все, что может понадобиться экипажу, приготовить кипяток и ужин.

Мы уже давно не пользовались нашими запасами концентратов, и, как только пришли в поселок, я предложил открыть банку со свежими щами. Приготовление концентратов, как и в первые дни полета, мы никому не доверяли и, расположившись в одной из комнат фактории, начали «священнодействовать». Дежурный принес воду и накрыл на стол, а мы собрались у плиты, вокруг кастрюли со щами.

Приготовление пищи из концентратов занимает очень немного времени — через пять минут после того, как закипит вода, щи готовы.

На фактории мы не застали начальника. Когда он пришел, запах щей уже распространялся по всему дому.

Не успев раскланяться, начальник с интересом заглянул в нашу кастрюлю и спросил:

— Капусту варите?

— Нет, концентраты.

Тут отворилась дверь, и вошла хозяйка. Она застыла в недоумении:

— Понять не могу, откуда взялась капуста!

Так мы еще раз убедились, что концентраты отлично сохраняют запах овощей.

Обед мы еще приготовили для всех, концентраты очень понравились, и в особенности зимовщикам, которые уже давно не ели свежей капусты.

Надо сказать, что у нас были не

только «овощи», но и сухое молоко — мы считали, что возим с собой корову.

На остановках всегда говорили дежурному:

— Не забудьте подонть корову.

Это значило, что дежурный должен отсыпать из шестнадцатикилограммовой банки несколько ложек порошка и сварить молоко.

БОРЬБА С ВСТРЕЧНЫМ ВЕТРОМ

Предстояло обогнуть мыс Наварин. Я не раз слышал, что мыс Наварин всегда закрыт туманом и славится неприятным ветром, мне говорили, что обигать мыс опасно, но мы увидели его издали (километров за сто пятьдесят — двести) и не заметили признаков сильного берегового ветра. Это очень обрадовало членов экипажа, но радовались они недолго: все же мыс Наварин встретил нас занятным сюрпризом.

Когда мы повернули через мыс курсом на Анадырь, самолет шел двадцать километров, отделявших его от берега, минут пятнадцать. Не идет машина вперед — и все! Однако мы добрались до берега. Тут машину внезапно бросило вниз с такой силой, что она вмиг потеряла из тысячи трехсот триста метров высоты.

«Еще один-два таких броска, и мы можем удариться о землю» — подумал я не без тревоги и ушел в море.

Мы обогнули мыс Наварин с моря, и, хотя обогнуть его можно минут за пятнадцать—двадцать, мы его обигали около часа: уж очень неблагоприятен был встречный ветер!

Когда мыс остался позади, ветер стал утихать.

Этот памятный перелет закончился удачной посадкой в Анадыре.

Когда вы смотрите с воздуха, Анадырь производит на вас впечатление большого, густо населенного города.

Посадку мы сделали не против города, а по другую сторону бухты, там, где расположена база Севморпути.

Я очень хотел побывать в городе, но осуществить это не успел.

Ночь провели на авиабазе, утром во-

семнадцатого августа вылетели в бухту Провидения.

В УЭЛЛЕНЕ И В БУХТЕ ЛАВРЕНТИЯ

В Уэллене, подрулив к берегу, мы увидели оживленную группу полярников с флагами и плакатами.

Нас встретили теплыми приветствиями и, забросав градом вопросов о Москве, проводили на зимовку.

Вечером мы решили, что полезно ознакомиться с работой культбазы в бухте Лаврентия, и утром, заняв места в самолете, снова тронулись в путь.

Как я и предполагал, ознакомление с базой заняло целый день.

В прошлом году, прилетев в бухту Лаврентия, мы не остались ночевать, опасаясь, что ночью разыграется шторм. При шторме здесь негде укрыться, так как бухта открытая и с моря ничем не защищена; а на этот раз мы набрались храбрости и решили заночевать.

Ночь была хорошая, береговой ветер не менялся до утра.

Утром с моря стал надвигаться туман. Мы принялись обсуждать серьезный вопрос: стартовать или оставаться ждать погоды.

Можно было, конечно, остаться, но, так как самолет не был защищен от ветров, — а какие поднимутся ветры, мы не знали и заранее знать не могли, — я решил, что остаться рискованно.

Выйти в море невозможно: туман спускается около ворот бухты до самой воды, высота его достигает примерно тысячи двухсот метров.

Мы решили набрать тысячу пятьсот метров высоты и полететь через сушу.

НАД ЧУКОТСКИМ МОРЕМ

Самолет шел на высоте тысячи пяти-сот метров, но неподалеку от мыса Сердце-Камень встретил стену низкой облачности: пришлось спуститься до двухсот метров, эта высота давала возможность идти под облаками.

Первые льды я увидел в районе Колючинской губы; залив Колючин прошли в сплошном тумане, Ванкарем — в дожде, а после Ванкарема встретили

пургу, которая сопровождала нас почти до мыса Шмидта.

Видимости никакой. Я снизился до пятидесяти метров, но часто терял берег.

Сделать посадку и ждать погоды не имело смысла: лучшая погода бывает здесь редко, ночевать в нежилом месте не хотелось. Мы решили продолжать путь и часа через три подлетели к мысу Шмидта.

...Лагуна мыса Шмидта встретила нас хорошей погодой и ярким солнцем.

С воздуха мы увидели стоявший на рейде самолет Леваневского. Неподалеку от него стояла другая машина. «Аэровокзал» работал!

Я сделал посадку.

— Вот так штука! — сказал Побужимов, когда мы подрулили к берегу и вышли из самолета. — Смотрите, мы привезли на носу и на плоскостях два сантиметра мокрого снега. Будь немного холоднее, самолет обледенел бы.

Мы подрулили к берегу, где нас встретил товарищ Аникин. Он так густо оброс бородой, что я с трудом узнал его.

Вскоре мы увидели дежурившего на самолете Леваневского штурмана Левченко. Он подошел на шлюпке, принялся расспрашивать об условиях нашего полета, рассказал, как они летели и что собираются предпринять. Их задержали на мысе Шмидта, предполагая использовать для ледовых разведок; но после того, как мы прилетели, их освободили от этой работы, поручив ее нам.

Как и обычно, мы прежде всего заправили машину, привели ее в полную боевую готовность, а потом уже стали думать о себе.

СНОВА НА ОСТРОВЕ ВРАНГЕЛЯ

На следующий день собрались вылететь и Леваневский, и мы. Леваневский стартовал раньше нас, на старте мы его уже не застали.

Была очень хорошая погода, мы совершили перелет в благоприятных условиях; Ритсланд вывел машину точно на бухту Роджерса. Это отметили даже зимовщики, они говорили, что наша ма-

шина первая пошла не вправо и не влево, а точно на зимовку.

Бухта Роджерса была свободна от льда. Опустившись на воду, я подрулил к берегу, где нас встретили зимовщики и местные жители.

Здесь мы задержались четыре дня — с двадцать второго по двадцать шестое августа. В то время шла подготовка к празднованию десятилетия советизации острова.

Мы привезли с собой и установили мемориальную доску на могиле доктора Вульфсона.

Двадцать третьего августа, накануне юбилея, у берега бросил якорь ледокол «Красин»; с ним прибыли студенты и преподаватели Московской консерватории и артисты Камерного театра, гастролировавшие в восточном секторе Арктики.

Утром двадцать четвертого августа состоялось торжественное заседание. Прекрасная погода позволила провести его на открытом воздухе. Из кают-компании вынесли стол, скамейки, стулья, за столом расположился президиум...

В празднестве участвовали все жители острова, экипаж самолета «СССР Н-2» и команда ледокола «Красин».

Многие выступали с речами; мне особенно ярко запомнилась речь эскимоса Таяна о победах советского строительства на острове Врангеля.

После торжественного заседания и обеда прослушали большую концертную программу: выступал квартет, артисты исполняли классические романсы, арии из опер и народные песни; одна из артисток исполнила чукотские песни и русские песни на эскимосском языке; эскимосы были восхищены ее пением; не менее сильное впечатление оно произвело на всех русских.

После концерта начались танцы. Танцевали национальные танцы и фокстрот. Экипаж нашего самолета, следуя примеру эскимосов, зимовщиков и команды «Красина», принял активное участие в танцах. Не рисковали танцевать только Ритсланд и Мишенков, даже на острове Врангеля они боялись произвести впечатление неважных танцоров.

НА КОЛЫМЕ

Двадцать шестого августа вылетели с острова Врангеля на реку Колыму, где в прошлом году делали посадку на косе Шалаурова.

Путь до мыса Шелагского был очень хороший. Погода прекрасная, видимость замечательная. Но после Шелагского начались туман, дождь. Мы снизились с тысячи до ста метров и примерно на такой высоте дошли до бухты Амбарчик.

Еще с воздуха, когда мы летели над косой Шалаурова, я первым увидел самолет Леваневского. Мы были удивлены: по нашим расчетам, Леваневский должен был находиться на пути к Красноярску. Но вскоре выяснилось, что его задержала неблагоприятная погода, — мы вторично встретились на косе Шалаурова.

Хотя в прошлом году я писал в отчетах о том, что бензин надо выгружать не в Амбарчике, а на косе Шалаурова, мы не нашли здесь бензина: мой совет не приняли во внимание, и бензин выгрузили там, где его выгружали обычно.

Пришлось сидеть и ждать, пока горячее подвезут на катере.

Привезли бензин лишь утром на второй день, с заправкой мы основательно провозились, и вылет не состоялся из-за позднего времени.

Машину загрузили доотказа. Нам предстоял перелет в бухту Тикси. По пути мы не могли пополнить запасы бензина.

Я запрашивал Индигирку, но бензина там не оказалось: его, как и в Шалаурово, не завезли. И заправиться пришлось основательно, так основательно, чтобы не сомневаться в том, что мы долетим до Тикси.

ТРУДНЫЙ СТАРТ

Погода была свежая, сильный ветер поднимал большую волну.

Когда мы принялись стартовать, машина не проявила ни малейшего желания подняться в воздух. Минута прошла — машина не отрывается. Две минуты прошли...

Что делать? Руководствуясь правилами, я должен остановить мотор: теория говорит, что машина, не взлетевшая через минуту, не взлетит вовсе. Но, если остановить мотор и подрулить к берегу, придется либо разгрузить продовольствие, либо высадить людей. Ни того, ни другого я сделать не мог и решил подождать стартовать.

«Не может быть», — подумалось мне, — чтобы машина не взлетела!».

Но она была очень перегружена бензином и долго упорствовала.

Снова прошла минута. Ощущение такое, будто машина оторваться не может — мои желания не совпадали с желаниями машины.

С самолетом начались своеобразные отношения: кто кого, у кого окажется больше терпения.

Всех, и даже штурмана Ритсланда, пришлось на время согнать в задний отсек.

Я сделал это с таким расчетом, чтобы сильно нагрузить хвост и заставить нос вылезти из воды; я поддержал газ и все же через полторы минуты «переупрямил» машину: она совершенно неожиданно стала на редан.

Машина отрывалась в продолжение трех минут двадцати секунд и очень медленно набирала высоту, но я не винил машину — надо полагать, что мы ее перегрузили килограммов на двести.

На пути к Тикси снегопад, дождь, низкая облачность и встречный ветер, точно сговорившись, обрушились на самолет и заставили нас основательно беспокоиться: шли мы девять часов сорок минут, бензина оставалось всего часа на полтора.

Прилетев в Тикси, мы сделали посадку и в бухте поставили машину на якорь.

Тиксинцы гостеприимно встретили нас, переправили в шлюпке на берег, а затем мы расположились на пароходу и отправились к поселку.

Колесный пароход отличался настолько большими габаритами, что с трудом сопротивлялся встречному ветру.

Очутившись на земле, мы прежде всего направились в баню. Она обрадова-

ла, но не свыше меры: в 1936 году мылись мы очень часто—бани появились на всех зимовках.

В то время в Тикси гастролировал Заполярный театр Главсевморпути.

...В бухте Тикси провели два дня и тридцатого августа вылетели в Нордвик.

В БУХТЕ НОРДВИК

В пути был сильный встречный ветер, распространявшийся, видимо, с горы, подходившей к дельте Лены. Как только мы пролетели дельту, ветер стал слабее, но появился туман. Здесь было неопасно лететь под туманом: мы шли морем, мимо знакомых берегов, где нет возвышенностей; но, так как приятнее лететь, когда светит солнце, я повел машину над туманом.

Километрах в ста от Нордвика полоса тумана окончилась, и мы ясно увидели море и берега.

В Нордвике удобная посадочная площадка, она гостеприимно приняла самолет.

Поставив машину на якорь, мы заняли места в катере и отправились на зимовку, расположенную километрах в десяти от аэродрома.

ЛЕДОВАЯ РАЗВЕДКА

...На следующий день вылетели на ледовую разведку к Северной Земле.

С запада на восток и с востока на запад шли корабли с грузами, капитаны не знали ледовой обстановки и просили ознакомиться с ней с воздуха.

Хотя всем хотелось принять участие в ледовой разведке, я взял только трех членов экипажа.

— Если станет один из моторов, — сказал я товарищам, — мы вчетвером и на одном оставшемся моторе долетим до ближайшей базы, а с полной нагрузкой долететь не удастся.

Товарищи согласились со мной, и самолет тронулся в путь.

Когда мы вылетели, стояла прекрасная погода, но разведка была удачна лишь на первой половине пути. На второй половине мы встретили туман и решили вернуться.

Разведка в тумане не дала бы результатов. Естественно, что итти выше тумана не имело смысла, а если бы мы продолжали полет ниже тумана, у нас был бы очень ограниченный кругозор.

Туман помешал работе самолета, но мы успели ознакомиться с картиной расположения льдов.

Мы дошли до острова Малый Таймыр, видели, что у берегов Северной Земли чистая вода, а около мыса Челюскина девяти-десятибалльный лед.

Наша радиограмма ознакомила капитанов с ледовой обстановкой, и они стали пробиваться к чистой воде.

До разведки и капитаны, и летчики могли сомневаться в том, что корабли смогут пройти.

После разведки стало ясно: корабли пройдут и с запада на восток, и с востока на запад!

ЗА БЕНЗИНОМ

...Так как в бухте Нордвик бензина не было, мы решили, возвращаясь с разведки, залететь в бухту Прончищевой и заправиться.

Не успели мы заправить машину, как зимовщики пригласили в кают-компанию выпить по стакану чая.

Торопясь в Нордвик, мы отказались от чая, но улететь не удалось.

Во время нашего полета Нордвик не передал мне сводки погоды.

Местная радиостанция находилась на противоположном берегу бухты. Я попросил одного из зимовщиков переправиться на противоположный берег и узнать у радиста, какие получены вести о погоде.

— Если в Нордвике хорошая погода, — сказал я, — вы нам ничего не сообщайте, а если погода плохая, покажите с того берега красный флажок.

Когда мы прилетели, в бухте стояла ясная погода, но вскоре после того, как зимовщик уехал на радиостанцию, подступил густой туман.

— Видимо, здесь придется заночевать, — заявили мои спутники, — куда итти в таком тумане?

— Нет, — возразил я, — раз красного флага не видно, значит, впереди погода хорошая. Лететь в тумане придется всего минут десять.

Кроме меня, ни у кого из членов экипажа не было желания лететь. Но мы взяли разгон, оторвались и тут же попали в серую мглу.

Вскоре Побежимов написал мне записку:

«На берегу красный флаг».

Я подумал:

«Погода в Нордвике не летная, время идет к вечеру, начинается закат. Лучше повернуть обратно».

Когда мы сели, я заметил на противоположном берегу катер с красным флажком и спросил Побежимова: не показалось ли ему во время полета, что нам этим флажком махали?

— Да, — ответил он с виноватой улыбкой, — я принял этот флажок за сигнал радиста.

— Ладно, — утешил я Побежимова, — туман сгущается с каждой минутой, видимость очень плохая, быть может, и хорошо, что мы вернулись.

— Пожалуй, хорошо, — согласились мои спутники.

Утро встретило отвратительной погодой — низкая облачность превращалась в туман.

Я часто выходил на улицу и с тревогой смотрел на небо. Оно не собиралось проясниться.

Еще вечером с моря подул ветер, и, хотя в бухте сильное течение, лед стал против течения продвигаться в нее.

— Ждать не время! Бухту может забить льдом.

Мы знали, что лететь опасно, что сильный боковой ветер и болтанка будут провозжать нас до места посадки, но, так как Нордвик не особенно далеко, решили тронуться в путь.

К Нордвику подходили в тумане, я увидел его лишь минут за пять до посадки.

Опустившись на воду, приготовились ждать катер, но катер не приходил. Побежимов отправился пешком на зимовку.

Размышляя о том, как Побежимов пробирается на зимовку, я невольно

вспомнил одно из своих путешествий по тундре.

С ЛОШАДЬЮ ПО ТУНДРЕ

Это было в 1932 году, когда я работал летчиком на линии Красноярск — Игарка — Дудинка.

Как-то на пути в Дудинку у нас поломался коленчатый вал мотора. В Норильске пришлось сделать посадку.

Наступила зима, радиосвязь очень плохая, рассчитывать на то, что нам привезут мотор, не приходилось.

Что предпринять?

Я решил итти в Дудинку и выяснить, нельзя ли оттуда доставить мотор.

— Если достать мотор не удастся, — сказал я товарищам, — мы отправимся на пароходе в Красноярск; а если доставим, то вернемся в Норильск и полетим дальше.

Проводника не было, а задерживаться и ждать проводника мы не могли: задержка грозила тем, что машина останется в Норильске на зимовку.

Со мной тогда летели бортмеханик Артамонов и второй пилот — он же второй бортмеханик — Черневский, разбившийся в 1936 году во время зимнего полета на Севере.

Как добраться в Дудинку?

Нам дали трех лошадей и сказали, что одна из них семь лет ходит из Норильска в Дудинку, хорошо знает дорогу и будет нашим проводником.

Две лошади везли скромное имущество экспедиции, бортмеханика Артамонова и профессора геологии; к седлу третьей лошади, служившей проводником, привязали электрический фонарь, но, убедившись в том, что этот фонарь освещает путь только нашему проводнику, я привязал еще один фонарь к хвосту лошади.

Наконец экспедиция вышла за черту города, Черневский и я шли пешком.

В этих краях нет дорог, нет троп, все ровно и гладко, но «проводник» хорошо ориентировался.

Вначале я относился к лошади с недоверием, взял ее на веревку и повел.

Вскоре лошадь не захотела итти. Я

отпустил веревку подлиннее, позволил проводнику свернуть в сторону и, с интересом посматривая на него, пошел своей дорогой.

Лошадь прошла хорошо, а я утонул по колена. После этого все, за исключением Черневского, признали авторитет нашего проводника.

В стороне возвышались горы.

— Я предлагаю подойти поближе к этим возвышенностям; там, видимо, суше, — сказал Черневский, когда солнце село и стало темно.

— Да, пожалуй, — согласился я.

Но лошадь не хотела идти в ту сторону.

— Не лучше ли продолжать путь, не меняя курса? — сказал геолог.

— Нет, — возразил Черневский и повел двух лошадей к горе, завяз, и мы часа четыре потратили, пока вытащили лошадей из трясины: ноги их глубоко затянуло и вытащить их было очень трудно.

После этого приключения мы полностью положились на проводника.

Ночью не удалось добраться до станционного домика, заночевали в тундре.

В тундре нет леса; с трудом разыскав несколько засохших веток, мы разложили костер.

Воды наша экспедиция забыла взять; геолог предложил отрыть мох и выкопать ямки; в них оказалось достаточно воды; мы сварили чай, и понравился он, как никогда.

Подкрепившись, легли спать, разостлав на мокрым мху свои кожаные тулупы: больше подстелить было нечего.

С восходом солнца экспедиция снова тронулась в путь. У всех разгорелся аппетит, но за ужином мы покончили с нашими продовольственными запасами.

Отправляясь из Норильска, я не хотел перегружать лошадей и, рассчитывая на станционные домики, захватил весьма скромный запас продовольствия.

Утром в одном из станционных домиков нашли муку и напекли лепешек; соли ни у нас, ни в станционном домике не оказалось. Легко поверить, что ле-

пешки были не слишком аппетитны; к тому же лошади часто падали от усталости, с ними в грязь летели и наши лепешки; но, несмотря на все это, лепешки казались нам очень вкусными.

По пути, около одной из станций, к нам пристали собаки; они долго не оставляли нас, и мы не могли понять, что заставило их примкнуть к нашей компании. Лишь добравшись до следующей станции, я узнал, что эти собаки никому не принадлежат, ходят с караванами из Норильска в Дудинку и обратно и с давних пор ведут между собой драки: из-за того, кому пойти с караваном; это и не удивительно: обычно в походах они хорошо питаются.

Днем подехали к узкой, очень быстрой реке и стали пересекать ее верхами.

Две сопровождавшие нас собаки подрались, но, видимо, силы оказались равными, и они провожали нас вдвоем.

Бортмеханик Артамонов весил девяносто килограммов; в пути у него началась приступ ишиаса, пешком он, конечно, не мог идти и измучил всех лошадей.

Что делать? Оставить его в тундре одного нельзя, оставить кого-нибудь с ним — тоже не дело.

Положение было незавидное; мы уже хотели сделать привал и дожидаться следующего каравана, но все же, пересаживая Артамонова с лошади на лошадь, кое-как добрались до Боганидского озера, расположенного в пятнадцати километрах от Дудинки, и отправились в Дудинку на шлюпке...

ХАТАНГА — КРЕСТЫ — ДИКСОН

По пути в Хатангу залетели в залив Кожевникова, где стояли наши пароходы «Искра» и «Ванцетти» и где мы встретили начальника Нордвикстроя.

Судя по рассказам, в заливе Кожевникова у берега трудно выбрать место стоянки для самолета: берег отмельный, и при выгрузке судов приходится около полутора километров идти по воде в сапогах с грузом за плечами.

После непродолжительной стоянки в

заливе Кожевникова снова тронулись в путь курсом на Хатангу.

...На следующий день вылетели в Кресты, где зарядились бензином, и отправились на Диксон.

Путь от Крестов до Диксона мы проследили по устаревшей карте. Даже река Пясины нанесена на ней совершенно неправильно. Ориентируясь по этой карте, мы потеряли много времени — выход в море указан на ней прямой линией, а река делает большие зигзаги. Если бы они были отмечены на карте, мы могли бы идти по прямой, но я не доверял карте и заходил в каждый изгиб, чтобы не потерять реку: кстати, если бы я относился к карте с большим доверием, то вряд ли нашел бы выход в море. Зимой же сделать это не удалось бы: в Пясины впадает много рек; когда они занесены снегом, самолет может легко заблудиться.

ПОИСКИ САМОЛЕТА «Ш-2»

Придетев на Диксон, увидели целую флотилию кораблей. С первого взгляда на остров чувствовалось, что он превращается в крупный морской порт.

В то время, пробиваясь сквозь льды моря Лаптевых, ледокол «Федор Литке» вел с востока на запад караван судов с грузами.

На борту «Литке» находился Отто Юльевич Шмидт.

На Диксоне мы узнали, что Отто Юльевич хочет встретиться с нами, расспросить о нашем полете, и решили утром вылететь к каравану. Сделать это, однако, не удалось.

Четвертого сентября, часа за три до нашей посадки, с Диксона к островам Свердруп для пробы самолета «Ш-2» и попутной ледовой разведки вылетел пилот Богомолов.

Машина Богомолова не вернулась.

На поиски послали катер, он провел в море всю ночь, но не нашел машины, и нам пришлось утром лететь на поиски.

Мы пошли по предполагаемому маршруту «Ш-2», учитывая его запас горючего и скорость.

Часа три я летел по кромке льда, не обнаружил самолета в море и решил осмотреть все острова около Диксона.

«Ш-2» мог сделать посадку либо в море, либо у островов.

«Если машина не окажется у островов, она утонула» — думал я, с тревогой продолжая полет.

К счастью, мы обнаружили самолет: он стоял у берега маленького островка.

«Ш-2» — небольшой самолет, но в лучах солнца ярко блестели его плоскости, и нам его сравнительно легко удалось заметить.

Мы сообщили на Диксон о местонахождении самолета и вечером его привели на буксире; вынужденную посадку он сделал из-за утечки горючего.

НАД КАРАВАНОМ

Погода была очень хорошая. В тех условиях лучшей погоды ожидать трудно. Утром мы полетели к каравану. Приближаясь к судам, я увидел, что они окружены сплошным льдом.

Было как-то странно видеть корабли во льду, когда неподалеку от них — чистая вода.

На караване не знали, где кончаются льды. Мы полетели к воде, сделав над ней круг, дали знать капитанам, где она, и, кроме того, по радио сообщили ее координаты Отто Юльевичу.

Потом слетали на станцию мыса Челюскина. Над Челюскином я впервые пролетел в 1933 году. Хотя стояла пасмурная погода, с высоты пятидесяти метров я рассмотрел зимовку. В то время над мысом возвышались настолько закопченные, грязные домишки, что их с трудом удалось отличить от земли. А теперь мы уже издали видели, что на мысе — большое строительство: дома новые, свежие, чистенькие.

Мы приветствовали зимовщиков с воздуха двумя кругами и полетели обратно к каравану.

Подлетая к каравану в первый раз, я думал только о посадке и не мог рассмотреть всего, что творится внизу. А теперь обратил внимание на то, что неподалеку от судов люди бегают по льду.

«Чем они заняты?» — подумал я. Вскоре стало ясно, что они играют в футбол.

Я сделал круг и, очень опечаленный тем, что нам так и не пришлось сделать посадку, повернул на Диксон.

В ШХЕРАХ МИНИНА

Чем ближе мы подходили к Диксону, тем плотнее становился туман. У шхер Минина он стал настолько плотен, что продолжать полет оказалось невозможным.

Наступила ночь. В кабине самолета темно. У нас, как я уже говорил, не все приборы светящиеся, компас я перестал видеть, это лишало меня возможности ориентироваться. Я вынужден был в темноте и густом тумане итти на посадку в шхерах Минина, зная, что здесь не только множество островков, но и льды.

Когда мы начали планировать, я держал руку на секторах моторов и был готов в любую секунду, как только замечу препятствие, дать полный газ и набрать высоту.

Наконец я увидел под самолетом чистую воду и решил сделать посадку.

Во время пробега машины мы не встретили препятствий. Но, когда машина потеряла скорость, оказалось, что она со всех сторон окружена льдом.

Что предпринять? Найти один из островов и за него зацепиться.

Мы стали рулить и по компасу искать землю, рулили долго, но земли не нашли.

Наконец увидели большую льдину, подошли к ней, забросили на нее якорь и решили дрейфовать. Однако не прошло и часа, как нашу льдину стали окружать другие: самолету угрожала опасность сжатия. Пришлось отказаться от льдины и снова рулить.

Через час-полтора увидели еще одну подходящую льдину, опять забросили якорь и, установив дежурство, расположились отдохнуть. Мне казалось, что нам ничто не угрожает, и я позволил себе лечь спать.

Вдруг я сквозь сон услышал, что на самолете поднялась суматоха.

— Что-то не так, лед кругом. Надо выбираться! — рассуждал дежуривший Побежимов.

Я встал. В это время заработал задний мотор.

— Что случилось? — крикнул я, обращаясь к Побежимову.

— Пока мы стояли у ледяной пристани, — ответил он, — с двух сторон появились льдины. Мы очутились в мешке, оставались считанные минуты, — не заведи мы во-время мотор, нам не удалось бы выбраться.

И действительно — не успели мы стойти, как льдины сомкнулись.

После этого, естественно, уже не осталось ни малейшего желания прицепиться к льдине. Я решил потихоньку рулить к берегу. В непроницаемой темноте мы принимали разводья за берег и льды.

— Висреди берег!..

— Не берег, а лед! — поминутно раздавались возгласы.

Только к утру, когда начало светать, в десяти—двадцати метрах от самолета удалось обнаружить черную полосу, оказавшуюся берегом. Мы ему очень обрадовались, потому что берег, как известно, не дрейфует, а стоит на месте.

Бросив якорь, вышли на берег. Все успели проголодаться. На счастье, я нашел ручеек чистой воды и предложил заняться приготовлением борща и чая.

— Позавтракать не мешает, — согласился Ритсланд, — но я прошу меня и Мишенкова освободить от кулинарных обязанностей. Мы поднимем аварийную радиацию и наладим связь.

— Наладим связь? — переспросил Мишенков и махнул рукой.

Ночью работало много станций, они мешали нам, и, пока мы рулили, нашему радисту Ритсланду не удалось связаться с Диксоном. Зато с Мишенковым, завозившим мотор «бристоль» с тем, чтобы привести в движение динамомашину радиопередатчика, Ритсланд установил весьма уверенную и забавную связь. Непосредственно переговариваться они не могли и образовали связующее звено. Человек-«звонс» взялся передавать Мишенкову требования Ритсланда условными знаками. Если Ритсланд требовал

прибавить обороты «бристоля», человек-«звено» дергал Мишенкова за брюки один раз; если и этого числа оборотов оказывалось мало, «звено» дергало Мишенкова два раза. А когда нужно было прекратить работу, «оно» дергало трижды.

Когда мы подошли к берегу, я решил, что связи с Диксоном нам уж не установить.

— Стоит ли возиться?—заметил я, выслушав предложение нашего радиста и взглянув на приунывшего Мишенкова.

— Конечно! — воскликнул Ритсланд.

— Нет, — возразил я, — туман, видимо, скоро рассеется, стоит ли мучиться, лучше вы отдыхайте.

Ритсланд не унимался:

— Вы думаете, что мы не свяжемся?

— Свяжетесь, — улыбнулся я, — но лучше отдохнуть.

Хотя мы отказались от новых попыток, наш неутомимый радист принялся уговаривать Мишенкова:

— Давай свяжемся!

Мишенков отрицательно покачал головой.

— Зачем напрасно мотор гонять? Нам еще до Москвы лететь, а из Москвы до Красноярска.

Ритсланд продолжал уговаривать:

— Ты хотя на минуту... на одну минуту запусти!

Мишенков согласился запустить мотор, но предупредил, что остановит его ровно через минуту.

Прошла минута, Мишенков кричит:

— Я гашу, время ушло.

— Еще немного, — просит Ритсланд, — вот-вот свяжемся!

В конце концов мы связались с Диксоном, передали, что все мы живы, что находимся в шхерах Минина, пристали к острову, кулинарум и, как только рассеется туман, — прилетим.

Приготовление обеда не заняло и часа. Мы собрали дров, сложили костер, сделали из камней печку, и я, как обычно, сварил кастрюлю борща, которой могло бы хватить человек на двенадцать.

— Зачем ты так много намешал? — удивлялись мои спутники. — Когда нас было восемь человек, мы с трудом уп-

равлялись с полной кастрюлей, а теперь нас всего лишь пятеро.

Однако, принявшись за борщ, мы очень скоро увидели дно котла.

Подкрепившись, я все же вытащил «корову», «подоил» ее, попил молочка и лег спать.

СНОВА НА ДИКСОН

Утром седьмого сентября, когда вся территория освободилась от тумана, снова тронулись в путь.

Как только самолет поднялся в воздух, мы точно определили свое местонахождение, чего не удавалось сделать на острове.

Полет на Диксон продолжался около полутора часов при сильном встречном ветре.

Сделав посадку, установили, что бензина осталось еще минут на тридцать. Вот что значит иметь на самолете лишней килограмм горючего вместо багажа и пассажиров!

Когда мы собирались лететь к Шмидту, желающих отправиться с нами было очень много. Но я предпочел взять побольше бензина и, учитывая, что предстоит полет над льдами, хотел в случае порчи одного мотора сохранить возможность идти на оставшемся. Кое-кто из экипажа при вылете не поддержал меня, зато, когда мы вернулись, всем стало ясно, что лишней килограмм бензина порой имеет решающее значение.

На Диксоне мы провели два дня: смотрели материальную часть, подготовились к полету и немало времени затратили на радиополемнику с Москвой. Нам предстояло лететь в Амдерму. Из Амдермы я решил лететь через Архангельск в Москву и оттуда в Красноярск. А нам предлагали после полета в Амдерму вернуться на Диксон и с Диксона лететь в Красноярск. Это мотивировалось тем, что для морского самолета путь от Архангельска до Москвы крайне труден, так как в значительной части лежит над сушей.

Признаюсь, я сильно обиделся: это предложение выдавало очень плохое знание географии и условий полета в Советском Союзе.

Я считал, что самый тяжелый путь у нас позади и что остался самый легкий участок.

В конце концов нам разрешили лететь через Архангельск в Москву.

...На Диксоне встретили множество старых друзей. Меня особенно обрадовала встреча с двумя знакомыми девушками: окончив медицинский институт, они несколько лет работали в моей деревне и из'явили желание поехать работать на Север.

На вопрос, как они чувствовали себя в дороге из Архангельска на Диксон, они ответили:

— Нам все очень понравилось; не нравится лишь то, что мы не скоро попадем в Хатангу, куда нас направили.

Им предстояло итти на буксирном пароходе в Дудинку, а затем пробираться в Хатангу. Из Дудинки в Хатангу придется месяца два итти пешком, ехать на оленях и плыть на шлюпках, но они не падали духом.

ДИКСОН — АМДЕРМА — ВАРНЕК

Направляясь в Москву, решили сделать первую посадку не на Вайгаче и не в бухте Варнека, а прямо в Амдерме.

При хорошей погоде летели первую половину пути, на второй половине погода резко испортилась: появился густой туман — видимость ухудшалась с каждым пройденным километром.

Приближаясь к Амдерме, я увидел, что на море сильный шторм, и полетел в хорошо знакомую бухту Варнека, где мы удачно сделали посадку.

Не успел экипаж выйти из самолета, как с радики подошла шлюпка с зимовщиками.

Я решил отказаться от полета в Амдерму, экипаж переправился на берег и заночевал на радиостанции.

На следующее утро с моря поднялся ветер. Бухта Варнека открыта с моря, при ветре в ней поднимаются сильные волны, — это очень неприятно для самолета.

Мы с трудом добрались на шлюпке к самолету; отрулив, поставили его на якоря у другого берега и успокоились.

— Машина закреплена достаточно хорошо, — сказали механики.

Я с ними согласился, и мы пошли на радиостанцию.

Вскоре ветер развернулся с берега. Получались какие-то «взрывы» ветра большой силы, но мы считали, что машина закреплена достаточно хорошо, и не придавали этим «взрывам» большого значения.

В тот день непогода задержала нас в бухте Варнека, а на следующее утро, выйдя из дому, я увидел, что самолет стоит не там, где мы его закрепили: он отдрейфовал метров на сто — сто пятьдесят.

Не теряя времени, мы поспешили на берег и, приближаясь, увидели, что наше береговое крепление оборвано.

Как попасть на самолет?

Шлюпки нет, в нашем распоряжении маленький клипер-бот, на котором мы вчера переправлялись с самолета, но ветер и волны так сильны, что путешествие на его борту очень рискованно.

— На клипер-боте не легко попасть к самолету, — вздохнул Ритсланд, — волны могут выкинуть на другой берег, перевернуть...

— Да, — согласился Мишенков, — но, если не закрепить самолет, его сорвет с якорей и разобьет о камни.

Я решил с одним из бортмехаников отправить к самолету, но все запротестовали:

— Мы без твоей помощи закрепим машину!

Хотя я возражал, меня так и не пустили.

Клипер-бот был накачан, в нем лежали дрова и камни. Выбросив их, Ритсланд и Мишенков тронулись в путь.

Мы посоветовались, дали им несколько напутствий, и они очень удачно подошли к самолету.

Резиновый клипер-бот стремительно несло по течению, но они гребли в обратную сторону, попали прямо к жабре, ухватившись за якорный конец, привязали бот за утку к хвосту самолета и покинули свое судно.

Надутый воздухом бот взлетел, как бумажный змей.

Вскоре мы услышали рокот мотора. Самолет подрулил к нам, и наши путешественники, торжествуя, вышли на берег.

Снова пришлось закреплять на берегу концы от самолета. В бухте Варнека закрепить машину не легко: здесь не к чему привязать концы. Грунт каменистый, установить столб невозможно, приходится, положив на концы бревно, сваливать на него гору камней. Эта утомительная работа отнимала у нас немало времени.

ВАРНЕК — АРХАНГЕЛЬСК

Двенадцатого сентября вылетели из Варнека в Архангельск. Путь от Варнека до Архангельска был последним этапом нашего тяжелого перелега в трудных метеорологических условиях. Уже через тридцать минут мы встретили первые заряды снега, тумана, дождя. Чем ближе мы продвигались к Архангельску, тем хуже становилась погода.

Когда самолет подошел к полуострову Канина, спустился густой туман. Перед нами встал вопрос: продолжать полет или сделать посадку?

Расстояние до Архангельска оставалось не очень большое; я решил итти дальше.

В последние часы полета над полуостровом Канина погода совсем испортилась. Я перестал видеть землю, и даже плоскости стали скрываться в густом тумане.

Снова начались размышления:

— Не сделать ли посадку?

— Как только внизу покажется хоть маленькое озеро, надо садиться, — рассуждали мои спутники.

Еще недавно нам часто попадались озера, где можно было бы сесть, но теперь не удавалось заметить ни одного.

...Тридцать минут шли в сплошном тумане, знали, что лететь осталось всего минут десять, но в тяжелых условиях. и главное, когда лететь остается считанные минуты, каждая минута кажется вечностью: смотришь на часы и думаешь, что стрелки не движутся, что часы остановились.

Точно через десять минут вынырнули из тумана. Показалась вода. Мы имели очень маленькую горизонтальную видимость, но вертикальная видимость была удовлетворительной.

Я пошел курсом через остров Моржовец на Архангельск.

В Архангельске мне не случалось бывать. Мы уже подходили к нему, а я все еще затруднялся определить, где город.

Архангельск сильно растянут. Карты мы не захватили. Я видел строения, но все это были пригородные лесные заводы. Море осталось далеко позади, а города все нет и нет.

Наконец я увидел Архангельск и аэродром!

Мы находились уже не в море, а на реке, где легко столкнуться с препятствиями.

«На Северной Двине, кроме обычных препятствий — вех и бакенов, — могут оказаться бревна с лесопильных заводов» — мелькнула мысль.

Я сделал круг, рассмотрел «пяточок», предназначенный для нашей посадки, убедился в том, что он не велик. Но мне было ясно, что лучшей посадочной площадки найти не удастся, и, не делая второго круга, я начал снижаться.

Впереди по нашему аэродрому шел прекрасный катер. Глядя с воздуха на след, который он оставлял за кормой, я убедился в том, что у него очень большая скорость. Меня радовало, что здесь имеются такие быстроходные катеры, и в то же время сердило, что этот катер занял единственное чистое место на реке. Кругом стояли парходы, плавали бревна, у нас уже не оставалось высоты, мы шли на маленькую площадку, — сердился я, конечно, но без оснований. Видимо, водитель катера почувствовал это: пользуясь быстроходностью своего судна, ушел в сторону и дал нам возможность сделать посадку.

Опустившись на воду, я подрулил в специально сколоченную крестовину и причварговался.

Мы стояли метрах в десяти от берега. Все вышли на палубу самолета и увидели поджидавшую нас шлюпку. Берег был заполнен народом.

— В город поедут все? — спросил я, обращаясь к товарищам.

— Нет, — ответил Побежимов, — мне нужно кое-что посмотреть, пока мотор еще теплый. Я останусь.

На берегу нас встретили работники партийных и советских организаций, в строю стояли летчики Осоавиахима, шумела детвора.

Здесь думали, что мы прилетим в три, а не в пять, и встречавшие ждали примерно с двух часов.

Были уже разговоры о том, что «их обманули», что «Молоков вовсе не прилетит».

Даже наши авиационные работники не знали, на какой машине мы летим и какая у нас скорость. Они были уверены, что Молоков не может иначе летать, как со скоростью двести — двести пятьдесят километров в час, а я шел сто сорок — сто пятьдесят километров, — тихим ходом. Как я и рассчитывал, мы находились в полете шесть с половиной часов, они же предполагали, что полет займет всего часа три...

Нас уговорили пожить на даче; там имеется телефон, и поездка не помешает нам поговорить с Управлением полярной авиации, и мы охотно согласились.

Как ни странно, работники управления предложили нам... вернуться на Диксон и с Диксона лететь в Красноярск!

Это удивило меня.

Ведь мы договорились о том, что я полечу в Красноярск через Москву!

Да, мы договорились, но работники управления полярной авиации передумали и снова принялись настаивать на том, что полет из Архангельска в Москву на морской машине очень сложен.

Снова началась полемика, и лишь на следующий вечер мне сообщили, что нас ждут в Москве девятнадцатого сентября.

Мы отдыхали, занимались охотой.

Как только мы начинали собираться на охоту, нас спешили предупредить, что архангельские утки летают и стрелять в них следует осторожно.

Мне кажется, что мы стреляли осторожно, но результаты были всегда пла-

чевными: выстрелишь — а утка летит и летит.

В свободные от охоты часы играли на биллиарде; играли подолгу, а порой с утра до вечера.

Так мы провели время до семнадцатого сентября.

Семнадцатого уехали в город с тем, чтобы утром осмотреть машину и подготовиться к полету в Вологду.

Так как нам предстояло идти по системе рек, путь до Москвы должен был занять около четырнадцати часов, и мы должны были сесть где-либо, чтобы пополнить запасы бензина. Кроме того, мы знали, что нас ждут в Москве девятнадцатого сентября ровно в пять часов вечера, учитывали, что четырнадцать летных часов точно рассчитать очень трудно, что метеорологические условия могут за это время измениться, не рискнули запоздать, и все, как один, решили пойти в Вологду и уже из Вологды в Москву.

В ВОЛОГДЕ

В Вологду вылетели восемнадцатого сентября.

Перед стартом на площади состоялся митинг.

Нам преподнесли много цветов, так много, что, погрузив их в самолет, я невольно подумал:

«Эти цветы весят не меньше, чем два человека».

Цветами была забита вся задняя кабина.

...Загудели моторы. Самолет оторвался от реки и пошел в воздух. Мы окружены цветами, они заглушают запах бензина.

Стояла прекрасная погода, я прошел по системе рек до Вологды и сделал посадку на Кубинском озере. Мы хотели сесть на реке около города, но, получив сведения о размерах и глубине плеса, решили, что садиться на нем рискованно: он тянется, правда, около километра, но глубина его незначительна.

Кубинское озеро также оказалось неудачным аэродромом: оно достаточно большое, но не везде глубокое. Прилеть впервые, мы не сумели бы выбрать

посадочную площадку. Сделать это помогли местные авиационные работники — готовясь к встрече нашего самолета, один из них обследовал озеро и нашел небольшую площадку. Там, где мы селились, глубина не превышала восьмидесяти сантиметров, а наша машина имеет осадку в шестьдесят сантиметров, так что всего двадцать сантиметров оставалось в запасе. Когда мы сделали посадку, я попросил Ритсланда проверить багром глубину.

Опустив багор, Ритсланд удивленно посмотрел на меня:

— Как же так? Нам сообщили, что глубина восемьдесят сантиметров, а тут весь багор ушел и нет дна?!

— Вероятно, дно рыхлое, — ответил я.

Мои предположения подтвердились: дно озера настолько рыхлое, что затягивает не только багор. Мы видели, как на озере устанавливают бревна: их опускают с незначительной высоты, и они уходят в грунт, заколачивать их незачем: и без того бревна так затягивает, что вытащить их очень трудно.

В ожидании самолета на озере устроили плавающий спуск, мы пристали к нему и заправились бензином.

ВОЛОГДА — МОСКВА

Взлетели! Сделали круг, набрали полторы тысячи метров высоты и пошли по курсу.

Курс проложили не прямой, а по системе рек. Этот путь длиннее, но зато безопаснее, под нами изредка была вода, и с полуторы тысяч метров мы всегда дотянули бы до места, где можно сделать посадку.

Я хотел внимательно осмотреть реки; пролетая над ними, спускался до пятисот метров и убедился в том, что на большинстве из них можно сделать посадку.

Когда мы вылетели из Вологды, дул встречный ветер, сильно «болтало», и мы начали беспокоиться — придем ли во-время? Но встречный ветер продолжался не больше полутора часов.

Когда же самолет подходил к Москве, ветер стал попутным, и мы выиграли то

время, на которое вначале запоздали.

Посмотрев на Москву с воздуха, вы увидите, что она окутана густой дымкой. Эту дымку я заметил издали, когда в нашем распоряжении оставалось минут пятнадцать.

«Скоро Москва!» — подумал я, но мы летим и летим, а Москвы под нами все еще нет.

В воздухе за всю мою летную практику я никогда не волновался, а на этот раз, когда мы подлетали к Москве и остались считанные минуты, появилось какое-то беспокойство.

Я был уверен, что приду во-время, что расчет у меня правильный, что мы хорошо сделаем посадку, но беспокойства не мог побороть.

На Москва-реке мне не приходилось садиться. Правда, я знал ее ширину, представлял себе условия посадки. Но я не знал, какой будет ветер и как я пойду на посадку — на Ленинские горы или с Ленинских гор, а это имело значение, от этого зависело время прилета.

Я крепко ругал себя за то, что волнуясь в последние минуты.

«Когда человек волнуется, он точно не рассчитает посадки» — твердил я, но тревога не оставляла меня.

Наконец перед нами открылась Москва.

Стрелка часов показывает без трех минут семнадцать.

Одной-двух минут нехватает, мы запаздываем!

Я даю полный газ. Машина летит со скоростью ста восьмидесяти.

Стрелка часов отсчитывает минуты. Осталась одна минута.

По правилам, перед посадкой нужно сделать круг и осмотреть поверхность воды. Но, сделав круг, я запоздаю.

Мы уже летим на высоте двухсот метров.

«Волноваться не время, — говорю я мысленно, тут же забываю, что нахожусь над Москвой, что меня ждет радостная встреча, и думаю лишь об одном: — Я должен сделать точный расчет и хорошую посадку».

Когда наступило время развернуться, осталось полминуты. Впереди мост.

Высоты моста я не знаю. Приходится определить ее на-глаз. Я вижу, что времени — в обрез, что предстоит посадка с препятствиями, это заставляет взять себя в руки.

На какой высоте мы прошли над мостом — трудно сказать, но, судя по посадке, очень невысоко. Имей я метров тридцать—пятьдесят высоты над мостом, я сделал бы посадку очень далеко от пристани, а сел я близко: видимо, мы летели над мостом на высоте пяти—десяти метров.

...Посадка показалась мне обычной, такой же, как и везде, но, как я потом узнал от экипажа, она была особенно удачной.

Говорят, что в тот момент, когда я опустился на воду, был фейерверк; я его не заметил: передо мной стояла следующая после посадки задача — развернуться.

Развернуться на Москва-реке очень трудно. Правда, я хорошо знаю свою машину, но она может закапризничать, может подвести в последний момент.

Чтобы использовать водную площадку, я развернулся влево от пристани, пошел к правому берегу, на малом газу развернулся на сто восемьдесят градусов, пошел по течению к пристани, миновал ее, вторично развернулся на сто восемьдесят градусов и подошел уже против течения.

Если вы умеете использовать мотор, вам удастся развернуть машину так, как вы пожелаете. Мы развернулись, подошли к пристани и закрепили машину.

Пора выходить!

Еще в Вологде я договорился с товарищами и, главное, с бортмехаником Пубежимовым о том, что, закрепив машину, мы, ни минуты не задерживаясь, выйдем на пристань.

В МОСКВЕ

На берегу собралась шумная толпа, а на пристани нас встретили члены правительства: товарищи Молотов, Каганович, Андреев. Здесь же я увидел жену и сына.

Я направился к товарищу Молотову,

чтобы отдать рапорт, но товарищ Молотов сказал:

— Ты прежде всего поздоровайся с женой и сыном.

Когда я поздоровался с ними, товарищ Молотов подошел ко мне, поздравил, и рапорт как-то выскочил у меня из головы. Потом я спохватился, что не отдал рапорта, но было уже поздно: все здоровались и обнимали друг друга.

Первое, что сказал товарищ Молотов: — У тебя прекрасная посадка.

Я растерялся. Стал со всеми здороваться, все меня поздравляли.

В это время членов экипажа я не видел: у меня разбежались глаза.

Наступило время итти на трибуну.

— Ты должен итти впереди, — сказал мне товарищ Молотов.

Тут я окончательно растерялся. Я не хотел итти впереди, хотел пропустить вперед членов правительства, но пришлось подчиниться.

Когда мы пришли на трибуну, начался митинг. Товарищ Андреев выступил с речью, он говорил о достижениях советской авиации и о нашем перелете; затем говорил я.

После митинга мы расположились в машинах и поехали в Московский совет на торжественный вечер.

...В Москве провели десять дней; в один из этих дней собрались на приеме в Кремле.

Это было двадцать седьмого сентября.

Каждый, конечно, волновался, к тому же не пришел Мишенков.

— Что с ним? Почему его нет?

— Вероятно, он заболел, — высказал предположение кто-то из моих товарищей.

— Возможно, — ответил я, — но мы не можем сказать, что он болен. Быть может, он здоров и явится в последнюю минуту.

Так оно и вышло—Мишенков явился минут за пять до начала заседания.

Оказывается, ему посоветовали пойти на прием при всей амуниции, чтобы выглядеть боевым. Он заказал китель, но, приехав за ним, увидел, что китель не подходит, и попросил срочно перешить.

Китель принялись перешивать, а Мишенков сидел и ждал.

Но вот пришли члены Президиума, зачитали постановление ЦИК СССР. Первым для ответа вызвали меня.

Я обещал не останавливаться на достигнутом, упорно идти вперед и сказал, что считаю свой полет не последним и буду летать до тех пор, пока хватит сил и здоровья.

ПЕРЕД ПОСЛЕДНИМ РЕЙСОМ

Считая, что вполне достаточно пяти дней отдыха, мы решили пробыть в Москве до двадцать пятого сентября, а потом перегнать машину в Красноярск. Но, так как на двадцать седьмое сентября был назначен прием в Кремле, стало очевидным, что мы вылетим только после двадцать седьмого.

День вылета перенесен на тридцатое сентября. Мы улетели бы и раньше, но мне сказали в Управлении полярной авиации, что можно не торопиться, что в данный момент Красноярская авиалиния может обойтись без моего самолета, что там не такой уж острый голод в машинах.

В этом перелете, кроме основного экипажа, приняла участие моя жена.

Я считал, что на пути в Красноярск мы не встретим больших трудностей, что труднее всего будет взлететь с Москва-реки, и решил ознакомиться с условиями старта.

Двадцать девятого сентября отправились на катере осматривать берег реки.

Доехав до Окружного моста, перед которым предстояло взлететь, и прикинув высоту зданий, я убедился в том, что взлет ничего серьезного не представляет, но что познакомиться с его условиями все же не мешало: всегда полезно знать заранее, что ждет тебя впереди.

Чтобы облегчить взлет, решили не загружать машину и сделать зарядку на Сенежском озере, в шестидесяти километрах от Москвы.

Старт был назначен на десять часов утра, но в десять вылететь не пришлось: мы потеряли много времени, пока речная милиция разбирала затон, где наш само-

лет чувствовал себя в эти дни, как никогда, хорошо.

Провожало нас много народу. Среди провожающих я увидел артистов Большого театра, которые гастролировали на Севере, где мы с ними и познакомимся.

Артисты принесли большую корзину цветов. Цветы летели с нами очень далеко, до тех пор, пока совсем не увяли.

Погода в Москве ничего приятного не предвещала. Был сильный ветер, дождь и низкая облачность. Глядя на провожавших, мне казалось, что они про себя говорят:

«Стоит ли в такую погоду лететь!».

Но, когда мои мысли перебрасывались на Север, эта погода переставала казаться плохой; и полет не хотелось откладывать: по северным условиям погода была отличная.

Мы еще раз проверили работу моторов и, убедившись в том, что они чувствуют себя хорошо, отцепились от катера.

Не теряя ни секунды, я дал полный газ. После очень небольшого пробега машина удачно оторвалась. Мы предполагали подойти к мосту на высоте ста метров, но ошиблись и набрали двести метров. Это позволило сделать разворот, не долетев до моста.

О лучшем начале перелета мы и мечтать не могли.

С полным грузом, конечно, не удалось бы так скоро оторваться, набрать высоту и развернуть машину, но теперь нас было всего пять человек, а бензина мы взяли только шестьсот—семьсот литров.

До Сенежского озера шли со встречным ветром на небольшой высоте в триста—четырееста метров: облачность не позволяла подняться выше.

Надо сказать, что с такой высоты очень трудно выбирать место посадки. Мы, правда, изредка видели на своем пути озера, которые могли принять машину, и, если бы испортился один мотор, могли бы, конечно, сесть, да и не только сесть, а и долететь, куда бы захотели; но, если бы испортились оба мотора, с высоты трехсот—четырехсот метров я не дотянул бы до этих площадок.

Сделав посадку на Сенежском озере, зарядились бензином, вылетели в Казань через Москву и снова прошли над Парком культуры и отдыха.

СЕНЕЖСКОЕ ОЗЕРО — КАЗАНЬ

По пути в Казань я хотел залететь в родную деревню. Мы это легко могли осуществить, отклонившись от маршрута всего километра на три, но после вылета нас встретила такая сильная «болтовня», что я позабыл о своем намерении. Вспомнил я о нем, когда деревня осталась далеко позади самолета и когда мы уже не могли вернуться: из Москвы, как я говорил, мы вылетели с опозданием, я боялся, что приду в Казань в темноте, и дорожил каждым десятием минутами.

...Москва позади. Мы прошли по Москва-реке, перешли на Оку, а затем через Горький на Волгу.

Оставалось минут сорок до Казани, солнце уже село, наступали сумерки.

Что делать: лететь в Казань или сесть и заночевать в одном из колхозов?

Если бы мы летели над Енисеем или над Северной Двиной, я, безусловно, не пошел бы дальше, зная, что Енисей и Северная Двина забиты бревнами. Но Волга свободна от бревен, я не сомневался, что смогу сделать посадку и ночью, и решил продолжить путь.

Вскоре мы подошли к Казани и увидели на берегу костры: их зажгли, чтобы указать нам место посадки. Заметив костры, я подумал:

«Нет. Здесь рискованно делать посадку. На реке много барж, в темноте легко наскочить на одну из них. Кроме того, направление ветра не совпадает с дорожкой, освещенной луной: мне придется садиться либо на дорожке, но по ветру, либо против ветра, на неосвещенную воду».

Я решил итти вперед и сделать посадку километрах в пяти от города, где, по моим предположениям, не было никаких препятствий.

Условия посадки оказались не так уж благоприятны. Луна зашла за облака, и посадку пришлось делать в непрони-

цаемой темноте, но зато против ветра и на достаточно просторной площади.

Сели мы очень удачно и, развернувшись, принялись рулить в город. По пути встретили катер и попросили его водителя итти впереди и привести нас туда, где казанцы собирались принять нашу машину.

Но рулить—не то, что лететь: идешь очень медленно, большую скорость развить не удастся, да и наскочить на что-нибудь не так уж трудно.

Всему, однако, приходит конец. Пришел конец и нашим плаваниям по Волге. Мы подошли к берегу, где нас приветливо встретили руководящие работники города.

Вскоре бортмеханики поставили машину на якорь, все мы переправились в катере на другую сторону Волги, а затем в автомобилях покатали в казанский кремль.

В кремле ждал хороший ужин.

После ужина нас отвезли в гостиницу, и мы превосходно отдохнули.

КАЗАНЬ—СВЕРДЛОВСК

На следующий день приехали всем экипажем к реке, заправили машину и вылетели в Свердловск.

Самолет спустился по Волге до Камы, затем поднялся по Каме и на траверзе железной дороги, которая идет из Казани в Свердловск, свернул на Свердловск.

Наша крылатая лодка шла под облаками на высоте двух тысяч метров, но, когда она приближалась к железной дороге, облачность начала опускаться и теснить самолет. Чтобы продолжить полет под облаками, нам пришлось снизиться до двухсот метров. Это не могло обрадовать ни меня, ни членов экипажа.

На высоте двухсот метров пришлось итти достаточно долго. Мы стали набирать высоту, лишь подлетая к Красноуфимску.

Придерживаясь железной дороги над Уральским хребтом, где она очень извилиста и часто входит в тоннели, мы потеряли бы много времени. Учитывая это, я вел самолет главным образом по компасу.

Наконец открылся Свердловск, и я сделал посадку на озере Чарташ. Озеро это мне хорошо знакомо. В 1933 году я делал здесь посадку на этом же самолете «СССР Н-2».

Подрулив к пристани, встретил старых знакомых. В 1931 году я работал на линии Свердловск — Новосибирск; меня здесь хорошо знают, и я знаю многих.

Побежимов и Мишенков остались на самолете, чтобы заправить его бензином, а я с остальными членами экипажа и женой уехал в гостиницу.

В гостинице предложили душ и ванну. Мы освежились и, когда все приехали с самолета, отправились в столовую, где нас угостили ужином и поговорили на день остаться в Свердловске. На уговоры мы поддались довольно легко: Свердловск — центр Урала, мы хотели воспользоваться случаем и осмотреть заводы, а в особенности драгу.

Драги никто из нас не видел, но в 1935 году мы много слышали о ней на Колыме. Нам рассказывали, что эту огромную машину с большим трудом везли по Колыме и тащили в глубь тундры.

Утром с'ездили на одно из промышленных предприятий, затем осмотрели драгу. Она оправдала наши ожидания: редко приходится видеть такие величественные машины, — я бы назвал драгу пловучим заводом. К сожалению, самого интересного — как драга работает — мы не видели: она находилась в ремонте, но все же многое нам показали и многое мы узнали из рассказов.

После осмотра драги экипаж отправился на рыбную ловлю. В озере, где мы ловили рыбу, водятся только щуки: разводить другие породы рыб эти хищники не дают. Когда мы под'ехали к озеру, сети уже были заброшены дважды, но это не помешало нам, также дважды забросив сеть, поймать множество щук.

Наши охотники даже постреляли здесь. Правда, главного охотника с нами не было — Ритсланд рано утром облачился в охотничий костюм и отправился стрелять глухарей. Ходил он целый день и вернулся с пустыми руками, но,

когда мы спросили его о результатах охоты, он ответил:

— Я настролял так много дичи, что один донести не мог и решил на обратном пути заехать в Свердловск, захватить набитую дичь и угостить вас ею уже в Москве...

ГОСТЕПРИИМСТВО В ТЮМЕНИ

На следующий день вылетели из Свердловска в Тобольск. Провожало много народу. Среди провожающих были руководящие работники, один из них подошел ко мне и сказал:

— Товарищ Молоков, разрешите посмотреть, какой у вас на самолете порядок.

Пришлось разрешить. Он переправился на шлюпке к самолету, стоявшему неподалеку от берега.

Обычно осмотр самолета начинают с пилотской кабины, он же зашел прямо в задний отсек.

Я подумал: «Почему он пошел именно в этот отсек?».

Вскоре он вернулся на берег и, обращаясь ко мне, сказал:

— Порядок у тебя идеальный, но я навел еще больше порядка.

Перед стартом я не успел заглянуть в заднюю кабину, но, когда сделал посадку в Тюмени, увидел там двух жаренных поросят и много конфет и яблок. В заднем отсеке сидела моя жена, она и приняла весь этот «порядок».

Через час после вылета из Свердловска попали в дым от лесных пожаров.

Шли мы на высоте полуторы тысяч метров, а дым поднимался еще выше, все сгушалась и сгушалась, горизонтальная видимость становилась меньше и меньше: мы могли пользоваться только вертикальной видимостью. Но я не тревожился: этот полет оказался несложным — по лугу и слева, и справа от железной дороги ясно вырисовывалось множество водных бассейнов, где при первой необходимости удалось бы сделать посадку. (Не знаю, почему я в 1933 году летал в Красноярск по другому маршруту, — этот маршрут совершенно безопасен.)

Когда мы прилетели в район Тюмени, дым стал настолько густым, что и вертикальная видимость сильно ухудшилась. Я решил пробиться выше дыма, набрал две тысячи метров, но дым оказался там еще гуще, и я спустился вниз до ста метров, рассчитывая на то, что внизу меньше дыма. Но я просчитался: теперь и впереди, и позади самолета ничего не было видно.

Что делать? Тюмень мы успели пролететь. Итти вперед или вернуться?

Я чувствовал, что начинаю угорать. До Тобольска оставалось всего восемьдесят километров, но мне с каждой минуты становилось все хуже и хуже.

«Разумнее всего вернуться, — решил я, — путь в Тюмень лежит над рекой, и, если мне станет совсем худо, все же удастся сесть на воду».

Я повернул штурвал; ориентируясь по приборам, пошел обратным курсом и сделал посадку на Андреевском озере, где находится наша авиабаза и выстроен причал для самолетов.

Подрулив к причалу, мы открыли тут же на самолете небольшое совещание:

Отправляться ли сейчас и пойти над сушей, или выждать, пока ветер отнесет дым в другую сторону, и продолжать путь по ранее намеченному маршруту, то-есть по системе рек?

Было уже поздно, я предложил переночевать в Тюмени и окончательное решение вопросов, связанных с дальнейшим перелетом, отложить до утра.

— Правильно, — согласились мои спутники, — мы здесь хорошо отдохнем, а утром желающие смогут даже пойти в лес.

Город находился километрах в пятнадцати от места нашей посадки. Дорога в город, как нам казалось, плохая, ехать не хотелось: решили заночевать на авиабазе.

Едва кончилось совещание и мы вышли на берег, к нам приехало городское начальство:

— Что же вы, товарищ Молоков! Мы вас ждали! Хотели провести митинг! Народ собрался на площади, а вы пролетели мимо... и вдруг вернулись. Мы на вас в большой обиде!

— Это меня удивляет, — заметил я и напомнил, что второго октября мы телеграммой известили местных работников о том, что не сделаем здесь посадки.

— Телеграмму-то мы получили, — ответили хором несколько голосов, — но мы надеялись, что вы все же съедете, а когда вы пролетели мимо, все печально разошлись по домам.

...Отдохнуть на базе не удалось. Узнав, что мы хотим переночевать, дежурный виновато развел руками и сказал:

— Наш дом не приспособлен для жилья, и «харчить» у нас нечего.

— На самолете, — ответил я, — не плохой «харч». «Материал», чтобы подзаправиться, мы захватили с избытком. Нам нужна всего лишь небольшая комната.

— Небольшая комната? — переспросил дежурный.

— Да.

Он снова виновато развел руками и предложил осмотреть здание. Я увидел, что оно действительно не приспособлено для жилья, что остановиться негде, что мы не отдохнем здесь, а измучаемся. И, хотя ехать в город не хотелось, пришлось тронуться в путь.

Наши предположения оправдались: поездка в автомобиле по проселочной дороге оказалась не слишком приятной, и мы облегченно вздохнули, когда увидели огни Тюмени.

Наконец-то!

Я был уверен, что путешествие кончилось, но ошибся: не успели мы приехать в город, как нам предложили отправиться на дачу.

— А дача недалеко?

— Рядом, — ответили наши хозяева, и мы повернули в другую сторону.

Но прошло пять, десять, пятнадцать минут, а дачи не видно. Мы проехали еще километров двадцать и от поездки на дачу устали больше, чем от полета.

После чаепития я предложил вернуться в город.

— Зачем?

— Лучше переночевать в городе, но эти двадцать километров проехать сегодня.

Экипаж единодушно принял мое предложение, а хозяева стали возражать:

— Завтра вам лететь не придется! Дым не выпустит за черту города! Вы переночуете здесь.

Я отрицательно покачал головой:

— Быть может, и не выпустит, но рано утром мы должны собраться на аэродроме, а там уж будет видно, удастся или не удастся лететь.

Тут наши хозяева заговорили хором:

— Нет!

— Вы будете ночевать на даче!

— Здесь вы лучше отдохнете!

— Но раньше, чем уложить вас в постели, мы вас часика на два свезем в город.

— Зачем же?

Я почувствовал, что нас ждет еще какая-то неожиданность, и не ошибся.

— Дело в том, — захлебываясь от удовольствия, ответил один из местных работников, — что после того, как вы сделали посадку, мы успели организовать в парке митинг!

Он посмотрел на часы:

— Народ уже собрался! Пора ехать!

Мои спутники удивленно переглянулись.

— Что ж вы нам раньше ничего не сказали? — заговорил я. — Зачем же мы ездили на дачу?

Молодой человек беззаботно ответил:

— Мы хотели перед митингом угостить вас чаем.

Пришлось спешно выехать в город.

— Все извещены, — сказали мне по пути, — о том, что вы сделаете небольшой доклад о перелете.

Приближаясь к парку, я увидел, что там собралась шумная, многолюдная толпа.

Наконец машины остановились. Мы прошли по аллеям и поднялись на открытую эстраду.

Когда митинг кончился, экипаж отправился ночевать в гостиницу. Утром, ровно в восемь часов, нам подали машину, и мы поехали к озеру.

Погода была хорошая, но слишком тихая, не чувствовалось ни малейших признаков ветра: над зеркальной водой, как и вчера, висело густое облако дыма.

Я приказал механикам заводить моторы.

Местные работники полярной авиации с улыбкой переглянулись. Я сразу разгадал их мысли: они думали, что мы поднимемся, сделаем вид, что хотим лететь, и вернемся.

«Что вы канителитесь? Все равно не полетите!» — прочел я на их лицах.

Члены экипажа, в том числе Побезимов и Ритсланд, колебались.

— А не лучше ли подождать с вылетом? — спросил один из моих спутников.

— Нет, — ответил я.

Я твердо решил лететь, чувствовал себя уверенно и спокойно и начал волноваться, лишь когда меня попросили подождать с вылетом, пока нас сфотографируют.

Минут за пять до появления фотографа с авиабазы принесли синоптическую карту и сводку погоды.

Еще вечером мы решили, что, если за ночь ветер не унесет дымовую завесу, закрывшую путь на север, мы пойдем по железной дороге курсом на Омск.

Синоптическая карта и сводка погоды говорили о том, что обстановка не изменилась в лучшую сторону и, пожалуй, даже ухудшилась. За штурвал я сел, уже окончательно приняв решение лететь в Омск.

Рулить пришлось очень долго. Берега и вода были подернуты дымкой, плохо видны, и мы вели машину с таким расчетом, чтобы не потерять из виду авиастанцию, по которой я ориентировался.

ТЮМЕНЬ — НОВОСИБИРСК

Когда самолет оторвался от воды и поднялся метров на двадцать, все исчезло из поля зрения: подернутая легкой дымкой зеркальная вода слилась с берегами, смутные очертания авиастанции точно растаяли, растворились, погасли.

Я набрал по приборам высоту в двадцать метров и по приборам развернулся.

— Не лучше ли сделать посадку? — во весь голос крикнул над моим ухом Ритсланд.

— Нет.

Сделать посадку было опаснее, чем лететь, — вода зеркальная, да еще покрыта дымкой, берег, станция и спуск не видны.

«Нет. Это может плохо кончиться, — решил я, — лучше набрать высоту и лететь вперед».

Минут через двадцать мы увидели железную дорогу и пошли над ней.

Самолет шел на высоте двух тысяч метров. Вначале мы видели только по вертикали, затем временами начала появляться горизонтальная видимость, но она появлялась очень редко и очень быстро исчезала: можно сказать, что мы летели до Омска в условиях одной лишь вертикальной видимости, да и ту нередко теряли.

В Омске я охотно сделал бы посадку для заправки машины, но еще в Свердловске мы узнали, что Иртыш обмелел и что посадку можно сделать только в одном месте — около железнодорожного моста.

Подлетая к Омску, подсчитали запас горючего, убедились в том, что его хватит до Новосибирска, и пошли курсом на Новосибирск, не делая посадки.

В Новосибирск прилетели в сумерках, сели на динамовской водной станции и подрулили к пристани.

Нас ждала многолюдная толпа. На митинге я рассказал о работе полярных летчиков, об их победах и достижениях. Зная, что шахтеры Кузбасса за последнее время снизили темпы добычи угля, я призывал их к борьбе за выполнение плана.

В Новосибирске, как и везде, нас хотели задержать хотя бы дня на два. Но мы стремились поскорее доставить самолет в Красноярск и утром снова тронулись в путь.

НОВОСИБИРСК — КРАСНОЯРСК

Путь от Новосибирска до Красноярска мы проложили не только по системе рек. Я решил идти по реке Чулым

до Ачинска, а с Ачинска в Красноярск над сушей. Но дым от пожара не позволил дойти до реки Чулым километров на тридцать — пятьдесят: на высоте тысячи восьмисот метров было совершенно невозможно дышать.

«Не вернуться ли?» — промелькнула мысль.

Нет. Мы не вернулись, а изменили маршрут — вышли по маленькой реке на железную дорогу и по железной дороге прошли до Ачинска.

Нам долго не удавалось вырваться из дымовой завесы; лишь за Ачинском дым стал реже и постепенно исчез.

Мы хотели притти в Красноярск в тринадцать-четырнадцать часов, чтобы располагать днем, но начальник Красноярской авиалинии просил сделать посадку в семнадцать.

К семнадцати часам все кончают работу. Мы понимали, что посадка сознательно приурочена к этому времени, что нас ждет встреча.

Вышли мы к Красноярску не так, как выходят обычно: не доходя до города, свернули километров на семьдесят в сторону, а затем спустились по Енисею.

К аэродрому самолет подошел на высоте тысячи восьмисот метров. Я сделал с малыми оборотами несколько кругов и, теряя высоту, пошел на посадку.

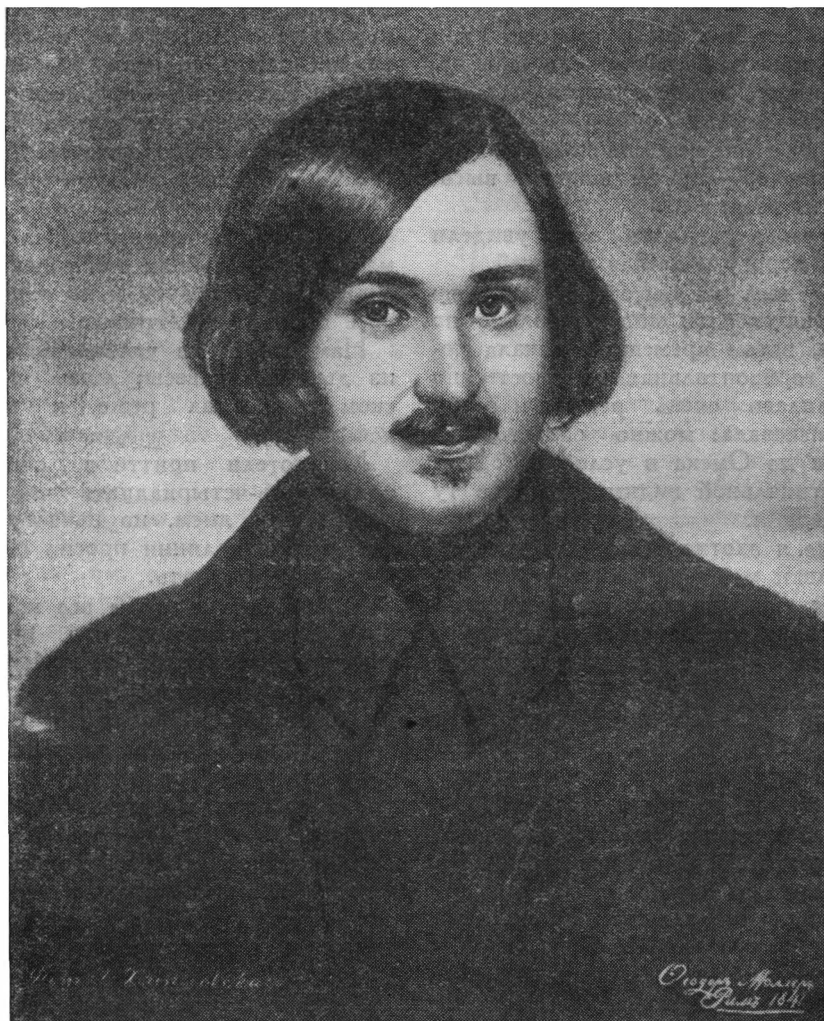
Когда мы сели, подрулили к берегу и выключили моторы, я сказал:

— Вот теперь наш перелет закончен.

Во время перелета меня воодушевляло стремление быть достойным сыном нашего великого народа, верным бойцом партии Ленина — Сталина.

То трогательное внимание, которое оказывает великий вождь народов товарищ Сталин нам, летчикам и полярникам, обязывает каждого из нас отдавать работе все свои силы.

С чувством глубокого удовлетворения я могу сказать, что и в этом перелете я сделал все, что мог.



Н. В. Гоголь

Н. В. Гоголь

(К 130-летию со дня рождения)

А. ЕГОЛИН

★

Жизненный и творческий путь писателя в дореволюционной России был тернист. Все великие писатели подвергались травле, преследованиям и гонениям. Одни, как Пушкин и Лермонтов, пали жертвой в неравной борьбе за свободу и

творческую независимость; другие, как Некрасов и Щедрин, были «вечно под судом»; третьи, наконец, как Гоголь и Достоевский, ударами самодержавия оказались морально и физически искалеченными.

Прекрасно сказал о социальной трагедии русских писателей великий революционер-демократ Н. Г. Чернышевский: «Гоголь — жертва окружавшей его действительности; он разделял ее с Пушкиным, Лермонтовым, Полежаевым, Кольцовым...». Все они, по справедливой характеристике Чернышевского, пришли к «нравственному изнеможению, ведущему за собой преждевременную, почти умышленную, во всяком случае желанную смерть»¹.

Реакционная критика пыталась «не заметить» перелома в творчестве Гоголя. Извращая его писательский облик, она распространяла период «падения» (Чернышевский) Гоголя на весь его творческий путь. «Дикое убеждение» (Чернышевский), высказанное в «Выбранных местах из переписки с друзьями», реакционная критика отнесла ко всему Гоголю. Эта критика в наше время нашла своих продолжателей в лице вульгарных социологов, которые в течение ряда лет (к счастью, безуспешно!) доказывали, что Гоголь был «реставратором феодальной России».

Всю свою сознательную жизнь Гоголь провел в эпоху тяжелой николаевской реакции, когда, по выражению Некрасова, «свободно рыскал зверь, а человек бродил пугливо». Занимая передовую позицию в литературной борьбе, одинокий и затравленный, Гоголь оказался сраженным всесильным тогда самодержавием. Так именно понимали состояние писателя прогрессивные элементы общества.

И. С. Тургенев, рассказывая о своем посещении Гоголя за полгода до его смерти, замечает: «Помнится, мы с Михаилом Семеновичем (Щепкиным. — А. Е.) и ехали к нему, как необыкновенному, гениальному человеку, у которого что-то тронулось в голове... вся Москва была о нем такого мнения»².

А Гоголь, как художник, — доказывал Н. Г. Чернышевский, — остался верен своим идеям до конца, и второй том

поэмы «Мертвые души», поскольку о нем можно судить по сохранившимся отрывкам, имеет характер «тот же самый, каким отличается и ее первый том и все предыдущие творения великого писателя».

Судьба литературного наследия Гоголя совершенно исключительна. Хотя он был далек от политических вопросов, но именно Гоголь сказал новое критическое слово о российской действительности 30-х годов XIX века. Его творчество наносило страшный удар крепостничеству, содействовало пробуждению и развитию революционных идей.

В самом деле, что могло быть выше, прогрессивнее, чем изображение господствующего класса России, как «мертвых душ»? В пору злейшей реакции 30—40-х годов Гоголь рисовал упадок и вырождение дворянства.

Реализм Гоголя был столь силен, давал такое наглядное представление о всем ужасе крепостнической России, что Пушкина охватила грусть за страну, за народ, когда он прослушал лишь первоначальные наброски «Мертвых душ». «Как грустна наша Россия!» — воскликнул великий поэт.

Белинский, питавший некоторое время иллюзии примирения с действительностью, под влиянием реалистического изображения жизни в «Ревизоре» и «Мертвых душах» увидел всю ложность своих взглядов.

Самодержавное правительство боялось популярности Гоголя. За невинный анекдот о Гоголе Тургенев был арестован и сослан в деревню. Сочинения великого писателя преследовались, подвергались цензурным искажениям и запрещались к переизданию. «Мертвые души» читались в рукописях.

Гоголь — наследник величайшего русского писателя, основоположника новой русской литературы Пушкина. Картинами горюхинского оскудения и чертами сатирического изображения дворянской жизни Пушкин очень близок Гоголю.

Гоголь своим творчеством открыл новый период в истории литературного развития, обозначил собою новое литературное течение. Он был первым из той фаланги писателей, в творчестве ко-

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 359.

² И. Тургенев. Литературные и житейские воспоминания, стр. 119. (Подчеркнуто мною. — А. Е.).

торых отрицательные явления жизни получили ярчайшее отражение. Белинский называл Гоголя главой новой реалистической школы: «Со времени выхода в свет «Миргорода» и «Ревизора» русская литература приняла совершенно новое направление».

Такую же оценку значения Гоголя для русской литературы давал и Чернышевский: «Должно приписать исключительного Гоголю заслугу прочного введения в русскую изящную литературу сатирического или, как справедливее будет называть его, критического направления»¹.

Реакционеры считали Гоголя — автора «Ревизора» и «Мертвых душ» — бунтовщиком, а революционеры смотрели на его произведение, как на произведение их демократического лагеря.

И. Ясинский в своих воспоминаниях пишет о середине 60-х годов: когда ученики приставали к учителю, почему программа по истории литературы кончается Пушкиным и не изучается Гоголь, бывший воспитанник той же самой нежинской гимназии — учитель «краснел, ухмылялся и возражал: «Гоголь породил отрицательное отношение к великой нашей родине, которую он ненавидел всеми силами своей инородческой души. Натуральная школа есть школа безбожия, безнравственности и вражды к православию, самодержавию и народности».

Великий украинский поэт-демократ Т. Г. Шевченко с большой любовью относился к Гоголю. В письме от 7 марта 1850 г. к своей знакомой Репниной Шевченко писал: «Меня восхищает Ваше теперешнее мнение о Гоголе и о его бессмертном создании! Я в восторге, что Вы поняли истинную цель его! Да! Перед Гоголем должно благоговеть, как перед человеком, одаренным самым глубоким умом и самою нежною любовью к людям!».

Идейно Гоголь был с людьми, стоявшими на точке зрения беспощадного разрушения крепостнической действительности.

В. И. Ленин объединяет Белинского и Гоголя.

В статье «Еще один поход на демократию» Ленин писал: «Теми идеями Белинского и Гоголя, которые делали этих писателей дорогими Некрасову — как и всякому порядочному человеку на Руси — была пропитана сплошь эта новая»¹ демократическая литература, нашедшая широкое распространение в дни революции 1905 г.

★

Еще учась в нежинской гимназии, Гоголь местных дворян презрительно именует «существователями», отмечая их тупоумие, праздность, эгоизм.

Юношей он мечтает о каком-то большом деле, об особом своем назначении. «Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утратить, не «сделав добра». Ранние, молодые мечты свои Гоголь связывает с борьбой за искоренение социального зла. Пусть эти его мечты недостаточно определены, но они всегда были о счастье людей, вдохновляли на писательское призвание. Эпиграфом к творчеству Гоголя можно было бы взять его слова: «Все чувствуют, что мир в дороге, а не у пристани».

Самое ценное в произведениях Гоголя, это — дух искания. Он пронизывает все его творения, начиная с ранней стихотворной поэмы «Ганц Кюхельgarten». Сердце, — пишет в этой поэме Гоголь, — «билось сильно, сильно по дальней, дальней стороне». Так выражал он неудовлетворенность окружающим.

Вследствие неблагоприятных отзывов на поэму «Ганц Кюхельgarten» Гоголь вскоре после ее выхода скупает свое произведение и уничтожает.

Годы 1830 и 1831 были очень значительными в жизни Гоголя. В эти именно годы он знакомится с крупнейшими литераторами Петербурга, и в том числе — с Пушкиным. Литературное общение с гениальным поэтом особенно благотворно сказалось на развитии таланта Гоголя.

В 1831 — 1832 гг. выходят «Вечера на хуторе близ Диканьки». С «Вечерами» пришли и известность, и признание.

¹ Н. Г. Чернышевский. Избр. соч., 1934 г., стр. 253.

¹ В. И. Ленин. Собр. соч. 3-е изд., т. XVI, стр. 132.

Пушкин писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без чопорности, без жеманства. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился».

Пушкин, однако, не ограничился только одним восхищением от веселости, которую возбуждают «Вечера». Нет, Пушкин увидел в произведении Гоголя черту, которая противопоставляла автора «Вечеров» традиционной литературе, характеризующейся «чопорностью». Пушкин увидел «необыкновенность» творения Гоголя и поэтому так искренно его приветствовал.

В 1835 г. печатаются сначала сборники «Арабески», где помещены были «Невский проспект», «Записки сумасшедшего», «Портрет», а затем — сборники «Миргород» (две части), состоящие из «Старосветских помещиков», «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», «Вия», «Тараса Бульбы». С выходом этих произведений Гоголь занял место рядом с Пушкиным. Он стал известнейшим писателем в России.

Белинский, оценивая новые произведения Гоголя, указал на характернейшую черту его творчества: основа комизма Гоголя «не в способности или направлении автора находить во всем смешные стороны, но в верности жизни». С изумительной пронзительностью гениальный критик уловил индивидуальную особенность Гоголя, состоящую в «комическом одушевлении, всегда побеждаемом глубоким чувством грусти и уныния». Белинский лаконично формулирует свою мысль: «Его (Гоголя. — А. Е.) повести смешны, когда вы их читаете, и печальны, когда вы их прочтете»¹.

Гоголь — один из величайших юмористов мировой литературы.

Ранний юмор Гоголя не имеет еще той яркости, социальной направленности, которая характеризует его произведения более поздней поры.

Правильно заметил А. В. Луначарский, что трудно представить веселым Гоголя — этого автора самых веселых произведений, читая которые все хохотали, начиная от наборщиков и кончая Пушкиным. Но смех Гоголя — это смех сквозь слезы. Чем дальше, тем больше выступает мрачная действительность России в его бессмертных произведениях.

«Главное существо» художественного дарования Гоголя, по его собственному признанию, «слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы крупно в глаза всем».

С убийственной правдой рисует Гоголь так называемый идиллический образ жизни старосветских помещиков Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, их низкий культурный уровень, их чисто растительное «существовательство».

В произведении «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» изображены дворяне, живущие в провинциальном захолустном городишке. Герон этого произведения, по выражению Белинского, — «нравственно гадкие и отвратительные» люди, бездельники, эгоисты, живущие только своими животными интересами. Они «почивают» ночью, «лежебокствуют» днем — и так до смерти. Вся «трагедия» этих «неплохих» людей заключалась в том, что Иван Никифорович назвал Ивана Ивановича «гусаком» в споре из-за ружья. Серое и неприятное впечатление от этой жизни зарисовывает Гоголь и заканчивает повесть грустными словами: «Скучно на этом свете, господа!».

Тема «петербургских повестей» — гибель личности в меркантильном и бюрократическом веке. Гоголь показывает моральное разложение человека, бесправие человеческой личности, продажность, царящую в обществе.

С исключительной проникновенностью Гоголь описал пагубное влияние буржуазных отношений на человека. В повести «Портрет» он создал образ ху-

¹ В. Г. Белинский. Избр. соч., т. I. 1934 г., стр. 185.

дожника, изменяющего правде «жизни действительной», подлинному искусству в погоне за богатством. Чартков «с самоотвержением предан был своему труду». Но в петербургском обществе все подкупно, все продажно, и молодой талантливый художник сходит с пути вдохновенного творчества. Случайно доставшееся богатство изменяет прежнее течение его жизни: «Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслаждением, целью».

Гоголь поставил вопрос о судьбе искусства в капиталистическом обществе. Он показал, что правдивое отображение жизни неприемлемо для эксплуататорских классов. Буржуазия требует лакировки, искажения в изображении действительности.

Обслуживая эксплуататоров, художник превращается в ремесленника. Свободный в выборе тем, Чартков рисовал «мужика», останавливал свое внимание на вопросах народной жизни. Теперь он рисовал только «аристократических дам», угождая вкусам заказчиков.

Чартков «из двух-трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему байроновское положение и поворот... Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собой разумеется, были в восторге и провозглашали его гением».

Гоголь заклеил буржуазную природу искусства словами:

«Все необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья».

Отрицательными чертами рисует Гоголь капиталистический город: «Кроме фонаря, все дышит обманом. Он лжет во всякое время — этот Невский проспект».

Вслед за «Станционным смотрителем» Пушкина Гоголь разработал тему «маленького человека». Он показал, что бедные люди не находят себе «места на свете» («Записки сумасшедшего»).

«Маленькие люди» в условиях столичного города Петербурга становятся бесцветными, серыми. В представлении Го-

голя все сильнее и сильнее вырастает «исполинский образ скуки».

Какой пронизательностью и мужеством надо было обладать, чтобы с такой силой нарисовать уже в 30-е годы прошлого века сокрушающее влияние капиталистических отношений на человеческую личность, возвыситься до изображения протеста «маленьких людей». Поприщин чинит гусиные перья для своего начальника — «его превосходительства». Он полюбил дочь своего начальника. Но разве можно титулярному советнику любить дочь генерала? Поприщин старается добраться до причины, отчего «все, что есть лучшего на свете, все достается или камер-юнкерам или генералам?». Стремление завоевать себе право на счастье и понимание невозможности этого доводят Поприщина до сумасшествия. Ему кажется, что он не «нуль», а испанский король.

Башмачкин Акакий Акакиевич — человек с рабской психологией. Он способен только переписывать бумаги, он трепещет перед «значительными лицами». Этот трепет убил в нем живую мысль. Но он человек, — говорит Гоголь. Когда у Башмачкина украли новую шинель, он перед смертью доходит до протеста против богатых и сильных, глухих к стонам замученных людей. Заболев горячкой, тишайший Башмачкин «сквернохульничал, произнося самые страшные слова», и «слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство»».

Протестом против унижения и порабощения человека насыщены «петербургские повести» Гоголя.

★

Над повестью «Тарас Бульба» Гоголь работал долго, тщательно. Эта повесть впервые напечатана в сборниках «Миргород», изданных в 1835 г. Но в 1839 — 1841 гг. Гоголь подвергает ее значительной обработке, и в этой новой редакции она вошла в его собрание сочинений в 1842 г.

Мертвым душам помещицей России писатель хотел противопоставить людей высокой гражданской доблести. Го-

голь обратился за идеалом к прошлому украинского народа. Даль веков предстает перед взором писателя в романтическом ореоле. Прошлое казачества — Запорожская Сечь в XVI и XVII веках, как очаг борьбы против чужеземных угнетателей, — вот где нашел он величественные образы. Герои повести «Тарас Бульба» захвачены великой идеей борьбы за родину против польских интервентов. Ненависть к врагам отечества, к изменникам родины, беззаветная преданность народу — характерные черты этих героев. Они жертвуют всем: домашними привязанностями, покоем, личным благополучием, жизнью.

Особенно тепло, трогательно рисует Гоголь любовь матери к сыновьям. И несмотря на эту нежную материнскую любовь, — говорит он, — эти люди порываются с личными привязанностями, поступают личными желаниями и всецело себя отдают служению родине. Герои повести «Тарас Бульба» обладают большими страстями.

Их геройство родственно и близко героям и богатырям нашего, советского времени.

Гоголь возвеличил силу духа, прославил военные подвиги, великие дела своих соотечественников. Гоголь нарисовал незабываемую картину войны «в русской земле» против поработителей: «Непреборима и грозна она, как нерукотворная скала среди бурного, вечно-изменчивого моря. Из самой средины морского дна возносит она к небесам непроломные свои стены, вся созданная из одного цельного сплошного камня. Отовсюду видна она и глядит прямо в очи мимо бегущим волнам. И горе кораблю, который нанесется на нее! В щепы летят бессильные его снасти, тонет и ломится в прах все, что ни есть на них, и жалким криком погибающих оглашается пораженный воздух». Он волнующе рассказал о беспощадной расправе Тараса с изменником родины, Андрием. Тарас приказывает заманить в лес Андрия и собственноручно убивает родного сына, перебежчика к польским панам. Вот эта изумительная сцена:

«Что, сынку, помогли тебе твои ляжи?»

Андрий был безответен.

«Так продать? продать веру? продать своих? Стой же, слезай с коня!»

Покорно, как ребенок, слез он с коня и остановился ни жив, ни мертв перед Тарасом.

«Стой и не шевелись! Я тебя породил, я тебя и убью!» сказал Тарас и, отступивши шаг назад, снял с плеча ружье... выстрелил.

Остановился сыноубийца и глядел долго на бездыханный труп... «Чем бы не козак был?» сказал Тарас: «и станом высокий, и чернобровый, и лицо, как у дворянина, и рука была крепка в бою — пропал! пропал бесславно, как подлая собака!».

Самое дорогое в жизни для Тараса — этого национального героя — связь со своим народом, борьба «на славу отчизны».

Гуманизм Гоголя раскрывается в следующих замечательных словах: «Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать; но это не то, братцы, любит и зверь свое дитя! но породниться родством по душе, а не по крови, может один только человек».

Мужественны, неустрашимы, до конца преданы своему делу Остап и Тарас. С захватывающей силой Гоголь нарисовал сцену казни польскими панами Остапа и Тараса Бульбы.

«Что почувствовал старый Тарас, когда увидел своего Остапа? Что было тогда в его сердце! Он глядел на него из толпы и не проронил ни одного движения его... Остап выносил терзания и пытки, как исполин... Тарас стоял в толпе, потупив голову и в то же время гордо приподняв очи, и одобрительно только говорил: «добре, сынку, добре!» Какой мужественной силой, беззаветной любовью друг к другу дышит обмен приветствиями «исполинов» богатырей: «И упал он силою и воскликнул в душевной немощи: «Батько! где ты? слышишь ли ты?»

«Слышу!» раздалось среди всеобщей тишины, и весь миллион народа в одно время вздрогнул».

Величие дел Тараса Бульбы и его соратников воодушевляло на борьбу весь

народ. «Отыскался след Тарасов... Поднялась вся нация, ибо переполнилось терпение народа».

По «следу» богатыря пошла «несметная козацкая сила».

В противовес обывательщине людей из мира настоящего, в противовес гадким, никчемным людишкам, «мертвым душам», окружавшим его, Гоголь рисовал подлинно живых людей славного прошлого своей родины.

Как волнует и сейчас каждого читателя мужественная речь Тараса, сжигаемого польскими интервентами на костре, но забывающего о своих муках и думающего в последний момент жизни только о победе народа.

«Прощайте, товарищи!» — кричал он им сверху: — «вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте сюда вновь, да хорошенько погуляйте! Что взяли чортовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы... Уже и теперь чуют дальние и близкие народы...». А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву... Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу»¹.

Гоголь изучал историю не только по документам, но и по народным песням. Тот лиризм, те живые краски в изображении героического прошлого, тот изволнованный тон, которым повествуется в «Тарасе Бульбе» о чарующей старине, — писателю дали песни украинского народа, эти, по выражению Гоголя, «звонкие, живые летописи». О важности народных песен Гоголь писал: «Это народная история, живая, яркая, исполненная красок, истины, обнажающая всю жизнь народа. Если его жизнь была деятельна, разнообразна, своевольна, исполнена всего поэтического, и он, при всей многосторонности ее, не получил высшей цивилизации, то весь пыл, все сильное, юное бытие его выливается в народных песнях. Они — надгробный памятник былого, более нежели надгроб-

ный памятник: камень с красноречивым рельефом, с историческою надписью — ничто против этой живой, говорящей, звучащей о прошедшем летописи. В этом отношении песни для Малороссии — все: и поэзия, и история, и отцовская могила. Кто не проникнул в них глубоко, тот ничего не узнает о протекшем быте этой цветущей части России»¹.

В повести любовно нарисованы картины из казацкой «вольной» жизни. Сечь состояла из «отдельных независимых республик». Описывая быт и нравы казаков, писатель отмечает их преданность великому делу и единое чувство товарищества. Вся Сечь готова была защищать общее дело «до последней капли крови». «Остапу и Андрию казалось чрезвычайно страшным, что при них же приходила на Сечь гибель народа и хоть бы ктонибудь спросил их, откуда они, кто они и как их зовут. Они приходили сюда, как будто бы возвращаясь в свой собственный дом, откуда только за час перед тем вышли». Гоголь подчеркнул чувство товарищества казаков. Это чувство выше мелкой заботы о личном. Во имя этого товарищества люди шли на самопожертвование. Общность интересов, героизм, свободолюбие Гоголь противопоставил эгоизму людей современной ему жизни.

Изображая героическое прошлое, Гоголь осудил настоящее, ничтожество дворянской, крепостнической России.

Ни одно художественное произведение исторического жанра не удостоивалось такого восторженного отзыва Белинского, как «Тарас Бульба». «Если в наше время, — писал критик, — возможна гомерическая эпопея, то вот вам ее высочайший образец, идеал и прототип!..».

Принято говорить об одной только переписке Гоголя — о «Выбранных местах из переписки с друзьями». На основе этого реакционного произведения вульгарно-социологическая критика обычно делала вывод: Гоголь — крепостник. Очень важно сказать и о более ранней его переписке. Тогда со всей оче-

¹ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. II, 1937 г., стр. 168.

¹ Н. В. Гоголь. Собр. соч., т. VI, 1937 г., стр. 110.

видностью встанет эволюция взглядов писателя.

Вот места из его писем, относящихся к 1833 г. В этих письмах чувствуется антагонизм к высшему дворянству. Например, в письме к Погодину от 1 февраля 1833 г. по поводу его исторической пьесы Гоголь пишет:

«Если вы хотите непременно вынудить из меня примечание, то у меня только одно имеется: ради бога, прибавьте боярам несколько глупой физиономии. Это необходимо. Так даже, чтобы они непременно были смешны. Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина. А доказательство в наше время»¹.

В другом письме к тому же Погодину 20 февраля 1833 г. Гоголь пишет:

«Я не писал тебе: я помешался на комедии. Она, когда я был в Москве, в дороге, и когда я приехал сюда, не выходила из головы моей, но до сих пор я ничего не написал. Уже и сюжет было на-днях начал составлять, уже и заглавие написано на белой толстой тетради: «Владимир 3-ей степени», и сколько злости, смеха и соли!.. Но вдруг остановился, увидевши, что перо так и толкается об такие места, которые цензура ни за что не пропустит».

О неосуществленном замысле этой пьесы Шенрок замечает: «Все это показывается, какой обширный замысел созрел в голове автора, хорошо понимавшего, однако, что осуществить его совершенно невозможно по цензурным условиям»².

Гоголь предполагал вывести чиновника, наглого проходимца, заносчивого с подчиненными и мечтающего о личной карьере, об ордене Владимира.

В замечательной повести «Невский проспект», где особенно силен мотив разлада мечты и жизни, Гоголь говорит: «О, как отвратительна действительность! Что она против мечты?».

Гоголю хотелось поднять действительность до мечты, и своими произведениями он плодотворно потрудился в этом направлении.

Наибольшего социального пафоса автор достигает в знаменитой комедии «Ревизор». Работа над «Ревизором» проходит в годы творческого расцвета Гоголя, с 1834 по 1836 гг. Но и после работа над «Ревизором» не прекращается. «Развязка» и «Дополнение к развязке» относятся к 1846 и 1847 гг.

Свойство Гоголя — «собрать в одну кучу все дурное в России» и «разом надо всем посмеяться» (из письма к Жуковскому) — обнаружено в этом гениальном произведении в полной мере. В образах чиновников и помещиков Гоголь бичует пошлость, дикость, взяточничество, казнокрадство, беспринципность, умственную скудость и гниль всего класса дворян. В комедии собраны типические черты николаевской действительности.

Эпиграфом — «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» — Гоголь дал ответ каждому, кто говорил о нереальности пьесы. Принцип городничего и чиновников города: чтобы не вышло «чего-нибудь публичного», а чтобы было «дело семейственное». Когда вскрывается, что Хлестаков не ревизор, одуроченный городничий кричит в исступлении: «Разнесут по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище — найдется шелкопер, бумагомака, в комедию тебя вставит. Вот, что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? над собой смеетесь!.. Эх, вы!».

«Ревизором» Гоголь в драматургии занял исключительное место. Он превзошел своих предшественников и подготовил расцвет русского театра, воспитал Островского.

Вигель писал Загоскину: «Я знаю автора «Ревизора»: это юная Россия во всей ее наглости и цинизме». Вот каково было мнение реакционеров о Гоголе! В наших глазах это лучшая, высшая похвала Гоголю.

«Ревизор» — величайшее произведение русской драматургии. На ряду с «Мертвыми душами» «Ревизор» дал повод Чернышевскому провозгласить Гоголя знаменем «отрицательного» направления в русской литературе. Это было цензур-

¹ Письма Гоголя, том I, стр. 235—236.

² «Материалы для биографии Гоголя», том II, стр. 327.

ное слово для вуалирования действительной программы революционной крестьянской демократии.

Наш современный крупнейший деятель театра Немирович-Данченко называет мастерство Гоголя, обнаруженное в «Ревизоре», «гениальным чувством сцены»: «Самые замечательные мастера не могли завязать пьесу иначе, как в нескольких первых сценах. В «Ревизоре» же — одна фраза, одна первая фраза: «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие: к нам едет ревизор», — и пьеса уже начата.

Дана фабула и дан главнейший импульс — страх».

★

Как рассказывает Гоголь в «Авторской исповеди», на большое произведение подталкивал его Пушкин своими словами: «Как с этой способностью угадывать человека и несколькими чертами выставлять его вдруг всего, как живого, с этой способностью не приняться за большое сочинение. Это, просто, грех!».

Уже самое заглавие поэмы — «Мертвые души» — имело прогрессивный характер, говорило о протесте против крепостничества. «Это заглавие, — писал Герцен, — само носит в себе что-то, надвигющее ужас». Чиновники царской цензуры никак не могли примириться с ним.

Цензор Никитенко дал произведению другое заглавие: «Похождения Чичикова или «Мертвые души». С тех пор так и стали называть поэму, вопреки воле автора. Теперь только отброшено название Никитенко, а восстановлено гоголевское.

Сам Гоголь относил наименование «Мертвые души» к помещицкому классу. Он писал помещикам-дворянам: «Будьте не мертвые, а живые души»¹.

В «Мертвых душах» дано непревзойденное изображение России той эпохи. Здесь мы видим празддно-мечтательного Манилова, грубого помещика-кулака Со-

бакевича, враля и пьяницу Ноздрева, тулупую Коробочку, «прореху на человечестве» — Плюшкина. Каждый образ — типическое лицо разлагающегося дворянства.

Манилов — порождение паразитического существования. Приторность Манилова, его беспомощность зло осмеяны Гоголем: он — «ни то, ни се, ни в городе Богдан, ни в селе Селифан».

Ноздрев экономически близок Манилову, он также разоряется со своим хозяйством. Это также «пустая натура», которая, говорил Гоголь: «...долго не выведется из мира. Он везде между нами и, может быть, только ходит в другом кафтане...».

Гоголь видит эксплуататорскую сущность «человека-кулака» Собакевича. Он бичует в Собакевиче корыстолюбие, плутовство, отсутствие моральных устоев, нравственную нечистоплотность. Чего стоит только сцена торга Собакевича с Чичиковым при продаже «мертвых душ»! На это же указывает и подделка документа о продаже крестьян («Елизавета Воробей»).

Плюшкин — ярчайшая фигура морального разложения дворянского класса. Он превращается в «нищего богача». Он воплощает в себе скупость, дошедшую до предела. Плюшкин теряет представление о мире человеческих отношений. «До такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!» — восклицает Гоголь.

Гоголь заклеил чиновничество всей России, характеризуя чиновников губернского города NN: «кувшинное рыло», «первейший хапуга в мире», губернатор, вышивающий по тюлю, не занятый своим делом, и т. п. Здесь тоже нет ни одной живой души, сплошь «мертвые», как и помещики, которых навещал Чичиков.

В «Повести о капитане Копейкине» показана антинародность правительства. Правящие круги чужды народу, его нуждам и потребностям. Они бездушно относятся к человеку, который кровью своей содействовал славе России.

Вскрывая лицемерие внешней «благопристойности» людей дворянского круга, Гоголь юмористически рисует образы

¹ «Духовное завещание» Гоголя. Письма, т. IV.

женщин: «просто приятной дамы» и «дамы приятной во всех отношениях». Внутренний мир этих людей убог и низок. Содержание их жизни — сплетни, наряды, зависть, разврат.

В этой обстановке страшного разложения действует сильный и извортливый Чичиков, путем фальши и обмана приобретающий капитал. Плут, мошенник, играющий на слабых сторонах скружающих людей, — вот каким изображен Чичиков. Он накопитель, усвоил дух буржуазного делячества и успешно лавирует в помещицьем и чиновничьем обществе.

Герцен так характеризовал впечатление от «Мертвых душ» Гоголя: «Благодаря Гоголю мы, наконец, увидели их (дворянчиков.—А. Е.) выходящими из своих дворцов и домов без масок, без прикрас, вечно пьяными и обжираться: рабы власти без достоинства и тираны без сострадания своих крепостных, высасывающие жизнь и кровь народа с тою же естественностью и наивностью, с какой питается ребенок грудью своей матери.

«Мертвые души» потрясли всю Россию.

Подобное обвинение необходимо было современной России. Это — история болезни, написанная мастерской рукой. Поэзия Гоголя, это — крик ужаса и стыда, который испускает человек, унившийся от пошлой жизни, когда вдруг он замечает в зеркале свое оскотинившееся лицо¹.

Трезво, вполне реалистически подходя к оценке состояния крестьянства в эпоху 30—40-х годов, Гоголь рисовал крестьян забитыми и подавленными:

«Капитан исправник хоть сам не ездит, а пришли только заместо себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места их жительства».

Как это напоминает «Историю одного города» Салтыкова-Щедрина и образ градоначальника Брудастого, управлявшего с помощью двух слов: «запорю», «не потерплю».

Гоголь рисует бестолковых дядю Митя и дядю Митя. Он изображает дворовую девчонку Коробочки, не знающую, где правая и где левая сторона.

Однако Гоголь считал, что силы народа задавлены, но не убиты. Беспощадно осмеивая помещицье-чиновную Россию, Гоголь верил в лучшее будущее своей родины. Он чувствовал скрытые силы народа. В своих лирических отступлениях Гоголь говорил о талантливых и способных крестьянах: Михееве, Степане Пробке, Милушкине.

За негативным изображением действительности, по мысли Гоголя, должно последовать позитивное. И он собирался показать воскресших Чичиковых, хотел найти путь очищения. Гоголь мечтал показать возрожденную Русь, предполагая построить свою поэму по плану Данте: ад — чистилище — рай. Он в письмах называл первый том «Мертвых душ» лишь «крыльцом ко дворцу».

Последний период жизни Гоголя, свыше десяти лет, занят безуспешной работой над вторым томом «Мертвых душ». В 1845 г. автор уничтожает написанные главы этого произведения. Новая редакция была готова в 1849 г. В 1852 г. Гоголь читал последние главы второго тома Шевыреву, но за несколько дней до смерти сжег опять и эту книгу. До нас дошли только черновые варианты отдельных частей незаконченного произведения.

Трагедия Гоголя состояла в том, что он не понимал закономерности отрицательного. Никаких иных душ, кроме «мертвых», не было среди дворянского и бюрократического общества его времени.

★

В борьбе за метод социалистического реализма для нас наследство Гоголя представляет актуальный интерес. Критический реализм Гоголя является подготовительной ступенью к искусству, выражающему положительное содержание. Белинский писал, что через критический реализм, «привыкнув верно изображать отрицательные явления жизни», люди легче смогут, «когда придет время, верно изображать и положитель-

¹ А. И. Герцен. Избр. соч., 1937 г., стр. 407.

ные явления жизни, не становя их на ходули, не преувеличивая, словом, не идеализируя их риторически»¹.

Натуральная школа, возглавляемая Гоголем, ставила в центре внимания социальную действительность. Гоголь в «Авторской исповеди» писал: «У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности».

Гоголь изображал жизнь во всей ее полноте, он не знал запретного материала, как не поэтического, не достойного для художественной литературы. Гоголь стоял у истоков того пути, по которому пошли такие выдающиеся русские писатели, как Щедрин, Некрасов, Гончаров, беллетристы-шестидесятники.

Все они признавали Гоголя своим великим учителем, все они отправлялись от тех же исходных литературных позиций, на которых стоял Гоголь.

По своим эстетическим взглядам Гоголь является предшественником революционно-демократического направления в русской литературе. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Щедрин развивают тот эстетический кодекс, который в своих определяющих чертах был набросан гениальной рукою бессмертного Гоголя.

«Из театра мы сделали игрушку вроде тех побрякушек, которыми заманивают детей, позабывши, что это такая кафедра, с которой читается разом целой толпе живой урок, где... при единодушном смехе, показывается... знакомый, прячущийся порок»².

Разве эти слова не предвосхищают некоторых положений эстетики Чернышевского? Разве это не признание за литературой права быть «учебником жизни»?

Гоголь был взыскательным художником. Раз'ясняя, что такое слово, он писал:

«Потомству нет дела до того, кто был виною, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не

станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовства, ни журналистов, ни собственной его бедности и затруднительного положения. Оно сделает упрек ему, а не им. «Зачем ты не устоял противу всего этого? Ведь ты же почувствовал сам честность звания своего; ведь ты же умел предпочесть его другим, выгоднейшим должностям и сделал это не вследствие какой-нибудь фантазии, но потому что в себе услышал на то призвание божие; ведь ты же получил вдобавку к тому ум, которым видел подальше, пошире и поглубже дела, нежели те, которые тебя подталкивали! Зачем же ты был ребенком, а не мужем, получа все, что нужно для мужа?».

Обличительные тенденции творчества Гоголя раскрывали магистральные линии социальной действительности, характеризовали ведущие черты современной жизни. Хотя и «бессознательно», «художнической поступью» (по меткому определению Добролюбова), Гоголь подошел к народной точке зрения. Некрасов называл Гоголя «заступником народным».

Перу Некрасова принадлежит творческий портрет Гоголя:

Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.

Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.

И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья.

Подобно Чернышевскому и Некрасову, Шевченко смотрел на Гоголя, как на создателя целого направления в русской литературе. Шевченко связывает дальнейшее развитие сатиры в творчестве Щедрина с именем Гоголя. И что замечательно в высказываниях Шевченко,—он Гоголя объединяет и идейно с револю-

¹ В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., под ред. Венгерова, т. X, стр. 397.

² Н. В. Гоголь, под ред. Тихонравова, изд. 10-е, т. IV, стр. 518.

ционнo-демократическим писателем Щедринным.

В своем дневнике от 26 июня 1857 г. Шевченко записал: «Как хороши «Губернские очерки»... Салтыкова. Я благоговею перед Салтыковым. О, Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих. Други мои, искренние мои! Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную, опасуженную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!».

Некрасов и Чернышевский, как руководители передового журнала «Современник», призывают писателей итти по стопам Гоголя, и оба сожалеют, что некоторые литераторы «не подражают ему».

«Нынешние даровитые писатели, — замечает Чернышевский в своей работе «Лессинг, его время, жизнь и деятельность», — произошли от Гоголя, — а между тем, ни в чем не подражают ему»¹.

Через три года после смерти Гоголя Некрасов пишет о нем: «Как ни озлобляет против Гоголя все, что нам известно из закулисного и даже кой-что из его печатного (имеются в виду «Выбранные места из переписки с друзьями». — А. Е.), а все-таки в результате это благородная и в русском мире самая гуманная личность — надо желать, чтобы по стопам его шли молодые писатели в России. А молодые-то наши писатели более наклонны итти по стопам Авдеева. Грустно!».

Изображая «пошлость пошлого человека», Гоголь оставляет в стороне интимно-личные моменты, не делает любовную интригу в качестве ведущего противоречия в произведении. В «Театральном разезде» он писал: «Вообще ищут частной завязки и не хотят видеть общей. Люди простодушно привыкли уже к этим беспрестанным любовникам, без женитьбы которых никак не может окончиться пьеса. Конечно, это завязка, но какая завязка — точный

узелок на уголке платка. Нет, комедия должна вязаться сама собой, всей своей массой, в один большой общий узел»¹.

Под этими словами подписался бы Салтыков-Щедрин. Ведь этот принцип стал руководящим для Гл. Успенского, Короленко и других писателей демократической литературы второй половины XIX века.

Когда Щедрин выступил (в «Господах ташкентцах») против романа, центром которого является лишь жизнь семьи, а не широкие социальные вопросы, то он назвал Гоголя, как писателя, «давно провидевшего, что роману предстоит выйти из рамок семейственности».

В русской литературе нет другого художника, который ввел бы в жизнь такое большое количество типов. Все образы его важнейших произведений вошли в жизнь, стали синонимами различных социальных явлений.

Типизм — сильнейшая черта Гоголя-художника. Гоголь стремится к обобщению: типичный город NN; эпитеты: «обычный», «вечный», «виды известные». Писатель блестяще преодолел трудности рисовать средних людей — «господ, которых много на свете». Гоголь умеет одним-двумя словами схватить характерный признак героя. Так, например: Ноздрев — «исторический человек», Собакевич — «кулак», Манилов — «ни то, ни се», Плюшкин — «прореха на человечестве».

Гоголь очень хорошо пользуется сравнениями для характеристики своих героев: Собакевича сравнивал с медведем; Чичиков — «боров»; «Петр Петрович — Петух». Шевырев когда-то, продолжая сравнения Гоголя, остроумно писал: «Собакевич — порода медвежья и свиная; Ноздрев — похож на собаку; Коробочка — суетливая белка; Плюшкин — муравей; Манилов — глупый потауй; Петрушка — пахучий козел; Чичиков — перешеголял плутовством всех животных. Один лишь кучер Селифан век свой прожил с лошадьми и сохранил всех вернее добрую человеческую натуру»².

¹ Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., т. III, стр. 696.

¹ Н. В. Гоголь, Собр. соч., 1937 г., т. IV, стр. 114.

² «Москвитянин», 1842 г., № 7, стр. 220.

Реализм Гоголя не носит натуралистического бытописательского характера. Его гипербола служит раскрытию типических явлений действительности.

Гротескность образов Гоголя соединяется с правдивым изображением жизни, что сообщает особую ударность его типам.

В поэтическом восприятии Гоголя были неотделимы природа и люди. Горячий патриотизм, чувство родины, борьба за ее величие связывались в его представлении с богатством природы родной земли.

Приведем описание степи: «Степь чем далее, тем становилась прекраснее... Ничего в природе не могло быть лучше; вся поверхность земли представлялася зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы сквозили голубые, синие и лиловые волочки; желтый дрок выскакивал вверх своею пирамидальною верхушкою; белая кашка зонтикообразными шапками пестрела на поверхности; занесенный, бог знает откуда, колос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими их корнями шныряли куропатки, вытянув свои шеи. Воздух был наполнен тысячею разных птичьих свистов. В небе неподвижно стояли ястребы, распластав свои крылья и неподвижно устремив глаза свои в траву.

Крик двигавшейся в стороне тучи диких гусей отдавался бог весть в каком дальнем озере. Из травы подымалась мерными взмахами чайка и роскошно купалась в синих волнах воздуха; вон она пропала в вышине и только мелькает одною черною точкою! вот она перевернулась крылами и блеснула перед солнцем... Чорт вас возьми, степи, как вы хороши!..».

Великий пролетарский писатель Максим Горький в своем докладе на съезде писателей поставил задачу: бороться с мещанством созданием яркого образа, где в собранном виде были бы представлены все его гнусности и мерзости. Осуществляя эту задачу, советские писатели найдут в русской классической литературе ценные и поучительные примеры, они найдут их прежде всего в литературном наследстве Гоголя.

Творчество Гоголя содержит богатейший материал для познания врага и одновременно дает высокий образец борьбы со всем отжившим, омертвелым, что цепко хватает живое и удерживает от движения вперед. «Он проповедывал любовь враждебным словом отрицанья».

Гоголь жил в глухую пору нашей страны, когда народ — живые души — был безгласен. Беззаветно веря в великие силы своего народа, писатель мог только мысленно рисовать себе светлое будущее родины.

Но то, что для Гоголя было неясной романтической мечтой, в наше время стало реальной действительностью.

Освобожденный народ страны Советов является единственным полноправным наследником всех сокровищ великой русской литературы.

Гоголь часто оказывается нашим современником. В сочинениях Ленина встречаются 99 раз цитаты и упоминания Гоголя. К бессмертным творениям великого писателя очень часто обращается товарищ Сталин.

Произведения гениального писателя послужили блестящей иллюстрацией к историческому докладу товарища Сталина о Конституции. Замечательная поэма Гоголя «Мертвые души» была названа в незабываемые дни XVIII партийного съезда в докладе товарища Жданова.



В. В. Маяковский

Маяковский за границей

(Окончание ¹)

В. КАТАНЯН

★

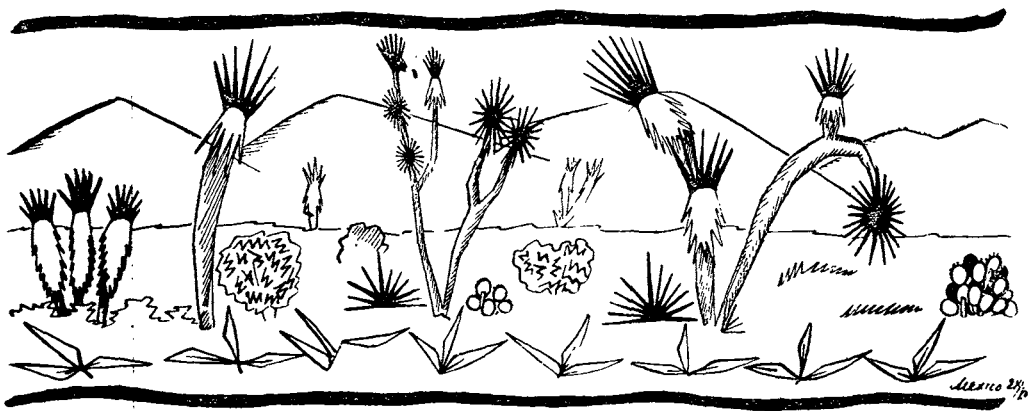
11

В следующем, 1925 году Маяковский решил возобновить попытку проехать в Америку. На этот раз он решил

ехать прямо в Мексику и оттуда уже добиваться разрешения на въезд в Соединенные штаты.

Весной 1925 года в хабаровской «Тихоокеанской звезде» была помещена статья Давида Бурлюка «Письма из современной Америки. Америка в поле зре-

¹ См. «Новый мир», кн. 3 с. г.



Мексиканские рисунки В. Маяковского

ния троих (Короленко, Горький, Маяковский)». Разобрав сказанное Маяковским об Америке в поэме «150 000 000», Бурлюк в заключение пишет:

«Тщетно Маяковский добивался разрешения на везд в «страну свобод». По этому поводу автор этих строк имел беседу с юрисконсульту по делам СССР Чарльзом Рехтом. Адвокат на мой вопрос — могут ли Маяковского пустить в Америку?—ответил, покачав головой:

— Не думаю. Очень уж выражены в нем стихийная революционность и склонность к широчайшей агитации».

Вряд ли это сообщение Бурлюка могло обнадежить Маяковского, но, как бы то ни было, он решил ехать. Хотя бы только до Мексики и обратно.

24 мая Маяковский вылетел из Москвы в Кенигсберг и 28 мая приехал в Париж, остановившись проездом в Берлине.

Первое письмо из Парижа датировано 2 июня 1925 г.:

«Пишу тебе только сегодня, потому что субботу, воскресенье и понедельник все закрыто и ничего нельзя было узнать о Мексиках, а без Мексик я писать не решался. Пароход мой, к сожалению, идет только 21. (Это самый ближайший.) Завтра беру билет «Espagne Transatlantic» 20 000 тонн. Хороший дядя, хотя и только в две трубы. Дорого. Стараюсь ничего не тратить и жить нашей газетой, куда помещаюсь по 2 фр. строка.

Не пишу тебе, что мне ужасно скучно, только чтоб ты на меня — хандру — не ругалась.

Выставка¹ — скучнейшее и никчемнейшее место. Безвкусица, которую даже нельзя себе представить.

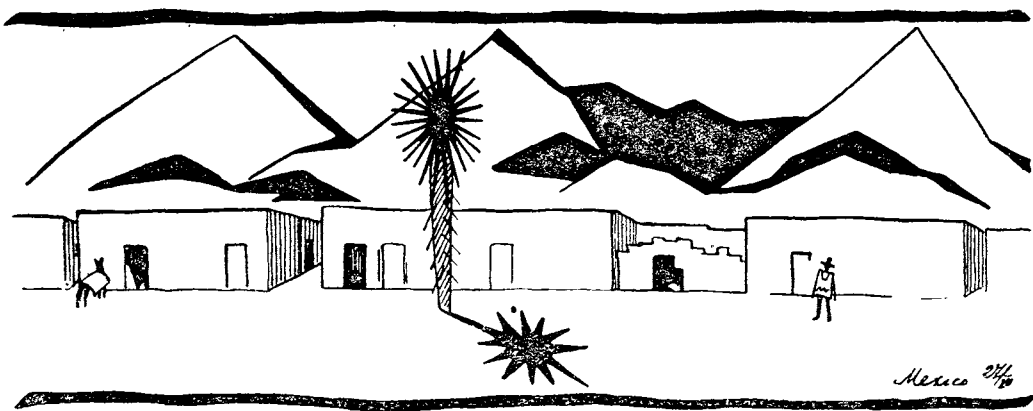
Так наз. «Париж весной» ничего не стоит, так как ничего не цветет, и только везде чинят улицы. В первый вечер поехали, а теперь я больше никуда не выхожу, сплю 2 раза в сутки, ем двойной завтрак и моюсь, вот и все.

Завтра начну писать для «Лефа». Ни с одним старым знакомым не встречаюсь, а из новых лучше всех «Бузу», собак Эльзиных знакомых.

Ему говорят «умри!» и он ложится вверх ногами, говорят «ешь!» и тогда с'н жрет все, что угодно, а когда его везут на цепочке, он так рвется, что хозяева должны бежать, а он идет на одних задних лапках. Он белый с одним черным ухом — фокс, но с длинной шерстью и с очень длинным носом. Глуп, как пробка, но посередине улицы ни за что не бегают, а только по тротуарам.

Долетел хорошо. Напротив немец тошил, но не на меня, а на Ковно. Летчик Шибанов замечательный. Оказывается, все немецкие директора сами с ним летать стараются. На каждой границе приседал на хвост, при встрече с

¹ Всемирная художественно-промышленная выставка в Париже в 1925 году. Маяковский получил на этой выставке серебряную медаль за рекламные плакаты.



Мексиканские рисунки В. Маяковского

другими авиаторами махал крылышками, а в Кенигсберге подкатил на аэроплане к самым дверям таможи, аж все перепугались, а у него оказывается первый приз за точность спуска.

Если будешь лететь, то только с ним.

Мы с ним потом весь вечер толкались по Кенигсбергу».

Следующее письмо из Парижа — от 11 июня. Маяковский писал:

«19-го я уже выезжаю. Пароход «Эспань» отходит из Сан-Назера (в 8 часов от Парижа) и будет ползти в Мексику целых 16 дней! Значит письмо с ответом будет идти через Париж от тебя (если точно попадет к пароходу) 40 дней! Это и есть чортовы куличики. Даже целые куличи!

Я живу здесь еще скучнее, чем всегда. Выставка осточертела, в особенности разговоры вокруг нее. Каждый хочет выставить свой шедевр показистей и напрягает все свое знание французского языка, чтоб сказать о себе пару теплых слов.

Сегодня получили вернувшегося из Москвы Морана — гнусность он, повидимому, изрядная¹.

Не был ни в одном театре. Видел только раз в кино Чаплина. Жара несносная — единственное место Буа², и то только к вечеру.

¹ Маяковский оказался прав: Поль Моран впоследствии выпустил пасквильную книгу о СССР — «Я жгу Москву».

² Буа де Булонь — парк в Париже.

Сегодня иду в Полпредство — читаю вечером стихи.

Все усилия приложу, чтоб об'ездить все, что себе положил, и все-таки вернуться к тебе не позже осени».

В тот день, когда Маяковский отправил это последнее письмо, когда все уже было готово к от'езду и билет был в кармане, — случай чуть было не сорвал всю поездку. У Маяковского украли бумажник со всеми деньгами и документами.

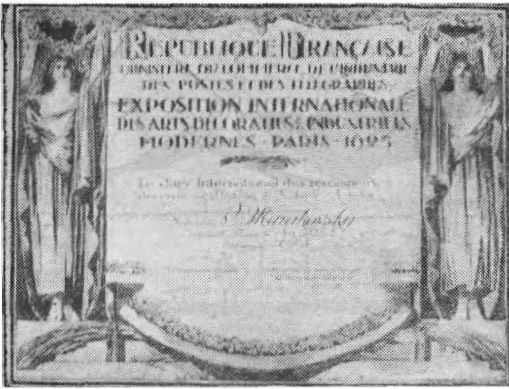
Он обратился за помощью в советские организации во Франции, и по его просьбе 13 июня торгпредство СССР во Франции обратилось в Госиздат за согласием выдать Маяковскому за счет Госиздата аванс по договору на полное собрание сочинений. (Договор этот подписан был в Москве незадолго до от'езда Маяковского за границу.)

Одновременно Маяковский телеграфировал в Москву Л. Ю. Брик:

«Не беспокойся и не шли мне денег. Только торопи Госиздат. Билет не украли».

Подробнее об этом происшествии Маяковский рассказывает в письме, написанном накануне от'езда, 18 июня 1925 г.:

«Завтра утром 8—40 выезжаю Сант-Назер (Бретань) и уже через 12 часов буду ночевать на пароходе. 21-го отпываю! Спасибо большое за Гиз и извини за хлопоты. В прошлую среду (как раз, когда я тебе послал прошлое письмо) меня обокрали, как тебе извест-



Диплом, полученный В. Маяковским на Парижской выставке 1925 г.

но, до копейки (оставили 3 франка — 30 коп.!). Вор снял номер против меня в «Истрие», и когда я на двадцать секунд вышел по делам моего живота, он с необычайной талантливостью вытащил у меня все деньги и бумажники (с твоей карточкой, со всеми бумагами!) и скрылся из номера в неизвестном направлении. Все мои заявления не привели ни к чему, только по приметам сказали, что это очень известный по этим делам вор. Денег по молодости лет не чересчур жалко. Но мысль, что мое путешествие прекратится, и я опять дураком приеду домой, меня совершенно бесила. Сейчас все устроилось с помощью твоей и Гиза».

12

21 июня 1925 г. на пароходе «Эспань» Маяковский отплыл в Мексику.

На следующий день — Испания. Пароход стоял несколько часов в Сантандере, и Маяковский сходил на берег. Здесь было написано первое стихотворение этой поездки — «Испания». В записной книжке оно датировано: «22/VI — Santander».

Отсюда было отправлено и первое письмо с дороги:

«Так как показалась Испания, пользуюсь случаем известить Вас, что я ее благополучно сейчас огибаю и даже захожу в какой-то маленький портик, смотри на карте Santander.

Мой «Эспань» пароходик ничего. Русских не обнаружено пока. Едут

мужчины в подтяжках и с поясом сразу (они испанцы) и какие-то женщины в огромных серьгах (оне испанки).

Бегают две коротких собачки японские, но рыженькие, обе одинаковые».

Испания была последней европейской землей на пути Маяковского в Америку. Оторвавшись от испанского берега, «Эспань» пошел пересекать Атлантический океан.

«Океан — дело воображения, — писал потом Маяковский в очерках «Мое открытие Америки». — И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан. Спокойный океан скучен. 18 дней мы ползем, как муха по зеркалу. Хорошо поставленное зрелище было только один раз; уже на обратном пути из Нью-Йорка в Гавр. Сплошной ливень вспенил белый океан, белым заштриховал небо, сшил белыми нитками небо и воду. Потом была радуга. Радуга отразилась, замкнулась в океане, — и мы, как циркачи, бросались в радужный обруч. Потом — опять пловучие губки, летучие рыбки, летучие рыбки и опять пловучие губки Саргассова моря, а в редкие торжественные случаи — фонтаны китов. И все время надоедающая (даже до тошноты) вода и вода».

Второе письмо с парохода было написано 3 июля:

«Сейчас подходим к острову Кубе — порт Гаванна (которая сигары), будем стоять день-два.

Жаба несносная!

Сейчас как раз прем через тропик.

Самой Козероги (в честь которой назван этот тропик) впрочем я пока еще не видел.

Направо начинает выявляться первая настоящая земля Флорида. (Если не считать мелочь вроде Азорских островов.)

Приходится писать стихи о Христо-

форе Колумбе, что очень трудно, так как за неимением одесситов трудно узнать, как уменьшительное от Христофор. А рифмовать Колумба (и без того трудного) наудачу на тропиках дело героическое.

Нельзя сказать, чтоб на пароходе мне было очень весело. 12 дней воды это хорошо для рыб и для профессионалов открывателей, а для сухопутных этого много.

Разговаривать по-французски и по-испански я не выучился, но зато выработал выразительность лица, т. к. об'ясняюсь мимикой.

Много работаю».

Есть еще одно письмо, датированное тем же числом:

«Я бросил письмо днем в ящик, а теперь вечер, и я по тебе страшно, страшно, опять и уже соскучился. Ходил по верхней палубе, где уже одни машины и нет народу, и вдруг мне навстречу невиданная до сих пор серенькая и очень молоденькая кошка.

Я к ней поласкать, а она от меня убежала за лодки...

Тебе кланяются две желтенькие японские собачки и одна испанская левретка. Они всё хорошо понимают и говорят со мной по-русски.

Мне звонят к обеду. Ужасно скушно итти к обеду...».

На пароходе Маяковский много работал. Путь из Европы в Америку (21 июня — 8 июля) отмечен шестью замечательными стихотворениями: 22 июня — «Испания», 26 июня — «6 монахинь», между 26 июня и 3 июля — «Атлантический океан», 3 июля — «Мелкая философия на глубоких местах», 5 июля — «Блэк энд уайт», 7 июля — «Христофор Колумб».

Остановка в Гаванне — сутки, и 8 или 9 июля Маяковский приехал в Вера-Круц.

«Нас прикрутили канатами. Сотни маленьких людей в тричетвертиаршинных шляпах кричали, вытигивали до второй палубы руки с носильщицкими номерами, дрались друг с другом из-за чемоданов и уходили, подламываясь под огромной клажей. Возвращались,



В. Маяковский на бое быков в Мехико-сити

вытирали лицо и орали и кланчили снова.

— Где же индейцы?—спросил я соседа.

— Это индейцы, — сказал сосед.

Я лет до двенадцати бредил индейцами по Куперу и Майн-Риду. И вот стою, оторопев, как будто перед моими глазами павлиное передельывают в куриц.

Но я был хорошо вознагражден за первое разочарование. Сейчас же за таможней пошла непонятная, своя, изумляющая жизнь.

Дорога от Вера-Круц до Мехико-сити, говорят, самая красивая в мире. На высоту 3 000 метров вздымается она по обрывам промежду скал и сквозь тропические леса. Не знаю. Не видал. Но и проходящая мимо вагона тропическая ночь необыкновенна...

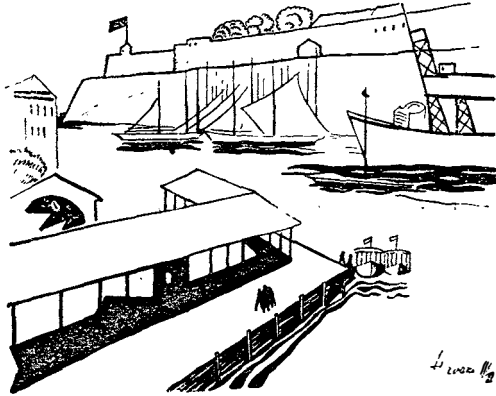
Я встал рано. Вышел на площадку.

Тропики

Вл Маяковский

(Дорога—Вера-Круц—Мехико-Сити)

Смотрю
вот это—
тропики
Всю жизнь
вдыхаю наново я
А поезд
прет горопкий
Сквозь пальмы,
сквозь банановые
Их силуэты-веники
Встают рисунком тошненьким
Не то они—священники,
Не то они—художники
Аж сам
не веришь факту
Из всей бузы и вара
Истает
растенье—кактус
Грубой от самовара
А птички в этой печке!
Красивей всякой меры
По смыслу—
воробейчики
А видом
шантеклеры.
Но прежде, чем
осмыслил лес,
и бред.



и жар,
и день я—

И день
и лес исчез
Без вечера
и без
предупрежденья.
Где горизонта борода?
Вся жизнь
потеряны
Сказки,
которая звезда.
И где
глаза пантерины?
Не счит бы
лучший назначей
Звезды
тропических ночей.
Настолько
ночи августа
Звездой забиты
нагусто.
Смотрю:
ни агн, ни тропик
Всю жизнь
вдыхаю наново я
А поезд прет
сквозь тропики
Сквозь запахи
банановые.

Стихотворение «Тропики» с рисунком В. Маяковского.

Все было наоборот.

Такой земли я не видал и не думал, что такие земли бывают.

На фоне красного восхода, сами окрапленные красным, стояли кактусы. Одни кактусы. Огромными ушами в бородавках вслушивался нопаль—любимый деликатес ослов. Длинными кухонными ножами, начинающимися из одного места, выростал могоей. Его перегоняют в полупиво-полуводку—«пульке», спавая голодных индейцев. А за нопалем и могоем, в пять человеческих ростов, еще какой-то сросшийся трубами, как орган консерватории, только темнозеленый, в иголках и шишках.

По такой дороге я в'ехал в Мехико-сити».

(«Мое открытие Америки».)

13

В телеграмме, отправленной, повидимому, сейчас же по приезде (получена в Москве 10 июля), Маяковский сообщал: «Здоров приехал Адрес 37 Rhin Mexico-City».

Единственное письмо из Мексики было написано около 15 июля:

«Я в Мексике уже неделю. Жил день в гостинице, а потом переехал в Полпредство. Во-первых, это приятней, потому что и дом хороший и от других полпредств отличается чрезвычайной малолюдностью: 4 человека, вот и все служащие. Во-вторых, это удобно, так как по-испански я ни слова и все еще путаю — грасиас — спасибо и —эскьюзада — что уже клзвет.

В-третьих, и денег нет, а здесь складчина по два песо (2 руб.) в день, что при мексиканской дороговизне — сказочно.

О Мексике:

Во-первых, конечно, все это отличается от других заграниц главным образом всякой пальмой и кактусом, но это произрастает в надлежащем виде только на юге, за Вера-Круц. Город же Мехико тяжел и неприятен, грязен и безмерно скучен.

Я попал не в сезон (сезон — зима), здесь полдня регулярно дожди, ночью холода и очень паршивый климат, так

как это 2 400 метров над уровнем моря, поэтому ужасно трудно (первые две недели, говорят) дышать и сердцебиение. Что уже совсем плохо.

Я б здесь не задержался более двух недель. Но, во-первых, я связался с линией «Трансатлантик» на пароход (а это при заказе обратного билета 20 проц. скидки), а, во-вторых, бомбардирую телеграммами о визе в Соединенные Штаты. Если же из Соединенных Штатов [ничего] не выйдет, выеду в Москву около 15 августа и около 15—20 сентября буду в Москве. Через несколько дней с секретарем посольства едем внутрь Мексики—в тропические леса, плохо только, что там желтая лихорадка и придется, очевидно, ограничиться только поездом.

Когда ты получишь это письмо, меня уже в Мехико не будет, очевидно, т. к. я после поездки вглубь поеду прямо на пароход.

Поэтому обязательно все, все мне напиши на парижское полпредство, к 1 сентября, чтоб я по приезде уже застал твое письмо.

Шлю стихи и беспокою тебя страшными просьбами:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1) «Открытие Америки» дай Лефу. | |
| 2) «Испанию» дай «Огоньку». | |
| 3) «Менашек» попро- | } Или |
| буй «Известиям». | |
| 4) «Атлантический оке- | } наоборот |
| ан»—Прожектору. | |
| 5) Все вместе предложи Радио Росте. | |

С Лефа, разумеется, денег не надо брать. С остальных по 1 р. строка, а с Радио Роста по 2-3 червонца за стих.

Как видно из письма, Маяковский не очень надеялся получить визу в Соединенные Штаты и собирался к 1 сентября быть в Париже.

В бумагах Маяковского сохранилось письмо французского посла в Мексике от 26 июня 1925 года полпреду СССР в Мексике, из которого можно установить, что Маяковский обращался во французское посольство с просьбой визировать его паспорт для возвращения во Францию.

Повидимому, был такой момент, ко-

гда Маяковский совсем было собрался ехать обратно.

Но вышло иначе: визу в Соединенные Штаты он получил и пробыл в Мексике меньше, чем собирался. Поэтому, вероятно, не состоялась и поездка в тропические леса, о которой говорится в письме.

За три недели жизни в Мехико-сити Маяковский посвятил Мексике два стихотворения («Мексика», «Богомольное») и большую главу в «Моем открытии Америки».

14

В записной книжке Маяковского, где помещены все черновики американских стихов, сохранились любопытные следы приготовлений поэта к везду в страну, которая так долго не хотела впускать его к себе. В стихотворении «Шесть монахинь» была тщательно зачеркнута, так, чтобы нельзя было прочитать, строка:

«радуйся, распятый Иисусе».

В стихотворении «Блэк энд уайт» вымараны заключительные строки: «надо обращаться в Коминтерн, в Москву», в стихотворении «Мексика» — имена мексиканских коммунистов и «багровое знамя». И, наконец, в стихотворении о человеке, открывшем Новый Свет, таким же способом была скрыта вторая половина последней строфы:

Ты балда, Колумб, скажу по чести,
что касается меня, то я бы лично —
я б Америку закрыл, слегка почистил,
а потом опять открыл — вторично.

Кто их знает — пограничных жандармов — могут обидеться и за Иисуса Христа, и за весь Новый Свет.

И Маяковский был прав в своих опасениях. Когда он 27 июля прибыл в Лоредо (пограничный город Мексики и США) и явился на глаза американского полицейского, — выяснилось, что виза, выданная в Мехико-сити, недостаточна.

«Полицейский всунул меня и вещи в автомобиль. Мы подехали, мы вошли в дом, в котором под звездным знаменем сидел человек без пиджака и жилета.

ВЛ. МАЯКОВСКИЙ**ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ**

Обложка книги В. Маяковского,
вышедшей в Америке в 1925 г.

За человеком были другие комнаты с решетками. В одной поместили меня и вещи.

Я попробовал выйти, меня предупредительными лапками загнали обратно.

Невдалеке засвистывал мой нью-йоркский поезд.

Сижу четыре часа.

Пришли и справились, на каком языке буду из'ясняться.

Из застенчивости (неловко не знать ни одного языка) я назвал французский.

Меня ввели в комнату.

Четыре грозных дяди и француз-переводчик.

Мне ведомы простые французские разговоры о чае и булках, но из фразы, сказанной мне французом, я не понял ни черта и только судорожно ухватился за последнее слово, стараясь вникнуть интуитивно в скрытый смысл.

Пока я вникал, француз догадался, что я ничего не понимаю, американцы

замахали руками и увели меня обратно.

Сидя еще два часа, я нашел в словаре последнее слово французского.

Оно оказалось:

— Клятва.

Клясться по-французски я не умел и поэтому ждал, пока найдут русского.

Через два часа пришел француз и возбужденно утешал меня:

— Русского нашли. Бон гарсон.

Те же дяди. Переводчик — худошавый флегматичный еврей, владелец мебельного магазина.

— Мне надо клясться, — робко заикнулся я, чтобы начать разговор.

Переводчик равнодушно махнул рукой:

— Вы же скажете правду, если не хотите врать, а если же вы хотите врать, так вы же все равно не скажете правду.

Взгляд резонный.

Я начал отвечать на сотни анкетных вопросов: девичья фамилия матери, происхождение дедушки, адрес гимназии и т. п. Совершенно позабытые вещи!

Переводчик оказался влиятельным человеком, а, дорвавшись до русского языка, я, разумеется, понравился переводчику.

Короче: меня впустили в страну на 6 месяцев как туриста под залог в 500 долларов».

Разрешение иммиграционного отдела департамента труда, по которому Маяковский в'ехал в Соединенные Штаты, гласило:

«Маяковский Владимир, 30 лет, мужчина, художник, ростом 6 футов, крепкой комплекции, обладающий коричневыми волосами и карими глазами, русский по национальности, принадлежащий к русской расе (?!), родившийся в Багдаде (Россия), проживающий постоянно в Москве (Россия), грамотный, говорящий на русском и французском языках, внесший залог 500 долларов и имеющий при себе 637 долларов для жизни на 6 месяцев, — может 27 июля 1925 года в'ехать в U. S. A.»

От Лоредо до Нью-Йорка четверо суток курьерским. 31 июля Маяковский приехал в Нью-Йорк.

15

Первая телеграмма из Нью-Йорка была послана 31 июля:

«Целую из Нью-Йорка. Начале августа пришлю стихи. Адрес три пять Авеню».

Следующая телеграмма от 2 августа сообщала, что «пока подробностей нет только приехал».

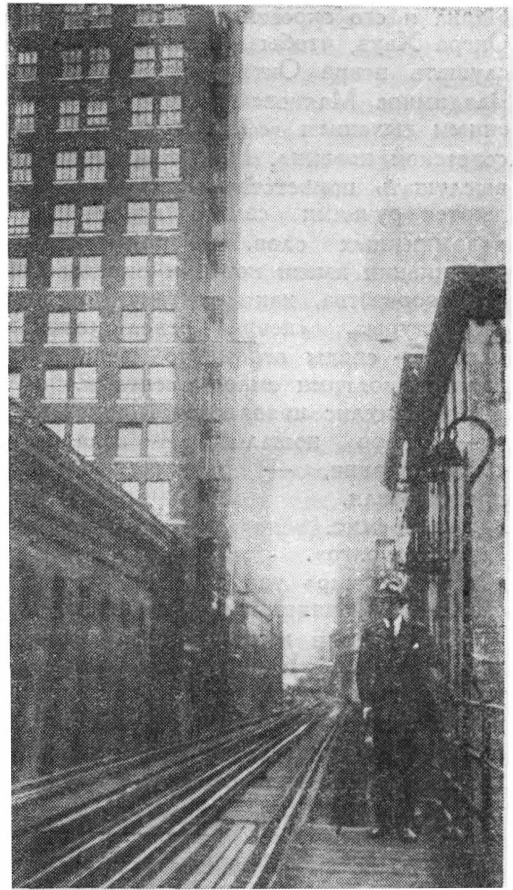
В середине августа начались литературные выступления Маяковского в Америке.

Это, пожалуй, самая интересная страница истории путешествий Маяковского и, в частности, его жизни в Америке, но сам он, к сожалению, почти ничего об этом не пишет в «Моем открытии Америки». Все, что мы знаем о выступлениях Маяковского перед американцами, мы знаем из газет. Правда, это не мало — американские газеты давали довольно подробные отчеты о всех вечерах Маяковского. Маяковский привез с собой вырезки и в 1930 году для своей выставки «20 лет работы» составил из них альбом¹.

Первое выступление Маяковского в Нью-Йорке состоялось 14 августа 1925 года в огромном помещении Central Opera House, вмещающем около двух тысяч человек.

В этот день в газете «Новый мир» — органе русской секции рабочей партии Америки — приезде и выступлению Маяковского отведена была целая страница. Приветствие редакции «Нового мира» гласило: «Редакция «Нового мира», идущего по стопам нашего общего великого учителя Ленина и носящего в русские массы Америки новые слова и новые песни, приветствует Вас, товарищ Маяковский, а в Вашем лице всех пролетарских писателей и поэтов СССР».

На странице были напечатаны несколько статей о Маяковском, отзыв В. И. Ленина о стихотворении Маяковского «Прозаседавшиеся», стихотворения Маяковского «Испания», «Наш марш» и отрывок из поэмы «Влади-



В. Маяковский в Нью-Йорке

мир Ильич Ленин» под заглавием «Партия».

Другая русская газета, издающаяся в Нью-Йорке, «Русский голос», также приветствовала приезд Маяковского (в номере от 14 августа): «В его поэзии, прежде всего в его ритме, — весь пульс современной России, от беспорядочных первых раскатов революционного грома до порывов и лихорадочности нового строительства. Маяковский виден весь. Он — живая программа, живой плакат СССРовского сегодня».

Обе эти газеты напечатали подробные отчеты о первом вечере Маяковского в Нью-Йорке. «Русский голос» писал:

«Бурным потоком прибывает революционный пролетариат города Нью-

¹ Сейчас альбом этот хранится в Государственном Литературном музее.

Йорка и его окрестностей в Централ Опера Хауз, чтобы посмотреть — послушать певца Октябрьской революции Владимира Маяковского. Ждут с затаенным дыханием «богатыря новейшей советской поэзии». Но... прежде надо выслушать приветственные речи. Они льются ручьями самых красивейших, возвышенных слов. И при каждом упоминании имени поэта и определении его творчества, как «титана русской литературы», «певца революционных масс» — своды огромного зала оглашаются долгими аплодисментами.

Из-за кулис появляется Маяковский. — Добро пожаловать, Владимир Владимирович, — раздается голос председателя.

Зал гремит.

Долго-долго.

«Новый мир» так описывал встречу, оказанную Маяковскому ньюйоркцами:

«Он стоит и ждет, чтобы смолкли аплодисменты. Как будто начинают утихать, но вдруг совершенно неожиданно новый взрыв рукоплесканий, и вся публика вскакивает со своих мест. В воздух летят шляпы, машут руками, платками. Не видать конца овацциям.

Зал замирает. Воцаряется полная тишина. И, словно раскаты грома, раздается голос Маяковского.

Так гремел голос пролетариата в октябре 1917 г.

В громовых раскатах его голоса чудилась та великая страна, которая породила одного большого и много-много малых Маяковских, значение которых растет вместе с ростом величия единственной в мире пролетарской социалистической республики.

Приезд и выступления Маяковского отмечали и некоторые буржуазные газеты. «Нью-Йорк таймс» писала — не очень вразумительно но с явным желанием похвалить (Маяковский говорил в таких случаях: «Уважают все-таки...»):

«Маяковский сочетает в себе все противоречивые черты, придающие русским сложность и очарование: мятежный романтизм... научную фантастику... дерзость...

Он взял лучшее в русской революции и сделал символом веры, могущества и отваги воинственный крик освобожденного человека».

В литературном приложении к «Нью-Йорк геральд трибюн» было написано:

«Сила его в том, что он берет для своих стихов животрепещущие злободневные темы, но умеет придать им общее значение. Его гениальность вне сомнения. Она заложена в нем».

В течение августа—сентября в ньюйоркских газетах продолжали писать о Маяковском, сообщали о его намерениях об'ехать города США с лекциями и стихами, печатали статьи и корреспонденции читателей о Маяковском.

«Русский голос» в статье «Человек с того света» в номере от 19 августа писал:

«Чувствуется вера, что там, на том русском свете, действительно работа кипит, раз эта действительность создает Маяковских. Каждое его слово проникнуто любовью к родной стране, к той истине гигантской работе, которая там сделана и которая там производится».

Второе выступление Маяковского в Нью-Йорке состоялось 10 сентября 1925 г. в том же помещении Централ Опера Хауз. «Русский голос» в отчете о вечере писал:

«Отрывок из поэмы «Ленин» привлекал всеобщее внимание. Поэт говорил о смерти Ленина, о роковом известии, когда не стало пролетарского вождя, и о похоронах. Двухтысячная масса была в буквальном смысле слова загнипнотизирована.

В заключение поэт отвечает на вопросы по запискам. Эти вопросы носили преимущественно политический, а не литературный характер».

Последнее замечание чрезвычайно характерно для выступлений Маяковского за границей. Указания на это встречаются очень часто в отчетах о вечерах Маяковского в разных странах.

Когда состоялось третье выступление Маяковского в Нью-Йорке, мы не установили. В заметке, напечатанной в «Русском голосе» в двадцатых числах сентября, сообщалось, что «Маяков-

ский выступил 3 раза в Нью-Йорке и им намечены выступления — в Биконе 26 сентября, 29 сентября в Детройте, 2 октября в Чикаго и 5 октября в Филадельфии».

В Детройте — автомобильной столице США — Маяковский выступил два раза. 5 октября был вечер Маяковского в Филадельфии, 17 октября — в Питтсбурге.

В Чикаго, промышленном центре страны, где издается орган ЦК компартии США «Дейли уоркер» и находится центральный комитет партии, Маяковский выступил два раза — 4 и 20 октября. «Дейли уоркер» отметил приезд Маяковского в Чикаго, напечатал на страницах газеты «Наш марш» и приветствие Маяковскому:

«Из далекой красной России, сквозь кордоны лжи и клеветы, является к нам посланец из нового мира, строящегося под руководством Компартии в Союзе Советских Социалистических Республик.

Товарищ Вл. Маяковский приезжает сегодня в Чикаго.

Умственные банкроты, социал-лакеи буржуазии, все враги революции объединились против Советского Союза. Все они заявляют, что революция принесла только разрушение и ничего нового не создает. Но, несмотря на их утверждения, перед нашими глазами вырастает новый мир. Не только в материальных улучшениях, но также в науке, литературе и поэзии новое создается, а старое исчезает. Культурный уровень масс подымается. Появляются новые ученые, художники, писатели и поэты. Товарищ Маяковский — один из этих новых творцов. Он — певец масс, он — певец революции.

Добро пожаловать в наш город, товарищ Маяковский!».

Первый вечер Маяковского в Чикаго прошел с огромным успехом. «Дейли уоркер» отмечала этот успех в таких выражениях:

«Одно из самых бурных собраний, бывших когда-либо в русской колонии в Чикаго, произошло в пятницу вечером 4 октября, когда 1 500 человек набилось в Термилл-Холл, чтобы по-

слушать знаменитого русского поэта Владимира Маяковского. Перед концом собрания присутствующие единогласно постановили пригласить товарища Маяковского снова посетить Чикаго, прежде чем он уедет из нашей страны. Собрание было открыто «Интернационалом», исполненным фрейгетским певческим обществом, и, после небольшого вступительного слова председателя, выступил Маяковский. С начала и до самого конца он держал аудиторию под своим обаянием.

Публика едва не сорвала крышу криками восторга от его стихов, посвященных Америке: «Открытие Америки», «Барышня и Вульворт», «Блэк энд уайт». Пятьсот экземпляров его стихов были распроданы на месте».

Программа второго вечера Маяковского в Чикаго гласила:

«Все новое. III часть поэмы «Ленин». II часть поэмы «150 000 000». Стихи об СССР и U. S. A. Маяковский отвечает на записки».

Разумеется, среди массы слушателей, дружелюбно и восторженно настроенных по отношению к СССР и приветствовавших в лице Маяковского великого революционного поэта великой пролетарской державы, находились и такие, кто ненавидел Советскую страну. Это были представители тоненькой белоэмигрантской прослойки русских колоний Нью-Йорка, Чикаго и Детройта.

Какой-то белогвардеец прислал на вечере Маяковскому записку: «А правда, что вы по приказу правительства пишете о баранах?» (речь шла об агитке Маяковского «Ткачи и пряжи, пора нам перестать верить заграничным баранам»).

Маяковский прочел записку вслух и ответил:

— Лучше по приказу умного правительства писать о баранах, чем по приказу баранов — о глупом правительстве.

Этих людишек возмущала в Маяковском его яркая революционность, им ненавистен был советский патриотизм великого революционного поэта.

Все выступления Маяковского в Соединенных Штатах были организованы газетами «Новый мир» и «Фрайгайт» — органами русской и еврейской секций рабочей партии Америки.

В бумагах Маяковского сохранилось письмо к нему центрального бюро русской секции рабочей партии Америки (Workers party of America) от 26 октября 1925 г., специально отмечающее это обстоятельство:

«Центральное бюро РСРПА считает своим долгом указать, что тов. Маяковский, находясь в Соединенных Штатах, предоставил организацию всех своих выступлений «Новому миру» (коммунистическому органу на русском языке в Америке), и 50 проц. от его выступлений шли в пользу газеты «Новый мир» и отчасти в пользу еврейской коммунистической газеты «Фрайгайт».

16

«Я мог ездить только туда, — рассказывал впоследствии Маяковский, — где больше русские и, конечно, рабочие колонии».

Но этих колоний в Америке было не так уж мало, и Маяковский в действительности не мог побывать везде, где им интересовались, хотели видеть и послушать знаменитого советского поэта. Известно, например, что этого очень желала русская колония Сан-Франциско; товарищи, кажется, даже собрали деньги и послали «Новому миру», — и все-таки Маяковский не сумел побывать на другом конце Америки.

Любопытной иллюстрацией к тому, какой интерес вызывали выступления Маяковского в Америке, может послужить письмо одной неизвестной женщины, адресованное в редакцию «Русского голоса»:

«Brooklin, 15/X—25 г.

Уважаемый г-н редактор!

Прошу ответить в «Русском голосе», почему это организаторы лекций Вл. Маяковского никак не устроят таковой в Бронзвиле, неужели они не знают, что

и здесь немало выходцев из России и очень интересуются Вл. Маяковским, но все же потратить каких-нибудь 5 часов (вместе с поездкой) никак не могут; в то время как на самую лекцию охотно пошли бы, если бы она была в Бронзвиле или Ист-Нью-Йорке. Я все жду, авось, появится записка о лекции в нашем районе, но нет. Как видно, г-да организаторы думают, что все сосредоточено вокруг 110 и близлежащих возле улиц. Не хотят считаться с тем, что у некоторых малые дети и потратить лишнее время на поездку не могут, а уж для лекции урвали бы пару часов, если бы было поближе. Как видно, г-да организаторы лекций живут там же.

А это уж немного эгоистично.

Мать 5-х малых детей.

А таких, как я, много».

Телеграммы Маяковского из Америки почти ничего не прибавляют к тому, что мы знаем о его выступлениях и поездках из газет и из очерков.

В частности, по этим телеграммам нет возможности точно установить, когда Маяковский оставил мысль об'ехать вокруг света. В начале сентября в телеграммах идет речь уже о том, чтобы после Америки ехать в Италию, и начаты новые хлопоты о визах.

6 сентября Маяковский телеграфировал:

«Десятого начинаю лекции Америки. Если месяц не устрою все около десятого октября еду домой».

25 сентября:

«Около пятнадцатого еду обратно. Если заработаю поеду Италию. Иначе придется прямо ехать Москву печатать написанное. Двадцать девятого еду лекцией Чикаго».

Последние телеграммы из Америки говорят уже о нетерпении Маяковского, о желании поскорее вернуться домой. 19 октября он телеграфировал:

«Очень скучаю. Две три недели выяснят визу, день. Скорее всего еду домой. Здесь отвратительно».

Через три дня:

«Еду Европу не позднее третьего. Страшно соскучился».

А еще через два дня он сообщал, что выезжает в Гавр 28-го числа.

28 октября 1925 г. на пароходе «Ростамбо» Маяковский выехал из Нью-Йорка в Европу. 8 ноября приехал в Париж. 14 ноября был в Берлине и оттуда в двадцатых числах ноября через Ригу вернулся в Москву.

«Вокруг света» не вышло, — говорит его автобиография. — Во-первых, обокрали в Париже, во-вторых, после полугода езды пулей бросился в СССР. Даже в Сан-Франциско (звали с лекцией) не поехал».

17

Поездка в Америку была самой значительной поездкой Маяковского за границу. Она оставила самое большое впечатление. С ней связано наибольшее количество стихов и путевых очерков о загранице — целый сборник стихов «Испания. Океан. Гаванна. Мексика. Америка» и книга очерков «Мое открытие Америки».

Три месяца Маяковский прожил в стране самой высокой капиталистической цивилизации — в Соединенных Штатах и три недели — в полукOLONиальной Мексике, почти открыто управляемой по директивам Волстрит — улицы банков в Нью-Йорке.

Он видел много невиданного, необычайного, яркого и красочного. И написал обо всем этом. Но ни ослепительная экзотика, ни передовая могущественная техника Америки не заслонили от него первозданного варварства социальных отношений буржуазного общества. За величественными каменными фасадами небоскребов самой передовой капиталистической страны он увидел своих исконных врагов — старую жизнь и старый быт во всей их знакомой дооктябрьской отвратительности.

Я смотрю,
и злость меня берет
на укравшихся
за каменный фасад.
Я стремился
за 7 000 верст вперед,
а приехал
на 7 лет назад.

Это чувство диктует ему такие стихотворения, как «Вызов» и «Порядочный

гражданин», в которых выразились общие впечатления и общее эмоциональное отношение Маяковского ко всему, что он увидел в прославленной «стране свобод».

Горы злости
аж ноги гнут.
Даже шея вспухает зобом.
Лезет в рот,
в глаза и внутрь.
Оседая,
влезает злоба.

В другом стихотворении Маяковский говорит, обращаясь к своему далекому читателю:

Если глаз твоя
блага не видит,
пыл твой выпили
нэп и торг,
если ты
отвык ненавидеть, —
приезжай
сюда,
в Нью-Йорк.

Органическое неприятие законов капиталистического общества, отвращение ко всей системе, именуемой им — «капитал, его препохабие», — эмоционально окрашивали все впечатления Маяковского от жизни в Америке.

Но этим чувством не покрывались человеческие отношения и люди, живущие в этой стране. И то, что миллионам и миллионам людей здесь плохо, это для него не только бесспорная статистика, которую он оставлял для очерков, это была вопиющая убедительность конкретных наблюдений, это были живые примеры, идущие в стихи.

Он написал два стихотворения об индейцах, уничтожаемых капиталистической цивилизацией. Он писал о негритячке, которого мучает проблема социальной несправедливости, мучает вопрос — почему всегда

белую работу
делает белый,
черную работу —
черный.

Он пишет о девушке, сидящей в витрине универмага и мечтающей о богатом женихе с Волстрит. Он жалеет ее и пытается объяснить ей,

что русским известно другое средство,
как влезть рабочим
во все этажи
без грез,
без свадеб,
без жданий наследства.

зажирели,
спят
в своей квартирной норке,
просыпаясь
изредка
от собственных икот.

У него есть стихотворение о голодной негритянке, соблазненной долларами и получившей в придачу страшную болезнь. Он видел людей, выгребаящих мусор, — «на обедках с детьми прожняньчится»; он слышал из подвалов «хрип и кашель чашотки портняжей».

И в «Бруклинском мосте», написанном с эпическим пафосом, где «столетий геолог» в далеком будущем по косточкам уцелевшего моста восстанавливает «дни настоящие», он должен отметить то, что подчеркнул для него Маяковский:

Здесь
жизнь
была
одним — беззаботная,
другим —
голодный
протяжный вой.
Отсюда
безработные
в Гудзон
кидались
вниз головой.

Глубокая человечность этих образов и наблюдений — это был тот великий гуманизм пролетарского революционера, в котором любовь к людям в сплаве с ненавистью к врагам человечества утверждает несокрушимую справедливость социальной борьбы. Это — подтекст всех американских стихов Маяковского.

Сатирическая линия подчеркивала внутренние, бытовые черты противоречий буржуазного общества в конкретной реальности американской жизни «благополучной» эпохи Кулиджа.

Разрушено старое ходкое романтическое представление об американцах, об их предприимчивости, хладнокровном азарте, смелости, джек-лондонском отношении к деньгам.

Этих Джонов
нету в Нью-Йорке.
Мистер Джон,
жена его
и хот

И в небоскребе, взятом в разрезе, во всех его девяноста этажах, над вывесками магазинов и контор — всюду то же сонное, жирное мешанство, жалкие мечты и тупая, ничуть не романтическая корысть — «совсем дооктябрьский Елец аль Конотоп».

Маяковский не искал для стихов каких-нибудь специальных «поэтических» тем. Очень многие темы его американских стихов можно найти в его путевых очерках, где добросовестно собранный фактический материал перемежается непосредственными впечатлениями.

В этой близости, в «очерковости» большинства американских стихов Маяковского сказалась огромная реалистическая сила его поэтического искусства, чуткое и тонкое умение отобрать из массы впечатлений события и людей, как бы само собой обобщающихся и типизирующихся.

Яркая и глубокая индивидуальность его таланта защищала его от литературных реминисценций и стилизаций в духе литературы той страны, которую он посетил. Во Франции он не писал сонетов, в Мексике не писал мексиканских песен. Он не «вживался» в чужую жизнь и обстановку, не терял масштабов и зрительных образов своей страны для сравнения с новым, необычным. Чужая экзотика не делала его стихи экзотическими, чужая техника и чужой быт не делали их менее русскими, менее революционными.

Во всех странах, которые он посетил, он оставался советским поэтом, сохраняя в стихах об этих странах все великолепное своеобразие своего стиля.

И, может быть, поэтому, разбирая сегодня эти стихи, критикам и исследователям если и придется поднимать вопрос о влиянии, то, конечно, не о влиянии на Маяковского, а о влиянии передовой революционной поэзии лучшего поэта советской эпохи на зарубежных поэтов и писателей.

18.

Следующая поездка Маяковского относится к весне 1927 года. Она была подготовлена Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей. В письме ВОКС'а от 4 февраля 1927 года относительно заграничного паспорта Маяковскому было сказано:

«В. В. Маяковский делегируется Всесоюзным обществом культурной связи с заграницей в Варшаву, Прагу и Париж для прочтения докладов. Левые писательские круги как Польши, так и Чехо-Словакии приветствуют приезд тов. Маяковского и придадут ему большое значение».

В очерке «Поверх Варшавы» Маяковский упоминает, что он «приехал в Варшаву по приглашению «Блока» (левая писательская организация) и Пен-клуба («Клуб пера», имеющий разветвления по всей Европе, объединяющий маститых, положительных и признанных)».

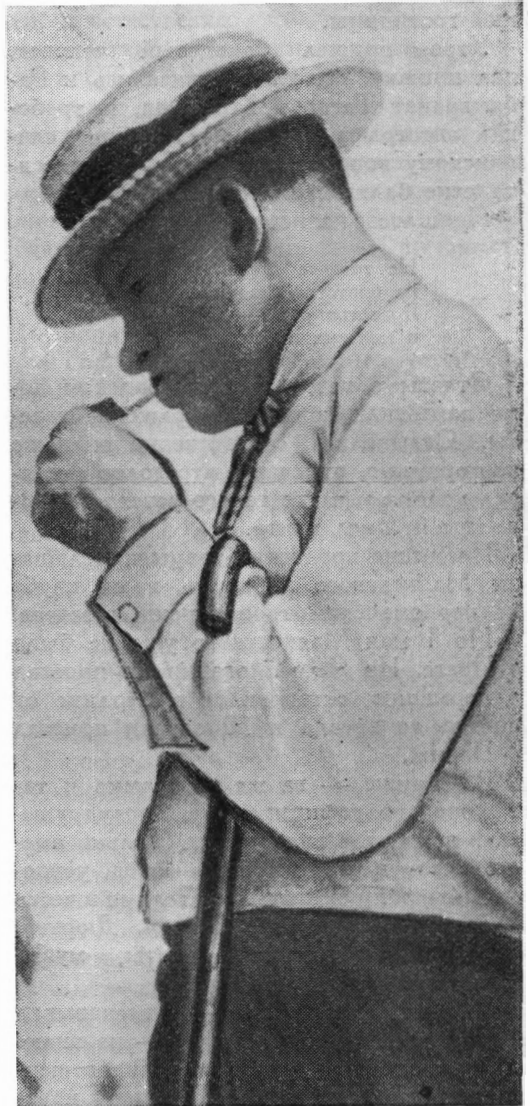
15 апреля Маяковский выехал из Москвы, остановился на день в Варшаве и 19 апреля был в Праге. «В Польше решаю не задерживаться, — писал Маяковский в очерке «Ездил я так». — Скоро польские писатели будут принимать Бальмонта. Хотя Бальмонт и написал незадолго до отъезда из СССР почтительные строки, обращенные ко мне:

...И вот ты написал блестящие страницы.
Ты между нас возник, как некий острозуб...
и т. д.,

я все же предпочел не сталкиваться в Варшаве с этим блестящим поэтом, выродившимся в злобного меланхолика. Я хотел ездить тихо, даже без острозубия».

В Праге Маяковский пробыл десять дней. Знакомился с чешскими писателями, поэтами, художниками, архитекторами. «Чай» в полпредстве с «атташе интеллектюэль» Франции, Германии, Югославии. Выступление в театре левых «Освобождение Давидло» с чтением «Нашего марша» и «Левого марша».

26 апреля состоялся большой вечер Маяковского в Виноградском народном доме. «Мест на 700, — рассказывает



В. Маяковский в Америке

Маяковский. — Были проданы все билеты, потом корешки, потом входили просто, потом просто уходили, не получив места. Было около 1 500 человек.

Я прочел доклад «10 лет 10-ти поэтов». Потом были читаны «150 000 000» в переводе проф. Матезиуса. 3-я часть — «Я и мои стихи». В перерыве подписывал книги. Штук триста. Скучная и трудная работа. Подписи — чехо-словацкая страсть. Подписывал всем —

от людей министерских до швейцара нашей гостиницы.

Утром пришел бородастый человек, дал книжку, где уже расписались и Рабиндранат Тагор и Милюков, и требовал автографа, и обязательно по славянскому вопросу, как раз — пятидесятилетие балканской войны.

Пришлось написать:

Не тратьте слова
на братство славян.
Братство рабочих —
и никаких прочих».

Отчеты о вечере в Виноградском доме поместили почти все пражские газеты. Отзывались сочувственно и даже восторженно, отмечали, что голос сотрясал колонны и что такого успеха в Праге еще не имел никто.

Пражские пролеткультовцы приглашали Маяковского побывать в их клубе на первомайском торжественном вечере.

Но 1 мая Маяковского уже не было в Праге. Из Чехо-Словакии он проехал в Германию, остановился в Берлине от поезда до поезда и 30 апреля приехал в Париж.

В Париже — та же программа и такие же полуофициальные, полудружеские встречи с писателями. Только вместо «чая» в полпредстве — обед, устроенный французскими писателями в честь Маяковского. Были Дюамель, Дюртен, Вильдрак, художники, поэты, музыканты.

— Люди хорошие, — рассказывал Маяковский. — Что пишут — не знаю. По разговорам — в меру уравновешенные, в меру независимые, в меру новаторы, в меру консерваторы.

Но все эти процедуры были довольно однообразны, и Маяковский очень быстро заскучал. В письме из Парижа домой в первых числах мая он писал:

«Жизнь моя совсем противная и надоедкая невероятно.

Я все делаю, чтобы максимально сократить сроки пребывания в этих хреновых заграницах.

Сегодня у меня большой вечер в Париже. Девятого еду в Берлин (на восьмое не было билетов). Десятого читаю в Берлине и оттуда в Москву через

Варшаву (пока не дают визы — только транзитную)».

Большой вечер в Париже, о котором говорится в письме, был устроен в кафе «Вольтер». «В углу стол, направо и налево длинные комнаты. Если будет драка, придется сразу «кор-а-кор», стоим ноздря к ноздре. Странно смотреть на потусторонние, забытые с времен «Бродячих собак» лица. Насколько, например, противен хотя бы один Георгий Иванов со своим моноклем. Набалдашник в чолке. Сначала такие Ивановы свистели. Пришлось перекрывать голосом. Стихли. Во Франции к этому не привыкли. Полицейские, в большом количестве стоявшие под окнами, радовались — сочувствовали. И даже вслух завидовали: «Эх, нам бы такой голос».

Приблизительно такой же отзыв был помещен и в парижских «Последних новостях».

Было около 1 200 человек».

Этот вечер был устроен Союзом советских студентов во Франции.

Берлин. Опять же «чай» в Обществе советско-германского сближения. «Как говорил товарищ из ВОКС'а — весь стол был усеян крупными учеными. Поэт был только один, — рассказывает Маяковский. — Поэт довольно престарелый. Подарил подписанную книгу. Из любезности открыл первое попавшееся стихотворение — и отступил в ужасе. Первая строчка, попавшаяся в глаза, была: «Птички поют» и т. д. в этом роде.

Положил книгу под чайную скатерть: когда буду еще в Берлине — возьму».

Вечер в Берлине 10 мая (о котором также упоминается в письме) состоялся в клубе торгпредства и полпредства «Красная звезда». «Были только свои, — пишет Маяковский, — товарищей 800».

19

12 или 13 мая Маяковский приехал в Варшаву.

«На вокзале меня встретили и приветствовали чиновник министерства иностранных дел и несколько писателей «Блока». «Пен-клуб», очевидно, убоявшись своего революционного приглаше-

ния, встречать не пришел, а, кажется, сидел в это время и надрывался в дебатах, что же ему теперь, собственно говоря, со мной делать. Вызвали духа да еще какого — революционного!

...Утром я перешел из крохотного номера в номер за девятнадцать злотых — для представительства. Было от чего. Я начал атаковать корреспондентами и карикатуристами и фотографиями. Понятно. Я — первый поэт, приехавший из красной Москвы.

Маяковский попал в Варшаву в разгар предвыборной политической борьбы. Поэтому «мысль о публичном выступлении пришлось оставить. Помещение было снято. Но чтение стихов могло сопровождаться столкновением комсомольцев с фашистами. Пока это ни к чему. Ограничился свиданиями и разговорами с писателями разных группировок, пригласивших меня в Варшаву».

Эти встречи и беседы были потом довольно подробно описаны Маяковским в очерках «Ездил я так» и «Поверх Варшавы», а знакомство польских писателей с Маяковским было закреплено выходом сборника избранных стихов Маяковского на польском языке. Маяковский тогда же написал к нему небольшое предисловие.

21 мая 1927 г. Маяковский выехал из Варшавы и 23 мая приехал в Москву.

В результате этой поездки были написаны три стихотворения: «Чугунные штаны», «Польша», «Славянский вопрос-то решается просто» и четыре небольших очерка: «Ездил я так», «Немного о чехе», «Наружность Варшавы» и «Поверх Варшавы».

20

Через год, в мае 1928 г., Маяковский снова собирается в Париж. Все готово к отъезду, — и заграничный паспорт, и виза, — но Маяковский заболел гриппом, пролежал почти весь май в постели, и поездка не состоялась. Паспорт и виза были просрочены.

И тут снова возникает вопрос о кругосветном путешествии. В это время Маяковский был уже тесно связан с редакцией «Комсомольской правды», очень

много работал для комсомольской печати, и естественно, что, задумав такое путешествие, он обратился за содействием в ЦК ВЛКСМ и редакцию «Комсомольской правды». В бумагах Маяковского сохранились копии нескольких писем ЦК ВЛКСМ и редакции «Комсомольской правды», адресованных в различные учреждения с просьбой помочь Маяковскому в организации путешествия.

Вот одно из этих писем, датированное 14 июня 1928 г.:

«Тов. Маяковский командировается ЦК ВЛКСМ и редакцией газеты «Комсомольская правда» в Сибирь—Японию—Аргентину — САСШ — Германию — Францию и Турцию для кругосветных корреспонденций и для освещения в газете быта и жизни молодежи.

Придавая исключительное значение этой поездке, просим оказать т. Маяковскому всемерное содействие в деле организации путешествия.

Вопрос о поездке согласован с Агитпропом ЦК ВКП(б)».

Сам Маяковский 25 июня писал в Главискусство о том же:

«Прошу вас оказать содействие в деле моей командировки (кругосветное путешествие по маршруту: Москва — Владивосток — Токио — Буэнос-Айрес — Нью-Йорк — Париж — Рим — Константинополь — Одесса) для корреспонденций и для освещения в газете «Комсомольская правда» быта и жизни молодежи и для продолжения серии моих работ о странах мира после революции и войны».

Поездка эта не состоялась. Никакой другой переписки по этому поводу в бумагах Маяковского нет. Пока трудно установить, что заставило его отказаться от этой поездки. Повидимому, это были трудности технического порядка — организовать такое большое путешествие — и, возможно, материальные затруднения (нужно было взять с собой денег на всю поездку, т.-е. на проезд и на 6 месяцев жизни за границей).

Может быть, тут сыграла известную роль и общая усталость — Маяковский не отдыхал фактически последние пять лет. Во всяком случае ясно, что мысль

о кругосветном путешествии была оставлена еще в Москве. Осенью Маяковский собирается во Францию с тем, чтобы попробовать отдохнуть где-нибудь на курорте.

Но перед отъездом Маяковскому пришлось дать небольшой принципиальный бой по вопросу о том, как советский поэт должен писать о загранице, зачем ему туда ездить и чем делиться со своим читателем. Вопрос этот возник в связи со статьей критика Д. Тальникова в августовской книжке «Красной нови» об американских стихах и очерках Маяковского. Статья была глупа, развязна и придиричива. Тальникову, видите ли, не нравилось ни то, что писал Маяковский об Америке, ни то, как он писал. «Все повествование о своем путешествии,—писал критик,—Маяковский выдерживает в свойственном ему вульгарно-развязном тоне газетчика». Стихи Маяковского — «барабан с горошком». По поводу известных строк Маяковского: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо...» — распоясавшийся Тальников писал: «Какой же это штык, с позволения сказать, и поэтическое «перо»? Просто швабра какая-то...». И дальше сравнивал с Маяковским Веру Инбер, которая, не в пример Маяковскому, «пьет из своей собственной чашечки».

Возмущенный Маяковский ответил Тальникову стихотворением, которое называлось «Галопщик по писателям», и, кроме того, предложил редакции «Комсомольской правды» устроить вечер в Красном зале МК ВКП(б) для комсомольского актива на тему, затронутую Тальниковым, и так его отделать, «чтобы у него на десять шагов сквозь полосатые штаны просвечивал исполосованный рифмами зад».

В одной из записных книжек Маяковского есть небольшой конспект речи, с которой он выступал на этом вечере 10 сентября. Эпиграфом к выступлению он взял последнюю строфу своего стихотворения 1919 года «Той стороне»:

Когда ж прорвемся сквозь заставы
и праздник будет за болью боя,
мы все украшенья расставим —
любите любое!

Конспект выглядит так:

«Вечера с заграницей приманка.
Должен огорчить.

Что же нового, из-за чего собираю?

Новое то, что новая поездка.

Так и езжайте.

Нет, уцепился за штанину Тальников.

3 года спустя рецензия.

Он все понимает, но ему не нравится.

И вот я прошу, через голову критика, прорецензировать книжку.

Нужен ли о Европе барабан?

Нужна ли швабра или отманикюрить пальчики, вырвать себе лэфовские клыки и разговаривать о Венере Милосской, попивая чай из инберовской чашечки?

Поэтами о Европе писано мало.

Иллюзии замечательной жизни, романс для грез.

«Под знойным небом Аргентины».

«В последний раз с тобой мы виделись...»

«О где же вы, мой маленький креольчик».

За ним империализм.

«Он меня оглядел через эполет,

по плечу меня с лаской удара.

Я бельгийский ему подарил пистолет

и портрет моего государя»¹.

С чем ехал?

Пришел получить у вас командировку.

Мой лозунг — одну разглазей-ка к революции лазейку.

Теперь для меня равнодушная честь,

что чудные рифмы рожу я,

мне только как бы получше уесть,

уесть покрупнее буржуя».

Последние строки — из стихотворения «Галопщик по писателям». В заключение Маяковский предложил комсомольцам подтвердить его «командировку» и дать ему наказ — о чем писать.

Комсомольцы, переполнявшие зал и, конечно, ни в какой мере не согласные с Тальниковым, шумными аплодисментами выразили свое согласие с Маяковским.

На следующий день отчет об этом вечере был помещен в «Комсомольской правде» под заголовком «Маяковский получил командировку».

¹ Цитата из Н. Гумилева.

21

Итак, в первых числах октября Маяковский выехал за границу с намерением отдохнуть где-нибудь на курорте. Правда, он обещал комсомольцам на этом вечере и редакции «Комсомольской правды» привезти стихи. Была и еще взята с собой работа.

В письмах, относящихся к этой поездке, речь идет об отдыхе и в то же время о новых стихах, пьесе и сценарии, над которыми он продолжает работать.

«К сожалению, я в Париже, который мне надоел до бесчувствия, тошноты и отвращения, — писал Маяковский в письме от 20 октября 1928 г. — Сегодня еду на пару дней в Ниццу и выберу где отдыхать — или обоснуюсь на 4 недели в Ницце или вернусь в Германию.

Без отдыха работать не могу совершенно!

Разумеется, ни дня больше двух месяцев я в этихдохлых для меня местах не останусь.

Дела пока не ладятся.

Пискатор пока что прогорел¹. Парижских ауспиций не видать, вся надежда на Малик — хочет подписать со мной договор — в зависимости от качества пьесы (усиленно дописываю)².

Из искусства могу смотреть только кино, куда и хожу ежедневно.

Художники и поэты отвратительнее скользких устриц. Протухших. Занятие это совсем выродилось.

Раньше фабриканты делали авто, чтоб покупать картины, теперь художники пишут картины, только чтоб купить авто. Авто для них что угодно, только не способ передвижения. Но способ передвижения это все-таки незаменимый».

В следующем письме, от 12 ноября 1928 г.:

«Пока сижу и раздракониваю пьесу и сценарий³. Телефонируй, пожалуйста, в «Комсомольскую правду», что стихи я пишу и с пользой и с удовольствием, но

¹ Маяковский хотел предложить театру Э. Пискатора свою новую пьесу.

² Пьеса — «Клоп». Издательство Малик подписало впоследствии с Маяковским договор на авторизованный перевод «Клопа».

³ Было написано либретто сценария «Идеал и одеяло».

многих удобств ради пошлю или навезу их слегка позднее.

Моя жизнь какая-то странная, без событий, но с многочисленными подробностями, это для письма не материал, а только можно рассказывать, перебирая чемоданы, что я и буду делать не позднее 8-го».

8 декабря Маяковский вернулся в Москву.

Вряд ли он чувствовал себя отдохнувшим. Из поездки он привез целую пьесу — феерическую комедию «Клоп» и несколько стихотворений — «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Стихотворение о проданной телятине», «Стихи о красотах архитектуры», «Парижанка», «Они и мы», «Ответ на будущие сплетни».

22

Между предпоследней и последней поездками Маяковского за границу прошло два месяца. За это время была поставлена пьеса, которую он закончил в поездке. Маяковский принимал участие в постановке в качестве ассистента режиссера. Через два дня после премьеры «Клопа» в театре Мейерхольда, 14 февраля 1929 года, Маяковский снова выехал во Францию с тем же намерением — отдохнуть. В эту последнюю поездку он пробыл в Париже около двух с половиной месяцев, некоторое время прожил в Ницце, побывал в Монте-Карло. В Париже Маяковский получил приглашение уполномоченного ВОКС'а посетить Швейцарию и выступить с лекциями и стихами. Но уполномоченный интересовался прежде всего, какими иностранными языками Маяковский владеет, и, возможно, это и послужило препятствием к осуществлению этой поездки.

2 мая Маяковский вернулся в Москву.

Последние его стихи о загранице назывались «Монте-Карло», «Заграничная штучка», «Красавицы», и, последнее из последних, идейно венчающее всю заграничную тему в творчестве Маяковского, — «О советском паспорте» — одно из замечательнейших стихотворений Ма-

яковского, в котором идея советского патриотизма нашла самое сильное и яркое выражение. Его знаменитые заключительные строки, обращенные ко всему капиталистическому миру, с каждым годом роста могущества и славы Советского Союза звучат все более и более высоким пафосом:

Читайте,
завидуйте,
я —
гражданин
Советского Союза!

23

Прошло девять лет со дня смерти Маяковского.

Советский народ словами своего вождя дал самую высокую оценку творчеству Маяковского, как «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи». Советское правительство признало его произведения государственным достоянием, подобно земле, фабрикам и заводам, лесам и недрам.

Слава Маяковского перекинулась далеко за пределы его родины. Его стихи переведены на десятки языков мира, его слово звучит везде, где угнетенные встают с оружием в руках в борьбе за новую жизнь. Испанские революционеры печатают его стихи в листовках для сражающихся на фронте. Китайские поэты читают их на митингах.

Его знают везде, как первого великого поэта эпохи построения социализма. Но особенно знают и помнят его там, в тех странах, в которых он побывал. Очевидцы вспоминают — как выглядел этот человек, как его голос громом доходил до каждого, какие это были сти-

хи, открывающие новые Америки, — и огромный Маяковский продолжает расти в памяти и сознании, и начинают уже складываться легенды.

И вот сегодня американский поэт Айсидор Шнейдер так и пишет¹:

«В Америке Маяковский — это легенда. Рассказывают, что в эпоху гражданской войны он часто выезжал на фронты и в окопах читал свои стихи. Полки, вдохновленные его строками, неудержимо бросались в бой. Он делал подписи к плакатам буквами вышиной в фут. Его плакаты о гражданской войне были смертельны для врага, как штыки, а его послевоенные стихи были по силе действия равноценны бригадам учителей или целым грузовикам медикаментов для ликвидации неграмотности или эпидемий. Громким, как аэропланный мотор, голосом он по радио читал свои стихи, и советский народ подхватывал их. За его стихами редакторы крупнейших газет гонялись, как за сенсациями, а читатели следили за ними с таким же интересом, как за ежедневными карикатурами, и с такой же серьезностью, как за передовой.

Таковы легенды о Маяковском в Америке».

Гиперболы были сродни Маяковскому. И как будто нет ничего удивительного, что ими теперь обрастает его имя. Но мы знаем, что за этими легендарными преувеличениями в жизни это был действительно огромный человек, действительно великий поэт, очень много сделавший для своего народа и для эпохи, в которую он жил.

¹ «Интернациональная литература», 1938, № 4.

Художник революции

К. МАЛАХОВ

★

Большие, чудесные люди, которых мы любим, всегда умирают неожиданно. Они настолько связаны с нашей жизнью, они так живы всегда для нас, что в первые минуты, когда получаешь известие об их смерти, этому не веришь.

Со смертью Александра Георгиевича Малышкина также было трудно примириться. Трудно было поверить в то, что смерть прервала цветение таланта, такого своеобразного и яркого.

Вся жизнь и все творчество Александра Георгиевича были искренним и страстным служением революции.

В своей автобиографии он сдержанно и скромно рассказывал о себе:

«Детство, юность провел в уезде. 1910—1916 гг. жил в Петербурге. 1917—1918 — Черноморский флот, плавание, миное траление. В 1918 г. с последним матросским эшелонам, мимо оккупационных войск вернулся в Пензу. Принимал участие в гражданской войне.

С 1919 г. — Красная армия. Оперативная работа на Восточном, Туркестанском и Южном фронтах. В 1920 г. входил в состав оперативной ячейки б-й армии, проделавшей известный маневр у Перекопа: Кременчуг — Бериславль — Каховский плацдарм — Перекоп — Симферополь.

В Таврии в 1921 г. написано «Падение Даира».

К литературе приобщен В. Л. Львовым-Рогачевским, напечатавшим в 1914 г. в «Современном мире» мой рассказ «Полевой праздник». С 1914 по 1921 г. писать рассказы было некогда».

На фронтах гражданской войны А. Г. Малышкин с оружием в руках боролся за революцию. Свое революционное горение, свою борьбу за революцию А. Г. Малышкин с огромной, все возрастающей художественной силой выразил в своих произведениях.

★

Три крупнейших произведения Александра Георгиевича Малышкина — «Падение Даира», «Севастополь», «Люди из захолустья» — яркие картины трех важнейших этапов нашей революции. Октябрь 1917 года в Черноморском флоте; заключительный этап гражданской войны, разгром последнего оплота белых интервентов, и, наконец, гигантские работы партии и народа по построению социализма, годы великого перелома, — вот темы, которым посвящены эти три произведения. С полным основанием можно сказать, что художественное слово для Малышкина было дыханием его жизни, целиком отданной революции.

А. Г. Малышкин был одним из первых советских писателей, который дал в художественных образах победоносную борьбу Красной армии. Осада и штурм последнего белогвардейского оплота наши в «Падении Даира» сильное поэтическое выражение. Это гимн в честь героических бойцов Перекопа.

Но в «Падении Даира» автор еще мало заботится о тщательной обрисовке образов отдельных участников гражданской войны.

Командарм — мозг армии, воплощение железной воли страны победить; Юзеф, у которого «една семья, една хата» — интернационал; Микешин, идущий в бой так просто и буднично, что его героизм — как бы маленькая деталь его быта бойца Красной армии, — эти и другие образы не развернуты. Они даны словно для того, чтобы при их помощи на отдельном, частном, показать тот общий огромный под'ем, который вел массы. Но революционное горение, которым эти массы были охвачены и которое испытывал сам автор, выражено в повести с яркой и музыкальной силой.

В повести противопоставлены два мира — мир наступающей зари, дневной и яркий, мир новый, и мир закатный, ночной, уходящий.

«... В серых ветрах дня Красный и Черный всадники сшиблись в вышине грудями огненноглазых, бешено вздыбленных коней. Кто кого раздавит в сумерках полей, в смертельной схватке...».

В изображении белого Даира преобладают тона обреченности и тоски. Люди в нем целиком находятся под гнетом сознания, что они принадлежат к умирающему, агонизирующему миру. Тоска и ужас обреченности — лейтмотив их переживаний.

«И вдруг тревогой колыхнуло из недр, смычки кричали режуще и тоскливо: дуновением катастрофы пронеслось через зальные, бездушно сияющие пространства. И тучный, с выпяченной челюстью, задрожав, встал в ужасе из-за дальнего столика, выкатывая мутнеющие глаза».

Влюбленная пара живет только сегодняшним днем, сегодняшним часом, потому что завтра конец.

«— Любимая моя, эта ночь — навсегда. В эту ночь — жить. Мы выпьем жизнь ярко! Ведь любить — это красиво сгореть, забыть все...».

Последние судороги тоски и похоти, ненависти и страха переживает в эту ночь белый Даир. И день встает над ним, как смерть старого мира.

Суровая и мощная музыка этого начинающегося дня звучит в изображении

Красной армии. Голодные, оборванные, но полные железной решимости, идут массы, чтобы кончить, раздавить последнее сопротивление своих вековых угнетателей.

За Красной армией стоит страна. Она требует уничтожить врага.

«... с севера, скрипя и лязгая, шли загруженные эшелоны, перекошенные от тяжести, вдавливающие рельсы в грунт, с галдежом, скандалами, песнями. С вагонов кричало написанное мелом: даешь Даир! Эшелоны шли с севера, из России, из городов: в городах были голод и стужа, топили заборами, лабазы с былым обилием стояли 'наглухо забитые, стекла выбиты и запаятинены, базары пусты и безлюдны. Но в голодных и холодных городах все-таки било ключом, кипело, живело и вот изрыгало на юг громадные эшелоны — за хлебом, за теплом, за будущим. С севера великим походом шли города в юг...».

Уже начиная с повести «Падение Даира» в творчестве Малышкина звучит тема будущего, отмечающего прошлое.

Эта воля страны, воля народа покончить с прошлым, прорваться к будущему, к счастью, к новой, радостной жизни с огромной поэтической силой выражена в сцене парада:

«Пели трубы, тысячи ног били в песок, и желто просвечивали поля — безграничные; и эти двое шли (за ними еще тысячи и тысячи безликих, обреченных); в пенье фанфар шли упоенные — на крыльях сказок о прекрасных веках — парень в дырявом шарфе, закинув голову и орлом глядя вперед; другой, опустив веки (крупные и впалые), утонув в далекие брезжущие сны...

Проходили ветераны Пензенской дивизии. Командарм знал эти израненные, окровавленные остатки.

— Спасибо, товарищи!

— Служ... ба... ре-во-лю-ции!

... И вдруг прекрасным стал вечер; или чудесным переход фанфар: будто уже нет тех, кому надо завтра умереть, будто прошли века, прошумели все бури и стерлись все письма, и в успокоительных, прекрасных временах поют



А. Г. Малышкин

чудесные песни о них, полузабытых тенях...».

Красная армия идет в бой под знаменами Коммунистического Интернационала. За Красной армией стоит вся история страны, той страны, которая в течение сотен лет отвоевывала свое право на самостоятельную жизнь, которая в гражданскую войну кровью отвоевала свое право первой вступить в социализм.

«... В сумерках истории, в полуснах лежали пустые поля, бескрайные, вогну-

тые, как чаша, подставленная из бездн заре...».

Как это? Русь, уже за шеломянем еси?.. В бескрайном курганы уплывали, как черные — на заре — шеломя: назад, в сумерки, в историю... Где-то сзади раскинулось в рассвете поле битв, еще бредящее кровью, криками, гарью...».

На рассвете, после боя, командарм выезжает в степь. В картине поля вчерашнего сражения, которое открылось взору командарма, выражено это чув-

ство истории, стоящей за плечами людей, только-что совершивших великое историческое дело.

В этой картине много сдержанной, глубокой скорби о товарищах, погибших самоотверженно, героически и безыменно. «Ветер треплет лохмотья бурки, повисшей на железных шипах в безумно-наклонном полете вперед... И тишина плывет над полем битв — дневная тишина запустенья; плывут, осыпаясь неуловимыми пластами забвенья, времена».

Красная армия вступает в Даир. Снова, как и в сцене парада, даны ряды проходящих бойцов. Но на правом фланге Микешин идет один. Юзеф убит в бою. Микешин не назван по имени. Его можно узнать по обмоткам, которые он сделал из плаката, идя в бой. «На правом фланге впереди шел рослый, с обветренным красным лицом, в новой английской шинели, с ногами, красными, как кровь; глаза, не мигая, упоенно глядели перед собой в крики толп, в пенье труб, в свету культур».

В «Падении Даира» величаво и мощно встает коллективный герой гражданской войны — трудящиеся массы, прорывающиеся в будущее. Повесть музыкальна и напевна, это — поэма в прозе. В этом, одном из лучших образцов советской романтики выражены ее революционная насыщенность, ее идейная высота.

★

Главный герой «Севастополя» Шелехов — средний человек своего времени. В биографии Шелехова живут черты биографии самого Малышкина. Это — представитель той самой рядовой старой интеллигенции, которая после октябрьского переворота присоединилась к народу и вместе с ним боролась за советскую власть.

Не без колебаний совершался этот процесс. И его правдиво изобразил Малышкин в образе Шелехова. Молодой интеллигент, получивший образование на жалкие гроши, которые зарабатывала его мать перепиской на машинке, он пережил трудную юность. В душе Шелехова идет борьба между навь-

ками подчиненности, которые воспитала в нем юность, и тем новым, революционным и мощным, что все более и более входит в его сознание.

Эта борьба находит свое выражение в том метании между классами, которое переживает Шелехов. Он чувствует все время свою отчужденность от аристократов. Он с ненавистью относится к казачьему есаулу, с которым едет в вагоне. Но он все еще продолжает находиться под гипнозом старого мира.

Этот гипноз рисует ему миражи личной карьеры необыкновенного взлета.

Но, чем дальше, тем отчетливее понимает Шелехов иллюзорность своих честолюбивых мечтаний.

В стране развиваются события, все более четко формируются борющиеся силы. Все более неотложной делается для Шелехова необходимость выбора.

Душевный мир Шелехова, типичный для широких масс русской интеллигенции, раскрыт с беспощадной правдивостью. Перестройка этого душевного мира, процесс принятия социалистической революции интеллигенцией даны в образе Шелехова с большой художественной силой.

Оброшенный, живет он со своими сомнениями на неплывающем катерке.

«Он притих в стороне, только таращился в иллюминатор заодно с остальными каютными жителями... А как там ревели за бортами, какой ужасающий и увеселительный разыгрывался шквал! Сгинуть бы в нем вольной птицей!.. Да, он не раз воспаялся мечтой об этом, но только мечтой: с него и этого было довольно, чтобы гордиться, отделять себя от Бирилевых.

Ну, а что он сделал для революции, как друг, как пособник? Какое-либо усилие, риск?.. Он не мог припомнить. Он сдавил пальцами глаза, но не мог припомнить... Он не делал. Он только глядел да думал по поводу выгяденного, думал невразумительно и угнетенно, изнурая свой мозг этим ничемным и ему самому ненужным думанием».

Дальше оставаться в стороне от реальной, настоящей жизни было невоз-

можно. Но старое сознание Шелехова, индивидуалистическое и не желающее уступать, пытается прятаться за Канта. Вот Шелехов доказывает матросам:

«...Что такое есть мир, видимый нами вокруг и в котором мы живем? Вы привыкли думать, что он существует в действительности, так? В самом же деле, как говорит настоящая наука, преподаваемая в университетах, — возможно, что в действительности мира не существует, а есть только обман наших чувств, сон наяву!».

За всем этим ощущается другой спор. Этот спор мы потом встретим в последнем романе Малышкина «Люди из захолустья». Это — спор о реальности тех дел, которые делают массы. Это — спор о том, является ли революция настоящей жизненной реальностью, или она только кажимость, некое временное отклонение от нормального порядка.

Товарищ Сталин в своих воспоминаниях о Ленине рассказывал о том, как «в ответ на замечание одного из товарищей, что «после революции должен установиться нормальный порядок», Ленин саркастически заметил: «Беда, если люди, желающие быть революционерами, забывают, что наиболее нормальным порядком в истории является порядок революции».

За беседами о Канте скрывается у Шелехова тоска мещанской индивидуальности, связанной с «священным институтом частной собственности» — коренной основой мещанского общества. Отступая под напором полнокровной и сильной жизни, индивидуалистическое сознание пытается оспаривать реальность этого мира.

Можно сказать, что и «Падение Дaira», и «Севастополь», и «Люди из захолустья» есть образное, художественное выражение той мысли, что именно революция и есть реальность, что именно движение и есть реальная жизнь, а не застойность, не покой.

Общество, построенное на частной собственности на средства производства, уродуя личность, выдает это уродование за защиту индивидуальности. Но индивидуальность Шелехова, лучшие его душевные качества развертываются

именно тогда, когда он решает основной мучающий его вопрос, когда и мыслью, и чувством приходит к революционным массам.

На митинге, созванном по поводу выступления белых в Крыму, Шелехова ослепляет мысль:

«...давняя, зарытая глубоко: вот так бы почувствовать, так перененавидеть, как чувствуют и ненавидят они из глубины своей матросской шкуры — тогда ведь было бы оправдано все: и почему нужно было взять винтовку и зверем рвануться на Каледина, и почему малаховские ночи и Графская... а у него — не та ли, ущемленная обидой, дрянная подачка — жизнь? И чего он мог бы еще ждать? Захлебнувшегося, ослепленного — его выкинуло на край пропасти, на народ.

Он не сознавал, когда и где было, зачем...

— Я бы хотел только добавить... к словам нашего начальника. Чтобы вы помнили каждую минуту... что будет... если они придут к нам опять... как хозяева. Как влады-ыки! (Истерический, не его крик дико отдался где-то в пустом железе.) Помните: эт-того, товарищи, что будет... нельзя рассказать... ник-ка-кими... — выдыхивал до дна всю грудь: — никак-кими... человеческими... слова-а-ми!...».

Вот он, тот ослепительный взрыв не-навести, тот взрыв чувства, который окончательно решил путь Шелехова. Пока борьба двух миров была для Шелехова только теоретическим вопросом, пока он не чувствовал себя корнями связанным ни с тем, ни с другим миром, до тех пор он колебался в нерешительности. Но выбор им сделан.

После своего выступления на митинге Шелехов чувствует, «что его поднимали гребни моря, того самого, что все время недостижимо шло где-то вне его, — теперь оно приняло его в самую свою сердцевину, лелеяло, играло им...».

Конец нерешительности, слабОВОЛЬНОЙ тоске, душевному тупику, в котором томился Шелехов. Конец замертвелой жизни одиночки. Теперь он знает, что «силы хватит... на тысячи длинных, бездомных дней...». Теперь он сам видит,

насколько до стыда глупы были его мальчишеские бредни, радужные, как мыльные пузыри.

Шелехов ощущает подлинную реальность настоящей большой жизни и борьбы, в которой он теперь участвует. И он до дна вдыхает обжаривающей грудью то, «что манило и ужасало и закрыто было от него всю жизнь!..».

В романе ярко выражена та мысль, что «интеллигенция может быть сильна, только если соединится с рабочим классом. Если она идет против рабочего класса, она превращается в ничто» (Сталин).

Но ни роман в целом, ни образ Шелехова не исчерпываются, конечно, темой изображения колебаний и перестройки интеллигента. Для этого не требовалось такой беспощадности в изображении внутреннего мира Шелехова. Он не заслуживает такой беспощадности. Почему же Малышкин так казнит своего героя за юношеские мечты о славе, за случайный и неудачный роман с Жемой?

Тема Шелехова шире, глубже частного задания отразить в нем переживания некоторых слоев интеллигенции. Эта тема общечеловечна. В шелеховских поисках пути к счастью, пути в полную и яркую жизнь, выражена борьба в сознании человека двух эпох, двух принципиально отличных строев человеческой жизни.

Есаул ненавистен Шелехову не только потому, что он представитель мира угнетателей, чуждого для Шелехова. Он ненавистен Шелехову еще больше потому, что это — законченное выражение торжествующего зоологического индивидуализма. Старый мир, превращающий огромное большинство человечества в эксплуатируемых и угнетенных, в домашних животных меньшинства, превращал и это меньшинство в хищных зверей.

И пока для Шелехова образ старого мира предстает раздвоенным, пока этот старый мир встает перед ним то гибнущей Атлантидой культуры и красоты, то миром звериных отношений, — до тех пор Шелехов колеблется. До тех пор и в сознании самого Шелехова его стре-

мления уйти к массам окрашиваются теми же индивидуалистическими мечтаниями.

Основной вопрос творчества А. Г. Малышкина, собственно, едва ли не самый жизненный вопрос для всего человечества. Этот вопрос заключается в том: как человеку жить лучше, где его жизнь будет более яркой, более радостной, более счастливой? Никакое классовое господство не могло бы удержаться долго, если бы оно не гипнотизировало подчиненных внушением того, что иного пути к жизни, к радости нет, кроме подчинения установленному порядку.

Общество, построенное на противоречии между общественным характером производства и частнособственническим характером присвоения, придает частнособственнические, индивидуалистические черты и человеческим представлениям о счастье.

Шелехов видит, что с наступлением революции «жизнь, наконец, распахивалась перед ним настезь, со всем счастьем и удачей». Но, пока Шелехов в плену старых представлений о счастье, пока удача мыслится ему взлетом на плечах других, — автор беспощаден к своему герою, безжалостно заставляет его убеждаться в иллюзорности этих мечтаний.

Для людей, не могущих или не желающих сознательно в капиталистических условиях стать в ряды эксплуататоров, хищников, капитализм создал другую форму мечты о счастье. Это — форма ухода в свое мелкое домашнее счастьеце. Тот же Шелехов, убеждаясь в том, что его честолюбивые мечты нереальны, начинает вдруг вспоминать свой студенческий роман с Людмилой. Жизнь ему представляется так: «Быть бы тебе педагогом по словесности где-нибудь в Пензенской губернии, если бы не война, водовозной клячей, проверять диктанты, ставить двойки... Вот она, настоящая, по закону отведенная тебе жизнь. Женился бы на Людмиле, журналы бы выписывали, ходили чай пить к местным интеллигентам... брали бы в лавочке на книжку до двадцатого числа...».

И волчье счастье, построенное на основе подавления миллионов людей для расцвета и развития небольшой группки паразитов и хищников, и птичья мечта о счастье в клетке, отгороженной от шумного и беспокойного мира,—оба эти варианта старого сознания продолжают жить даже и в наше время. А. Г. Малышкин возвращается к этой теме в последнем романе «Люди из захолустья», упоминая о тех, для которых «...после службы только начинался настоящий день. В семью, в семью, где такой уютный, почти солнечный круг падает из-под абажура на обеденный стол! Пусть хоть на вечер оглохнут чувства, немного присомкнутся глаза, и вот ты на глухом, милом острове, ты ерошишь головенки своим ребятишкам, тебе несут чай, захочешь—развернешь «Анну Каренину», поговоришь с женой...».

В свое время критика указывала на то, что в романе «Севастополь» очень слабо дан образ большевика Зинченко—представителя тех революционных масс, к которым присоединяется Шелехов. Отсюда делался вывод, что тем самым роман не отразил основных процессов, происходивших в стране. Доходили до такого вывода, что и сам Малышкин еще полностью не преодолел старого, у него осталось старое восприятие мира. Эту отдачу под суд автора за выбор героев критики пытались применить и к последнему роману Малышкина — «Люди из захолустья». Ведь и название романа (первоначальное — «30-е годы») изменено потом было на «Люди из захолустья» только по тем мотивам, что автор выбрал не тех героев, при помощи которых можно показать 30-е годы полностью.

В связи с этим необходимо остановиться на вопросе о праве автора на выбор людей, на выбор своих персонажей, о возможности для писателя на любом, самом маленьком, явлении и человеке показать крупнейшие процессы и поставить крупнейшие проблемы.

Есть какая-то странная, нигде не сформулированная, правда, но распространенная точка зрения. Она характеризуется тем, что от автора требуют,

чтобы он в художественном произведении уделял героям место, пропорциональное тому значению, которое прототип данного героя имеет в реальной жизни. Только с этой точки зрения и можно объяснить упрек Малышкину в связи с Зинченко.

Но ведь если продолжить эту мысль, то и развернутого образа Зинченко было бы недостаточно. Судьба революции решалась не в Севастополе и не в Черноморском флоте. Решающие бои происходили в Петербурге. Ведущие деятели революции находились тоже там, и, следовательно, продолжая ту же линию рассуждений, надо писателю предъявить требование, чтобы он обязательно показал ЦК большевистской партии, показал вождей революции.

Автор в художественном произведении должен иметь безоговорочное право на выбор героя. Художественное произведение может и в маленьком, обычном показать великое, общее. Чем крупнее социальные сдвиги, тем больше они охватывают именно средних, рядовых участников. «Политика начинается там, где миллионы...» — говорил товарищ Ленин. Для подлинно художественной литературы существенно это уменьше на образе самого маленького человека показать мысли и переживания, движущие миллионами, характерные для миллионов, способные оплодотворять и обогащать сознание миллионов.

★

В романе «Люди из захолустья» Малышкин рисует годы великого перелома. Так же, как и в «Севастополе», герои этого нового романа — средние, рядовые люди. На судьбах этих рядовых людей раскрывает автор гигантский скачок, который переживает страна. На душевном развитии обычного, среднего человека наших дней показывает он исторический размах и значение совершающихся событий.

В «Людах из захолустья» автор не дает ни образов сколько-нибудь выдающихся, необычайных людей, ни каких-нибудь необычных и героических поступков. Тем не менее роман дает ге-

ролку масс, рисует рождение героического в душе человека.

1929—1930-е годы. В стране происходит коренная ломка самых глубоких основ, на которых держался старый жизненный уклад. В эти годы пришли в движение миллионные массы, порвавшие со старым укладом и двинувшиеся к новой жизни.

Действие происходит в Москве, в глухом районном селе Мшанске и на новостройке.

Были романы, посвященные первым годам пятилетки, которые в свое время пользовались успехом, а сейчас почти забыты. Они не выдержали испытания временем.

Едва ли не главной причиной этого было то, что в этих романах человек переломных годов заслонен вещами. И хотя романы перегружались описанием производственных процессов, хотя в них изображалось обстоятельно, как выполнялись и перевыполнялись производственные задания, но человек за этими заданиями был плохо виден.

Малышкин, давая образы людей этих бурных лет, показывает перемену в сознании человека.

«Пересесть с обнищалою мужицкой лошади на лошадь крупной машинной индустрии — вот какую цель преследовала партия, вырабатывая пятилетний план и добиваясь его осуществления» (Сталин). Страна пересаживалась немалая. Воля партии была волей самих масс. Роман Малышкина показывает возникновение этой воли масс. Бурный, мощный поток миллионов воле организовывала и вела к социализму партия. Эта воля ломала сопротивление враждебных классов. Эта воля была формулировкой, выражением глубочайших коренных интересов и чаяний народа.

Страна понимала, что она отстала на сотню лет, что если она не напряжет всех сил, ей угрожает смертельная опасность. То нетерпеливое ожидание, которым охвачен был на подступах к пятилетке один из героев романа, большевик Подопригора, собственно, характерно для всей страны. Подопригора «чувствовал по себе, какое сжатие, какое

предельное сжатие газов (как в канале орудийного ствола перед выстрелом) накопилось за эти годы».

Эту волю страны итти к лучшему, ценой тяжелых усилий, изображает роман Малышкина. Роман схватывает этот общий колорит эпохи, суровую прихмуренность тех лет, энергию направленной страны, единство воли партии, направляющей поток миллионов.

Будущее героев, то направление, в котором движется исторический поток, показано в романе не путем превращения людей в «простые рупоры духа времени». Нет. Это живые личности, многосторонние, исполненные многих чувств и страстей, мыслящие люди, характеризующие не только тем, что они делают, но и тем, как и почему они это делают.

Подлинному художнику нельзя быть посторонним, хотя бы даже и сочувствующим, обозревателем. Нечего и говорить о скорых на руку и ко всему равнодушных пекарях литературных караванов на «актуальные» темы.

Только любовное проникновение в души людей, понимание взаимодействия социалистического строительства и человека дают возможность писателю увидеть и показать, что социалистическая индустриализация не сводится к голым итогам построенного и выработанного. Здесь лежит путь к показу нового человека во всей его сложности, как типа человека высшего, который при социализме «окончательно выделится из царства животных и из животных условий существования перейдет в условия действительно человеческие» (Энгельс. — «Антидюринг»).

Борьба за социализм рисуется в романе не как выполнение чьей-то посторонней воли и не как внезапное возникновение ничем не мотивированного решения. Органичность развития революции показана на том, как главные герои выходят на дорогу к социализму, как на единственно возможную и желанную дорогу в жизнь.

★

Один из главных героев романа, Тишка, — бывший батрак. Он едет на

строительство молодым парнем. Этот бывший батрак до того задавлен нуждой, находится под таким гипнозом нищенских, рабских своих условий жизни, что вначале и не представляет себе жизни без хозяина. Новый человек вырастает в нем не сразу. Когда бегущий от коллективизации из Мшанска Петр по-хозяйски командует Тишкой, Тишка терпеливо подчиняется.

«Петр со строгой снисходительностью, как хозяин, расспросил, кто он такой, куда едет. Тишка, оробело держа чайник, ответил, что сами-то они с матерью из Лунинского района, а жил он в пастухах, а потом в работниках в селе Запечном, у мужика Игната Коновалова».

Тишка всем опытом и своим, и своей нищей, загнанной мамки научен только одному способу защиты — покорности. Когда Петр иронически высказывает предположение, что он — Тишка — запишется в комсомол, —

«Тишка покорно цепенел, согнув голицую, невытую шею: все та же маманькина защитная хитрость. И ответ сумел найти смиренный, какой нужно:

— Эти комсомольцы, как дядю Игната угнали, они нас с маманькой без куса оставили.

— Ты совесть завсегда имей, — смягчаясь, поучительно сказал Петр».

Когда в вагон приходят комсомольцы из бригады «Производственной газеты» и начинают разговор с пассажирами, —

«...у Тишки, спрятавшегося на свою полку, замирало сердце за шахтера. Такие же вот, молоденькие и злые, в ремнях, пришли и забрали безо всяких Игната».

Свое новое батрачество у Петра, помыкающего им, Тишка воспринимает, как доверие, как награду.

«Петр снял торбу с плеч и, не говоря ни слова, сунул ее Тишке. Тот схватил обрадованно: если дядя Петр поручал ему свое имущество, значит, не могли бросить его, Тишку, одного».

Он до того забит и робок, что, даже коченея от холода, не роптал и только, сплзвываясь временной останковкой своих спутников, «положил торбу на дорогу и, пока никто не видел, поплясал и немного поплакал».

Устроившись на работу, Тишка живет вместе с Журкиным в бараке. Он уже начинает чувствовать себя прочнее. Скучный обед в столовке — суп из соленого судака и пшенная размазня, политая соусом, — кажется оголодавшему Тишке лакомством. Те два леденца, которые дают в столовой к чаю, Тишка припрятывает, а вечером пьет с ними чай в бараке и мечтает скучными своими деревенскими мечтами.

«Он отхлебывает горячего до слез, в глазах вместо ламп прыгают звезды... Так восседает он на койке с заработанной кружкой чая в руках, прилежный и тщедушный; никто его не замечает, никто не трогает. И под чай можно сладко замирать, высчитывать.

Скоро выдадут первую получку за полмесяца... значит семнадцать можно послать маманьке. И Тишка невидимо перелетает к ней вслед за деньгами. Маманька, хилая и лебезливая перед всеми, живет христа-ради у свояка за печкой. Погоди, погоди!.. Ей приносят повестку. Старуха не верит: «Чай, не мне это, другому кому-нибудь?..». Нет, Тишка тацит ее на почту, там суют ей через окошко семнадцать рублей, — когда она такие деньги видала у себя? И Тишка видит, как чумает старая, приваливается тут же на крыльчке в лаптях, в зипунишке своем неизносном и плачет».

Эти мечты Тишки первое воемя идут по старой, привычной колее. Он еще не представляет никакой иной дороги, кроме той, которая миражем манила до революции миллионы крестьян, мечтавших выбиться из своего голодного существования, став кулаком. Тишка собирается: «Весь двор... непременно перекрыть соломой, чтобы небушка не было видно, как у дяди Игната. Скотине теплее. Матери приказать, чтобы для хозяйства принаняла паренька, а то двух: мало ли их теперь шатается, голодных бобылей-ребят! Сама будет только показывать, что и как».

Тишка еще находится под влиянием Петра, пока он еще не чувствует перероспывающей поддержки Подопригоры. Он подозрителен, недоверчив и робок. Его мечты носят мелкособствен-

нический, кулацкий характер. Сам эксплуатируемый всю свою недолгую жизнь, Тишка не представляет еще себе, что может быть богатая и радостная жизнь, не связанная ни с какой эксплуатацией.

Но вот на него обращает внимание Подопригора. Если бы даже Подопригора был показан только на своих отношениях с Тишкой,—то и тогда это был бы убедительный образ партийца.

Малышкин показывает обогащение духовного мира Тишки, прорастание у него новых мыслей, новых мечтаний, до сих пор ему совершенно неизвестных. Вот слушает он доклад Подопригоры на собрании. Хоть и смутно, но Тишка начинает чувствовать другую, более мощную силу, противопоставленную силе хозяйской, единственной, которую он до сих пор знал. И вот начинается бунт Тишки против этой старой силы. Сейчас она воплощена для него в Петре. И в первый раз Тишка отказывается выполнить поручение Петра, когда тот хочет его использовать для своей жульнической операции с талонами.

Петр мстит ему, обряжая его в поповскую шубу и устраивая над ним публичное издевательство.

Начав учиться, Тишка приносит на курсы шоферов свою мужицкую голодную жадность. Он и напуган всем тем новым, чем ему так трудно овладеть на курсах, но он и мечтает о том времени, когда овладеет сложной машиной. И он жадно боится пропустить что-нибудь на занятиях.

Тишке трудно. Тяжела новая и непривычная наука. Но он все более и более чувствует себя другим человеком. В нем самом растет недовольство собой. Внешние изменения, изменения в его положении соединены с ростом в нем нового сознания. Он слышит церковный звон, и ему чудится, «что звонят не из слободы, а из самого Засечного, из маманкиной бобылей темноты. Это от туда выпустили его в мир с подогнутыми коленками, с вытянутой, просящей шеей. От себя — от такого—хотелось освободиться, как от удушья...».

В момент наибольших колебаний, ко-

торые испытывает Тишка, помощь, оказанная ему товарищами по курсам, кончается с его последними приступами испуга перед новым, непривычным и трудным.

Тишка — молодой крестьянский парень, принесший с собой на стройку груз старых предрассудков, тяжелым камнем лежавших на его сознании,—на глазах у читателя начинает превращаться в нового человека. Это — образ огромного типического обобщения. Те миллионы молодых крестьян, для которых старая деревня означала только вековечное батрачество, пожизненную нищету, — это молодое поколение приходило к генеральной линии партии, боролось за нее, как за единственную дорогу, ведущую их в настоящую человеческую жизнь.

На душевном перевороте, который совершается в забитом нуждой Тишке, А. Г. Малышкин показал гигантские процессы, происшедшие в стране. Тишка — один из представителей молодого поколения тридцатых годов. Люди этого поколения, вступая в жизнь в годы первой пятилетки совсем еще юными, выросли в процессе строительства в сознательных борцов за социализм. Для них эпоха пятилеток была тем же, чем для старшего поколения молодежи была эпоха гражданской войны. Поколение Павла Корчагина формировалось в сознательных бойцов за социализм в боях с белыми. Поколение тридцатых годов формировалось и зрело в боях за построение в СССР фундамента социалистического общества.

★

Другим не менее сильным образом романа Малышкина является образ Журкина. Журкин бежит из Мшанска, от своей жизни, «заунывной, мелко-травчатой, беспросветной, как детский плач». Вот он стоит в очереди на станции за билетом:

«...на Журкине, как изба, стояло ватное, на солидность сшитое когда-то пальто, даже с вихорками былого каракуля на воротнике; под пальто жалостливая баба накрутила ему еще пуховый

платок, а на ногах, обутих в трое чулок, коробились валенки выше колен, добротнo подшитые по низам кожей: всю окопировку сделали из последней копейки. И явственно путлялись в этом барахле слезные проводы, ребячье вытье, осиротевшие верстаки».

На этой станции, как видение чужого, далекого счастья, встает перед ним плакат, на котором изображен южный берег Крыма, пассажирка, облокотившаяся на автомобиль, белые дворцы за ней, синее, как жар-птица, море. Для Журкина это—обидное и тяжелое напоминание, что «есть... на свете такая легкая жизнь». Он, переживший в Мшанске бедование одиночки, никогда не знавший прочности в своей судьбе, даже не представляет, что далекий мир, изображенный на плакате, — это часть советского мира, его собственного мира, который он еще не сознает своим.

Когда он слышит в вагоне от попутчицы-старухи, что ее дочь, бывшая прислуга, стала аспиранткой, он и это счастье рассматривает, как чужое, никак к нему не относящееся. Да и не о счастье он думает. «Тут уж не до счастья, — поскитался за ним в жизни довольно. Только бы не пропасть, промаяться как-нибудь тяжелые эти годы».

Здесь надо остановиться, в связи с этим плакатом, на умении А. Г. Малышкина работать с деталью. Для романа характерно то, что ни одна деталь, самая мелкая, не забывается автором, не служит вещью самой по себе, а так или иначе связана с развитием романа, с внутренним миром героев. Этот же самый плакат для Соустина возникает напоминанием о его летучем, непрочном и стыдном счастье, птичьим счастьем с Ольгой, за которым он хотел укрыться от жизни. В конце романа эта деталь появляется снова. Когда Поля говорит Журкину, что лучших работников строительства пошлют на Юг, плакат смутно вспоминается Журкину уже не как видение чужого, недоступного счастья, а как деталь, и даже не очень главная, близкого, доступного и даже обычного в его новой, прочной жизни.

Замкнутым, недоверчивым, думающим только о том, как бы перебиться, приезжает Журкин на новостройку. Он мечтает только о спокойном куске для себя. Никакого ощущения близости к тому делу, которое затевается на стройке, у него еще нет. Когда Аграфена Ивановна предсказывает, что постройка сгорит, Журкина это мало волнует.

«— Да как оно пушай погорит, — согласился Журкин, — нам бы только до лета на кусок заработать да ребят окопировать».

Так же, как и Тишка, Журкин жмет к Петру.

«За ним, как за стеной» — думает он.

В бараке Журкин с трудом выносит жизнь на людях. Его нищенская клетка, жалкий мшанский быт рисуется ему идеализированным.

«Он ведь дома-то и чайпил каждое утро и каждый вечер, на окошках у него висели гардиночки, при гостях, бывало, сморкался в платок...».

Будущее видится Журкину шатким и малообещающим. У него мало надежды даже на «верную копейку».

Нечаянно для себя Журкин оказывается выразителем тех отсталых настроений, которые возникли в бараке в связи с задержкой зарплаты. Он заявляет Подопригоре: «Каждый, значит, завсегда хочет себе кусок получше отоврать».

Осрамившись на этом своем первом публичном выступлении, Журкин долго не может отделаться от испуга.

Не всегда Журкин покорно плелся за своей мечтой одиночки. Был в его жизни случай, когда стихийно прорвалось в нем желание найти какой-то другой, бунтарский выход из беспросветной своей жизни, когда Журкин взбунтовался против птичьего счастья. Задумав на накопленные полтораста рублей купить ветряную мельницу и, заработав на этом, выйти в люди, Журкин, ставя угощение мужикам, выпил сам, и тут внезапно прорвался в нем этот взрыв протеста против беспросветности жизни.

«...моросил дождь. И окрест под дождем стало все, как безрадостная неизбывная маята жизни... Журкин метал деньги на похмелье, валяльщики труси-

ли по селу с четвертями. Гробовщик встал, яростно разворотив на груди гармонию, и занес навзрыд к небу:

Истерзанный... измученный...
Д'наш брат-мастеровой!

И пошел к ветряку. И гольтепа табором шатнулась за ним.

Следом поплелись бабы, ребятишки. Ветряк миновали, и не взглянув. Гармонья впереди ахала, расшибала воздух, вопила о горьком горе. И горе, точнее, стоногое, слушая песню, бежало сзади по грязи».

Любопытная деталь дана в этой сцене. Не названный даже по имени, подвезжает к этой толпе смысленный кузнец на лошади, привезя вино, огурцы и хлеб для торговли. Но недолго торговал этот кузнец. Зараженный общим взрывом, «кузнец, заплакав, слез с телеги, раздавал даром и огурцы, и хлеб, и вино».

Пока Журкин цепляется за свою мечту одиночки, пока он отгораживается от жизни, строящейся вокруг него, с недоверием и опаской, приглядывается к Подопригоре, ожидая от него всяких неприятностей, до тех пор бедна и убога, боязлива и тосклива его жизнь.

Но постепенно строительство, в котором он участвует, перестает быть для Журкина чем-то посторонним и чужим. И уже теперь, когда Аграфена Ивановна пророчествует о пожаре на строительстве, Журкин не принимает это, как нечто, к нему не относящееся.

«Журкин-то и руками, и всем горбом своим знал, что значит, например, связать из теса одну площадку на лесах... И под каждой крышей жило там такое же теплое тело и дыхание, как у него, у Поли, у Тишки, оно жило, думало, варило хлебово, работало. Он мысленно накинул на эти крыши ветра, об'ятую огнем Сызрань, которая до сих пор содрогала его в снах, и он видел пламя, еще страшнее, чем в снах. Оно косматилось старухой, дорвавшейся, наконце, до своего, ликующей...».

А ведь пожар в Сызрани разбил самые дорогие мечты семейства Журкиных, мечты о том, чтобы выйти в люди.

Почти неожиданно для себя Журкин предлагает Подопригоре организовать добровольную пожарную дружину. Образ пожара, который может уничтожить свое, кровное, любимое, возникает снова перед Журкиным на базаре, когда он принимает участие в защите Тишки.

«И базарные, гудя, надвинулись. К Тишке подбежал в раскрыленной шубе Журкин. Спины в пиджаках теснились назад, оттапливая обоих. Гробовщик глянул: наплывали знакомые, в диком волосе, косогубые от злобы хари. Словно уже рухали обугленные бараки, пламя жрало долину, человечьи труды.. В Сызрани случались когда-то разудалые бои. Гробовщик, не переводя духу, засучил рукава и боком пошел вперед.

И стена колыхнулась вместе с ним. Он вывалился на базарных, в шубе до полу, вровень им, пожилой, густо-косматый, свирепо выворачивающий из рукавов руки-корневища. Базарные замешкались.

— Какого Каина выпустили!».

Подопригора, устроив Журкина на деревообделочный завод, помогает ему найти свое прочное место в жизни. Журкин видит кругом работающий без остановки умный и яростный инструмент. Здесь, на деревообделочном заводе, перед ним открывается необ'ятность стройки. Здесь он, мастер-краснодеревщик, находит свое место в жизни.

Самолюбие мастера — артиста своего дела, стремление к прочной рабочей судьбе рождают в Журкине то героическое волнение, которое двигает человека на рекорды в труде. Он по-новому относится к строительству, к коллективу. Беседуя о пожарной дружине, Журкин строго, внушительно, как начальствующий, повторил то, что слышал не раз на собраниях:

«— Вы знаете, чья здесь вся имуществва? Она вся — народная».

Журкин, нашедший свое место в жизни, Журкин, уверенный теперь не только в настоящем, но и в будущем, уже по-иному относится к партии. Он видит, что «Подопригора, тот самый, недавно грозный для Журкина Подопригора, теперь только ради него приходил на завод. Подопригора партиец... «Это

сила — она промежду себя, как войско, сцеплена!». И, оказывается, этой силе, то-есть партии, нужен он, Журкин, она ценит и к себе тянет его. Вот где была главная прочность!».

Партия, та сила, которая между собой, как войско, сцеплена, эта сила, которой нужен Журкин, дает ему ту прочность, которой он до сих пор никогда не знал, дает ему уверенность в будущем.

На индивидуальной судьбе, на личных переживаниях этого мастера-краснодеревщика Малышкин показал грандиозный процесс перестройки сознания миллионов.

Преобразование России в страну социалистическую измеряется не только суммой построенного и выработанного, а и теми новыми отношениями между людьми, которые возникают, а и теми изменениями, которые произошли и происходят в сознании миллионов. Социализм для миллионов из отдаленной перспективы, из мечты переходит в быт. Социализм — дело своих рук, — вот та мысль, которая с такой убедительностью раскрыта в истории душевного развития Журкина.

Журкин, всю жизнь гонявшийся за единоличной мечтой о счастье и терпевший постоянный крах, видит, что создаются прочные предпосылки для этого счастья и что он сам участвует в этом созидании. Мастер-краснодеревщик, не имевший всю жизнь возможности развернуть талант свой, талант артиста своего дела, неожиданно убеждается, что как-раз пугавшая его своей необъятностью и многолюдием стройка ценит в нем его личные качества и дает ему возможность для развития его индивидуальности.

★

Любовной и ласковой рукой рисует Малышкин образ русской женщины Поли. Она взбунтовалась против своей горбатой бабьей доли, ушла от мужа.

На образе Поли также можно отметить то мастерство портрета, то искусство индивидуализации, которое характерно для всех персонажей романа. Пе-

ред читателем встает Поля, как полнокровный образ рядовой русской женщины, для которой годы великого перелома были также годами перелома в ее горькой бабьей доле. Этот перелом выдвинул женщину на всех участках строительства и общественной жизни на равное место с мужчиной. Маленькое дело, вокруг которого хлопочет и волнуется Поля, заботы о том, чтобы в барачке было чисто, чтобы был уютный и «умный» кипятильник-титан, — это маленькое дело вскрывает и показывает душевное развитие этой женщины.

И на портретах героев сказывается умение автора работать с вещью, с деталью, выбирать детали характерные и существенные. Вот «низенькая, тонконосенькая, узкоглазая, с пылко рмяными, как у девки, скулами» Поля устраивается с шитьем на кровати. «Одеяло семейное, все из разноцветных ситцевых клиньев». Воркуя около работающего над починкой гармонии Журкина, Поля уютно рукодельничает и рассказывает о себе.

«Поля весело перегрызала нитку. Вблизи оказалась она пухлая на тело бабенка, охотница посудачить, поскалиться, хотя тоже, видать, хлебнула горя всласть. Была она дочерью путевого сторожа. Встречала поезда с флажком, возила птицу в город на базар».

И в развитии Поли Малышкин не допускает ничего нарочитого, ничего обнаженно тенденциозного. Так же, как и у Журкина, и у Тишки, прорастающее в ней новое живет вместе с чертами привычного, обжитого, старого ее быта. Взять хотя бы ее рассказ о разводе с мужем. Поля грустит до сих пор, что, увозя сундук со своим нажитым, где у нее и шуба лисья, и высокие ботинки желтые, и платье горошком маркизетовое, она не успела прихватить шаль. А шаль, хорошая, «в клетку маренговая шаль, какой-нибудь нахалке теперь достанется».

Поля и в разговорах своих, и в поступках—всегда женщина. Она женски обаятельна для смущенно ухаживающих за ней Подопригоры и Журкина. И это ухаживание дает возможность автору показать Полю со стороны ее

женственности. Когда Журкин побрился, — стал черноусым и чернобрывым красавцем, — это он сделал, конечно, не в ознаменование участия в социалистическом строительстве. (Спешим предупредить могущие возникнуть обвинения в слащавой символике.) И тем не менее омоложение, которое переживают на глазах у читателя Журкин и сама Поля, в конечном своем счете ощутимо связано именно с тем, что эти два человека участвуют в социальной молодости страны и потому обнаруживают, что они и сами, в сущности, молоды.

На образе Поля сказались также отмеченное уже умение А. Г. Малышкина показать в маленьком великое, в обычном — новое и необычное.

★

Прекрасен образ большевика Подопригоры. Но как-раз ему и не повезло в критике.

Тов. Добин («Литературный современник». № 1. 1939 г.) пишет: «Образ партийца Подопригоры Малышкину... не удался. Ему приданы черты жертвенности. Победа мыслится ему непременно «за суровыми хребтами лишений, в отказе от себя, в воинственном обеднении жизни». Это уже совсем не от жизни, а от литературы».

Тов. Нельс («Октябрь». № 7. 1938 г.) находит, что «образ Подопригоры все время освещается лишь отраженным светом, по тому, как его поведение воспринимается окружающими». Она считает, что «это — перепевы мотивов «маленького человечка», несчастного и сердечного. Причем этот традиционный в старой литературе мотив множен на примелькавшийся трафарет нашей литературы: хороший партиец, несчастный и никчемный в личной жизни. Во всем этом сквозит неизжитый и непреодоленный предрассудок, будто бы борьба за социализм неизбежно связана с отказом от радости личной жизни, с суровым самоограничением».

Сколько страшных слов: и трафарет, и жертвенность, и никчемность, и неизжитый предрассудок.

К этому хору присоединяется т. Усие-

вич, считающая компрометантным для Подопригоры то, что он был влюблен в жену свою Зину. А так как Подопригора еще как-то случайно вспомнил потом о Зине, то т. Усиевич делает поспешный вывод, что над сознанием Подопригоры «тяготеет, как фатум, раскрашенная самочка» («Литкритик», № 7 за 1939 г.).

Нет нужды доказывать, что никакой раскрашенный фатум над сознанием Подопригоры не тяготеет. Да это понимает и сама т. Усиевич, называя Подопригору сознательным рабочим, большевиком, полным самоотверженности.

Но утверждениями гг. Нельс и Добина следует заняться подробнее. Откуда взяты все эти обвинения в никчемности, в жертвенности, трафарете и предрассудках? Скорее эти критики стали сами жертвой некоторого дурного и непреодоленного предрассудка.

Конечно, плохо, когда, как это было у нас недавно в ряде романов и пьес, обязательно имеется штатный умирающий или тяжело болеющий, или вообще так или иначе, но обязательно несчастный большевик, с которым автор решительно не знает, что делать, и так или иначе умерщвляет его. Конечно, самоограничение для самоограничения, отказ от личных радостей только потому, что это радости, чужды большевику.

Но при чем тут роман Малышкина? Хочется всячески акцентировать то утверждение, что образ Подопригоры — реалистический и яркий образ реального и яркого большевика. И потом, Подопригора совсем не со всякой точки зрения несчастен. И он не «маленький человечек» и не никчемный, даже и в личной жизни.

Подопригора при всем индивидуальном своеобразии несет в себе черты типического обобщения для определенного поколения коммунистов, вступивших в партию в гражданскую войну и проделавших эту войну. «Черноскулый, сызмальства прокопченный от кокса», Подопригора всю гражданскую войну провел в походах с ардивизионом. С Красной армией прошел он до края моря. И вот «...обещания, самые заоблачно-невыполнимые, были выпол-

нены просто, как будто само пришло такое время. Из окраинных и слободских лачуг переселяли рабочих... Подопригоре достался белый флигелек в глубине двора, заросшего хвощом и ковылем, у окошечек качались пурпурные чашечки мальв». Доменщик Подопригора женился, вернулся на производство. Начался нэп. Для жены его нэп развернул столько соблазнов, что гошпий бюджет рядового члена партии не мог их предоставить в ее распоряжение. Пусть она, выгадывая, может купить маркизету на сарафан, но сколько там оставалось на прилавке «...узорчатого, светящегося... Все это расхватали жены инженеров, разных дельцов и вообще богатеньких (в городе появился даже небольшой частный заводик), — ведь какой-нибудь чертежник из управления получал больше, чем коксовик Подопригора».

Разноцветное оперение нэпа, которое настораживало Подопригору, явилось для Зины непреодолимым соблазном. Курорт, на который она уезжает с чертежником, оказался последним испытанием. Ею она не выдержала и ушла от мужа, оставив его с двумя детьми. Что, собственно, тут жертвенного со стороны Подопригоры? Он остается один с детьми. Но ведь это не потому, что он сам во что бы то ни стало хочет жертвы. Вот если бы он изо всех сил старался удовлетворить запросы Элочки-людоедки, которые были у Зины, тогда ему пришлось бы пойти на жертвы, пришлось бы пожертвовать тем, что было самое дорогое для этого большевика.

Но, может быть, жертвенность и несчастность критики видят в его поездке на новостройку? Сам Подопригора не воспринимает поездку на строительство, как жертву. Это поручение партии принимается им, как давно ожидавшийся и радующий его приказ к давно желанному штурму.

Вот он постепенно нащупывает в бараке людей, на которых можно опереться, которые пойдут за ним. Психология старого бойца, человека, который шел в гражданскую войну именно потому, что всем существом своим хотел покончить

со старой жизнью, именно потому, что победа, за которую он боролся, была самой большой его личной радостью, — эта психология бойца характеризует образ Подопригоры и на стройке.

Вот в бараке надо убедить всех этих разнообразных, мало знакомых еще людей в том, что временные трудности на стройке надо пережить, выдержать. Кстати сказать, этих материальных затруднений у обитателей барака не меньше, чем у Подопригоры, однако критики не говорят, что в романе «массы приносят под влиянием неизжитых предрассудков жертвы в борьбе за социализм».

Подопригоре свою революционную перспективу, проекцию в будущее, надо связать с текущими, такими мешающими препятствиями и затруднениями.

«... в бараке беседа часто уходила с нужного пути, потому что вопросы задавались больше о том, что *сейчас*. Например, насчет валенок: всем ли их выдадут и когда; и почему мало возят угля к бараку; и почему вот за такую-то специальность, явно в обиду, дешево платят; и что в буфете кусок ржаного хлеба, обмазанный повидлом, стоит 35 копеек... и опять насчет зарплаты... И Подопригора именно *сейчас* должен был выдвинуть им что-то в ответ, — кроме вот этого, оторвавшего их от семейств барака, кроме хлеба из судачка, кроме завтрашнего утра, которое с головой сунет их опять в степную пургу... То, что для него самого трубным, зовущим звуком восставало за сегодняшними делами».

Подопригоре «трубы слышались... над плотиной, над бараками и вдалеке — над похороненными мальвами. Они взыгрывали и над этими лохматыми головами, разверзая будущее».

И постепенно эту проекцию в будущее, эти трубы, звавшие раньше Подопригору в гражданской войне в бой за социализм и зовущие сейчас, он доводит и до сознания жителей барака.

Подопригора — вожак-руководитель масс, который умеет самые мельчайшие вопросы производства и быта связать со своей проекцией в будущее. Да, победа мыслится Подопригоре за суровы-

ми хребтами лишений, в воинственном обеднении жизни. Да, у Подопригоры есть черты суровой требовательности к себе, к другим. Но разве не говорил товарищ Сталин на XVIII съезде партии, что для того, чтобы нам перегнать экономически главные капиталистические страны, «требуется, прежде всего, серьезное и неукротимое желание идти вперед и готовность пойти на жертвы...». А ведь сейчас мы намного сильнее и богаче, чем были в 1929 году. А разве первые две пятилетки не требовали напряжений, усилий и даже жертв? С каких это пор установилось у нас такое мнение, что путь строителей социализма всегда усыпан удобствами, комфортом и прочими семейными и квартирными радостями личной жизни?

Разве мобилизации, по которым тысячи коммунистов и комсомольцев едут осваивать Далекый Север, строят новые города в безлюдной тайге, выполняют те или другие поручения партии, всегда означают, что у мобилизованных никакого ухудшения материального уровня и личной жизни на некоторое время не происходит? Надо наконец уточнить разницу между жертвенностью и готовностью к подвигу, которая должна быть у каждого большевика.

И значит ли это, что, теряя на некоторый период некоторые материальные удобства, люди тем самым отказываются от радостей личной жизни? Не является ли это просто убогим и обывательским представлением о радостях личной жизни?

Конечно, предвзятый отказ от жизненных удобств, сознательное пренебрежение ко всякому материальному благополучию — черта, чуждая большевику. Но для большевика неравноценны личные удобства и то дело, участником которого он является.

У кого, собственно, неизжитые предрассудки, т. Нельс и Добин?

Именно то и придает образу Подопригоры реальность и жизненность, что этот хороший большевик понимает неизбежность трудностей, что в нем есть та самая строгость к себе, без которой нельзя быть большевиком, нельзя построить социализм.

Эта черта характера в нем сложилась еще в годы гражданской войны. Конечно, Подопригора, влюбленный в Зину, мог бы достигнуть того, чтобы она не ушла. Предположим, что, видя мануфактурные страдания своей жены, он уделит бы главное внимание личному своему устройению. Ему, партийцу, участнику гражданской войны, легко удалось бы уйти с производства. Свое служебное продвижение он смог бы тогда использовать для создания такого быта, который устраивал бы Зину. Тогда она, если и изменяла бы ему на курортах, то вряд ли развелась бы с ним. Это ей было бы просто невыгодно. Мало ли было случаев во время нэпа, когда некоторые коммунисты, очевидно, в порядке борьбы с жертвенностью, преодолели в себе так называемые «пуританские предрассудки», которых не преодолел Подопригора. Польшаев, например, из «Золотого тельца» так укомплектовал себя личными радостями, что у него была одна жена, другая жена в Ростове, и эти же обязанности при нем исполняла Серна Михайловна — его секретарша. И ни одна из них не делала Польшаева ничемным в личной жизни, в любое время сохраняя готовность наградить его личными радостями.

Когда партия вызывает коммуниста и предлагает ему ехать, предположим, на новостройку, то, конечно, коммунист может ответить, что эта поездка означает для него ухудшение материальных условий или что он не вполне уверен в верности жены за время его отсутствия. Он может даже при этом, в порядке борьбы с жертвенностью, отказать от поездки.

Мог бы, конечно, и Подопригора, у которого на руках двое детей, не ехать с теплого Юга, где у него была квартира, в барак на новостройку. Тогда, очевидно, и т. Добин, и т. Нельс были бы вполне удовлетворены. Ущерб в личной жизни Подопригоры не произошло бы, но это и не был бы тот образ большевика, бойца революции, который возникает на страницах романа.

Так скромный, некрикливый, будничней героизм Подопригоры не только не понят критиками, а, наоборот, бедному

Подопригоре, а вместе с ним и автору, они еще читают нудные нотации. Вот если бы Подопригора приехал на новостройку, на крупную руководящую работу, и здесь сразу отвоевал бы хорошую квартиру, устроил бы Зину материально настолько, что она не ушла бы к чертежнику, а приехала вместе с мужем на новостройку, — тогда, очевидно, критики были бы довольны.

Подопригора по праву является представителем той партии, о которой товарищ Сталин говорил: «Не всякому дано быть членом такой партии. Не всякому дано выдержать невзгоды и бури, связанные с членством в такой партии. Сыны рабочего класса, сыны нужды и борьбы, сыны неимоверных лишений и героических усилий — вот кто, прежде всего, должны быть членами такой партии». (Речь на II Всесоюзном съезде советов.)

Самоотверженность Подопригоры — настоящая, большевистская самоотверженность человека, никогда не теряющего революционной перспективы, до конца преданного делу революции.

Но является ли эта самоотверженность столь неизбежно связанной с несчастьем и никчемностью в личной жизни, с отказом от радостей личной жизни, как это думают тт. Добин и Нельс? Иными словами, счастлив ли Подопригора лично? Чувствует ли он сам себя счастливым, или он, вообще, махнул рукой на счастье и в свободное от партийной работы время предается вслед за т. Нельсом горестным размышлениям о том, какой он никчемный и несчастный?

Нет, «не тоской, а суровой готовностью ответило сердце» Подопригоры, когда его направили на стройку. Как раз в это время для него начиналось «главное, последнее, которое ждалось годы». Подопригора себя несчастным и никчемным не чувствует ни в каком плане. Потому ли это, что ему просто нег времени над этим думать. Или потому, что у него представление о счастье человеческого иное, чем, например, у его бывшей жены Зиночки.

Да и что такое счастье? Не за счастьем ли идут все герои романа? Но ка-

кое разное у всех представление о счастье. И не только у каждого разное. Больше того. Этот образ счастья меняется у человека вместе с его развитием, с его ростом. Нет стандарта счастья для всех одинакового и не будет. Потому что это означало бы такую нивелировку, такую механизацию человека, которая превратила бы общеобязательное, стандартное счастье в свою противоположность.

Счастье — не электрическая лампочка, которую можно вернуть в любой патрон. Да и с лампочками бывают отклонения от стандарта.

Возьмем, например, того же Тишку. С одним представлением о счастье является он в начале романа, и совсем другое счастье открывает перед ним Подопригора. Отцу Журкина — гробовщику — «мерещилась... собственная лавка на главной улице, уютившаяся в угловой часовне, под церковной сенью, и собственный катафалк с парчевым балдахином, с кистями, и пара лошадей в глазетовых пополах, и факельщики в белых цилиндрах; и будто какая-то гора полна народу, — вся Сызрань высыпала, и поют певчие со всех церквей: это он... хоронит самого сызранского городского голову! И что-то еще более светлое и радостное, чем катафалк, чудесило над Сызранью. Что? Эх, если б правду говорили люди и дело стояло только за мастерством, сумел бы (отец Журкина. — К. М.) показать, что такое мастерство!». Это мечты и самого Журкина, пока он томится в Мшанске. Совсем другое счастье начинает рисоваться ему после того, как он нашел свою прочную рабочую судьбу на новостройке.

Вводная новелла «Счастье» дает как бы некоторое общее введение к развитию темы счастья, которая звучит мотивом, проходящим через весь роман, через образы всех героев романа.

Человечество, прорываясь к социализму, борясь за социализм, стремится к счастливой, полнокровной, подлинно человеческой жизни. Но это стремление не означает того, что при коммунизме счастье будет стандартизовано. Совсем наоборот. Расцвет человеческой личности, который принесет с собой комму-

низм, будет означать огромное расширение возможностей и, если так можно выразиться, вариантов человеческого счастья. Единственный вариант, который будет исключен, — это счастье, основанное на несчастьи другого, на угнетении, эксплуатации человека человеком. Такого волчьего, хищнического счастья не будет. Не будет и замыкания в клетке маленького счастья: «Нам топот не тревога, — мы высоко живем».

Но жизнь будет продолжаться, развитие и рост будут продолжаться, борьба человека с природой будет развешиваться, и в этом развитии противоречий, в этом вечном движении, вечном разрушении-создании возможны будут самые разнообразные варианты счастья. И даже при полном коммунизме не только сохранятся, но даже усилятся такие источники человеческого счастья, каким является для человека возможность самоотверженно работать над созданием счастья всего общества.

★

Запутавшись в своем летучем, непрочном, птичьем счастье, мучаются Николай Соустин и Ольга.

Но сначала надо остановиться на некоторых критических высказываниях. Образы Соустина и Ольги вызвали еще более резкие отрицательные оценки. При этом основательно достается на орехи автору и за безнравственность отношений этих героев, и за всю линию их развития.

Тов. Нельс в «Октябре» находит мало интересными страницы романа, посвященные Соустину и Ольге. Она делает строгий выговор А. Г. Малышкину за то, что он «перепевает» самого себя и серьезно преподносит... цыганские мотивы...». Единственно, что утешает т. Нельс, — это ее робкая надежда, что, может быть, А. Малышкин со временем отдаст Соустина под суд за вредительство, в которое, по ее мнению, он будет вовлечен.

Тов. Усиевич в уже цитированной статье не ограничивается тем, что ставит «неуд» писателю за эти образы. Она подымается до высот поистине проку-

рорского пафоса. Соустину инкриминирует она «нравственную неряшливость... грязно-эгоистическое, скрытно-расчетливое, мелочное отношение к окружающим». Объявляя переживания Соустина «нездоровыми, нечистоплотными», т. Усиевич заранее знает, что из таких «морально нечистоплотных людей», как Соустин, «как бы они ни меняли свои политические убеждения», могут получиться только скрытые враги, что взгляды Соустина могут быть только у людей, «органически враждебных социалистическому строю и, таким образом, менее всего поддающихся перестройке», что и Соустин, и Ольга «истеричны, дряблы и этим опасны», что Ольга — представитель «паразитической прослойки» и т. д., и т. п.

Если т. Нельс наивно утешается только тем, что Соустин будет вовлечен во вредительство и попадет под суд, то т. Усиевич менее последовательна. Она считает, что «Соустин Николай, конечно, не злодей, не вор, не убийца. Мы не требуем суда над ним». Так сказать, виновен, но до совершения проступков — оставить только в сильном подозрении. И на том спасибо. Не так давно т. Усиевич совершенно резонно указала т. Гурвич на то, что следовательское рвение и криминологический подход как к автору, так и к герою художественного произведения мало украшают критика. Но как квалифицировать рвение т. Усиевич, когда она на ту же скамью подсудимых сажает Малышкина за то, что он якобы «нигде не поднимается над Соустиным», «заражается его представлениями о жизни», «носится с нездоровыми, мелкими, нечистоплотными переживающими этого героя... с усилиями... пытается облепить вождения Соустина в тогу сильных страстей», что у Малышкина «нет иммунитета» к цыганщине и декадентству?

Поймав Ольгу на том, как она восторженно улыбалась Николаю Соустину, т. Усиевич внушает строго автору: «Но А. Малышкину следовало бы быть несколько построже к своим персонажам. С такими людьми, вообще, надо быть осторожными».

Как видит читатель, А. Г. Малышкину инкриминируется ни больше, ни

меньше, как связь с потенциальными врагами народа и защита их.

Об этих обвинениях даже не очень хочется говорить серьезно. Еще Добролюбов писал, что составление предварительных правил, сообразно с которыми автор должен задумать и выполнить свои произведения, есть способ критики, очень обидной для писателя, «талант которого всеми признан и за которым упрочена уже любовь публики и известная доля значения в литературе». Добролюбов писал, что такого рода критика «неприятна, потому что ставит критика в положение школьного педанта, собравшегося проэкзаменовать какого-нибудь мальчика».

Без труда можно заметить, что весь этот разнос автора, который проделали т. Нельс и т. Усиевич, основан на обвинительном материале, сочиненном не Малышкиным, а самими критиками. В любой сцене, посвященной Соустину и Ольге, можно без труда обнаружить то, что автор и «подымается над своими героями», и не «облекает их в тоги». Например, вот как Малышкин рассказывает об Ольге: «Самой Ольге искусство не удалось... одна отравная мечта осталась, вернее — воспоминания о мечте, о несбывшемся шуме больших зал, полных обожания и славы... Может быть, отсюда и пошло все. Ей стала близкой та отзывающаяся цыганщиной, истерической, чуть-чуть трупная струна, которая слышалась кое-где в искусстве...». Уже в этой первой попавшейся цитате можно заметить совершенно недвусмысленное отношение к той самой цыганщине, зараженность которой видят у Малышкина критики. «Истерическая, чуть-чуть трупная», — неужели отсюда можно сделать тот вывод, что Малышкин «серьезно преподносит цыганские мотивы» (Нельс) или что у Малышкина «нет иммунитета» (Усиевич)?

Взять хотя бы ту сцену, которая цитируется т. Усиевич в ее статье. Речь идет о сцене посещения Зыбиным и Ольгой ресторана «Метрополь». И тут следует отметить, что во время цитирования т. Усиевич проявляет рассеянность, прокурорам обычно не рекомендуемую. Вменяя Малышкину в вину то, что вся эта

роскошь, вульгарная и безвкусная, представлена чересчур утонченной, изысканной и упоительной, т. Усиевич пропускает только одну фразу авторского текста. Зыбину, глядя на танцующих, «вспоминались суровые, как во время войны, улицы, — они неподалеку, вот тут за стеной, — в грубошерстных пальто, в кепках, продуктовые карточки... А здесь... Для какого-то сорта людей страна делала уступку, — может быть, безразличную уступку?».

Можно было бы еще привести ряд аналогичных примеров. Но довольно скучно доказывать ту общеизвестную истину, что автор не несет уголовной ответственности за поступки своих героев.

Еще Саша Черный советовал критику:

Когда поэт, описывая даму,

Начнет: «Я шла по улице, в бока

впился корсет»,

Здесь «я» не понимай, конечно, прямо—
Что, мол, под дамою скрывается поэт.

Я истину тебе по-дружески открою:

Поэт — мужчина. Даже с бороδοю.

Но посмотрим, действительно ли Соустин и Ольга—такие обреченные кандидаты на скамью подсудимых по обвинению в разложении и вредительстве.

Соустин был в Красной армии во время гражданской войны командиром Демобилизованный, он приезжает в Москву. Это, бесспорно, продолжение и развитие образа Шелехова из «Севастополя». В начале нэпа в нем сильны шелеховские настроения, шелеховские мечты о личной карьере. «Перед ним, вся в солнце, поднималась впервые увиденная Москва, которую еще нужно было завоевать. И в то утро верилось, что завоеует, что непременно добьется своего, потому что и Соустин был участником победы, он участвовал своим телом, жизнью».

Так же, как Шелехов, Соустин принадлежит к той интеллигенции, которая вышла из трудящихся слоев. Он из того же курносого, застенчивого простонародья. Соустин долго не может найти себе прочное место в жизни. Давно мечтающая научной работе в области химии, он не имеет, однако, достаточно воли в себе, чтобы реализовать эту свою за-

ветную мечту. Общественная его неустроенность, несоединенность его личной судьбы, неслитность его личной мечты с общественным движением выражаются и не могут не выразиться и в личной его неустроенности. Он запутался в мучительном бытовом треугольнике. Он любит и жалеет свою жену, тихую, безответную Катюшу, и влюблен в Ольгу.

Любящая, страдающая молча Катя (хотя Малышкин уделил ей очень мало места в романе) нарисована тепло и любовно. То, что она такая хорошая, милая и любящая, усиливает разлад в душе Соустина, мешает ему найти резкое разрешение своих колебаний.

Соустин тоскует о большом, мужественном, огненном деле. Он, чем далее, тем более ясно начинает понимать, что, замыкаясь в личных своих неурядицах и колебаниях, он теряет то главное, о чем мечтал всю жизнь. Он начинает понимать, что будущее, к которому идет страна, может быть лично для него потерянными.

Его неслитность с общественным потоком, его попытка замкнуться в птичьей клетке изолированного от мира счастья, мешает его работе. В сцене, когда Соустин пишет отчет о параде и демонстрации на Красной площади, показаны эти мучения человека, которому нужно найти яркие и страстные слова для тех мыслей, которые возникли в нем в туманное утро на Красной площади. Он убеждается, что эти яркие чувства тускнеют и появляются на бумаге, как томная литературщина.

И тут дело не в том, что у него слова старые, из Анри де-Ренье, а в том, что он не открыл полностью в себе мыслей и страстей, которые волнуют страну и которые целиком его захватили бы, если бы он не уходил в мелочное свое мученице. Когда Соустин освобождается от этого мученица, когда он начинает ощущать себя участником парада и чувства, волновавшие массы, прошедшие на демонстрации, находят у него полноценный отзвук, — только тогда он может дать что-нибудь настоящее, а не томную литературщину.

Произведение, написанное человеком,

относящимся холодно и равнодушно к изображаемым страстям, неизбежно является или томной литературщиной, или прямым приспособленчеством. И тут дело не в новых словах и не в новом синтаксисе. Не в длинной или короткой фразе. Чеховский дьячок, пишущий старухе письмо к сыну, не потому лакировщик, что «пишет мертвые формулы», а потому, что ему, собственно, никакого дела нет до тех чувств, которые испытывает старуха.

Товарищ Сталин писал о том, что «конфликт существует не между содержанием и формой вообще, а между старой формой и новым содержанием, которое ищет новой формы и стремится к ней» («Анархизм или социализм»). Это целиком относится и к литературе. Если нового содержания нет в душе писателя, если он только расторопный исполнитель постороннего заказа, если ему все равно, о чем писать, если он меняет свои симпатии и антипатии в зависимости от воли заказчика, ничего у него, кроме литературщины, не получится. По принципу «чего изволите» никогда не создавалась подлинно художественная литература.

Как хорошо эта мысль выражена в «Людах из захолустья», когда Малышкин рассказывает о Соустине. «Если бы журналистика являлась его настоящим делом, его горением, он захотел бы и сумел мобилизовать всю остроту, все истончение своей нервной системы, он придумал бы, например, какой-нибудь боковой ход в своем изложении, чтобы все-таки передать чувства, потрясшие его».

Огненное, большое, мужественное дело, по которому тоскует Соустин, творится в стране. «Годы запахи по-другому — цементом, известью, железом; горизонты зазубрились силуэтами строительных вышек. Сквозь все закоулки жизни разветвлялась огромина пятилетнего плана, концы его уходили в мечту».

Потому так нерешителен Соустин, потому он так и колеблется в своем романе с Ольгой, что этот роман его не связан с его подлинным, настоящим, с этой его глубокой тоской по огненному делу.

Соустин пришел в революцию так же, как и Шелехов, во время гражданской войны. Он активно участвовал в этой гражданской войне. Но до начала социалистической реконструкции страны Соустин несет в себе груз старой идеологии. Эта идеология воспринималась им из той философской и художественной литературы, которая имела наибольшее хождение в среде русской интеллигенции накануне революции.

Напрасно т. Усиевич домышляет за автора то, что будто бы для Соустина «отказ от Бергсона и Анри де-Ренье есть отказ от самой культуры». Тов. Усиевич спешит с обвинительным заключением, заявляя: «...подлинные образцы публицистического стиля, публицистический стиль Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Плеханова, наконец, Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, повидимому, тоже ему неизвестны. А, быть может, с высот Бергсона и Анри де-Ренье они кажутся ему даже недостаточно «изысканно-культурными».

Не называл бы Соустин тогда свой «хваленый язык, сложно-придуманый, полный отглаженных существительных под Анри де-Ренье» словесным плетением.

В разговоре с Калабухом не сорвалось бы тогда у Соустина озорного и разоблачающего вопроса о кулаке. А эта реплика освещает цитаты из Бергсона лучше длинных речей.

Вот эта сцена: «Калабух процитировал наизусть голосом лакомки: — «Мы — волны в нарастающем потоке творческой эволюции мира! Мы стоим в первых рядах этого стремящегося вперед саморазвития и раскрытия мира, в нас этот порыв достигает своей высшей точки!...».

У Соустина сорвалось нечаянное, озорное:

— А кулак?

Калабух досадливо поморщился.

Ведь надо же понять, что Соустин идет к Калабуху, как к коммунисту, который должен дать ему ответ на его сомнения, указать ему дорогу в его поисках. Но разговор этот Соустина «нисколько не вразумил и не облегчил». Он

сам, стремясь решить для себя вопрос, добивается поездки туда, где решался спор капитализма с социализмом, где социализм побеждал. И этот путь Соустин выбрал правильно. И этот выбор пути показывает, что автор лучше т. Усиевич усвоил то, что «без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв, который составлял самую отвратительную черту старого буржуазного общества» (Ленин).

Добролюбов писал, отвечая критикам Островского: «Зачем вы убиваетесь над соображениями о том, что вот тут нужно было бы то-то, а здесь недостает того-то?.. Нам вовсе не интересно знать, как бы, по вашему мнению, следовало бы сочинить пьесу, сочиненную им».

Малышкин нашел правильное решение для показа развития Соустина. Хуже было бы просто усадить Соустина на школьную скамью, заставив его изучать литературу по рекомендательному списку т. Усиевич. Совершенно естественно, что Соустин, долго работая в советской печати, участвуя в проведении основных политических кампаний, просто не мог не читать ни Ленина, ни Сталина. И совсем не надо было требовать от Малышкина, чтобы он оговаривал специально то, о чем без труда можно догадаться.

Малышкин имел полное право изображать именно такого Соустина, и Соустин встает в романе, как живой и типический образ.

Колебания Соустина, его сомнения, его неуверенность поддерживает в нем Калабух. Соустин приходит к Калабуху, как к партийцу, потому что «его совесть требовала резко сдвинуть себя куда-то, немедленно же». Но разговор с Калабухом усиливает сомнения и колебания Соустина. Слушая Калабуха, Соустин «ощутил неприятный трепет. Действительно, не уличал ли его Калабух в самой тайной и давно вынашиваемой тревоге? И не утверждал ли он ее еще больше?».

В нарочито затуманенных терминах Калабух старается укрепить в Соустине его тревогу. Рассуждения о должностном и сущем, о видимости и реальности, цитаты из Бергсона, весь этот философический туман, который напускает претендующий на ученость Калабух,— все это дымовая завеса. Спор решается на глазах у Соустина в Мшанске. Тут, в Мшанске, где мучается, боится и ненавидит новый мир его убогая, придавленная сестра, где кулак Васяня возлагает на Соустина какие-то свои темные, опасные упования, Соустин решает для себя вопрос. Он видит, насколько реально то дело, которое происходит в стране. И теперь его уже не мучает томная литературщина. Записывая материал для будущей статьи, он чувствует, «что статья эта выйдет искренней. Он не знал доподлинно подробностей, еще не видел этих рвачей в лицо, но они и безликие вызывали в нем отчетливую, неуходящую неприязнь. Он ввязывался в настоящее дело».

Убийство кулаком руководителя бедноты Кузьмы Федоровича, объяснение с председателем сельсовета Бутыриным, сцена в вагоне, где кулак, которого Соустин победил в споре, мстит ударом из-за угла,— все это больше и больше убеждает Соустина в том, что то, что делалось в Мшанске, «разрасталось по своему смыслу гораздо шире, разрасталось, расхлестывалось во всю неоглядную даль страны».

И Соустин начинает понимать уже, что рядом с этой нашедшей себя, все завоевывающей молодостью постарели и его быт, и его любовь с Ольгой.

Соустин встает, как широкое типическое обобщение и в то же время как индивидуализированный, конкретный, правдивый образ человека. Все больше и больше и Ольга, и Соустин начинают понимать, что их летучее счастье непрочное и даже стыдно, что это уход от действительности. Все больше и Соустина, и Ольгу настигает «испытующее, требующее во всем ответа время».

Надо оценивать весь жизненный путь героев, брать их в движение, а не втискивать их в неподвижную, мертвую схему и, видя, что они в эту схему не

входят, спешить их осуждать, от них отмежеваться и рекомендовать то же автору.

Конечно, мужьям не рекомендуется изменять женам, а женам лучше сохранять верность мужьям... Но в негодовании по поводу того, что Соустин изменяет жене, а Ольга мужу, литературный анализ образов героев подменяется нотациями строго нравственного члена товарищеского суда при домоуправлении, обсуждающего семейный конфликт в квартире.

Нельзя требовать от автора, чтобы он, изображая людей своей эпохи, давал их всех обязательно стопроцентно чистенькими, стопроцентно добродетельными. Отдавая полную дань уважения высоким моральным принципам, из которых исходили тт. Нельс и Усиевич, следует все же напомнить им то, что писал Ленин, издеваясь над утопистами, которые «воображали, что социализм можно построить с другими людьми, что они сначала воспитают хорошеньких, чистеньких, прекрасно обученных людей и будут строить из них социализм. Мы всегда смеялись и говорили, что это кукольная игра, что это забава кисейных барышень от социализма, но не серьезная политика».

Ни в какой мере А. Малышкин не собирается изображать Ольгу и Соустина людьми, которые должны выполнить заранее заданную, заранее порученную автором перестройку. Настоящий, вдумчивый реалист, Малышкин правдиво раскрывает и тот внутренний мир, каким обладают его герои, и то развитие их жизни, которое обусловлено общественным развитием в стране.

При другом строе, при другом общественном развитии и Соустин, и Ольга пошли бы по совершенно другому пути. Но весь ход событий, весь ход развития страны, идущей к социализму, приводит и Соустина, и Ольгу к тому, что они не могут стоять в стороне от этого потока. При всей своей запутанности, при обремененности своего сознания тяготеющим над ними старым духовным грузом, они искренни и субъективно честны. «Испытующее, требующее во всем ответа время» настигает и Ольгу, и Со-

устина в их попытках замкнуться в сугубо личном уголке счастья. Непрочность этого счастья, призрачность надежды построить себе в условиях гигантских социальных катаклизмов личную камеру счастья, невозможность такой робинзонады вдвоем все яснее и суровее ощущают и Ольга, и Соустин. И именно в этом причина нерешительности, колебаний, мучительной раздвоенности Соустина, потому что лично, по характеру своему, Соустин — человек решительный. Он доказал эту решительность и во время гражданской войны, он доказывает эту решительность в сцене встречи с пьяным хулиганом. В том-то и дело, что характер человека, его способность к решительным поступкам, проявление этого характера даже в личном, семейном тоже обусловлено его социальным бытием, тем, как ощущает человек себя в общем потоке общественного движения.

Это понимают, хотя и смутно, Ольга и Соустин. Ольга говорит ему: «Мы оба ищем настоящей судьбы... Есть что-то обязательное возвышенное, единственное в жизни... Какая-то вечная мелодия. Где же она в наших поступках, в наших делах? И приходит пора, какое-то требование изнутри... Иначе не можешь жить!.. Самое мучительное для меня, Коля, это... неслитность».

Понимает и Соустин то, что его отчаяние и мученьица унизительны. Нашедшие свое место Катюша и Люба, Миша и другие из семейного окружения Соустина «деятельно, без лишней оглядки жили, ревниво работали, учились; они знали, куда идет их поезд, и своего места на нем теперь не отдали бы».

Пока Соустин и Ольга еще не решили, куда идет их поезд и какое их место в этом поезде, до тех пор они мучаются в этом созданном ими самими треугольнике. И большим достоинством романа является то, что автор не рассматривает этих своих героев, как некие болванки, специально данные ему для того, чтобы он их обточил по соответствующей форме.

Ольга все больше и больше чувствует, что, замыкаясь в своих переживаниях, продолжая двигаться по инерции, опре-

деляемой старым грузом ее представленный и традиций, она обойдена. Она слушает рассказы об ударных бригадах, о «невероятных, яростных людях, которые добровольно обрабатывали подряд две смены».

«Эти рассказы возбуждали в ней глухое чувство обойденности. Где-то существовала сердцевина жизни, ослепительный ее очаг, поступки высокого смысла, то, что неизрекаемым, непереводимым на слова призывом звучало в бетховенском «Эгмонте», в музыке Баха. А Ольга оставалась среди своих подшефных, жалостных и удушливых...».

Это очень тонкая деталь о том, что для Ольги, хотя и неудачной, но музыкантши, совершающееся в стране переводится на язык музыки.

Ольга задыхается в том мире литературной богемы, который ее окружает. Этот мир раскрыт Малышкиным с такой иронией, что совсем непонятно, как она не дошла до морализующих критиков.

«...в комнате у Ольги постоянно толкался, чайпил и ужинал разный народ: художники, мало известные, но уже превознесенные в своей среде, и столь ядовито-скромные от гордости, как будто вот-вот сделают такое, от чего весь мир ахнет; невыявившиеся еще поэты из молодых, которые несли в себе чорт знает какую творческую бурю, а пока стреляли за трешками по редакциям; композиторы, имеющие вид одержимых и исполняющие свои опусы как бы в припадке падучей...».

«Художники расписывали ей комнату орнаментами из анемичных, истомно изогнутых растений и медальонами с головкой самой Ольги, в которых она получалась одутлая и тонкошеяя, вроде болотного цветка; поэты за чаем вырывали отрывки из вынашиваемых поэм. Были среди них свои божки и баловни, но ревновать тут Соустину, собственно, было не к кому: Ольга лишь опекала этих блажененьких, бегала хлопотать за них по издательствам и музеям».

Но постепенно выбывают в жизнь и ольгины подшефные.

«Такое всеобъемлющее напряжение обволакивало работающую день и ночь страну, такой начинался голод в людях, что даже самые залежалые ассортименты их выхватывались и пускались в полезный оборот. Поэтики переключались на прозу, — да, раз было нужно, они могли делать грамотную, добросовестную прозу, они уезжали в качестве очеркистов — притом по самым неожиданным специальностям: на мясо- и овощезаготовки, в животноводческие совхозы, в кустарные промартели, на рыбные промыслы... Потому что все, что работало и заново вырастало в стране, хотело переключиться о том, как оно работает и растет... И среди художников Ольгиных реже затевались теперь громокипящие, по сути ерундовые дискуссии — насчет Ренуара, Ван-Гога, Матисса (отечественных живописцев тут вообще не признавали)».

Автор не скрывает того, что и Ольга в этом плане есть тоже своего рода залежалый ассортимент. Она сама хочет найти дорогу к сердцевине жизни, найти свою настоящую судьбу. Пусть эти попытки у нее неумелы. Она кидается сначала в какое-то вновь организованное издательство, потом хочет стать шофером, наконец, поступает на тракторные курсы.

Особенно густо течет ирония с пера т. Усиевич, когда она подходит к работе Ольги на курсах трактористов. Тут и обвинение Малышкина в том, что якобы он думает, что сознание любого человека облагораживается от одного соприкосновения с трактором. Тут и комическое негодование по поводу того, что Ольга, садясь за руль, не забыла надуться и не сняла маникюра с ногтей. Тут и приговор, окончательный и обжалованию не подлежащий, что все это — «случайная прихоть избалованной и скучающей женщины».

Но откуда т. Усиевич взяла, что А. Г. Малышкин после того, как Ольга научилась управлять трактором и автомобилем, немедленно облагородил ее сознание? Даже когда Ольга кончает курсы и работает на практических занятиях в совхозе, она все еще не уверена, не является ли это для нее только игрой.

Тов. Усиевич цитирует в статье отрывок из главы «Тают снега», где сама Ольга думает: «А у нее могла быть только блажь». И критик делает отсюда совсем неожиданный вывод, что этим А. Малышкин «дает понять читателю свое ликование» по поводу того, что «от одного соприкосновения с трактором» Ольга «перестроилась и принадлежит к новому миру».

Тов. Усиевич, очевидно, сама видит, что обвинение автора в ликовании выглядит не очень убедительно.

Поиски вещественных доказательств продолжают. А. Малышкин, прервав повествование об Ольге, переходит к Тишке.

«И с Тишкой случилось такое, чему не мог взаправду поверить ни он, ни Журкин... В марте приняли Тишку для обучения на шоферские курсы».

«И с Тишкой! — восклицает обрадованный критик, процитировав эту фразу из романа. — Уже это «и» показывает, что, по мнению автора, с Тишкой и Ольгой случилось одно и то же».

Да, и Ольга, и Тишка поступили на курсы. Одна — в Москве на тракторные, другой — в Красногорске на курсы шоферов. Но т. Усиевич на одной этой букве строит грозное обвинение:

«Автор дает понять, что это не блажь. Это единственный путь...».

«Очевидно, А. Малышкину не чуждо представление о тракторе не как о тягловой силе, а как о машине перестройки», и т. д., и т. п. И все эти криминалы извлечены из одной буквы «и».

Вывод критика явно не соответствует ее доказательствам. Полемика т. Усиевич с образом Ольги все больше принимает характер личный. Иначе зачем топиться и присочинять в роман то, чего там нет. А есть там только то, что Ольга, вырываясь из своего душевного захолустья, научилась управлять трактором и автомобилем. Что с ней могло произойти во второй части романа, не написанной автором, можно только гадать. Но то, что Ольга, путавшаяся до сего времени среди литературной богемы, среди своих жалостных, удушливых и генеральничавших подшефных, научилась

чему-то полезному,—разве это все-таки не является некоторым повышением ее ценности, некоторым приближением ее к тому, что делалось в стране?

★

Представители кулацкого, вредительского лагеря—Петр, Аграфена Ивановна, Сысой, сестра Соустина Настя, кулак Васяня—нарисованы с такой выразительностью, которую может продиктовать только глубоко знающая этих людей ненависть, ненависть, проникающая до самых отдаленных душевных глубин этих людей.

Постепенно раскрывается их волчья суть. Тут нет ничего от примитивизма плакатного врага с «зверской физиономией, с громадными зубами, с толстой шеей, с обрезом в руках».

Петр бежит из родного Мшанска. «Человек, завалившийся в сани, тотчас схватил себя обеими руками за малахай и задергался непереносно, навзрыд. И седок не выдержал, тоже длинно вздохнул». В романе найдено сочетание личной несчастья Петра с накалом бешеной ненависти, свойственной ему, как представителю агонизирующего класса. Пропитанность всей его психики эксплуататорским отношением к человеку показана даже на том, как ветерок на базаре для Петра «островато припахивает мужицкой деньгой».

Вражескую работу Петра автор показывает «боковыми ходами». О ней значительно больше догадываешься. Но и для колеблющегося, растерянного Журкина начинает яснеть вскоре, что «во всей этой булге, которую затеяли бараки, промахнуло в'явь чужое, недоброе крыло».

При всех различиях между собой людей этого лагеря, яркости каждого персонажа есть общее, роднящее их, — звериная враждебность к человеку, недоверие даже друг к другу. Вот компаньоны собрались на дележку своих барышей, и волчий оскал проглядывает в каждом жесте. «Сысой Яковлевич действительно подчеркивал цифирки в книге, сызнава с расстановкой и со сластью перечмокивал цены, барабаня

при этом пальчиками, тихий, вникчивый; и глаза его, устремленные поверх очков на Аграфену Ивановну, подозревали кругом голое жульство».

Петр едет на новостройку. Он еще не уверен в себе, приглядывается, принюхивается, таится. И он почти непривольно заставляет батрачить на себя едущего с ним в одном купе Тишку. Все поступки Петра обусловлены его волчьей индивидуальностью, сознанием человека, всю жизнь воспитывавшегося на волчьих рыночных отношениях.

Приехавши к Аграфене Ивановне, Петр многозначительно намекает:

«...есть тож, которые вашего класса, но жили по сие время открыто, имея надежду... Теперь их с ненавистью преследуют, изгоняют из родных мест, притом с волчьим билетом. Им в сумбуре можно сызнава себе фамилию заработать. А которые, может быть, имеют и свои особые точки... Мы жить хотим, Аграфена Ивановна, и жить будем!..».

Враг хочет жить, собирается жить, ненавидя и вредя. Он и Журкину советует:

«Ты злее в жизни-то смотри, злее; нас не жалеют, а нам зачем жалеть?».

Мастерски даны провокационные разговоры, которые ведет Петр в бараке, натравливая людей и сам оставаясь в стороне.

Замечательно сделана сцена взаимного узнавания двух притаившихся на стройке врагов. Петр давно ходит в кооператив. Петру «все, что касалось так или сяк торговли, было обсосанное, родное. С малых лет обучался около бакалейных полок и торговых счетов... И когда в первый раз толкнулся он в бревенчатый магазин, то, как родины, шибануло ему в нос рогожно-сеledочным духом (так пахли на базаре и мужицкие деньги)».

Сысой Яковлевич и Петр осторожно прощупывают друг друга. Хозяйские скрики: «живо», «дело на безделье не меняют», излюбленная Сысой Яковлевича повадка «опереться пальчиками о прилавок, как бы в полной готовности угодить покупателю, а взор — равнодушно ~ потолок, и не только равно-

душно, а утомленно, с презрением: грошовый покупатель-то, муха, а не человек!»,—все это зорко подмечается Петром, все это дает ему возможность узнать в Сырое своего.

Умение показать внутренний мир героя, умение проникнуть в этот внутренний мир до самых тончайших извилин сознания сказывается и в том, как дает Малышкин пейзаж, диалог. Вот, например, как рисуется базар Петру:

«Петр трепещущими ноздрями вбирал знакомый сыздетства, веселящий настой из конского навоза, дыма, рогож, ситцевых платков и разной с'естной тухлятинки... В базарах прошла вся его жизнь, они чередовались в ней, подобно волшебным жатвам... Тогда, в Мшанске, они разливались с зари — коровьим ревом, гармоньями, мамаевым полчищем телег, скота и людей. Между рядами и лавками толкалось, тискалось базарное быдло, необозримое скопище простакков, прикопивших за зиму в деревне кое-какой достаток и, на всякий случай, крепко укруптивших этот достаток в карманы нижних портов. А в ларьках, в красных рядах, в лабазах сидели, как в засадах, ловцы, сладко унюхивая, дожидаясь... И даже ветерок островато припахивал деньгой. А ярмарки под Казанской божьей матери обителью. А девятая пятница в Селитьбе, с певчими, с крестным ходом, с золотыми в обильной ржи поповскими ризами; в ризах шествовали, делали свое дело тоже добытки, сродственные базарным, и было радостно, что весь мир, до самого неба, состоит вроде из одного громадного млекопитающего базара».

То вредительство, которое несомненно затевают в подполье враги, не показано в романе. Но Малышкин показал, и это даже важнее, звериный облик вражеского подполья, раскрывая духовный облик Петра, его восприятие жизни, его отношения как к Тишке и Журкину, так и к своим компаньонам по тайной торговле. Все это во весь рост вскрывает те волчьи, антагонистические общественные отношения, в которых воспитан Петр и носителем и отчаянным защитником которых он является.

В намеках, которые бросает Петр Аграфене Ивановне, приоткрывается то его затаенное, что еще не проявилось, но может проявиться в его практической деятельности. Петр понимает, что внутри страны он не найдет настоящей силы, на которую он мог бы опереться. Петр ищет союзников, угадывая «по недомолкам, по особой оглядке» «припрятанные вождления, готовность к иным предприятиям». Он созрел уже для активного, злобного вредительства и диверсий. Он пока еще ищет хозяина, и нет сомнения, что в дальнейшем он его найдет. Накал лютой ненависти, сознание своей обреченности и невозможности ему, уходящему, противостоять тому новому, что творится в стране, делают из Петра благодарный материал для фашистской контрразведки.

«Уездность», немощность, покойницкая обреченность характерны для всех людей этого мира.

Давая в качестве представителей лагеря строителей социализма людей средних, обыкновенных, соприкася их тоже с рядовыми, если так можно выразиться, представителями кулацкого лагеря, Малышкин на этом столкновении счень удачно показал, что это представители двух миров — мира нового, высшего, и старого, умирающего, низшего. Это столкновение двух борющихся общественно-экономических формаций дано не в публицистических рассуждениях и отступлениях, а в развитии душ героев. И если душевный мир Журкина, Тишки, Поли и других рядовых представителей социалистического лагеря есть движение вверх, если их развитие есть усложнение, обогащение сознания, омоложение людей, душевный мир представителей враждебного лагеря смердит трупным разложением. Взять, например, сестру Соустина — Настю. Как сильно показано то, что этот худенький перестарок не только физически замучен прошлым миром, но и духовно оскоплен этим миром. Всю девичью свою пору она простояла за прилавком, проездила по ярмаркам и базарам. Новый мир не вмещается в ее убогом, придавленном сознании. Нерадостно живет Настя, горько чувствует

она свою покинутость, сирость; никакое известие не может заставить ее разжать стародевьи скупые губы.

★

С умной и злой иронией выведен в романе правый оппортунист Калабух. Создавая образ большого сатирического звучания, Малышкин разоблачает и мнимую ученость, которой щеголяет Калабух, и просвечивает его двурушническую игру. Даже мятущийся, колеблющийся Соустин, который обращается к Калабуху, как к большевику, за советом, начинает подозревать за умалчиваниями и намеками уважаемого им заведующего что-то серьезное.

Вот Калабух, затруженно, с напряжением подыскивая слова, усиливает сомнения Соустина:

«—... мы не исключаем возможности, что у большинства настоящей, нашей, советской интеллигенции проявляются вот такие настроения... которые, если вскрыть их в глубину, в сущности, выражают известную боязнь, опасение, чтобы...».

И дальше, прищелкивая пальцами, все так же затруженно выдавливая слова:

«Чтобы вследствие какого-нибудь, не вполне точно рассчитанного поворота нашей политики... не потерять основных завоеваний революции».

Соустину начинает казаться чересчур навязчивым и зловещим тон Калабуха, когда тот на дипломатическом приеме выражает «опасения», что все эти графы «схватят нас за горло».

Хорош штрих, когда Соустин, не веря себе, замечает «мгновенный, тотчас же спрятанный, вспых ненависти...» в глазах у Калабуха, говорящего о людях, преданных делу партии.

Мало развернут в романе образ мужа Ольги — Зыбина. Его отношения к жене не только у Ольги вызывают мысль, что партиец-муж «плохо слышал человека, с которым жил рядом».

Это тем более досадно, что даже эпизодические персонажи романа живуг. Золотозубый портной, переименивший фамилию бухгалтер, стекольщик, хилый дед—первый в бараке лежебока, который даже спину норовит греть обяза-

тельно у чужой печи,—их много в романе, и нет таких, которые не запомнились бы.

Подлинный реализм писателя сказывается, прежде всего, в умении дать людей не только так, как они есть, а в раскрытии их роста, их движения. Этот рост, это движение Малышкину удалось показать не только в судьбе и развитии главных своих героев. Дыхание эпохи, рост новых отношений, встает перед читателем, даже когда в романе появляются персонажи второстепенные, проходящие, занимающие очень мало места.

★

Действующие в романе люди выпуклы, жизненны, реальны. В личной судьбе каждого героя чувствуется движение тех масс, типическим обобщением которых является данный персонаж, и вместе с тем для каждого человека найдены реалистически индивидуальные черты. Это сказывается и в мастерстве портретов, и в умении строить диалог, и в языке автора.

Вживание автора во внутренний мир своих героев находит свое выражение и в авторской речи, которая богата оттенками и красками. При яркой насыщенности текста романа эмоцией, страстью, автор по-особому акцентирует интонации, в зависимости от того, о ком идет речь. Но о ком бы ни шла речь, какие бы персонажи ни действовали, будь то профессор Калабух или журналист Соустин, низовой партиец Подопригора или кустарь Журкин, деревенский парень Тишка или буфетчик, — язык Малышкина метафоричен, эмоционален. Раскрываются не только поступки, описываются не только внешность и поступки героев. Малышкин стремится даже в метафорах дать те ассоциации, тот строй воспоминаний, чувств и мыслей, тот строй душевного уклада, которые характерны для описываемого человека.

Та декадентская литературщина, вызвавшая раздражение т. Усиевич, которая входит в текст романа вместе с Ольгой, не случайна и не от плохого вкуса автора. Все эти «изгибно обтяну-

тые чувственности», «безысходности», «несбыточные лазури» и тому подобная фразеология декаданса вводится именно потому, что это та фразеология, тот язык, которым эти герои говорят и думают. Это сознательный прием художника. Здесь много тонкого, иронического раскрытия тех сторон существа Ольги и Соустина, которыми они сами недовольны и к которым определенно и открыто отрицательно относится Малышкин.

Автору настоящей статьи надо признать, что, когда он писал в «Литературной газете», в апреле 1938 года, статью о «Людах из захолустья», он тоже не понял, почему возникает эта «литературщина».

Как часто у нас портрет героя сводится к перечню внешних примет! Эти внешние, чисто физические приметы настолько не существенны для персонажа, что иногда об этих внешних приметах забывает и автор. Это сведение портрета к паспортному описанию ничего не дает читателю. И естественно, что такое внешнее описательство является только отбывтием некоторого казенного долга. Писатель, упомянув о тех или иных внешних признаках своего героя, потом наглухо о них забывает.

Для Малышкина характерно в этом отношении умение от примет внешних, от внешности, от деталей уйти вглубь, в быт, в душу человека. Поэтому Малышкин дает детали, связанные не только с характерными чертами внешности, но и со всем образом данного человека.

Мастерство диалога сказывается в умении показать особенности героев, каждого персонажа, не искажая языка областными словами и речениями. Возьмем, например, разговор в вагоне бухгалтера со стекольщиком. Оба они появляются в романе ненадолго. Но и короткий разговор, происходящий между ними, раскрывает их существенное, их наиболее характерное. Бухгалтер, едущий на новостройку, время от времени посылает старика-стекольщика за водкой. Выпивши, этот дрыгающий, беззаботный по виду человек рассказывает стекольщику о своих личных неудачах.

«Стекольщик неузнаваемо-суровым голосом допрашивал:

— Значит, ты с его женой блуд имел?

— Да нет, мы от Николай Семеныча не скрывались, у Николай Семеныча, понимаешь, у самого-то гайка ослабла, значит, она мне являлась жена, а ему только по загсу. Я как со службы, так и к ним: сидим вчетвером, — дочка еще у нее есть,—чаек пьем. Потом или я у них ночую, или она ко мне идет...

— Развод бы взяла.

— Из-за дочки не хочет ломать. Опять же он, Николай Семеныч, против наших сношений ничего не имеет. Ему, чорту, за мной хорошо, я каждый день со службы приду, дров им наколю, самовар сам поставлю, а он, чорт, сидит, курит за газеткой. Из-за него, чорта, эксплуататора, и на строительство уехал: ну вас, думаю, к матери, нашли себе холоя! А сейчас вот опять об ней... ну, до истерики!

Бухгалтер горестным и бесшабашным рывком выхватил бутылку, но она оказалась пустой.

Стекольщик порицающе сказал:

— Не люди мы — выродки стали. Весь мир смотрит на нас с призраком».

Бухгалтер «заглянул еще в окно и, сказав: «Ни черта природы не видать!»,—вдруг как-то повял, доотвала, видно, надрыгавшись, повернулся к стене и захрапел».

Уже в одной этой фразе—«ни черта природы не видать»—раскрыт его уровень, дано представление о его душевном мире.

Тишка приходит на базар продавать свою поповскую шубу весной.

«За шубу ему надавали в одном месте десять рублей, да и те без охоты: время шло к теплу, притом шерсть была вонючая, волчья. В другом — только помочали головой. И, оглядев нечистые косицы его, западающие за воротник, спросили участливо:

— Ты кто: псаломщик, что ль?

— Нет, я так, — ответил сердито Тишка».

Разговор Сысой Яковлевича с Петром:

«Сысой Яковлевич, словно хватил над ним колокольным звоном, выпрямился, истовый, семейно-чинный.

— Не дорога брага, дорога увага!

— Не дорого пито, Сысой Яковлевич, — у Петра бежали в горле сладкие судороги, — дорого быто!».

Осторожно выведывая, Петр, «краешком подходя поближе к самому главному, по-простаковски, беззаботно совсем осведомился:

— А талончики у вас, Сысой Яковлевич, как отмечают: надрывом или проколом?

— Надрывом, — нехотя воркнул тот. И сразу, будто испугавшись, помрачнел. ежасто надулся, того гляди — привстанет, на пальчики обопрется».

Даже эти короткие цитаты из речей действующих лиц говорят о том, что каждая фраза, которую произносит в романе герой, не обезличена, ни одной этой реплики не спутаешь.

Или, например, разговор Аграфены Ивановны с разудалым вербовщиком, ухаживающим за ее дочерью:

«— Куда еще? — подозрительно спросила из кухни Аграфена Ивановна.

— У нас, мамаш, отчаянная вечеринка, весь отдел рабсилы и некто партийные, очень приличная публика... Под танцы два баяна!

Восторгался — слюна летела».

Даже если бы об этом вербовщике не было сказано ничего больше, он весь здесь раскрывается.

Манера Малышкина ничего не давать вне связи с переживаниями своих героев сказывается на его пейзаже.

Как видит Петр площадь во Мшанске:

«Сызнова представлялось от этих слов разоренье: мшанский базар, бесхозяйный, запорошенный по снегу соломой и лошадиным дерьмом, оголенный насквозь — до самого собора, после того, как снесли последние ларьки. По площади только собаки нюхаются; да парни и девки с курсов, — будто не свои, не деревенские, на беду нарожденные парни и девки озоруют около тракторов...».

Уже эта мшанская площадь дана не просто описью предметов и людей, находящихся на этой площади. Нет, этот пейзаж дан глазами Петра, он окрашен настроением Петра, бегущего от раску-

лачивания из своего родного города. Наполненность ассоциациями, постоянная связь того, что происходит вокруг героя, с тем, что он сам в этот момент переживает, характерны для романа Малышкина.

Вот Тишка, мучительно переживающий то, что ему трудно дается непривычная наука, впервые за весну поглядел вокруг себя. И этот весенний пейзаж также дается сквозь те переживания, которые волнуют Тишку:

«...подшло настоящее тепло. Чистой голубой водой стояло небо, совсем полевое. Даже на кочковатой, окаменевшей после грязи тропе пробивались кое-где иголочные травинки. Прутяные кусты у речки, что отделяла бараки от слободы, недавно черные, вдруг ярко посерели, раздулись в одну ослепительно серую чашу, прутья напряглись, живели... Тишка подумал, что где-то прошли полые воды. Наверно, уж пашут. Вспомнил, какая пустая, обглоданная бывает по весне деревенская улица, по которой надо спозаранок каторжно тащиться в голое, холодное поле. В чужое поле...».

Этот пейзаж раскрывает читателю душевный мир Тишки глубже, сильнее, чем прямое авторское повествование. Его потянуло назад, к привычному, знакомому делу, и в то же время он уже не тот робкий, покорный батрак, который принимает батрацкое существование, как единственно возможную для него жизнь.

В окна вагона вечером, перед сумерками, смотрят пассажиры:

«А наружи — над поездом, над седобородым приволжским лесом — вместо неба туманилось ничто. Только на западе различимо было яркое клубление туч, сияющих слишком поздним светом, заимствованным как бы из завтра. Во всех вагонах сотни человеческих лиц повернулись к окошкам. Всякий ехал народ: и старый и молодой, и семейный и бездомный, — что-то сотрясло его, сдвинуло из исконных, отцами еще обогретых мест, — куда? Ехали не падающие духом искатели, ехали во множестве безыменные, помалкивающие. Вагоны обволакивало туманными видениями строек, обильных заработках городов, надеждами, безвестьем. Сзади Мо-

сква стояла костром; это не от паровоза, а от нее летели искры, летели и зовуще кружились над селами и районами... Завтрашнее гляделось из позднего окна».

Яркая партийная убежденность, страстность, которые свойственны роману, нашли свое выражение в языковых его особенностях. Язык романа насыщен эмоциональностью. Яркие и удачные новословия, свежие и впечатляющие метафоры, внезапные, часто двойные эпитеты. Эти эпитеты А. Малышкин строит, сталкивая контрастирующие признаки. Все это придает огромную выразительность произведению Малышкина.

Собственно, вопрос о языке романа — это тема для отдельной работы.

Но уже в тех цитатах из романа, которые приводились в связи с характеристикой образов героев, можно без труда убедиться в том, что и метафоры, и эпитеты, и весь строй языка обусловлены не авторскими ассоциациями, не ассоциациями человека, смотрящего со стороны, а ассоциациями внутреннего мира героя, его настроениями, мыслями и переживаниями.

Гробовщик Журкин, со страхом уезжающий на новостройку, ждет поезда на станции. Поезд «вышел уже, чугунный, метельный, неостановимый, как смерть».

Тишка, подвергаясь осмеянию в бараке, когда он пришел в поповской шубе, «старается потихоньку высвободить плечи из колючей, отчаянием обдающей его, шубы».

На похоронах учителя математики два хора певчих «подымают над улицами могучую трубную грусть, которая нас, мальчишек, как-то совсем не касалась».

★

Весь роман, вся его образная, художественная сила рисуют «волю, которая воздвигала домны, беспощадно преграждала реки, творила неузнаваемого человека».

Эта воля партии возникает в романе не как обедненная, предвзятая, навязчивая тенденция автора обязательно всех

положительных героев перестроить и наградить, а всех отрицательных — поймать за руку на месте преступления и усадить на скамью подсудимых. Глубокая реалистичность романа заключается, в частности, и в том, что эта воля возникает из столкновений разнообразных волей. Среди огромного многообразия различных, не похожих друг на друга людей, разных по своему положению, по характерам, по уровню и по душевному складу, отчетливо звучит этот основной мотив вещи. Можно сказать, что роман Малышкина музыкален, как сложное музыкальное произведение.

Надо отметить, что критика положительно встретила роман А. Малышкина. И в статьях гг. Усиевич, Нельс, Доби́на высказано много правильного и ценного. Тем более нельзя было пройти мимо заключающихся в этих же статьях утверждений ошибочных.

«Люди из захолустья» — одно из наиболее ярких явлений в нашей советской литературе.

Любовно и страстно чувствовал А. Малышкин движение своего народа вперед, в будущее, в новое, в коммунизм.

Не жалость к уходящему, не тоска о прошлом, а радость звучит в романе А. Малышкина, радость от сознания, что молодая страна рушит везде «древнюю, милую для барского сердца убогость».

Вместе со строителями социализма он видел уже в начале стройки новые, социалистические, не засиявшие еще города. В строителях этих городов он прозревал черты нового, социалистического человека. В стране, где все — «сооружения, люди, подвиги — хотело, рвалось превысить черту всегдашнего, житейского», Малышкин чувствовал себя участником общего стремительного и бурного размаха.

Искренность, правдивость, соединенная с партийной страстностью ненависть ко всему двоедушному, лицемерному была характерной чертой личности А. Малышкина. Она помогла ему находить верный путь, делала из него поэта побед социализма, насыщала правдой социалистического реализма его произведения.



Мой Шолом - Алейхем

(Заметки актера)

В. ЗУСКИН

Народный артист РСФСР

★

Зачем романы, —
когда сама жизнь — роман.

Шолом-Алейхем.

Искренно уважаемый собрат! Книгу Вашу получил, прочитал, смеялся и плакал — чудесная книга!..

...Книга мне сильно нравится — еще раз скажу — превосходная книга! Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни...

*Из письма А. М. Горького
к Шолом - Алейхему.*

Шолом-Алейхем — по-еврейски «мир вам» — обычное приветствие при встрече. Этот до гениальности простой и

совершенно неожиданный псевдоним избрал на заре своей творческой деятельности величайший классик еврейской литературы не случайно. Им, этим псевдонимом, писатель стремился подчеркнуть близкое родство со своим читателем, установить интимную связь с народом, говорить с каждым из читателей, как с давным-давно знакомым, беседовать с ним с глазу на глаз на самые волнующие его, читателя, темы.

«Где бы я ни умер, — пишет Шолом-Алейхем в завещании незадолго до своей смерти, — пусть меня похоронят не среди аристократов и богачей, а толь-

ко среди простых людей, честных тружеников, среди народа, чтобы памятник, который потом будет поставлен на моей могиле, украшал бы их скромные могилы, и их могилы будут украшать мою, так же, как простой честный народ украшал при жизни своего писателя».

Шолом-Алейхем просит также: никаких титулов, хвалебных надписей и громких фраз не писать на его надгробном памятнике, а на одной стороне начертать его имя «Шолом-Алейхем», на другой — эпитафию, им же самим написанную в виде стиха — народного примитива — и приложенную к завещанию:

«...Здесь лежит простой еврей, который писал для женщин и простого народа...».

«...И когда все весело смеялись, читая его произведения, и ему громко рукоплескали, сам писатель — один бог только ведает — горько плакал и так, чтобы никто не видел».

Шолом-Алейхем пронес через всю свою замечательную жизнь глубокую, взволнованную, страстную любовь к своему народу, во имя которого он жил и творил.

★

Шолом-Алейхем писал для народа и о народе. Он идеально знал своих героев. Его герои — люди всех слоев еврейского населения, весь народ в самом широком и глубоком значении этого слова. Его произведения — широко развернутая картина жизни еврейского народа в условиях царской России начиная с 80-х годов XIX века и до середины империалистической войны.

Шаг за шагом писатель следовал за своими героями.

Так и представляется, что Шолом-Алейхем с карандашом и блокнотом в руках странствовал по «черте оседлости», ходил по кривым, густо населенным еврейской беднотой, улочкам больших и малых городов и местечек, заживал и в богатые дома, заглядывал во все закоулки, где ютились бесправные, голодные, измученные народные массы. Жадно присматривался к окружающей

его действительности, чутко и внимательно выслушивал каждого в отдельности. Он сопровождал своих героев в Америку, когда началась их массовая эмиграция после жестоких погромов до и после 1905 года, чтобы собственными глазами видеть, как живут эти близкие его сердцу люди на новом месте, в новых условиях. И все то, что он видел, слышал, прочувствовал своим большим, горячим сердцем, все полученное им от народа Шолом-Алейхем вернул своему народу в виде изумительных книг, в которых сочно, ярко, правдиво, всесторонне отображены жизнь его народа, время, эпоха.

С сарказмом и ненавистью рассказывает Шолом-Алейхем о тупых, алчных, жадных, лицемерных богачах, под видом «благодетелей» и «отцов» народа грабящих народные массы, ханжески прикрываясь знаменитой, освященной религией, формулой: «Все евреи — братья». Едко и зло высмеивает он выскочек и нуворished, давно потерявших связь с народом, их ограниченность и опустошенность.

Тончайшего, доподлинно народного юмора полны его прекрасные новеллы, монологи и рассказы о «маленьких людях с маленькими упованиями», в которых под покровом внешних — порою комических, порой трагических — черт Шолом-Алейхем находит изумительные, большие душевные качества.

С величайшей любовью, тончайшим лиризмом, сердечной теплотой, убежденным оптимизмом говорит Шолом-Алейхем о детях и о сильных духом, физически крепких, честных и благородных тружениках, в которых писатель видит будущее своего народа.

На языке, понятном миллионам еврейских трудовых масс, до нюансов глубоко народном, писал Шолом-Алейхем свои прекрасные произведения.

Шолом-Алейхем охватил своим гением все стороны жизни народа, все происходившие в нем (в народе) социальные процессы и общественные сдвиги, живо откликаясь на все большие и малые события.

Вот почему каждый читатель в произведениях Шолом-Алейхема находил от-

звук всем своим переживаниям, мечтам, мыслям, чаяниям и надеждам.

Народные массы много читали его, очень много раз перечитывали, цитировали наизусть, говорили его языком, с трепетным чувством ожидали появления каждого нового произведения любимого писателя. Для них Шолом-Алейхем был больше, чем писатель.

Люди, усталые от тяжелой повседневной борьбы за существование в условиях царизма, в условиях бесправия, голода и нищеты, видели в творениях Шолом-Алейхема жизнь своего народа, узнавали в его героях самих себя. Шолом-Алейхем помогал им жить, учил их любить жизнь, вселяя в них веру в лучшее будущее, давал им радость, доставляя им величайшее наслаждение.

Связанный глубокими корнями со своим народом, Шолом-Алейхем — народнейший из народных писателей, доподлинный певец широких трудовых народных масс, великий поэт, болевший за народ, страдавший вместе с ним.

Искренно и горячо народ любил своего родного, близкого Шолом-Алейхема. Шолом-Алейхем вошел в жизнь своего народа, вошел в кровь и плоть его. Шолом-Алейхем как бы растворился в народе.

Герои Шолом-Алейхема стали в народе именами нарицательными. Его «печальный и сердечный юмор» — по выражению А. М. Горького — глубоко народен. Его сочный язык, его блестящие афоризмы, острые слова, мудрые пословицы, изумительные, неповторимые шолом-алеихемовские образные выражения навсегда вошли в язык народных масс, стали их достоянием.

★

«Общество пособия бедным больным евреям» — так называлось в дореволюционное время в «черте оседлости» благотворительное общество, ставившее себе целью оказание бесплатной медицинской помощи нуждающимся в лечении беднякам. Одним из бессменных руководителей этого общества в нашем городе был мой отец. Обремененный многочисленной семьей и ежедневными заботами, отец не мог уделять этому

обществу достаточно внимания. Когда я подрос и научился писать, отец посадил меня за толстые книги общества, и несколько часов каждый день я должен был записывать приходящих в наш дом к отцу и нуждающихся в бесплатном лечении больных, выдавать талоны-направления в аптеки и к врачам. С жаром я принялся за работу. Десятки людей проходили перед моими глазами каждый день. Профессиональные нищие, действительно больные и притворяющиеся больными, словоохотливые женщины, рассказывавшие мне, ребенку, о всех своих болезнях и семейных несчастьях. Обедневшие люди, глубоко несчастные, робкие и застенчивые, многосемейные ремесленники, нищенский заработок которых едва хватал на пропитание семьи. Приходили старики, молодые, дети — группами и в одиночку. Буквально всех бедняков, больных и несчастных нашего города, знал я хорошо, ходил к ним охотно на дом. Все они меня приглашали к себе, я был везде желанным гостем.

Рос я среди еврейских ремесленников. Таким образом, все мое детство и юность проходили среди самой гущи еврейских трудовых масс нашего города.

С самых ранних детских лет я много читал Шолом-Алейхема. Находясь в постоянном общении с еврейскими массами, я имел возможность на каждом шагу убеждаться в колоссальной популярности моего любимого писателя среди трудовых людей и в том значении, которое имели шолом-алеихемовские произведения в их жизни. Тысячи нитей связывали их с Шолом-Алейхемом. Оказалось, что эти люди с их манерой разговаривать, с их жестами и интонациями — шолом-алеихемовские персонажи, которые сошли со страниц творений писателя.

Сколько раз приходилось слышать, как кто-нибудь из многочисленных посетителей нашего дома, рассказывая о своих горестях, болезнях или неприятностях, которых было у них предостаточно, заканчивал свой рассказ горькой усмешкой:

— Что и говорить, жизнь сладка, как медовый пряник. Как говорит Шолом-

Алейхем? Дай бог долгие годы — в горестях недостатка не будет...

Или:

— Мой рассказ о моем «везении» — рассказ для Шолом-Алейхема...

★

Старого, умного меламеда (еврейского учителя) реб Генеха в нашем городе считали большим чудачком. Всех он осмеивал и всегда острил. Бывало, когда выпьет в праздники или на каком-нибудь торжестве, начнет он «изображать свои комедии» (как говорили про него), показывая, как местный толстый кантор реб Шейме, известный всему городу обжора, во время молитвы, вспомя про фаршированную рыбу, начинает молиться быстрее, чтобы поспешить домой поесть, или как богач-невежда смотрит в открытый молитвенник и не знает, с какого конца надо читать. Бывало, он сбрасывал с себя сюртук и с юношеским пылом плясал вместе с молодежью.

Мне еще не было и пяти лет, когда я поступил к нему в хедер (школу). Несколько лет я учился у него. Мы полюбили друг друга. Мой учитель часто приходил к нам в гости. Он любил так же, как и вся наша семья, слушать чтение произведений Шолом-Алейхема.

Много позже, когда я давно уже оставил его хедер, мне доставляло большую радость захаживать время от времени к моему любимому учителю, разговаривать с ним, слушать его изумительные рассказы, народные легенды и библейские притчи, которые он знал в бесконечном количестве. Рассказывал он прекрасно, с отличным юмором. С волнением и теплотой вспоминаю эти чудесные часы.

Мой учитель тяжело заболел. Я часто навещал его во время болезни. Однажды, когда я собирался уже уходить, больной, запинаясь, просил меня принести ему ту книгу, которую мой отец недавно читал при нем вслух.

Это был трогательный рассказ Шолом-Алейхема «Выигрышный билет». Содержание его таково: бедный синагогальный служака называл «выигрышным билетом» своего очень удачного сына, с

малых лет проявлявшего способности к наукам. Большие надежды возлагал отец на своего сына, он им гордился. С великим трудом мальчик поступил в гимназию в соседнем городе. Несмотря на нужду, голод и лишения, мальчик хорошо кончил гимназию. Чтобы попасть в университет и закончить образование, юноша принимает православие... «Иначе не могло быть» — пишет сын отцу. Он, сын, слишком мучился, потому что знал, какую боль доставит своим родителям. Но тяга с детства к знанию, стремление к свету у него так сильны, что он решился на этот тяжелый для них и для него самого шаг...

Любимый сын уже больше не существовал для бедного отца.

«Выигрышный билет бедного синагогального служаки Исраэля вышел в тираж» — заключает свой рассказ Шолом-Алейхем.

Я охотно выполнил просьбу учителя и в тот же вечер занес ему книгу. Небольшая, висящая на стене керосиновая лампочка тускло освещала бедно обставленную комнату. В комнате никого, кроме нас, не было. Учитель попросил прочитать понравившийся ему шолом-алеихемовский рассказ. Внимательно и сосредоточенно слушал больной мое чтение.

Вдруг я услышал глухие рыдания...

— Ребе, что с вами? Вам плохо? Позвать кого-нибудь? Вашу дочь? — бросился я к нему.

— Нет, дитя мое, нет, никого звать не надо... Скоро пройдет. Книга меня расстроила... Хорошо пишет, за живое берет...

Учитель задумался. Красивое лицо старика выражало большую внутреннюю тревогу. Я его таким грустным никогда не видел.

Немного успокоившись, учитель открыл мне свою тайну, которая давно его мучила.

Много лет тому назад жил он со своей семьей в большом городе и был счастлив. Вторая дочь его, Перл, самая любимая и самая удачная, окончила прогимназию. Вдруг над его семьей стряслась большая беда. Перл влюбилась в русского, в капельмейстера полкового оркестра, и вместе с ним уехала

в глубь России. От позора и стыда жена учителя слегла и психически заболела. Ему тяжело было оставаться в городе, и он переехал в наш городок, где жила его старшая, замужняя дочь.

— Меня все считают чудачком, веселым, беззаботным человеком, но никто не знает, какой червяк точит мое сердце... Как пишет Шолом-Алейхем: «Выигрышный билет службы Исроэля вышел в тираж»?.. Это писатель, очевидно, имел в виду меня, когда писал свое сочинение...—закончил мой учитель и заплакал...

★

— Добрый день, Менахем-Мендель! Как дела? Как ваши акции? — так неизменно встречали у нас одного частого посетителя нашего дома.

Настоящее его имя — Меер Левит. Но в городе прозвали его по имени популярнейшего персонажа Шолом-Алейхема — «Менахем-Мендель»...

Так же, как и шолом-алеихемовский герой, это был большой неудачник, вечно прогоравший и никогда не унывавший. Он был убежден, что в конце концов счастье ему улыбнется, и он непременно и сразу разбогатеет. Он перепробовал все возможные профессии, но ничего у него не выходило.

Я очень хорошо помню этого человека с его подпрыгивающей походкой, со старым помятым котелком, сползающим на сторону, с галстуком, развевающимся по ветру. Он был постоянно одержим какими-то фантастическими проектами, которым никогда не суждено было осуществиться. Жена его, умная, трезвая женщина, ходила за ним по-пятам и, если он заключал какие-нибудь сделки, умоляла расторгнуть их. «Все равно, — говорила она тому, кого ее мужу удалось уговорить начать какое-нибудь новое дело, — ничего путного не выйдет. Пожалейте моих детей и не имейте с моим мужем - неудачником никаких дел...».

В газете «Гайнт» (бульварная газета, издававшаяся в Варшаве) наш Менахем-Мендель вычитал, что одна английская баронесса купила где-то на аукционе редкую заграничную почтовую

марку за 75.000 долларов. После погромов 1905 года многие эмигрировали в Америку. Из нашего небольшого городка многие тоже эмигрировали в Северную Америку и Южную Африку. Почти каждая семья имела за океаном своих родных. И вот наш неудачник заделался «филателистом» — ходил из дома в дом и искал ту почтовую заграничную марку, которая (он был в этом абсолютно убежден) принесет ему несметное богатство. Искал долго, но так и не нашел...

В это время и он, и жена, и дети умирали с голоду.

«Начни торговать саванами, и люди перестанут умирать» — писала Менахем-Менделю его жена Шейне-Шейндл в произведении Шолом-Алейхема...

В нашем городе все убеждены были, что Шолом-Алейхем написал свое классическое произведение «Переписка Менахем-Менделя со своей женой Шейне-Шейндл», имея в виду нашего доброго знакомого.

В конце концов мой земляк привык к своему «благоприобретенному» имени настолько, что сам стал называть себя Менахем-Менделем.

— Мальчик, чей ты? — спрашивали у одного из его детей.

— Я? Менахем-Менделя, — спокойно отвечал ребенок.

Почтальон, русский, много лет живший среди евреев и хорошо умевший говорить по-еврейски, когда, бывало, принес ему письмо или чаще всего объемистый пакет (наш Менахем-Мендель любил выписывать прейс-куранты, рекламы крупных фирм, которые бесплатно высылались по первому требованию, стоило только написать открытку), извещал его:

— Помилуй, тут на конверте написано: «Мееру Левиту», а тебя ведь зовут Менахем-Менделем. Может быть, «Меер Левит» — одна из твоих комбинаций?..

★

Гитя Пуришкевич — героиня одного из рассказов Шолом-Алейхема.

Этим именем окрестили у нас одну женщину, которую все боялись за ост-

рый и злой язык, за ее желчность и озлобленность.

Мужа ее, Меер-Янкеля, забитого, добродушного и, в противоположность своей словоохотливой жене, наредкость молчаливого, прозвали Янкелем Митрофановичем Пуришкевичем (Владимир Митрофанович Пуришкевич—махровый черносотенец, произносивший с трибуны Государственной думы погромные речи против евреев и революционеров).

В день, когда получались столичные газеты с очередной погромной речью Пуришкевича, Меер-Янкель сидел дома, боялся выходить на улицу. Его досаждали вопросами:

— Как же вы, Янкель Митрофанович, выступаете с такими милыми речами против своих же братьев в присутствии царя и его министров?..

★

Поэтические образы Шолом-Алейхема обогащали мою жизнь с самых ранних детских лет. Мой отец, бывало, в редкие часы досуга, после тяжелого трудового дня, собирал нас, детей, и читал нам незабываемые детские рассказы Шолом-Алейхема. Я еще не умел читать и с нетерпением ждал счастливых минут, когда отцу снова представится возможность почитать нам нашего любимого автора. Герои его детских рассказов, наивные, лиричные, трогательные, сердечные, стали моими друзьями детства, я постоянно думал о них, подражал им. С тех пор и началась моя бесконечная любовь к великому Шолом-Алейхему, самому близкому мне писателю, творчество которого питает меня в течение всей моей жизни.

Помню, очень часто, по праздникам главным образом, собиралась у нас многочисленная пестрая родня, приходили соседи, и все, затаив дыхание, внимательно слушали чтение шолом-алеихемовских вещей, боясь проронить хоть одно слово. Отец долго читал веселые и грустные рассказы. Чтение часто прерывалось дружным смехом, часто вызывало грусть, слезы.

— Без слез я не могу слушать Шолом-Алейхема, — говаривала моя мать, про-

стая, сердечная женщина, вытирая обильно льющиеся из глаз слезы.

Вспоминаю книгоношу, чахоточного Хайкеля, дававшего напрокат для прочтения тоненькие книжки издания «Семейной библиотеки» мастеровым, кухаркам, приказчикам. Клиенты книгоноши, жившие с нами на одном дворе, заставляли меня, мальчика, только-только научившегося читать, по нескольку раз перечитывать замусоленные книжечки «смехотворного писателя, пишущего пунктуально, как в жизни, и своими сочинениями хватающего за душу», — так они, бывало, говорили.

Я любил наблюдать, как преображались лица моих слушателей—мастеровых и кухарок. Среди моих постоянных слушателей (читки происходили по субботам) бывал и наш сосед, ломовой извозчик, который боготворил Шолом-Алейхема. Слушая рассказы, он то громко хохотал своим громовым голосом, то тяжело вздыхал, приговаривая: «Ой, горе мне, горе!».

— Дай бог, чтобы рука этого Шолом-Алейхема никогда не болела и чтобы он писал и писал для нашего брата,—говорил он каждый раз после окончания чтения.

Помню и другого нашего соседа, горячего почитателя Шолом-Алейхема, хромого сапожника Элю, малограмотного, читавшего по слогам эти книжечки. После каждой с трудом прочитанной фразы он почесывал затылок и, прищелкивая языком, громко высказывал свои восторги по адресу замечательного автора.

Вот вижу перед своими глазами еще одного нашего соседа, «неунывающего бедняка», портного Аншеля: «большого специалиста по заплатам», как его называли. Этот человек, типичный герой Шолом-Алейхема, — большой неудачник, жизнь которого сложилась очень тяжело: чахоточная жена, больные дети, фантастическая нищета, — никогда не унывал. Своими прибаутками, афоризмами и остроумиями, взятыми из произведений Шолом-Алейхема, он веселил всех.

— Откуда знает Шолом-Алейхем меня, мою семью, мою жизнь? — спра-

шивал он. — Как будто с меня списывает, — говорил он, слушая произведения великого писателя о злоключениях того или другого его героя.

— Если бы не было нашего Шолом-Алейхема, невыносимо тяжело и скучно было бы жить на белом свете, — заключал очарованный Аншель.

Вспоминается и такой эпизод. Май 1915 года. Разгар империалистической войны. Царское командование издает приказ о выселении из прифронтовой полосы всего еврейского населения в двадцать четыре часа. «Распорядительная» царская железнодорожная администрация поездов не давала, — раз в три дня подавались какие-то товарные вагоны. Много дней лежали мы под дождем возле крохотного вокзальчика нашего уездного городка. Все больше и больше стекались к вокзалу из близлежащих местечек выселяемые со своими семьями и скарбом. В город нас не пускали, мы мокли под дождем, а наши дома пустовали.

Много горя было кругом. На наших глазах умирали больные, старики, дети. Мертвые лежали тут же, возле нас, — хоронить их не разрешалось. Тут же рожали женщины. Плач раздирал воздух...

Недалеко от нас раздался громкий хохот. Подхожу и вижу — один «веселый бедняк» читает своим случайным соседям Шолом-Алейхема...

В этой ужасной обстановке чтение великого писателя звучало по-особому. Морально оскорбленные, придавленные, голодные, измученные, несчастные люди в эту кошмарную, трагическую минуту их жизни обратились к своему любимому писателю и нашли у него утешение...

После чтения долго не расходились, простые люди много говорили о своем родном, великом писателе.

Запомнилась одна фраза: «Где бы теперь взять Шолом-Алейхема? Какую вещь он написал бы о нашей «веселой жизни»!..

Народ как бы искал материал для своего писателя.

Близко знавшие Шолом-Алейхема в своих воспоминаниях отмечают необычайно широкую переписку, которую вел

писатель со своими многочисленными корреспондентами — рядовыми читателями. Шолом-Алейхем с чрезвычайной серьезностью относился к письмам своих друзей-читателей.

Не все, конечно, одинаково читали Шолом-Алейхема, не все понимали и принимали его.

Еврейская буржуазия, буржуазная интеллигенция и обыватели от литературы видели в Шолом-Алейхеме, главным образом, веселого юмориста, автора остроумных рассказов, забавных анекдотов, метких словечек. В своей тупой ограниченности они не доглядели самого главного в Шолом-Алейхеме: его острую, глубокую, философскую мысль, заложенную в каждом его произведении, его страстный протест против условий жизни, уродующих и калечащих людей, его гуманизм, — не видели всего того, что характеризует нашего гениального классика.

Учитель древнееврейского языка Кац — «сионист, эстет и немного сам поэт», как он говорил про себя, — не любил Шолом-Алейхема:

— Шолом-Алейхем весь в быту, самобытен, правда, талантлив, но не поднимается над уровнем своего малокультурного читателя. Он никуда не зовет и Америк не открывает, — таково мое категорическое мнение, от которого я никогда не откажусь.

Зубной врач Шапиро, подтрунивая над своей собственной слабостью — любовью к «жargonу» (так презрительно называла буржуазно-националистическая интеллигенция еврейский язык, на котором говорили еврейские широкие трудовые массы), читал Шолом-Алейхема в «салоне» Доры Абрамовны, местной «львицы», жены владельца самой большой мельницы в нашем городе, между ужином и «девятым валом» или преферансом.

— Очень мило пишет. К сожалению, я не все понимаю — недостаточно хорошо знаю язык, — кокетливо говорила Дора Абрамовна.

— Расскажите что-нибудь веселое. Прорекламируйте кое-что шолом-алеихемовское. — просила Клара Александровна Лившиц, дочь крупного мануфак-

туриста, своего ухажора, провизора Исффе. Провизор, старый холостяк, участник местного любительского кружка, только этого и ждал: начинал читать, как заправский актер, на поставленном голосе (он когда-то учился петь), «Немца» или «Призыв». Все домашние хотали, особенно старики — хозяйка дома.

— Ой, не могу! Ну, и шутник, ну, и комик этот ваш Шолом-Алейхем! — кричал хозяин, сам господин Лившиц.

Польщенный Иоффе, начинал читать с чувством уже «серьезные» вещи.

— А теперь я вам прочту более серьезное — моего любимого Фруга...

★

Правильно читать и понимать Шолом-Алейхема научил меня Московский государственный еврейский театр. В декабре 1920 года я, уже в качестве студийца студии при театре, впервые увидел репетицию одноактной шолом-алеихемовской миниатюры «Агенты». Содержание миниатюры на первый взгляд кажется анекдотичным. В поезде встречаются четверо евреев. Всех их выгнала в путь нужда. Первый — агент по страхованию жизни, призванный, как он говорит, «штрафовать людей от смерти», — в каждом из пассажиров усматривает клиента. Оказывается, что все четверо — такие же агенты, только других страховых обществ.

Я смотрел репетицию и плакал. Я понял весь трагизм этих беспочвенных, обреченных на голодное существование, шолом-алеихемовских персонажей. Благодаря этой работе театра и особенно последующим постановкам произведений Шолом-Алейхема на нашей сцене, в которых я принимал непосредственное участие как актер-исполнитель, я по-новому начал осмысливать всего Шолом-Алейхема. Наш театр впервые вскрыл глубокие социальные корни шолом-алеихемовского творчества, впервые смело и решительно показал доподлинного Шолом-Алейхема — и в этом большая заслуга театра перед Шолом-Алейхемом.

В свете работ театра над шолом-

алеихемовским драматургическим материалом мне стала ясной самая природа творчества Шолом-Алейхема.

Смех Шолом-Алейхема — смех от печали, смех от боли за изуродованного капиталистической системой человека, за оскорбленное человеческое достоинство. Комическое в шолом-алеихемовском творчестве — это оболочка, которая прикрывает глубокие страдания Шолом-Алейхема за народ, за близких его сердцу людей.

Шолом-Алейхем не издевается над своими «маленькими людьми с маленькими упованиями», он лишь печально смеется, потому что он любит их всем своим сердцем, душа его скорбит, обливается кровью при виде этих жертв социальной несправедливости. Трагизм показывает Шолом-Алейхем через комизм, через смех, показывает до гениальности просто. Шолом-Алейхем горячо любит человека, но страстно ненавидит те условия, которые делают человека несчастным, превращают его в «без вины виноватого».

Комическое и трагическое, смех и слезы — эти два противоположных начала в Шолом-Алейхеме переплетаются так, что одно вытекает из другого, одно подчеркивает другое.

★

«Будущее нашего народа, — сказал Шолом-Алейхем в одном интервью в 1914 году, — именно здесь, в этой стране, где мы живем (т.-е. в России). Пройдут мрачные времена, рассеются темные тучи, небо прояснится».

Гениальная прозорливость Шолом-Алейхема стала действительностью. Как больно, что великий писатель не дожил до светлых дней — он умер в 1916 году.

Мрачные времена прошли навсегда. Свободный, полноправный еврейский трудовой народ в братском союзе со всеми народами, населяющими нашу замечательную родину, чествует ныне память великого гуманиста, гениального художника-реалиста, писателя-гражданина Шолом-Алейхема.

На родине Шолом-Алейхема

С. ЛЮМ

★

...Я отдал и вложил в книгу лучшее из всего, чем обладал, — сердце свое. Читайте ее время от времени. Может быть, научитесь в ней, как любить наш народ и ценить его духовные богатства... Это будет лучшей наградой за мои тридцать с лишним лет преданной работы на поприще родного языка и литературы¹.

1

Я знала этот город из книг Шолом-Алейхема. Это был город еврейского гетто — маленький мир печали и радости, горя и надежд. Здесь развивался талант писателя, здесь выносил он в себе богатство идей и чувств, которые перенес потом в свои книги. Я часто перелистывала эти книги. В них много грустного и смешного — зеркало моего детства, часть меня самой... И, приехав в этот город, я испытываю странное чувство грусти, словно вернулась в родные места, под отчий кров.

Еще цел дом, где родился и жил Шолом-Алейхем. Здесь когда-то висел закопченный фонарь, торчал веник из соломы — отличительный знак заезжего дома Рабиновичей. Вот скамеечка у ворот... В лютые морозы просиживал здесь долгие часы мечтательный мальчик Шолом. Его выгоняла из дому мачеха, заставляя звать постояльцев.

Обдавая его снежной пылью, пронеслись мимо извозчики. Они отвозили богатых пассажиров в гостиницу Рувима Ясногородского. Шолом бежал за ними и умоляюще звал в заезжий дом отца. Обескураженный, подавляя в себе обиду, возвращался он на свою скамеечку. Зябко ежился в своем равном полушубке, в дырявых сапогах. А из дома неслись к нему проклятия и

ругань мачехи на цветистом бердичевском наречии. Тринадцатилетний Шолом, шутки ради, собрал в тетрадь эту пеструю ругань, расположил ее по алфавиту и составил словарик. «Это было первое мое сочинение» — смеялся потом Шолом-Алейхем.

Много людей проходило перед ним в заезжем доме отца, с их маленькими радостями и большими бедствиями, — смешные и жалкие в своей суетливости «торговцы воздухом».

Он ходил по этим узким, немощеным улицам, мимо прижавшихся друг к другу лачуг, где жила еврейская голь: женщины шили у низеньких окон; тусклый свет синагоги с однообразным напевом талмудистов, скучная порядочность, изречения из ветхого завета; стоны рожениц, безутешные причитания над покойниками.

Но в безжалостном этом мире Шолом-Алейхем умел открывать людей; находил смеющееся лицо, безошибочно угадывал здесь жадность сердца к радости и любви, стремление к идеалу — духовную жизнь народа, которую нельзя задуть никакими жестокостями и которая даже в безнадежности всегда находит себе выход.

Он любил жизнь во всех ее разностях: поняньчить чужого ребенка, приласкать бездомную собаку, проехать с водовозом на речку, подслушать кухонные разговоры прислуги; учинить каверзу синагогальному служке или забрести украдкой в пекарню богача.

¹ Шолом-Алейхем. — К книге «С ярмарки».

Иойны-пекаря, где днем и ночью трудились оборванные евреи и худые, всегда в теплых платках, еврейки. Он слушал, как женщины ссорились, — тяжелый труд и нищета вырывали из их груди вздохи и проклятия. В споре они разоблачали друг дружку: та нечаянно замесала в тесте бинт с большого пальца; другая, ложась вздремнуть, подкладывала себе, за неимением подушки, тесто под голову. Он слышал даже то, чего они не говорили. Он уже догадывался, кто виновник их тяжелой судьбы, видя, как ругался Иойна-пекарь, как он, брызжа слюной, кулаками тыкал рабочим в зубы.

И даже уезжая в годы реакции в Америку, Шолом-Алейхем унес с собой образы своей родины. Они жили в нем, для них он находил краски и силу художественного слова. Шум города его молодости доходил к нему за океан.

Ни расстояние, ни годы не убавили в нем любви к родине. И в последний год его жизни, когда холод смерти уже касался его, он снова обратился к своей родине, чтобы почерпнуть в ней силы. И снова вдохновили и оживили его образы далекого Переяслава, шумные дни его молодости, давние надежды, мечты. И были ему дороги даже воспоминания о «румяной корочке свежего черного русского хлеба, горячий, рассыпчатой картошке в мундирах», шинкованной украинской капусте, тронутой морозцем.

Это были чувства не только писателя, но также глубокие, простые и сильные чувства сына к матери. Эти чувства он вложил в свою последнюю книгу «С ярмарки» — хвалебную песню жизни и родине.

2

На улице сгущаются теплые осенние сумерки. У киоска вытянулась очередь за свежими газетами, в домах загораются огни, и ночь зажигает в небе свои первые звезды. Хозяиственно хлопчет, как большое сердце города, электростанция. В школе идет для учителей семинар по истории партии. Типография набирает утреннюю газету. В исполкоме

совещаются агрономы района. Интимная жизнь людей проступает из окон: здесь оранжевый абажур, там розовые подушки на кровати, симметрия семейных фотографий на стене; юноша читает книгу, где-то играет патефон, девушки смеются, мать кормит грудью ребенка. Везде одно и то же: люди жадно любят жизнь.

В далекой и богатой Америке палочки Коха разрушили организм Шолом-Алейхема. Здесь же, где прошла юность писателя и где расцветал его талант, навсегда остался его молодой и звонкий смех, мудрая шутка, светлая ирония, везде — во встречах друзей, в пословицах, вросших в быт народа, в театре, на улицах, названных его именем, на веселых и вместе с тем печальных страницах его книг, ставших настольными в каждом еврейском доме. Каждая книга Шолом-Алейхема — это душевная беседа, сверкающая иронией и умом, показывающая читателю мир привлекательным даже тогда, когда в нем радости меньше, чем страданий. И всегда в этой неторопливой беседе самый угрюмый читатель расцветал, становился умнее, нравственно чище. Веселость Шолом-Алейхема подымала людей над нищетой, придавала легкость даже самому горю и в то же время рождала жажду протеста против окружающей действительности. Он писал, как говорил и дышал народ. Он взял у народа его обыденную речь и, прокипятив ее в котле своей творческой страсти, вернул ему ее во стократ обогащенной.

Я помню маленькое, в две улицы, местечко, где мой дед слыл щедрым и гостеприимным. И, хотя был он беден, часто за его стол садились бродяги и нищие, — он делил с ними свой черствый кусок хлеба, густо приправленный солью, молитвой и удачной притчей из галмуда. Осыпанные снегом или покрытые серой пылью, с потрескавшимися от жары или мороза лицами, нищие приносили с собой тоску глухих и немых пространств. Они рассказывали о людях и их делах, и все, что они рассказывали, было печально.

Однажды ранней весной нищие принесли с собой книгу. Я запомнила этих

нищих потому, что тогда впервые узнала о Шолом-Алейхеме. Это был его рассказ, переписанный от руки прекрасным почерком прошлого столетия. Я еще не понимала содержания рассказа, но я видела, как преображались лица тех, кто его слушал. Тут собрались соседки, с детьми на руках и без детей, ремесленники в передниках, побросавшие работу. Они смеялись, и меня поразило веселье на их лицах, истощенных от бесплодных желаний, изъеденных отчаянием и голодом. В блуждающих взглядах их грустных еврейских глаз вспыхивали искорки радости. Их оживила жизненная правда этих зачитанных страниц, взволновали краски и поэтические образы. Громче всех смеялись женщины — с подталкиванием друг друга, с притоптыванием, с жестикуляцией. Они были рады, что могут вставить и свое слово. Ведь это был их язык. Смеялась и моя бабка — эта тихая женщина в повязанном за уши платочке, печальная еврейская душа, которая вечно лила слезы, оплакивая грехопадение Евы и тяжелую судьбу своих детей. И даже дед мой — серьезный старик, пылавший любовью к своему богу, не признававший никаких книг, кроме Пятикнижия моисеева и талмуда, — тоже смеялся в бороду, и глаза его, глубоко сидящие, прищуренные от постоянного взглядывания в тексты, глаза талмудиста, сверкали, и крошечные золотинки дрожали и плавилась в них.

Выпрямить людей, улыбкой осветить скорбный путь братьев, стать каждому сразу близким — такова была сила таланта писателя.

И хотя целая пропасть отделяет мое поколение от прошлого, хотя содержание книг Шолом-Алейхема обветшало, — их всегда будут озарять неугасимым пламенем человечность и поистине величественная, по выражению Горького, «славная, добротная и мудрая любовь к народу...».

3

Тихая, выбеленная лунным светом, легла улица Шолом-Алейхема. Я захожу на огонь в дом Рабиновича. В про-

сторной столовой собрались домашние хозяйки, матери семейств, кустари и просто старики. Они изучают Сталинскую Конституцию.

Старый сапожник Новик — староста кружка. Он одинок, — жизнь рассеяла по свету его детей. В детстве он в хедере научился молитве. На старости лет он научился читать и писать. Надев большие очки, он читает Конституцию, параграф за параграфом. Собравшиеся вслушиваются. Женщины шевелят губами, — они повторяют слова. Я вглядываюсь в них: знакомые лица. Так и кажется, что сошли они со страниц Шолом-Алейхема. Когда-то они знали только свою печь, гнулись в стиральне и вынашивании детей. Единственным их развлечением было посплетничать.

Уже давно они покинули логово гетто. Сейчас жизнь их обрела новый смысл. Они полюбили газеты и сведущи в политике. Вот они жадно вслушиваются в каждое слово Конституции. И видно, что за каждой строчкой предчувствуют они реальное народное счастье.

Старик Алтер высказывается «по существу». Он говорит:

— Обо мне заботится товарищ Сталин. Мой Сталин. Шолом-Алейхем говорит: человек слабее былинки, но крепче железа. Реб Алтер, как видите, стар и слаб, но, если за ним стоит страна и вождь, он крепче железа...

Улыбаясь собственным воспоминаниям, старый Алтер рассказывает про мальчика Шолом-Алейхема.

Свои встречи с Шолом-Алейхемом вспоминает и Соня Рабинович:

— ... читал он тогда нам, еще детям, свой «Касриловский театр». Легко сказать — читал. От каждой строчки мы взрывались от смеха, за бока держались...

У каждого здесь в запасе поговорка, шутка, афоризм Шолом-Алейхема. И произносят они их, проникнутые глубиной и нежной привязанностью к писателю. Они едины в своей любви к нему, и каждый рад приобщить и свое слово признания:

— Он в каждый еврейский дом вносил смех.

— Мы забывали наше горе и смеялись.

— Это наш писатель!

— Когда нам было очень плохо, он вернул нам вкус к жизни.

— Он писал о бедняках, о простых ремесленниках и даже завещал не хоронить его среди богачей, — заключает Соня Рабинович, горячо вскинув руку с растопыренными пальцами — жест вызова, гордости и сознания своей правоты.

Он вносил в каждый дом смех, но никто не знал, как копил в себе писатель скорбь, никогда не давая ей заживать. Жизнь маленьких людей, их мечты и надежды, их ошибки он согревал своей страстью, претворяя в душевный огонь даже и то, что заставляло его страдать. «Смейтесь, дети, смех — лучший друг здоровья...».

Сам смертельно пораженный видениями несчастий своего народа, он будил в людях жизнеутверждающим своим творчеством лучшие чувства и учил, что человек может возвыситься над своей судьбой, что «человек — это то, чем он хочет быть...».

4

За поворотом улицы теплый, мохнатый запах хлеба ласкает лицо. Фонарь освещает вывеску: «Пекарня». Не увижу ли сейчас оборванных, изнемогающих в труде рабочих Иойны-пекаря? Не услышу ли ссору отчаявшихся женщин?

Я приподымаюсь на цыпочки и заглядываю в раскрытое окно пекарни. Печь закрыта заслонкой, пламенная судорога пробегает по уголькам на загнетке; на лавках горы булок — пышных и румяных, по стенам тянутся лозунги о счастливом труде, давно уже сошедшие с полотнищ и претворенные в жизнь. За длинным пекарским столом учатся пекари — мужчины и женщины. Все они в белых халатах и таких же белых колпаках.

Из клуба доносятся звуки оркестра. Все окна клуба ярко освещены. Особенно много тут молодежи. Это призывники. На задних скамьях — родите-

ли, гости; они пришли проводить своих детей в Красную армию. Несмотря на поздний час, торжество еще в разгаре. У рампы стоит родитель. Небольшого роста, с ярко выраженным семитским лицом, он смущенно улыбается урагану аплодисментов — потоку симпатий, которым награждает его зал. Когда публика утихает, он начинает вновь:

— Я же сказал, что я плохой оратор. Я еще вам скажу только одно слово про Шолом-Алейхема. У него есть рассказ «С призыва». Так там, если вы читали... (крики: «Как же, читали!»), так там рассказывается про наш старый еврейский призыв. Так о чем тут толковать? Я говорю моему сыну: ты идешь в армию, где учат защищать твое кровное дело, твой народ. Это большое счастье, я говорю...

И снова аплодисменты прерывают его. Это неистовствует молодежь. Веселые лица, сверкающие глаза, голубые, синие, красные майки, развитые мускулы. От них исходит жизненная энергия, которой трудно не восхищаться.

На сцену выносят подарки. Именинников напутствуют теплым отеческим словом.

Рядом со мной родитель — нос с горбинкой, седая стриженная бородка. Расчувствовавшись, он вытирает платком глаза и говорит своему соседу:

— Наша молодость прошла немножко не так. А? Что вы на это скажете?

— Да, немножко не так, — улыбается сосед.

— Псс! Что вы знаете о новобранцах? Это же был страх. Чего только они не выделывали с городом. Вы слышали такую поговорку: «Гуляет, как рекрут»?..

★

Оркестр играет туш. Призывники шумно покидают клуб, выстраиваются в ряды. И вот уже, отбивая четкий шаг, они наполняют узкую улицу мощной песней:

...Наш напев и могуч, и суров...

Долго еще на улицах живет отзвук этой песни.

5

В коридоре школы заливается звонок. Входит учитель, и в классе сразу наступает тишина. Он переворачивает страницу в классном журнале и вызывает:

— Изя Рабинович!

С парты подымается высокий, широкоплечий подросток. Какое сходство с Шолом-Алейхемом! Те же яркие и умные глаза, большой лоб, резко очерченный, насмешливый, фамильный рот Рабиновичей.

Вот он, кроша мел, чертит на доске свою геометрическую задачу... Воспоминания налетают на меня.

...Маленький, покосившийся набок домик с одним оконцем — здесь хедер¹. В домике печь и лежанка; под печью куры; тут же большая хозяйская кровать, где сохнет раскатанный лист теста для лапши и лежит больной ребенок. У брюхатой стены — шкаф с посудой и с разным хламом; в углу кочерга, ухват, всегда полная помоев лохань... Хозяйки дети шумят на печи, хозяйка кричит на них, куры под печью кудахчут... И посреди этого ада — у длинного стола, на двух длинных скамейках — сидят ученики.

Мальчик Шолом у меламеда носит воду из колодца, выносит лоханку с помоями, нянчится с детьми ребе, относит курицу к резнику и удаивается особой честью «помочь жене ребе оципать зарезанную курицу»...

В субботу у детей особая обязанность — сидеть в хедере и выслушивать проповедь учителя, рисующую разверстый ад, сулящую геенну и пламень...

— Прекрасно, — доносятся слова учителя. — Отлично, Изя! Это и есть, как мы видим, самое верное решение задачи. Ребята, все записали? Теперь садитесь, Рабинович.

Как долго мечтали Рабиновичи о гимназии! Шутка ли сказать — гимназист! Когда единственный еврейский гимназист в Переяславе, сын фельдшера Енкеля, приходил в синагогу, все прихожане и все дети не сводили глаз с гимназиста в мундирчике с белыми пу-

говицами, со всех сторон к нему протягивались руки. Казалось бы, всего-навсего — мальчик, а бородатые евреи подходили к нему с приветствиями, останавливались, чтобы побеседовать с ним. Как и всем, Шолому казалось, что нет человека счастливее сына фельдшера Енкеля. Ах, как он ему завидовал!..

В коридоре раздается звонок. Урок кончился. О чем можно говорить с 16-летним Изей в первую минуту знакомства? О школе, об уроках, о том, какой он предпочитает вуз?

— Математический, — заявляет Изя. — У меня это уже давно решенный вопрос. На худой конец, — добавляет он, — можно и авиационный...

Я говорю Изе о его сходстве с Шолом-Алейхемом. Изя серьезен и из скромности старается скрыть чувство гордости:

— Немножко есть. Писатель был нашим родственником.

Звонок зовет в класс. На прощанье Изя обещает непременно показать мне место в Подворках, куда Шолом-Алейхем мальчиком ходил собирать на тропицу зелень.

6

Молодой сад, посаженный переяславцами на субботах. В аллеях играют дети. На дорожках начерчены мелом детские классы. Девушки устроились готовить уроки на солнечной стороне, разложив на скамейке учебники.

В сад доносится громкий звук флейты. Кто-то пробует ноты, и вот уже целый оркестр подхватывает мелодию, вливая свое мощное и ритмичное дыхание в деловую жизнь города. Это репетирует оркестр детского дома. Я знаю биографию этого высокого, в железной ограде, дома. Его называли «бурсой». Горожане всегда обходили его стороной. Здесь маменькины сынки до 25-летнего возраста изучали нехитрую науку церковных пастырей. Сытые, откормленные, они ночью, минуя запертые ворота, перебирались через ограду и пускались по городу, чиня расправу: забирались в чужие дома, крали, топтали огороды, соблазняли девушек. Горожане судились, плакали, писали в гу-

¹ Школа.

бернию. Стоял этот дом, как кость поперек горла.

Первых воспитанников советского детского дома по инерции еще называли «бурсаками». Но принципами советского воспитания были дисциплина, честность и труд. Дети росли, и вот уже кадры трудящихся города пополнялись из воспитанников детдома. Отсюда вышли моряки, лейтенанты, летчики, инженеры, учителя, врачи.

Теперь школьники местной еврейской школы пишут произведения на тему: «Чем и почему наше детство отличается от детства Мотеле?»¹.

Жизнь дописала биографии Вашти, Кота, Амана, Пе-те-ле-ле...². Они уже привыкли к своему ежедневному счастью — быть членами великой трудовой семьи.

И даже дома изменили здесь свое лицо: в каменной синагоге — сейчас дворец пионеров; в холодной синагоге, где пел кантор Цаля, — эфирно-масляничная фабрика; в синагоге мясников — школа для взрослых.

7

За длинным красным столом в райисполкоме собралась интеллигенция района: учителя, врачи, агрономы, стахановцы полей. В повестке дня один вопрос: «о культуре». Докладчик приводит цифры, факты, и вот постепенно встает перед глазами история роста района.

Еще недавно шестнадцать церквей оглушали звоном этот древний город. Был мужской монастырь; монахи, словно вороны, бродили по городу, отбрасывая на дома длинную тень. Еще был женский монастырь. После революции монахини разбрелись по деревням, вили себе гнездышки в крестьянских домах.

Сейчас в районе имеется свыше пятидесяти школ, около пятисот классов, шестьсот учителей и шестнадцать тысяч школьников. Только за один последний год 243 человека в районе получили выс-

¹ «Мальчик Мотл» — рассказ Шолом-Алейхема.

² Прозвища уличных детей в рассказах у Шолом-Алейхема.

шее образование и 1 692 — среднее образование...

В селе Хорьковцы был единственный интеллигент со средним образованием — это учитель Лиховед, Левко Андреевич. Сейчас Хорьковцы дали стране инженеров, командиров Красной армии, врачей, агрономов и учителей.

Докладчик приводит цифры по селу Стибьяга.

Моя соседка, в вышитой сорочке, в кокетливо повязанном платочке, наклоняется к моему уху:

— Стибьяга — это про нас. — И улыбка теплится в ее больших и умных глазах. Это известная здесь Наташа Сезонникова. Она установила рекорд, собрав валерианового корня по сорок центнеров с га. В перерыве она приглашает меня к себе в Стибьягу на вареники с вишнями. Ее подруга — стахановка колхоза «Жовтнева хвиля» — приглашает мед откусать:

— Ну и медок! Триста пудов собрали. Чистёхонький, як слеза.

8

Скрипнув дверь, вышел дворник с метлой встречать утро. Шарканьем венника он подчеркивал смысл своего утреннего монолога. Досталось от него и извозчикам, засорившим стоянку: «Подбирай с них — бодай их лихо», — и пассажирам, перегружающим гостиницу: «Лишок нехватае — куды их деваты», — и даже жирному, гладкому коту, вышедшему на крыльцо встречать утро.

Во дворе задымилась походная красноармейская кухня; из бывшей синагоги, под вывеску общежития курсов полеводства, вышли молодые парни и девушки и выстроились на утреннюю зарядку. И уже шумел колхозный рынок. Из высоких клетей на возах колхозники продавали резвых поросят; прекрасная поздняя зелень — пучки молодого лука-сеянца и сполоснутая водой осенняя редиска — красовалась на рундуках; в корытах трепетала свежая (только-что из Днепра!) красноглазая рыба; переговаривались на возах белые, как лебеди, гуси; в птичьем ряду горланили на ру-

ках у баб связанные петухи, и городские хозяйки уже наполняли свои корзины.

Много ярких страниц посвятил старому рынку Шолом-Алейхем. Жизнь и смерть, благополучие и горе, надежды и отчаяние сгущались на этом клочке земли. И даже в воздухе рынка остро пахло судьбой. Здесь можно было легко разбогатеть, разоряя на своем пути других, и с такой же головокружительной быстротой пасть, потерять все до нитки, даже почву из-под ног. Люди еще не знали законов меновой стоимости. Они видели здесь силу рока, слепую игру «духов», наполнявших шумный рынок и как бы подстерегавших каждого. Деньги брали не в руки, а в подол, на них поплеывали, чтобы не вызвать зависти у чертей.

Вот уже, как на ладони, видно предместье Переяслава — Подворки. Широко раскинулся одетый в теплые цвета осени луг. По лугу движется тень самолета.

Сюда мальчиком и юношей совершал прогулки Шолом-Алейхем — полюбоваться на закат и поговорить с самим собой. Шопот камыша, звон ручья, запах трав, ветерок, цвет неба, блеск озаренных закатом глаз девочки-подростка Бузи — всю красоту летнего дня он подарил нам на страницах «Песни песней», полных лирики.

Ряды домиков белеют за лугом. В этих домиках жили когда-то Арнольд из Подворок, братья Хайте и Шимон Рудерман, Авромке Золотушкин — друзья Шолом-Алейхема, усидчивые и терпеливые, знающие наизусть и Гейне, и Бёрне; они прошли дома, без учителей, полный курс наук, одолевали латынь и греческий язык, философию и психологию, русских и европейских классиков. Самоучки, — без гимназий, без университетов и без дипломов, — им негде было приложить накопленные знания.

Они писали богачам и ученым в высокопарном древнееврейском стиле письма, исполненные искусства риторики и огня, умоляя пристроить их к труду, к жизни. Богачи даже не читали этих писем, — чаще всего они не умели читать.

Иногда эти молодые люди бросались в большой город, который затягивал их, как тряпина. Без гроша денег, с одной только протекцией своего местечкового раввина, они металась по городу, прятались от облавы полиции, голодали.

Юношей и Шолом-Алейхем отправился в большой город с протекцией. Местечковый раввин писал к городскому, городской — к ученым евреям, те — к адвокатам, а адвокат, при виде молодого человека с протянутым письмом, хватался за голову, кричал, чтобы его оставили в покое. «Каждый божий день, — кричал он, — посылают к нему молодых людей с протекциями. Что он может для них сделать?..».

Голодный юноша Шолом забрел в пустую синагогу. Склонив голову на руку и спрятав лицо, как во время жалобной молитвы, он горько плакал.

«... Это означало долгую и темную ночь. Все окутано густым туманом... Одиноким путник нащупывает дорогу и всякий раз натывается на камень, падает в яму... Падает, поднимается и идет дальше, пока не наткнется на новый камень, пока не упадет в новую яму... Трудно с завязанными глазами выбиться на настоящую дорогу, приходится блуждать... И я долго блуждал. Пока не выкарабкался на истинную дорогу. Пока не нашел самого себя...»¹.

Оглядываясь назад с вершин нашей действительности, мы видим, какие нечеловеческие усилия должны были тратить эти люди, чтобы среди окружающей их грязи уродливого общества сохранить чистую душу.

9

Пароход с пристани уходит ночью.

Я устраиваюсь на палубе около двух старых пассажиров. Через несколько минут я уже знаю о них, что они едут из Переяслава в Киев навестить своих детей.

Одна из старух, Марьям Фальковская, угощает меня ломтем вкусного домашнего пирога и затем еще более замечательным рассказом старой еврейской матери о своих детях.

¹ Шолом-Алейхем. — «С ярмарки».

Во-первых, она интересуется знать, кто мог раньше подумать даже, чтобы у какого-то ремесленника Гершке Фальковского, который подкручивал винтики в швейных машинах Зингера и еле приносил в день пару гривенников на жизнь, — чтобы у этого Гершке Фальковского были дети-врачи...

— Так, знаете, что я вам скажу: гораздо легче было себе голову разбить о камень, чем чего-либо добиться... И горе было матери видеть, как бьются дети и у них ничего не выходит. Шолом-Алейхем говорит: «Несчастье детей — это самое тяжкое проклятие для родителей...». Подождите, вы только послушайте, что я вам расскажу...

И дальше льется рассказ, как растила она детей, соля слезами горький хлеб, — трогательный рассказ, полный лирических отступлений, вздохов, поговорок, вопросов к себе самой и собственных ответов, а больше всего теплоты материнского сердца...

— Шолом-Алейхем говорит: счастье детей — это самое большое счастье для родителей...

— Большое счастье родителей, — подкивает старуха Рабинович. Она все время повторяет последние слова длинных и горячих тирад соседки. Сейчас

она еле дождалась паузы, чтобы вставить свое слово. И вот я слушаю уже новое повествование матери о ее детях, полное таких же лирических отступлений, вздохов, диалогов, горячих тирад, вопросов к себе самой и собственных ответов, а больше всего теплоты старого материнского сердца, радости выстраданного счастья, которое не вмещается в собственной груди и передается другим.

... Шолом-Алейхем говорит: счастье детей — это самое большое счастье для родителей...

... Он молодым умер в Америке...

Эти обрывки фраз моих соседок входят в сознание. И мне кажется, что пароход идет не по Днепру, а режет волны океана, несет нас в Америку посетить могилу великого еврейского писателя, принести ему знаки народного признания, привет великой родины, которую он любил, куда он и собрался вернуться с первым, после войны, пароходом.

Увы, ему не пришлось увидеть, как бывшие обездоленные, беззащитные люди стали творцами новой жизни, как народы Советского Союза осуществляют лучшие мечтания человечества о счастье.

БИБЛИОГРАФИЯ

О НОВОМ РОМАНЕ ВСЕВОЛОДА ИВАНОВА ¹

«Имена таких народных героев, как Чапаев, Щорс, Руднев, Пархоменко, Лазо, Дундич, матрос Железняков и многих других, будут постоянно жить в сердцах поколений. О них благодарный советский народ слагает свои песни, о них пишут и еще будут много писать книг. Они вдохновляют нашу молодежь на подвиги и героизм и служат прекрасным примером беспредельной преданности своему народу, Родине и великому делу Ленина—Сталина».

К. Ворошилов.

Трудно назвать в мировой литературе тему, которая привлекала бы столько художников, служила таким неиссякаемым источником вдохновения, как тема гражданской войны в России. 1918—1920 гг. легли глубокой бороздой между старым и новым миром. Социалистическая революция произвела коренной перелом в исторических судьбах человечества, в быту и традициях, в культуре и идеологии. Она подняла народ, разбудила в нем могучие силы, вызвала к жизни десятки и сотни тысяч ярких талантов. Отстаивая завоевания Октября, вооруженные рабочие и крестьяне проявили чудеса храбрости и самоотверженности. В огне гражданских битв родились и выковались мужественные характеры людей, бесстрашно шедших на подвиг, на смерть во имя самых светлых и благородных идеалов.

Об этой великой эпопее освободительной борьбы, давшей столько примеров героизма, народ сложил, слагает и поныне легенды, сказания и песни. Писатели отразили ее в произведениях, многие из которых вошли в золотой фонд классики. Но тема гражданской войны неисчерпаема. Она попрежнему продолжает привлекать к себе внимание советских художников, пленять их творческое воображение. Пред нами новое выдающееся произведение советской литературы, написанное на военную тематику, — роман Всеволода Иванова «Пархоменко».

«Пархоменко» только что вышел из печати. Мужественная книга! Талант писателя в романе достиг идейной зрелости, развернулся необыкновенно мощно. Обогащенный опытом жизни, руководясь теорией марксизма-ленинизма, художник по-иному увидел мир, он раскрылся перед ним во всем многообразии, сложности и противоречивости, в ожесточен-

ной борьбе нового со старым. То, что прежде было писателю неясно, теперь рельефно выступило наружу, сделалось полной его принадлежностью. О многих тенденциях и закономерностях советской действительности он ранее лишь догадывался, теперь они ему отчетливо видны, и отсюда — большая глубина и историческая правдивость его нового произведения.

К военной тематике Всеволод Иванов обращается еще в начале творческого пути, когда он, увлеченный героической борьбой сибирского крестьянства с белогвардейцами и интервентами, запечатлел пафос этой борьбы в «Партизанских повестях», остающихся и поныне одной из самых лучших страниц его писательской биографии.

Критика много раз и по-разному истолковывала эти вещи. Отдавая должное мастерству художника, расшаркиваясь перед ним и как бы заранее прося извинения за предвзятость высказываемого, критики наперебой выискивали у Иванова всевозможные мировоззренческие грехи. Писателя упрекали в том, что он будто бы изображает революцию, «как стихийное проявление крестьянской партизанщины, находящейся во власти собственных инстинктов и первобытной биологии». Его обвиняли в поэтизации анархических начал, ему ставили в вину, что он якобы «умалял значение рабочего класса и партии». Все это, понятно, были праздные домыслы, сентенции, которые никому ничего не давали, кроме разве вреда, — наносилась моральная травма писателю. Конечно, кто будет отрицать, что Всеволод Иванов в ранних произведениях отражал далеко не все стороны действительности, что в орбиту его творчества попало лишь отношение крестьянства к гражданской войне, его поведение в революции. Города, рабочего класса художник не знал и потому не смог создать полнокровных образов большевиков. Но по «Бронепоезду» можно судить, что пи-

¹ Всеволод Иванов. — «Пархоменко». Гослитиздат. 1939 г. Стр. 629. Тираж 20.000. Цена 8 руб.

сателю уже тогда было ясно и он понимал, какую роль играет пролетариат в революции. Он и пытался это отразить в повести. Действиями партизан у него руководят большевистский комитет, город. Но образ большевика Пеклеванова у автора получился бледным, он не сумел согреть его горячим дыханием жизни, не вдунул в него живую душу. Однако делать отсюда вывод, что писатель преклонялся перед стихийностью и не признавал руководящей, организующей роли пролетариата, по меньшей мере неумно.

В. Перцов в своей интересной книге «Этюды о советской литературе», анализируя образ партизанского вождя Никиты Вершинина из «Бронепоезда», к сожалению, также увидел в нем лишь олицетворение стихийности. Эта черта героя, по его мнению, дана автором с «положительным знаком». Исходя из такой оценки, критик и вынес уничтожающий приговор: «Вершинин — не воля, а совесть восставших мужиков. Он почти не оказывает никакого влияния на ход событий...». Вот уже это чистейший вздор. Действительно, в Вершинине много стихийного бунтарства, он не знает конечных целей революции, а лишь интуитивно чувствует правду большевизма. Душа его двойственна, — он труженик и в то же время собственник. Но говорить о том, что стихийность у него покрывает все, что она, и только она, для него характерна, значит не понимать главного, существенного, типичного в образе. Вершинин устремлен к одной совершенно ясной ему цели — освободить родную землю от японских захватчиков и буржуазно-помещичьей белогвардейщины. Именно это с железной необходимостью приводит его в партизанский отряд, именно чувство неистребимой ненависти к иноземным и внутренним поработителям трудового народа заставляет его бороться за оружие, становиться во главе партизан, быть их организатором. Далее: Вершинин сознает истину, что победы над интервентами и белогвардейцами можно достичь только при условии объединения сил, военного союза крестьян и рабочих при руководстве последних. К этому союзу он и ведет партизан. Вся повесть красноречиво говорит о том, что Вершинин — умный и волевой вожак восстания. Он обучает партизан военному делу, связывается с городом, руководит осадой бронепоезда, тщательно разрабатывает всю операцию его захвата. Он не в стороне, а в центре событий, в голове колонны. Он не созерцатель происходящего, а активный боец и командир, упорно и последовательно добивающийся победы. В момент атаки, чтобы поднять боевой дух партизан, он обезжесточивает окопы, подвергаясь смертельной опасности. Где же, спрашивается, тут безволие, отсутствие влияния на ход событий? Все это выдумка. На самом деле Вершинин — сильный, решительный и смелый человек, обладающий крепкой хваткой, большим умом и широтой суждений. Он, например, с презрением отзывается о богах, заявляя, что люди сами себе их выдумали. Он понимает, что у трудящихся, независимых от их национальности,

одни интересы. Вершинин — не только совесть, а прежде всего воля, настойчивость и упорство народа в борьбе с захватчиками.

Товарищ Сталин, рассматривая положение, создавшееся на Юге в 1918 г., писал: «Против иноземного ига, идущего с Запада, Советская Украина подымает освободительную отечественную войну, — таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине»¹.

Такой же смысл имели и события на Дальнем Востоке. На грабежи и насилия японских интервентов народ здесь ответил партизанской отечественной войной. Будучи проникательным и тонким художником, Всеволод Иванов сумел понять глубочайший смысл войны и отразить его в своем творчестве. Куда идейно устремлен «Бронепоезд»? На кого обрушивается восставший народ свои гнев и ярость? На японских захватчиков. Никита Вершинин — олицетворение этой правдиво отраженной художником сущности гражданской войны. Вершинин — гордый патриот родной земли. В нем живет неукротимая воля к борьбе за свободу, за независимость, за право быть единственным хозяином своей страны. А это как раз та черта, которая присуща всему нашему народу. Идеей советского патриотизма, горячей любовью к родине — вот чем проникнута повесть «Бронепоезд» и что так типично для ее героя. Наши же критики, болтая о стихийности, биологизме и прочих смертных грехах Всеволода Иванова, умудрились не заметить в его творчестве этой «мелочи» — отражения писателем самой существенной стороны гражданской войны: ее народности, отечественности.

«Партизанские повести» дают также возможность понять, в чем сила художника, при каких условиях талант его не хиреет, а, наоборот, все более расцветает. Сила эта — в неразрывной связи писателя с жизнью, с народом. В те годы, когда Всеволод Иванов, продолжая лучшие традиции классической литературы, черпал содержание, идеи своего творчества в реальной действительности, когда он проникал в дух народа, в его чувства и мысли, — тогда из-под пера писателя выходили произведения, завоевавшие признание миллионов читателей. Но стоило автору забыть об этом главнейшем условии, отойти от жизни, углубиться в самоанализ, как творчество его начало терять прежнюю глубину и общественную значимость. Когда-то Белинский писал: «...таланты обессиливают себя... тем, что, отрываясь от современных интересов, предаются созерцательному отчуждению от живой действительности и засыпают в поэтическом аскетизме или живут жизнью прошедшего, холодные к современному, которое, в свою очередь, равнодушно к их запоздалым интересам»². У Всеволода Иванова был именно такой период, когда он, говоря словами Белинского, предавался созерцательному отчуждению от живой

¹ И. В. Сталин. — Статьи и речи об Украине, стр. 40.

² Белинский. — Избранные сочинения, т. II. Гослитиздат, 1936 г., стр. 226.

действительности. Ныне писатель решительно расстался с общественной инертностью, снижавшей идейность и политическую остроту его творчества. Так же, как в период создания «Партизанских повестей», он обратился снова к жизни, к народу, к его революционной практике, и это придало таланту художника новую силу, привело его к творческой победе.

★

Романом «Пархоменко» автор сполна покрыл свой долг перед читателем. Он дал жизненно конкретный, обобщающий образ пролетария-большевика. Он проник в характер этого передового бойца, активно творившего социалистическую революцию не только в дни восстания и после него на фронтах и в тылу, но и в мрачные годы царизма. Между «Бронепоездом» и «Пархоменко», несомненно, есть идейная близость. Обе вещи проникнуты духом советского патриотизма. И, однако, они несравнимы. Роман отражает не частные эпизоды гражданской войны (как в повести «Бронепоезд»), а дает целостную картину всего исторического процесса, изображает столкновение многих борющихся сил, вскрывает наиболее типичные и характерные черты революции, законы ее развития. Под пером художника ожило минувшее, предстало настолько реальным, зримым, осязаемым, что, кажется, все эти события, изображенные в романе, произошли не двадцать лет назад, а всего лишь вчера. Вот он, народ-великан, поразивший мир своей геркулесовой силой, расшвырявший далеко в стороны сильнейшие армии внутренних и иностранных супостатов! Вот они, герои-самородки, покрывшие себя неуязвимой славой на полях сражений! Роман дышит ненавистью к врагам и в то же время полон беззаветной любви к социалистической родине, которую выстрадал и обильно полил своей кровью советский народ. Огромная впечатляющая сила «Пархоменко» состоит в том, что художник в нем раскрыл и правдиво показал основной исторический смысл гражданской войны в России, как подлинно народной, отечественной войны, навсегда освободившей миллионы людей от векового рабства и угнетения. В романе прекрасно изображены невиданный революционный подвиг масс, развязывание благородных сил, таившихся в народе.

В литературе и искусстве до сих пор оставался неотображенным образ Александра Пархоменко, легендарного героя гражданской войны, боевого соратника Сталина и Ворошилова. Роман Всеволода Иванова впервые художественно воскрешает жизненный путь этого большевика, выросшего за годы революции в талантливого полководца Красной армии. Автор правильно поступил, дав образ Пархоменко в развитии, показав формирование его характера с юношеских лет. Первые главы романа переносят читателя в дореволюционную пору. Молодой Пархоменко приходит из деревни в Луганск и начинает здесь свою самостоятельную трудовую жизнь. Поступает в колбасное заведение, после работает водовозом, двор-

ником, комнатным слугой, и, наконец, он — ученик большого завода Гартмана. Юноша сближается с большевиками. Темной ночью он пробирается за город, в степь, на массовку. Боясь проронить слово, слушает речь агитатора.

«Огонь удивительных мыслей ошеломляюще ударил в сердце Пархоменко. Саша перевел взор на костер, да так и не сводил до конца массовки. Его охватило целиком то изумительное и вдохновенное чувство, которое тогда бурно разливалось по стране и которое едва ли не было самым удивительным и плодотворным из всех чувств, когда-либо охватывавших мир...

Костер потухает. Массовка окончилась. Рабочие разошлись. Осталось несколько человек. Крановщик Ворошилов лежит на спине, закинув за голову руки, и смотрит в небо, где голубовато блестят звезды...

Горят внутри, как угли, те же думы, что у рабочих Лондона, Сиднея, Парижа, Цейлона, то желание свободы и власти, что и у рабочих всего мира. И мысли эти столь величественны, что Пархоменко почти жутко перепугивать:

— Ребята, а ведь это будет?

— А чего не быть? Заводы выстроили мы, шахты выкопали мы. Ну, обманом они их захватили. А обман — нитка, не проволока, порвем, — говорит крановщик».

Так происходит революционное крещение Пархоменко и первая его встреча с человеком, ставшим ему самым близким товарищем и наставником, Климентием Ефремовичем Ворошиловым. Рядом с ним он пройдет годы возмужания и весь остальной жизненный путь.

Вскоре после массовки Пархоменко вступил в партию. Живой, энергичный, жаждущий дела, он скоро стал заметным членом организации. Партия в те годы ковала кадры профессиональных революционеров из рабочих. В. И. Ленин со всей остротой поставил эту задачу еще в «Что делать?», указывая, что рабочий, когда он становится агитатором, «...приобретает опытность и ловкость в своей профессии, он расширяет свой кругозор и свои знания, он наблюдает бок-о-бок выдающихся политических вождей других местностей и других партий, он старается подняться сам на такую же высоту и соединить в себе знание рабочей среды и свежесть социалистических убеждений с той профессиональной выучкой, без которой пролетариат не может вести упорную борьбу с великолепно обученными рядами его врагов... Когда у нас будут отряды специально подготовленных и прошедших длинную школу рабочих-революционеров (и притом, разумеется, революционеров «всех родов оружия»), — тогда с этими отрядами не совладеет никакая политическая полиция в мире, ибо эти отряды людей, беззаветно преданных революции, будут пользоваться также беззаветным доверием самых широких рабочих масс»¹.

¹ В. И. Ленин. — Собрание сочинений, т. IV, стр. 463, 3-е изд.

Рабочего Пархоменко партия сделала именно таким профессиональным революционером, а 1905 г. определил его «род оружия». Большевистский комитет выдвинул Александра руководителем боевой дружины. Книга и начинается с красочного описания сцены разгона демонстрации черносотенцев, проведенного Пархоменко. Он блестяще выполняет и другое боевое задание — предотвращает в городе еврейский погром. С крыши синагоги Пархоменко и его товарищи стреляют по переодетым жандармам-погромщикам и заставляют их с позором разбежаться. В первых отрывочных сценах перед читателем уже вырисовывается облик Пархоменко, смелого человека, не пугающегося опасности, настойчиво идущего к цели. В нем много неумейной жажды действия, ему хочется отдать всего себя служению революционному делу. Он рвется на самые передовые позиции борьбы. Но уже в юношеские годы Пархоменко приучается умерять свой пыл и задор, подчинять его железной дисциплине партии и класса. Окрыленный удачей в стычке с черносотенцами, он мечтает о баррикадном бое и просит поручить ему подготовить и возглавить вооруженное выступление. На это следует строгий и внушительный ответ, что «баррикады будут, когда прикажет партия». И Пархоменко уже не возражает, ибо решение партии для него — высший и непререкаемый закон.

Вместе с братом Иваном Александр Пархоменко организует и проводит на заводе забастовку. Он впервые видит и радостно убеждается в том, какую громадную силу представляет собой рабочий класс. Восьмитысячный коллектив по сигналу бросает работу и выходит на митинг; плечом к плечу, железной стеной он встает на пути предпринимателей и властно заявляет о своих правах. На митинге зажигательную речь произносит Ворошилов.

Но забастовка не проходит даром. Пархоменко увольняют с завода. Чтобы скрыться от преследований полиции, он на время едет в родную деревню Макаров Яр. И тут для него находится соответствующая его характеру работа. Он создает дружину и по заданию большевистского комитета совместно с братом проводит забастовку крестьян, работавших на помещичьих полях. Эпизоды этой невиданной и принявшей широкий размах стачки выписаны автором так красочно и реалистично, что их невольно хочется вновь перечитывать, как и весь роман. Сколько страсти, революционного огня, кипения сил, находчивости и дерзновенности было в этом могучем, богатырского телосложения, человеке! В нем словно таился какой-то чудесный источник вечно юной и никогда не потухающей энергии. Скитаясь по заводам и тюрьмам, он ни на минуту не утрачивал бодрости и веры в свои силы и силы рабочего класса.

Пархоменко — тип пролетарского революционера, мужественного, кристально честного, беззаветно преданного партии и народу. Недюжинные способности его в полной мере раскрылись только лишь в годы революции. Это — пора великолепного цветения самобыт-

ного и оригинального его таланта. Пархоменко сразу же входит в гущу событий, становится одним из самых популярных рабочих вожаков Луганска. Авторитет его растет с каждым днем. Большевистское подполье научило его дисциплинированности и организованности, придало характеру твердость и крепость металла. В революцию Пархоменко вошел с ясным большевистским мировоззрением, с четким пониманием конечных целей борьбы. Он пламенел великой любовью к обретенной народом социалистической родине. Им руководила одна идея, одно стремление — добить врага и очистить советскую землю от всякой капиталистической скверны.

Первая забота Пархоменко — вооружить рабочих. Он идет в меньшевистский совет (действие происходит в апреле 1917 г.) и требует выдать оружие. Предатели сажают его в тюрьму. Узнав об этом, революционные солдаты заставляют освободить любимого их агитатора и «удовлетворить его право». Так создается луганская Красная гвардия, и начальником ее становится профессионал этого «рода оружия», питавший издавна к нему пристрастие и склонность, — Александр Пархоменко. В город вступает 21-й украинский полк. Создается угроза контрреволюционного выступления. Избранный в то время председателем совета Ворошилов дает задание разоружить гайдамаков. Пархоменко привозит из Харькова оружие, отбивает нападение офицеров и, прискакав верхом в полк, убеждает солдат сложить винтовки и разойтись по домам. В другой раз и в более напряженной обстановке ему снова придется повторить такую же операцию. Когда в Харькове, накануне занятия его денкикцами, восстал полк, Пархоменко приехал к мятежникам и, выстроив их перед казармами, сказал: «Не боюсь я вас, трусов, и вот сына с собой не побоялся привезти. Я один, и однако приказываю вам разоружиться». Погрузив оружие на подводы, Пархоменко, уходя, объявил: «Полк с этого дня расформирован, а вы подохнете, предатели».

Красная гвардия зорко сторожит подступы к Луганску. Рабочие обшивают сталью, обкладывая шпалами и мешками с песком платформы. Пархоменко мечтает о настоящем бронепоезде.

«Однажды в тесном коридоре совета Ворошилова схватил за руку Пархоменко. Уволок в угол и сказал неторопливым шопотом, видимо, весь внутренне дрожа:

— Есть настоящий бронепоезд. С артиллерией, с настоящей броней. Прикажете принять командование?

— Где бронепоезд?

— В Луганске. Анархисты привели..

— Лавруша¹, в Новочеркаске что-то шутит генерал Алексеев. Совет просит у нас помощи, — сказал Ворошилов, подавая Пархоменко телеграмму.

— Прикажете направиться туда с данным бронепоездом?

¹ Партийная кличка Пархоменко.

— Да ты что, Лавруша, в анархисты записался? — спросил, улыбаясь, Ворошилов.

— Хочется доказать, что не «анархия — мать порядка», а большевики — дедушки порядка».

Пархоменко хитростью попытался заставить анархистов сдать бронепоезд. Но те встали Пархоменко в вагон и увезли из Луганска, намереваясь расстрелять на первой же станции. Но не так-то легко это было сделать. Улучив удобный момент, Пархоменко сбил охрану и, вооруженный гранатой и револьвером, выступил один против семидесяти пяти человек. Ему удалось убедить рядовых анархистов перейти на его сторону и выкинуть из вагона прежнего командованье. Здесь же, в купе, Пархоменко открыл записку в Красную гвардию. Бронепоезд под его начальством прибыл в Новочеркасск и разгромил там белогвардейцев.

Все шире разворачивается исторический фон романа, все стремительнее нарастает действие, все напряженнее и острее становятся сюжетные ситуации. Но такова была и действительность того времени. Польшаю зарева гражданской войны. В широко раскрытые Центральной радой и предателем Троцкий двери Украины хлынули интервенты. Триста тысяч немецких сапог застучали по дорогам и улицам мирных городов и сел. Слово стервятники, набросились захватчики на добычу. И тогда поднялась волна всенародного гнева, и сотни тысяч людей откликнулись на призыв партии и советского правительства вступить в ряды Красной армии и идти в бой за родную землю. Из Луганска против немцев выступил отряд Ворошилова. Пархоменко получил приказ: готовить пополнение и добывать снаряды. Но ему не сиделось, его неудержимо тянуло туда, где на чашу весов была положена судьба молодой республики. «Он мучительно и трепетно жаждал быть на фронте, стоять в первом ряду подле Ворошилова и видеть перед собой мокрое и блестящее весеннее поле, серые цепи немцев и яростно вздрагивать от гула их орудий». Тут весь Пархоменко. Стремление быть в авангарде борющихся масс, находиться на самом опасном участке революции было первейшим и заветным желанием, никогда его не покидавшим. Автор романа с большой силой и эмоциональной выразительностью оттенил эту благородную черту характера героя. Созетский патриотизм — вот чувство, которое охватывает и заполняет собой всего Пархоменко, когда он видит, как терзают его родную Украину захватчики. Недолго он оставался в Луганске. В первых же боях с немцами рядом с Ворошиловым замелькала его высокая фигура. С той поры Пархоменко уже не расставался с любимым товарищем. Глубоко трогают сцены, где будущий командарм и его помощник, не имея еще достаточного опыта командования войсковыми частями, но обладая таким качеством, как львиная храбрость, поднимают дух бойцов и личным примером увлекают их в бой. С такими героическими эпизодами читатель встретится в романе много раз.

Пархоменко проделывает весь знаменитый

поход ворошиловской армии, когда она, стремясь сохранить живую силу и развернуться в мощную войсковую единицу, принуждена была отходить из Луганска в Царицын, непрерывно ведя кровопролитные бои с несравненно лучше вооруженным и численно превосходящим противником. В эти тяжелые дни Пархоменко, как всегда, остается спокойным, не теряя присутствия духа, даже в самые критические моменты. Так же, как и подавляющее большинство рядовых бойцов армии, несмотря на утомительные переходы, бессоницу, каждодневные бои, он бодр, жизнерадостен, полон сознания исторической правоты своего дела, что и придает ему силу и непоколебимую уверенность в победоносном исходе войны.

Во время обороны Царицына Сталин посылает Пархоменко в Москву добывать снаряды и оружие. Это было чрезвычайно ответственное поручение, Троцкий и его гнусные сподвижники делали все возможное, чтобы дезорганизовать оборону Царицына и в конечном счете сдать его белоказакам. На настоячивые требования прислать оружие изменники, сидевшие в штабе, или отмалчивались, или издевательски посылали составы, груженные не снарядами, а всевозможной рухлядью. И нужен был человек, который, несмотря на саботаж и измену, смог бы добиться получения и отправки необходимого царицынцам оружия. Сталин, глубоко проникший в истинную сущность людей, сразу же по достоинству оценил волевой и напористый характер Пархоменко. Беспощадно и решительно расправляясь в Царицыне с врагами народа и наводя порядок и дисциплину в городе и на фронте, Сталин обрел в лице Пархоменко активного помощника. Вот почему, когда потребовалось прошибить стену ледяного равнодушия в интендантских ведомствах, Сталин остановил на нем свой выбор. И Пархоменко с честью выполнил сталинское поручение. В Москве его тепло и радушно встретил Владимир Ильич. Он долго и задумчиво беседовал с Пархоменко, как со старым знакомым, о положении на фронте, советовался с ним. Ленин настоял на том, чтобы все, что требовалось для обороны Царицына, было выдано Пархоменко и отправлено немедленно на фронт.

Трудно выделить в романе наиболее удачные и сильные места. Весь он написан свежо, отличается такой глубокой внутренней правдивостью, что, кажется, события и люди, действующие в произведении, выхвачены художником прямо из жизни и перенесены в книгу во всей их природной естественности, колоритности и неповторимости. Но все же хочется сказать, что главы, изображающие знаменитый прорыв, осуществленный Первой Конной армией, и ураганный рейд ее по тылам белопанской Польши, — шедевр советского реалистического искусства. Батальные сцены просты, величественны и исторически верны, они оставляют неизгладимое впечатление. Кстати сказать, роман написан по материалам истории гражданской войны, и в обрисовке образов Ворошилова, Пархоменко и многих других командиров Красной армии автор неизменно опирался на

конкретные исторические и биографические факты. Это не значит, что художник не прибегал к вымыслу, к обобщениям, не вводил в повествование не существовавших в действительности лиц. Все это есть, но основа романа, повторяем, носит точный, документальный характер.

Пархоменко на польском фронте командовал 14-й дивизией. Он был в ударной группе, осуществлявшей прорыв. Здесь во всем блеске развернулся его талант военного деятеля нового типа, его умение быстро ориентироваться в обстановке, принимать правильные решения и выполнять задуманные операции. Вдохновленный великой задачей защиты родины и революции от посягательств врага, он с поразительным упорством и рыцарским бесстрашием идет к этой цели. Он смело врывается в чашу трудностей и ломает их.

В своей тактике и стратегии Пархоменко исходил прежде всего из веры в разум и стойкость масс, в осознанность ими целей и задач войны. Плоть от плоти и кость от кости народа, он силен органической связью с бойцами, единством интересов. Сколько раз на фронте перед комдивом выросли, казалось бы, непреодолимые препятствия. И всегда он в этих случаях апеллировал к массе, обращался к ней с горячим, проникновенным, большевистским словом. Бойцы трогательно и нежно любили этого на редкость скромного командира-большевика. Он был для них бесконечно родным человеком, чутким, заботливым товарищем.

В первом бою с поляками 2-я бригада 14-й дивизии не выдержала и повернула коней. После Пархоменко выступил перед бойцами с короткой речью:

«Раз нас послала партия и советское правительство спасти родину, то больше всего, товарищи, мы должны стыдиться трусости. Все забудется: голод, холод, нужда, страдания; а вот трусости народ никогда не забудет, потому что только благодаря ей могут овладеть нами буржуи. Счастье и победа с тем, товарищи, кто смел на коне и кто смел с винтовкой.

Он указал на молоденького рыдающего бойца и сказал:

— Счастье-таки будет с тобой!».

И люди не только плакали от горьких, укоряющих слов комдива. Они после этого обрушивались на врага и, словно грохочущий горный обвал, сметали все на своем пути.

В Пархоменко была сконцентрирована воля народа, его страстная устремленность к радостной и счастливой жизни. Воплощая в себе эту волю, он и умел зажигать людей энтузиазмом, поднимать их до осознания идеалов гражданственности, пробуждать патриотические чувства и разумно направлять на самоотверженную борьбу и подвиги.

Борясь за организованность и железную дисциплину в армии, за высокую ее боеспособность, Пархоменко действовал преимущественно методом убеждения, примером личного бесстрашия в бою. Когда однажды белополякам удалось разрезать 81-й советский полк надвое и внести в него смятение, Пархоменко вооружаясь в колонну противника, убил двух офи-

церов и командира вражеского полка. Его стремительный натиск и собранная воля сразу же создали перелом и удесятерили силы растерявшихся было бойцов. Враг отошел.

Пархоменко признавал только одну тактику в бою — наступление и полный разгром врага. И каковы были его негодование и ярость, когда в момент наивысшего успеха Первой Конной армии Троцкий приказал ей отступить. Грозная армия, потрясая все польское государство, разрушившая боеспособность его войск, подошедшая уже к стенам Львова, принуждена была отходить. Как еще мог усерднее услужить в тот момент Троцкий своим иностранным хозяевам! Роман впервые приподнимает завесу над тайниками иностранных разведок и показывает картину гнуснейшего предательства и черной измены этого человека с душой и лицом дьявола.

Встретившись впервые лицом к лицу со ставленниками Троцкого в Царицыне и сразу же разглядев, какую предательскую политику они ведут, Пархоменко проникается ненавистью к этой подлой породе людей. «Пархоменко, после обороны Царицына и после поездки своей в Москву, уже не скрывал ненависти к Троцкому и, когда при нем заговаривали об «антипяти», — он багровел и говорил: «Будьте совсем убеждены, что это предатель», так что знавшие его старались при нем о Троцком не говорить». В дни, когда Пархоменко героически оборонял Харьков, когда он, командуя первоначально батальоном, разбил и уничтожил несколько полков дроздовцев, на фронт приехал Троцкий и пожелал увидеть прославленного героя. Пархоменко встретил его более чем нелюбезно. И как бы в награду за отвагу и доблесть, проявленные Пархоменко в боях, предатель Троцкий объявил его «большим» человеком и послал в тыл. Такова была тактика врага — снимать с фронта наиболее талантливых командиров Красной армии. Только благодаря личному вмешательству товарища Сталина Пархоменко был снова возвращен в действующие части. Но предатели не успокоились. После разгрома денкинской армии, когда Пархоменко находился в Ростове, троцкисты инсценировали над ним суд и засадили его в тюрьму. И опять судьбу героя решил товарищ Сталин, по ходатайству которого ВЦИК отменил несправедливый приговор суда.

★

В романе создан образ командира, казака Ламычева. Это — удивительно человеческая фигура.

Хотя Ламычев и не конкретное историческое лицо, но образ его взят из жизни. В нем воплощены типичные черты крестьянина, пробудившегося к сознательной политической жизни лишь в ходе революции и выдвинувшегося на аванпосты борьбы благодаря своей одаренности и силе характера. Таких людей в те годы было много. В революционных бурях и грозах они росли, мужали, освобождались от всяческих предрассудков, осознавали великую

правду большевизма. Видя, что пролетариат и его вожди, не щадя своей жизни, самоотверженно борются за кровные интересы трудового народа, эти люди прониклись доверием к большевикам и безоговорочно становились на сторону революции. Так в гражданской войне сложились и окрепла та замечательная дружба двух классов, которая обеспечила не только военный разгром врага, но и победу социализма в нашей стране. Ламычев в романе и представляет собой человека, через которого автор правдиво раскрыл историческую сущность взаимоотношений крестьянства и рабочего класса в годы военного коммунизма.

Плечом к плечу с бесстрашными полководцами сражается народ. И он дан в романе не как фон, а как основное действующее лицо, как коллективный герой. Показывая Пархоменко в органическом единстве с массой, как концентрат ее лучших качеств, автор в ряде эпизодов порой лишь несколькими штрихами, отдельными фразами рисует рядовых солдат революции. И тут художник остается верен жизненной правде. Народ он изображает простыми реалистическими средствами, без ложного пафоса и приподнятости. Он показывает его во всей исторической конкретности.

В начале гражданской войны среднее крестьянство колебалось между пролетариатом и буржуазией. От поведения его в значительной степени зависел исход борьбы. В настроении крестьянства произошел поворот в сторону Советов лишь после того, когда оно увидело, что победа белых ведет за собой восстановление помещичьей власти, отобрание земли. Этот предметный исторический урок, показавший середняку, кто его друг и кто враг, в романе отражен в короткой, но потрясающей своим глубоким смыслом сцене.

Захватив часть территории Советской Украины, белополяки возвращают помещикам отнятую у них землю. Крестьян подвергают пыткам и истязаниям, тысячи людей сажают в тюрьмы. Польская разведка пытается из арестованных крестьян завербовать себе кадры. Из тюрьмы приводит людей для «обработки». Разведчики Барнацкий и Штрауб ведут разговор с крестьянином, бывшим председателем сельсовета. «Мужик он был хозяйственный и в председатели пошел лишь потому, что думал получить лучший земельный участок и вспахать пашню машиной, какие он видел в Германии, где был в плену и откуда бежал, тоскуя по земле и семье. Сидя в тюрьме, он узнал, что поляки возвращают землю помещикам...». И вот этому крестьянину разведчики предлагают стать диверсантом. За «работу» обещают платить такие большие деньги, что он сумеет уже через восемь месяцев выкупить земельный участок.

«— Лихо, — сказал мужик, хлопнув себя руками по ляжкам. — Лихой, прямо скажу, заработок. Ведь если я в бурмистры поступаю, так и то не столько заработаю.

— Где заработать, — рассмеялся Барнацкий, радуясь оживлению мужика.

— Лихо, лихо. — Мужик подумал и добавил: — Баба-то довольнешенька останется; сел

хозяин в тюрьму мужиком, а вернулся помещиком. Ишь ты, лихая жизнь!

Но тут лицо его остыло. Он посмотрел подозрительно на сидевших за столом и, взяв руки по швам, безразлично, по-солдатски, сказал:

— Лихая жизнь.

— Стало быть, согласен? — спросил Штрауб.

Мужик сощурил глаза, усмехнулся и спросил:

— На что согласен?

— На учение.

— Учиться, как родину продавать лягу? — Он покачал головой. — На это моего согласия не будет.

— Да ведь радозался же, дурак! — крикнул Штрауб.

— Забавлялся, верно. На то мы и мужики, глупые, значит. Пока там в точности разглядишь да поймешь. А чтобы кругом сказать, то-есть родину продавать, этому мы согласиться не можем.

— Помирать, значит, согласны? — фыркая от раздражения, спросил Барнацкий.

— На все бог, ваше благородие. Выйдет — помрем, а только ни земли, ни родины нашей, слава тебе господи, — и мужик широко перекрестился, — помещику больше не иметь. Оружие-то в наших руках».

В этой сцене кратко, простым языком рассказано о самом существенном явлении действительности, дан яркий народный характер.

Народ в романе, все проходящие перед читателем люди, не всегда даже обозначенные именами, несут в себе в той или иной степени те же черты, какие характерны для Пархоменко. Вот раненый боец Снегирев. Он отказывается лечь в лазарет и идет в бой. Вот пожилой шахтер, рвущий колючую проволоку и яростно набрасывающийся на врага. Вот совсем молодые ребята — Кирпиченков и Снятых, прокрадывающиеся к заставе противника и молниеносно снимающие ее. Революция привела в движение массы людей, породила бесчисленное количество героев. В этом величии нашей эпохи, величии нового человечества, растущего на советской земле.

Менее удалась автору образы Лизы Ламычевой и брата Пархоменко, Ивана. В изображении Лизы есть известная сухость, чрезмерная прямолинейность. Иван Пархоменко появляется лишь в первой части романа. В дальнейшем его судьба остается неизвестной для читателя.

В романе большое место отведено еще одному человеку, которого Пархоменко встречает всего лишь три раза и обменивается с ним несколькими незначительными фразами. Это немецкий шпион Штрауб. Пархоменко и Штрауб как будто сюжетно не связаны, но они все время противостоят один другому. Между ними идет смертельная борьба. Немецкий разведчик организует разговор в Царицыне. Пархоменко сажает заговорщиков в тюрьму. Штрауб переходит на службу в польскую разведку. Пархоменко, командуя 14-й дивизией Первой Конной армии, громит польские легионы. Дело Штрауба терпит крах. Тогда он перекидывается к

Махно, пытаясь использовать его, как последнее средство в борьбе с советской властью. Но Пархоменко и тут идет по пятам. Он очищает Украину от бандитов и наносит удар за ударом махновским отрядам. Все ставки немецкого разведчика биты. Вооруженные рабочие и крестьяне, имея во главе себя таких негнбаемых большевиков, как Пархоменко, таких маршалов революции, как Ворошилов, Фрунзе, Буденный, таких титанов мысли и действия, как Ленин и Сталин, сумели расстроить все планы интервентов и белогвардейцев и изгнать их войска из пределов Советской страны.

★

Пархоменко трагически погиб на исходе гражданской войны. О его делах, о его прекрасной жизни, отданной целиком, без остатка социалистической родине, осталась неумирающая память. Приветствуя рабочих Луганска, К. Е. Ворошилов писал: «Именами пролетариев-луганчан — Пархоменко, Медведева, Рудя, Михайловского, людей, которых по фронту лично знал и за боевые заслуги высоко ценил товарищ Сталин, — именами этих и многих других гордится не только Луганск, не только Донбасс, но весь Советский Союз. Эти герои жили для своей великой родины и отдали ей свою жизнь».

Кончились фронты. Страна вздохнула свободно. Советский народ перешел к мирному труду. На обновленной земле начало подрастать новое поколение людей, ради счастья которого отцы его погибли смертью храбрых на войне. Согретая отеческой заботой и лаской большевистских вождей, охваченная пафосом созидания, молодежь с энтузиазмом взялась за учебу, за строительство социалистического общества. Растут, дерзают, учатся и сыновья Пархоменко.

Эпизод романа звучит аккордом огромной жизнеутверждающей силы:

«В середине лета 1924 года робкий юноша в длинной, истрепанной кожанке, должно быть с плеча старшего, вошел в большой дом на Воздвиженке, где тогда находился ЦК РКП(б). Это был Ваня, старший сын Александра Пархоменко. Юноша приехал учиться в Москву, на подготовительный курс какого-то института. У него не было ни комнаты, ни стипендии, ни знакомых. Тогда он написал письмо Сталину и теперь входил в дом за ответом.

... Сталин стоял позади стола, возле кресла, держа в руке белый конверт. Лицо его было задумчивое, еще не отпустившее света воспоминаний. Он усадил юношу и стал спрашивать о семье Пархоменко, о Харитине Григорьевне, о младшем брате.

— Вы знаете, Ваня, где Кремль? — спросил он негромким своим голосом. — Возьмите это письмо, пойдите туда, во ВЦИК, и мне думается, что жизнь ваша наладится, вам необходимо продолжать ваше образование.

Сталин вышел с Ваней в приемную и с тем же задумчивым, наполненным воспоминаниями лицом спросил у секретаря:

— Скажите, нет ли у вас бланка, чтобы пропуск ему написать в Кремль? А то могут не пропустить.

Пока секретарь писал на бланке пропуск, Сталин смотрел на Ваню, как бы отыскивая в нем черты его отца, и затем проговорил:

— Ваш отец был замечательный человек и революционер. Надо полагать, родина запомнит его имя.

Ваня взял пропуск. Тогда Сталин положил ему руку на плечо и стал подробно рассказывать, как Ване надо идти в Кремль, как, выйдя из дома, повернуть направо, там видна Кутафья башня, затем пройти помостом и через ворота войти в Кремль. Рассказывая дорогу шаг за шагом, он подвел Ваню к самому зданию ВЦИКа. Подведя и как бы расслабнув двери, Сталин снял руку с ваниного плеча и ласково сказал:

— Учитесь, Ваня. Учитесь так, как будто жив ваш отец. Он понимал, что, если отцы погибают в борьбе, — остаются дети, и тогда отцом им делается народ. Народ же бессмертен, возьмет свое, победит. Не так ли, товарищ Пархоменко?!

★

Роман «Пархоменко» издан хорошо, в строгом, простом и красивом оформлении. Остается только пожалеть, что в книге не дано портрета Пархоменко. Читателю, несомненно, захочется взглянуть на этого замечательного человека, увидеть его фотографии. При повторном издании следует снабдить книгу не только портретом героя, а и картами тех походов Красной армии, в которых принимал непосредственное участие Пархоменко.

А. Воложенин

Редакция: Ф. В. Гладков
Л. М. Леонов

А. Г. Малышкин

В. П. Ставский

Ответственный редактор В. П. Ставский

Редакция: Москва, 6. Пушкинская площадь, 5.
Издательство: «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».



ГОС. ИЗД-ВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КОГИЗ
ПОЛИТКНИГА

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ

МАТЕРИАЛЫ XVIII СЪЕЗДА ВКП(б):

- Сталин И.** Отчетный доклад на XVIII съезде партии о работе ЦК ВКП(б). Стр. 64. Т. 15 млн. Ц. 25 к., в пер. 60 к.
- Молотов В.** Третий пятилетний план развития народного хозяйства СССР. Доклад и заключительное слово на XVIII съезде ВКП(б) 14—17 марта 1939 г. Стр. 64. Т. 10 млн. Ц. 25 к., в пер. 60 к.
- Жданов А.** Изменения в Уставе ВКП(б). Доклад на XVIII съезде ВКП(б) 18 марта 1939 г. Стр. 56. Т. 10 млн. Ц. 25 к., в пер. 60 к.
- Мануильский Д.** Доклад делегации ВКП(б) в ИККИ на XVIII съезде ВКП(б). Стр. 48. Т. 5 млн. Ц. 20 к.
- Ворошилов К.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. Стр. 32. Т. 6 млн. Ц. 20 к.
- Калинин М.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 16 марта 1939 г. Стр. 14. Т. 3 млн. Ц. 10 к.
- Каганович Л.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. Стр. 60. Т. 3 млн. Ц. 25 к.
- Андреев А.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 12 марта 1939 г. Стр. 39. Т. 7 млн. Ц. 20 к.
- Микоян А.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. Стр. 22. Т. 3 млн. Ц. 15 к.
- Хрущев Н.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. Стр. 15. Т. 2 млн. Ц. 10 к.
- Маленков Г.** Доклад Мандатной комиссии XVIII съезда ВКП(б). Стр. 16. Т. 2 млн. Ц. 10 к.
- Каганович М.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 16 марта 1939 г. Стр. 24. Т. 1 млн. Ц. 15 к.
- Мехлис Л.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. Стр. 16. Т. 3 млн. Ц. 10 к.
- Щербаков А.** Речь на XVIII съезде ВКП(б) 11 марта 1939 г. Стр. 16. Т. 1 млн. Ц. 10 к.
- Резолюции XVIII съезда ВКП(б)** 10—21 марта 1939 г. Стр. 72. Т. 10 млн. Ц. 35 к., в пер. 70 к.
- Устав Всесоюзной Коммунистической Партии (большевиков).** Секция Коммунистического Интернационала. (Принят единогласно XVIII съездом ВКП(б)). Стр. 32. Т. 10 млн. Ц. 10 к., в пер. 35 к.

★ ★ ★

Продажа в книжных магазинах Когиза, киосках Союзпечати
и райкультмагах потребкооперации.



НОТЫ — ПОЧТОЙ МОГИЗ'а

Москва, 31, Неглинная 14/НМ

ВЫСЛАЕТ НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ БЕЗ ЗАДАТКА ПОЛНЫЕ ОПЕРЫ

(клавирь в переплетах, для пения с фортепиано)

СОВЕТСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

«Поднятая целина», муз. И. Дзержинского. Печатается. Цена 14—20 руб.

«Броненосец Потемкин», муз. О. Чишко. Цена 30 руб.

К Л А С С И К И

«Князь Игорь», муз. А. Бородина. Цена 25 р.

«Мадам Беттерфлей» (Чио-Чио-Сан), муз. Д. Пуччини. Цена 27 р.

«Нюрнбергские мастерзингеры», муз. Р. Вагнера. Цена 20 руб.

«Золотой петушок», муз. Н. Римского-Корсакова. Цена 13 р.

«Риголетто», муз. Д. Верди. Цена 19 р. 50 к.

«Майская ночь», муз. Н. Римского-Корсакова. Цена 17 р.

«Руслан и Людмила», муз. М. Глинки. Цена 23 р.

«Моцарт и Сальери», муз. Н. Римского-Корсакова. Цена 6 р. 50 к.

«Фауст», муз. Ш. Гуно. Цена 22 р. 50 к.

«Снегурочка», муз. Н. Римского-Корсакова. Цена 25 р.

«Русалка», муз. Даргомыжского. Цена 19 р.

«Царская невеста», муз. Н. Римского-Корсакова. Цена 17 р.

«Борис Годунов», муз. М. Мусоргского. Редакция Н. Римского-Корсакова. Печатается. Цена 20—25 р.

«Севильский цирюльник», муз. Д. Россини. Печатается. Цена 15—20 р.

«Женитьба», муз. М. Мусоргского — М. Ипполитова-Иванова. Цена 22 р. 50 к.

«Евгений Онегин», муз. П. Чайковского. Цена 15 р. 50 к.

«Пиковая дама», муз. П. Чайковского. Цена 20 р. 50 к.

Требуйте каталоги.

НАРКОМПРОС РСФСР

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ КУРСЫ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ „ИН-ЯЗ“

ПРИЕМ НА ОТДЕЛЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО и НЕМЕЦКОГО Я З Ы К О В

Курсы выпускают на ГРАММПЛАСТИНКАХ фонетическое пособие по английскому языку. С заказами обращаться в областные базы культторга.

Цена комплекта шести двусторонних пластинок вместе с учебником 30 рублей.

Проспект высылается за 50 коп. почтовыми марками 20- и 10-копеечного достоинства.

Москва, Кузнецкий Мост, 3.
Ленинградское отделение: Ленинград, Апраксин пер., 2.